

EDOPIC ALMANAC

THE
GREATEST
MAGAZINE



Борис Михайлов

**НА ДНЕ
БЛОКАДЫ
И
ВОЙНЫ**

*Молчат гробницы, мумии и кости —
лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь письмена.*

И. Бунин



Издательство ВСЕГЕИ • Санкт-Петербург • 2000

**УДК 55(092)
ББК 84Р1—4**

Б. Михайлов. На дне блокады и войны. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. 452 с.

Воспоминания о блокаде и войне написаны участником этих событий, ныне доктором геол.-минерал. наук, профессором, главным научным сотрудником ВСЕГЕИ Б. М. Михайловым.

Автор восстанавливает в памяти события далёких лет, стараясь придать им тот эмоциональный настрой, то восприятие событий, которое было присуще ему, его товарищам — его поколению: мальчикам, выжившим в ленинградской блокаде, а потом ставших «ваньками-взводными» в пехоте на передовой Великой Отечественной войны.

Для широкого круга читателей.

**Издание осуществлено на средства
Всероссийского научно-исследовательского
геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ)**

ISBN 5—93761—021—0

© Б. М. Михайлов, 2000

© С. В. Емельянов, обложка, 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	8
Часть I. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕНОЦИД	22
Глава 1. Короткое вступление	22
Глава 2. Война пришла	27
Глава 3. Жизнь в Блокаде	37
Послесловие	93
Часть II. ЭВАКУАЦИЯ	94
Глава 1. «Вакуированные»	94
Глава 2. Военная мачеха Алма-Ата	99
Глава 3. Паровозные бригады войны	108
Часть III. ТАШКЕНТСКОЕ ПУЛЕМЕТНО-МИНОМЕТНОЕ УЧИЛИЩЕ	128
Глава 1. Дорога на юг	128
Глава 2. Ленинские лагеря	138
Глава 3. Термез	144
Послесловие	182
Часть IV. ФРОНТ	192
Глава 1. Дорога на войну	193
Глава 2. Заднестровские плацдармы	214
Глава 3. Седьмой Сталинский удар	250
Глава 4. Царство Болгарско	272
Глава 5. Бой в Югославии	291
Глава 6. Кровавая зима 1944—1945 гг. (Венгрия)	340
Глава 7. Весна Победы (Австрия)	408
Часть V. ЭПИЛОГ	426
Глава 1. Пешком в Россию	426
Глава 2. Румыния 1945—1946 гг.	433
Глава 3. «За пьянку и моральное разложение...»	442
Глава 4. Эхо войны	445
Указатель	449

МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА

Идешь на меня похожий,
Глаза устремляя вниз...
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливалась к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!...

М. Цветаева

Мне семьдесят пять. Я пишу людям. Моя надежда — донести до потомков живые страницы нашей войны — самой страшной и кровопролитной в истории российского народа. Это мой посильный вклад в вечную память о друзьях и товарищах, погибших от пули, снарядов, бомб, от голода, холода.

Нас было много. После войны остались единицы.

Мои записки не претендуют на широкое полотно войны. Таких полотен, созданных под бдительным оком Главлита, много. За звоном литературных литеавр, за победными реляциями, сусальным умилением героями на этих полотнах не видно самих будней войны. Наш народ — мы — не только «героически сражались на фронте», не только «ковали победу в тылу», но и долгих четыре года жили, каждый по-разному неся свой крест через суровые испытания войны. Всем было плохо, но я глубоко убежден, что ТОЛЬКО ТЕ, КТО В ГОЛОДНУЮ ЗИМУ 41—42-го ЖИЛ В ЛЕНИНГРАДЕ НА ОДНОМ БЛОКАДНОМ ПАЙКЕ, И ТОЛЬКО СОЛДАТЫ ПЕХОТЫ ПОЗНАЛИ ПОЛНУЮ ЦЕНУ ВОЙНЫ. Но не они пишут мемуары.

Я не жалею, что родился в такое лихолетье. Судьба бросала меня в самые-самые остроты войны, на ее дно, каждый раз случайно оставляя в живых. Предложи сегодня выбор — я бы прошел тот же путь в рядах изгоя войны — пехоты. Но и через пятьдесят лет предпочтут смерть ЛЕНИНГРАДСКОМУ ГОЛОДНОМУ ГЕНОЦИДУ, официально называемому страшным словом БЛОКАДА.

Война для каждого ее свидетеля своя. Моя война — это тоненькая ниточка, беззаботно начавшаяся после окончания 8-го класса на летней даче под Гатчиной, голодной петлей затянувшая горло в блокаде и затем, летом сорок второго года, потянувшись через всю взбудораженную войной страну в Алма-Ату, а не найдя там «биологической ниши», в Северный Казахстан в депо станции Петропавловск; в армию призывался в феврале сорок третьего года, работая паровозным кочегаром; на фронт попал через год, после окончания Ташкентского пулеметно-минометного училища. «Сорочка», в которой я родился, зорко и бдительно хранила меня до апреля сорок пятого года, когда в Австрии в селе Штраден я получил причитавшуюся каждому пехотинцу порцию немецкого железа. До конца войны оставались считанные дни. Но мне еще удалось вернуться на передовую, увидеть через прицел-полубинокль противотанковой 45-миллиметровой пушки (45 мм — «Прощай, Родина!») стрелявший в меня немецкий танк и вновь появиться в дивизионном медсанбате, чтобы встретить там долгожданный ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

Очевидно, ни я, ни окружающие меня фронтовые друзья-пехотинцы не задумывались над тем, что в то время творилось за бруствером наших окопов. «Добить фашистского зверя в его берлоге!» — требовали приказы. «Убей немца!» — кричал Илья Эренбург. Мы добивали и убивали. «Задумавшихся кроликов» в своем окружении я не встречал. Если они и появлялись, то, вероятно, сразу же становились легкой добычей удавов из «СМЕРШ» («смерть шпионам» — орган военной контрразведки 1943—1946 гг.).

Да и послевоенный накал политических страстей, репрессии 40—50-х годов, смерть Сталина, годы правления Хрущева, Брежнева как будто существовали отдельно от меня. Те времена, до отказа набитые работой, учебой, молодостью, заботой о хлебе насущном, не вмещали в себя многие житейские мелочи, а тем более «политику». Марксизм-ленинизм я полностью сдавал преподавателям, оставляя себе лишь «пятерки» в зачетке, необходимые для получения сталинской стипендии — 700 р. Эту стипендию я получил на третьем курсе геологического факультета Ленинградского университета в 1949 году. Она позволила на время забыть адреса



1952 г. Студент V курса геологического факультета ЛГУ

Я любил жизнь, и она отвечала мне взаимностью

шней алкогольно-аполитичной коркой, затянувшей «оттепель» начала 60-х годов, в нашей стране стали вновь размножаться неистребимые, как Кощей Бессмертный, бациллы свободомыслия.

«Зараза» настигла меня то ли в Центральной Европе, то ли в Америке, а может быть, в Африке или Азии. Мои геологические тропы были длинны, и времени на одинокие раздумья хватало. Сначала я давал читать написанное только друзьям, с опаской поглядывая на возвышавшейся над Ленинградом «Большой дом»... Не стало Брежнева. Пришел и умер Андропов. При Черненко я показал записи члену ССП А. В. Македонову, много лет просидевшему в воркутинских лагерях и только в 1954 году выпущенному на волю из-за «отсутствия состава преступления». Андриан Владимирович посоветовал «спрятать в стол и ждать».

Я не писатель, ждать было нетрудно.

Вскоре появился Горбачев с долгожданными лозунгами Гласности и Перестройки общества, в крови и поте лица своего построенного нашими отцами, да и нами самими в течение долгих семидесяти лет. Сказочные посулы Михаила Сергеевича за несколько лет создать в СССР райскую трезвую жизнь вдребезги разлетелись под напором крикливо ворвавшихся в нашу жизнь «новых рус-

овощных баз, где мы, неимущие студенты, частенько добывали себе пропитание (30 рэ «на нос» за выгруженный вагон, плюс картошка, унесенная в подкладке уже изрядно потрепанной офицерской шинели). Я ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ, И ОНА ОТВЕЧАЛА МНЕ ВЗАЙМНОСТЬЮ.

Только в самом-самом конце 70-х годов в далекие уже времена «застоя» я стал задумываться, что-то осмысливать и писать о войне. Той войне, которую видел своими глазами и которая совсем не походила на описанную в учебниках, многочисленных в те годы генеральских мемуарах, изображенную на лакированных картинках членов Союза писателей. Хотелось ПРАВДЫ...

А может быть, просто настал мой черед, или, что тоже нельзя исключать, уже тогда под ледяня-

ских». Джин свободы и вседозволенности заметался по изуродованной коммунистами многострадальной России. Рухнул железный занавес, на книжные полки полились мутные потоки детективов и секса, заливая не только горы макулатуры о войне, но и духовное богатство России.

Я верю, все это пройдет. К тому времени — уже в XXI веке — мое поколение уйдет в небытие и правдивые рассказы очевидцев суровых тридцатых—сороковых годов займут место исторических раритетов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я помню. Много помню о давно минувшей предвоенной жизни. Она была совсем непохожей на ее мертвые стереотипы, созданные писателями-«очевидцами». По своему помню и тридцать седьмой год, как все это было:

Это было, когда улыбался
Только мертвый — спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,
Уже шли осужденных полки,
И тревожную песню разлуки
Паровозные пели гудки.

Звезды смерти стояли над нами
И невинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

A. Ахматова

...Было это 60 лет тому назад, 4 марта 1937 года. Мне исполнилось 12 лет. Пять часов вечера. Улица Скороходова на Петроградской стороне. Недалеко от Кировского проспекта на правой ее стороне издали виден красивый в стиле модерн дом — бывший особняк князя Горчакова, где сегодня помещается ЗАГС Петроградского района. Чуть наискосок еще не так давно стоял неказистый трехэтажный дом 17-го отделения милиции. В 1937 году коридор второго этажа этого отделения, если повернуть налево, упирался в тяжелую обитую оцинкованным железом дверь просторного кабинета. В кабинете — стол с зеленым сукном. За столом — большого размера военный с двумя «шпалами» в петлицах — майор. Меня, зареванного и униженного после допроса и двухчасового содержания в примыкающем к кабинету темном чулане, снова допрашивает майор:

— Говори, кто тебя послал фотографировать дом? Этот? Этот?

Через пелену слез я смотрю на шевелящиеся в его руках фотографии незнакомых мужчин и реву.

— Пока не скажешь — не выпущу! Сдохнешь в карцере! Сядь! Встань!

Милиционер больно дергает меня за шиворот... Сквозь слезы я слышу за дверьми женский крик. В кабинет, отталкивая милиционеров, вбегает мама. Плача, она падает на колени, ползет к майору и пытается целовать руку. Майор отталкивает ее.

— Единственный сын! Отпустите!.. Видит Бог, он не виноват!.. Всю жизнь буду молиться за вас!..

(До нас с сестрой Ниной у мамы было еще трое детей, но все они умерли в голодовку восемнадцатого—двадцатого годов).

— Заставь своего выродка признаться. Пусть скажет кто, отпустим.

И снова у меня перед глазами мелькают безликие на одно лицо фотокарточки 9×12.

— Ну, сынок, ну скажи, тебе ничего не будет!

Мама прижимает меня к себе. Появляется еще милиционер. Меня вырывают из маминих рук, и я уже реву во весь голос. Я не знаю, что мне говорить, что от меня хотят:

— Дядя! Я больше не б-у-у-ду!

Мне страшно еще и потому, что мы — мелюзга огромных коммунальных квартир — наслышаны друг от друга и от взрослых про разные «страсти-мордасти», как ночью приезжают «черные маруси», забирают из квартир женщин и увозят их куда-то, где они всю ночь моют полы, залитые кровью, как ловят и расстреливают шпионов. В Александровском парке мы пугливо обходим наглухо заколоченные двери павильона «Грот» (недалеко от памятника Стерегущему, сегодня там кафе «Грот»). Мама рассказывала, что в восемнадцатом году там расстреливали буржуев, а сейчас по ночам расстреливают шпионов. Недавно в темном коридоре нашей квартиры на дверной ручке повесился работавший в Смольном сын старой алкоголички — «Бухводички». Говорят, «допился до чертиков». Мы, квартирные огольцы, пугаем друг друга этими чертями и со страхом обходим ту ручку...

Да, так за что же меня забрали в милицию, «репрессировали»?

Этот день, как и большинство ребячих дней рождения, начался радостно. Мама подарила мне давно обещанный фотоаппарат «Пионер» со штативом и кассетами 6×9. Мы с квартирным другом Юркой сразу выскочили на парадный двор, расставили штатив, я накрылся черной тряпкой, протянул руку: «Юрка, давай кассету!» Тут меня кто-то больно схватил за запястье и завернул

руку за спину: милиционер! Рядом с ним сыщик! Мы фотографировали «секретный объект» — дом, в котором жили не только мы, но также партийное и советское руководство Ленинграда!

Юрка смылся и, петляя по дворам, через черный ход вернулся в квартиру:

— Борьку взяли!

В квартире начался переполох. На кухне затопили печь и жгли «крамольные» книги. Ждали обысков и арестов. Но моя «сорочка» все уладила. Мы с мамой благополучно вернулись домой.

Теперь, читатель, остановись на минутку на углу Кронверкской и Большой Пушкарской около нашего дома 23/59. С него, чуть по-года, начнутся мои рассказы о Блокаде и о Войне. А пока что несколько слов о доме, ибо он этого стоит.

НАШ ДОМ

Наш дом — ленинградский аналог московского «Дома расстрелянных» («Дома на набережной»).

Наш дом огромный. Скорее это не дом, а жилой квартал, занимающий территорию между Кронверкской улицей и Кировским проспектом, где значится под № 26/28. Дом построен в 1913—1914 гг. братьями Бенуа — архитектором, инженером и художником — по последнему слову тогдашней техники и принадлежал Российскому страховому обществу. Дом до революции имел автономные электро- и радиостанции, котельную, паровое отопление, лифты красного дерева, во все квартиры подавалась холодная и горячая вода, кухни были снабжены холодильными камерами и невиданными до войны газовыми плитами. На парадных лестницах дежурили швейцары и лежали ковровые дорожки. Отдельные квартиры площадью по 200—300 кв. м заселялись чиновниками высшего ранга. Например, наша 35-я квартира принадлежала члену Государственной думы Раевскому — отцу известного пушкиниста Раевского, в 60—70-е годы написавшего «Когда портреты заговорят» и «Портреты заговорили». Весной 1920 года, как рассказывала мама, в нашу квартиру позвонил высокий худой юноша и просил со слезами: «Мне ничего не надо, разрешите взять только мою библиотеку, мои книги...» Новые жильцы — рабочие завода «Красногвардеец» и рады были бы отдать книги, но они все уже «сожглись» в огромной коммунальной плите на кухне — единственном теплом месте квартиры, ибо в зиму 1919—1920 гг. паровое отопление в доме не действовало.

После революции чиновники исчезли, а их апартаменты на верхних этажах плотно заселили рабочие заводов Петроградской стороны: Логензибена, Михельсона, Кибеля, Макса Гельца, Печатного двора и др. В бельэтаж же въезжала сформировавшаяся к началу 20-х годов партийная и советская элита. По нашей лестнице на двери кв. 26 (второй этаж) я помню долго висевшую медную дощечку: Зиновьев Григорий Евсеевич (Овсей-Гершен Аронович Апельбаум, с ноября 1917 по март 1926 г. бывший «мэром» Петрограда—Ленинграда. Расстрелян в 1936 г.) Этажом выше в кв. 28 жил революционер Цыперович, успевший вовремя (в 1932 г.) умереть, и поэтому с почестями похороненный на Поле жертв Революции.

После того как исчез Зиновьев и умер Цыперович, наша 3-я парадная, расположенная в правом («плебейском») крыле дома, захирела. Из вестибюля исчезло огромное зеркало, с парадного марша — ковровая дорожка, из дворницкой — большая семья швейцара. Парадные же левого крыла, а также соседнего дома № 21 постепенно стали возрождать дореволюционный лоск. Там заработали лифты, вновь появились зеркала и ковры, а входящих с поклоном встречал швейцар в золоченой ливрее. По обе стороны Кронверкской прохаживались «сыщики» и дежурили милиционеры. Именно у этих парадных в 1937—1939 гг. чаще всего по ночам скрипели тормоза «черных марусь». Из нашей половины дома взрослые со злорадным любопытством и страхом смотрели на внезапно пустевшие квартиры советских «нуворишей». Но «свято место пusto не бывает», и вскоре там на окнах появлялись кружевые занавески новых хозяев, неведомыми путями пробиравшихся к лакомому пирогу. Вряд ли кто-нибудь из них переезжал в наш дом с мыслями о всеобщем равенстве, братстве и социализме, не говоря уже о коммунистических идеалах. Там «правила бал» кровавая борьба за власть. В разные годы в нашем доме поселялись и уезжали на расстрел практически все «сталинские мэры» Ленинграда: И. Ф. Кадацкий (1930—1937, расстрелян в 1938 г.), В. И. Шестаков (1937, расстрелян в 1938 г.), А. Н. Петровский (1937—1938, расстрелян в 1939 г.), П. С. Попков (1939—1948, расстрелян в 1950 г.), П. Г. Лазутин (1948—1949, расстрелян в 1950 г.).

Как жили люди за «кружевными занавесками»? О чем думали, ложась спать в чужие пастели? Об этом они пишут редко и мало. Не есть ли их исковерканная Сталиным жизнь своеобразной «карой Божьей» за уничтожение тысяч (!) первоначальных собственников квартир нашего дома? А жизнь их была несладка. Так например, известный геолог М. М. Ермолаев, поселившийся в нашем доме в середине 30-х годов, в своих «Лагерных воспоминаниях» пишет: «Ночь, шестое июля 1938. Мы — это я, моя жена Мария

Эммануиловна, старший сын, шестилетний Алеша, и младший, совсем крохотный (год и пять месяцев) Миша. Около двух часов нас разбудил резкий звонок. Мы с женой вскочили, как по команде, посмотрели друг на друга, и одна мысль — я понял это по выражению ужаса на ее лице — пронзила нас: ОНИ. Да, и собственно, кто еще мог прийти в эту пору? (Репрессированные геологи. М.—СПб., 1999. 428 с.).

С тех лет я хорошо запомнил фамилию Прохоров.

В 1938 г. это был высокорослый холеный оболтус-новичок, появившийся в нашем 5^т классе 5-й школы Петроградского района (угол пр. Карла Либкнехта и ул. Красных Зорь). Его отец получил очередной раз освободившуюся в нашем доме квартиру с балконом на третьем этаже, прямо над 8-й парадной (кв. 108). Мы подсматривали из-за угла: когда Прохоров возвращался из школы, швейцар в ливрее вставал и распахивал перед ним двери. Вскоре Прохоров исчез.

В книге «На Аптекарском острове», посвященной истории завода «Красногвардеец» (Ганчиев, 1967) на с. 177 упоминается «революционный вожак заводского партийного коллектива, в 20-е годы председатель райсовета Петроградской стороны Сергей Прохоров». Не этот ли Прохоров, повоевав с басмачами и кулаками, в середине 30-х вернулся к родным пенатам, чтобы быть здесь расстрелянным? А что это было именно так, опосредованно свидетельствует мемориальная доска на нашем доме и информация, помещенная в «Огоньке» (№ 40 за 1989 г.). Из этих материалов следует, что в 1939 г. в квартире 108, где раньше жил Прохоров, поселился председатель Исполкома Ленгорсовета Попков, который и жил там до ареста и расстрела в 1950 г... Для них путь из нашего дома был один: арест, тюрьма, лагерь или расстрел.

Возможно, Прохоров-отец сейчас реабилитирован, а Прохоровы получили все «льготы невинно пострадавшего». Все может быть. Прохоровы, появляясь «из грязи в князи», первым делом окружали себя подхалимами и отгораживались ливрейными держимордами от недавно себе подобных людей. А этих людей я тоже помню: бежавшие от голода из деревень в рваной, много раз латаной одежде из «чертовой кожи», в «колодках» (брзентовые ботинки на деревянной подметке), они мостили булыжником под асфальт нашу Кронверкскую. Асфальт варили в больших круглых котлах, смонтированных в печи, а потом укатывали либо паровыми катками, а чаще вручную, впряженаясь в каток, как бурлаки на Волге...

Двадцать два двора нашего дома — это целый мир. Особенно мы любили нашу «девятку», куда выходили черные лестницы квартир правого крыла дома и окна коммунальных кухонь. «Девятка» в те годы чаще других дворов становилась сценой для кон-

цертов бродячих музыкантов, шарманщиков с попугаями и свинками, циркачей с обезьянами, цыган с медведем, закованным в цепь, и др. Тогда открывались окна всех шести этажей и дом смотрел, слушал, хлопал в ладоши, а потом по мере возможности зрителей и таланта артистов одаривал их завернутыми в бумажку или тряпочку медяками.

Регулярно наведывались сюда и мастеровые: точильщики, стекольщики, паяльщики и др., а также обязательный в те годы «шурум-бурум» — огромный с редкой бородой страшный татарин-старьевщик. Он вывозил на середину «девятки» большую тележку и громовым голосом кричал: «Тряпки посуду покупам разный шурумбурум!», а потом ходил по квартирам. Большая передняя нашей квартиры при появлении старьевщика превращалась в страстную барахолку. Хозяйки на все лады, не стесняясь, чехвостили «басурмана-татарина», который обкрадывает их и за бесценок скапает еще совсем хорошие вещи. А он молча и деловито перебирал обноски и устанавливал цену. Мы в это время болтались под ногами у мам и бабушек, выклянчивая тяжелые темно-медные пятаки «на ириски». Маковые ириски (на копейку пара) продавал китаец, сидевший около будки дворника Николаича. Будка стояла у калитки в парадный двор, который на ночь закрывался большим ключем. У китайца был большой лоток, где кроме ирисок, магнитом притягивали нас яркие бумажные вееры, расстегай и прочие ребячье ценности. Николаич, естественно, был нашим злейшим, но по сути дела добрейшим врагом. Его метла часто прохаживалась по нашим тощим задницам, и когда, я помню, бабушка при регулярных коммунальных перебранках считала целесообразным кого-то из оппонентов отправить к Николаю Чудотворцу (известная в Петербурге психиатрическая больница), то мне это представлялось: «К Николаичу доторцу» — страшнее кошки зверя нет.

Раннее-раннее утро в доме начиналось с прихода тяжело нагруженных бидонами молочниц-чухонок. Молоко на телегах привозили из Парголово. Там жили «чухны-парголовские». Потом начинали гудеть заводы: подъем! (ведь часы в те годы были редкостью). Каждый гудел по-своему. Первой далеким визгливым дискантом нарушала тишину «Дунькина фабрика» — завод Кулакова, чуть позже басил «Светоч». Нас мама не будила до третьего гудка Дуньки (она первая начинала работу). Те же заводы все вместе гудели в «минуту молчания» — день памяти Ленина. Тогда на улицах останавливались трамваи и замирали прохожие. Следили за этим строго. Но ритуал продержался недолго, ибо преемнику Ленина было не до него.

Туманно, но помню, как на масленицу с окрестных деревень приезжали чухны на вейках — впряженных в розвальни и разукрашенных цветными лентами низкорослых чухонских лошадках. Мама катала нас с Ниной, крепко прижимая меня к себе (вероятно, мне было лет пять, не больше). Стоило катание «рицать копек».

Наша рабочая петербургская семья попала в «дом на Кронверкской» в 1918 г. на волне «экспроприации экспроприаторов», поскольку мама в то время работала на «Казенном заводе медицинских приготовлений» (потом завод «Красногвардеец»), а отец воевал где-то на севере в составе Петроградского рабочего батальона. Предки бабушки когда-то пришли в Петербург из Галича на поденную работу, и довольно быстро поднялись до уровня известных на Васильевском острове строительных подрядчиков. В 17 лет бабушка сбежала из дома с «соблазнителем», который вскоре запил. Пошли дети. Нужда гоняла семью с места на место и, наконец, опустила в городскую клоаку — Новую Деревню, в то время полуцыганское, сплошь деревянное и непролазно-грязное поселение на правом берегу Черной речки. Дед работал на заводе Логензибена, был «закладным пьяницей» и прихожанином Сампсониевской церкви. Пьяницы делились на три категории: «закладной», «записной» и «горький пропойца». Церковь, как могла, боролась с пьянством. Закладной пьяница — тот, кто добровольно (или по настоянию жены) приходил в церковь, писал на бумажке обязательство перед Богом не пить неделю-две и закладывал записку за икону. Безграмотные могли записаться в специальную церковную книгу (записной пьяница). Как рассказывала бабушка, дед выдерживал срок, но потом наступал запой. «Горький пропойца» — это уже полное горе семье. Помните, у Есенина: «Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя, не видя, умереть...».

Среди родителей и предков отца в основном выделялись низшие чины Царской армии. Дед имел Георгиевский крест за Шипку. Все они были прихожанами Сампсониевской церкви.

Если по маминой линии, кроме русских, в роду никого не было, то про отца этого не скажешь. Были там украинцы, белорусы и даже чухны. Как рассказывал отец, родители на все лето отправляли его под Нарву к бабке-чухонке. Там деревенские русские ребята дразнили его:

Митэ сана перккала
За веревку тэркала,
А веревка оборвалась.
Митэ сана...

Мама, после окончания двух классов Новодеревенской каменной школы, построенной народниками для детей Новой Деревни, была отдана «в услужение» богатому дяде, убежала от него, помогала бабушке «стирать господское белье», в семнадцать лет пошла работать в литографию Кибеля (угол Кронверкской и Ружейной,



13 сентября 1928 г.

Бабушка по маме — Анна Васильевна Цветкова (1872—1942), похоронена в могиле блокадников на Серафимовском кладбище, я, сестра Нина (род. 1922 г.), отец — Михайлов Михаил Михайлович (1893—1963), похоронен на Серафимовском кладбище.



1918—1919 гг. (?)

Бабушка по отцу — Анна Иссидоровна Михайлова-Волынкина (1876—1919) с моим старшим братом Сашей (1916—1919) незадолго до их смерти летом 1919 г. Похоронены на Серафимовском кладбище.



1920 г.

Мама — Варвара Николаевна Михайлова (1897—1968), отец, недавно вернувшийся с Северного фронта (Северная Двина, бои против английского оккупационного корпуса). Похоронены на Серафимовском кладбище.



Начало века.

Смена караула Императорской гвардии у памятника Николаю I. Судя по рассказам отца, слева мой прадед — Исидор Волынкин. Похоронен на Смоленском кладбище.

сегодня — АО «Типография им. Ивана Федорова»). Судьба ее как будто списана с запрещенных в те годы «кирпичиков»:

На окраине где-то в городе
Я в рабочей семье родилась,
И девченко горемычною
На кирпичный завод нанялась.

Перво времечко было трудно мне,
Но потом, поработавши год,
За веселый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод.

На заводе том Сеньку встретила
И как только заслыши гудок,
Руки вымою, побегу к нему
В мастерскую, накинув платок.

Тут пришла война буржуазная,
Озверел и озлился народ,
И по камешкам, по кирпичикам
Разобрали мы этот завод...

Ну, кажется, хватит, пора переходить к войне. Или нет. Расскажу еще один эпизод из жизни нашего дома — и все.

Мне, вероятно, лет 6—7. Киров еще жив. Он живет в нашем доме, но со стороны ул. Красных Зорь, 26/28. Часто все ленинградское начальство после работы на машинах подъезжает к дому 21 по Кронверкской, и оттуда Киров идет в сопровождении нескольких человек к себе через проходные дворы, т. е. через наш мир. Огольцы постарше договариваются, кто будет выпрашивать у Кирова «на конфеты», а то и «на хлеб». В те годы попрошайничество, по крайней мере в нашей среде, не считалось зазорным. Жили мы небогато: булка — только к чаю (один батон или хала на всех), сахар — по выдаче каждому и т. д. В нашей семье были бабушка, мама, сестра и я. Киров давал. Среди нас ходил рассказ, как Киров однажды дал «целый рупь». Я обычно оказывался на задах дворовой компании, но все же однажды, осмелев, пристроился к идущей группе «начальников», выбрал среди них Кирова (который повыше и поважней), забежал сбоку и с замиранием сердца выпалил: «Дядя Киров, дай рупь» — «Пшел вон отсюда! Какой я тебе Киров!» Настоящий Киров то ли шел впереди, то ли его вообще не было. Мое знакомство с Кировым, к сожалению, не состоялось.

На выпрошенные деньги мы покупали «сен-сен» в аптекарском магазине на Большом, рядом с булочной «У Лора», а когда «фартило», то и монпансье у «Иван-Иваныча» (продуктовый магазин наискосок от Лора).

Хотел на этом кончить. Но, коль скоро рассказал о неудачном знакомстве с Сергеем Мироновичем, то волей-неволей просится на язык поведать о его соратниках — других жильцах нашего дома, а точнее, той половины, где селились и, не задерживаясь долго, убывали в небытие партийные и правительственные «отцы города 30-, 40- и 50-х годов».

Большинство из них репрессировано и расстреляно, т. е. проиграло в свирепой борьбе за власть. Но все, кто больше, кто меньше, успевали вкусить свою толику «сладкой жизни», царившей в левой половине «дома на Кронверкской» и сохранявшей комфорт и роскошь ее первых обитателей.

«Только в 49—50 годах в Ленинграде арестовали и осудили к смертной казни и длительным срокам тюремного заключения более 200 партийных и советских работников, а также их близких и дальних родственников» (Бережков. Внутри и вне «Большого дома», 1995). Я не удивлюсь, если узнаю, что многие из них жили в нашем доме.

Итак, кто же они — ныне реабилитированные временные жильцы нашего дома — эти политические однодневки времен сталинских репрессий? Сегодня, после чтения хлынувшей на страницы газет и журналов «разоблачительной» публистики, я бы поделил их на три не совсем равные «половины».

ПЕРВАЯ «ПОЛОВИНА» — революционеры царских времен. Люди одержимые, идеалисты, шедшие на каторгу ради воплощения своих благородных в основе идей создания общества всеобщей справедливости и благоденствия. Эти революционеры, глубоко веря в силу человеческого разума, способного покорить и преобразовать Землю, творили по принципу: «Не ждать милостей от Природы! Взять их — наша задача!» А многие: «Железной рукой заставить людей войти в социализм!» Только сейчас, на восьмом десятке жизни нашего общества, для советских людей наступает прозрение: человечество — часть Природы, и переделать его столь же сложно, как изменить среду нашего обитания, точнее говоря, невозможно. Все, созданные до сих пор умами человеческими теории различных «социализмов» (от утопического, через национал-социализм, до «перестроичного»), находятся в вопиющем противоречии с естеством человека и поэтому обречены на погибель. В это не могли поверить революционеры-идеалисты, в это до сих пор не хотят верить марксисты-материалисты.

В конечном счете революционеры царских времен, захватив власть в семнадцатом году и сев в министерские кресла, перегрызлись в борьбе за право создать общество по своему идейному

замыслу, и к середине 30-х годов один за другим, каждый по-своему, ложились на илистое дно Леты.

ВТОРУЮ «ПОЛОВИНУ» составили люди, пришедшие к власти на гребне революционного вала. Это пена революции. У них не было светлых идей подвижников-революционеров. Перед глазами маячила лишь ненасытная жажда денег и власти. Как правило, они выходцы из беднейшего крестьянства — батраки и бедняки, либо деклассированные люмпен-пролетарии. Заняв места царской элиты, никто из них уже не хотел возвращаться назад в беспросветную деревенскую бедность. Да и не могло быть этого возврата. Отказ от борьбы при создавшейся системе означал отказ от жизни. Платить приходилось дорого: предавали матерей, отцов, детей, жен, по первому приказу рвали на части друзей, лизали задницы палачам... Ничего святого!.. Бога нет!.. Оставались лишь животные чувства пищи и секса («сладкой жизни»).

Может быть я сгущаю краски?

Как-то мне попались на глаза воспоминания двоюродной внучки Николая Чаплина — Генерального секретаря комсомола СССР (тоже одно время жившего в нашем доме), опубликованные в журнале «Смена» (№ 15, 1988). Его судьба характерна для второй «половины», поэтому я позволю себе несколько подробней остановиться на ней.

Николай родился в 1902 г. в семье многодетного священника из захудалого прихода Смоленской епархии. В 1917 году, бросив учебу в реальном училище Смоленска, он «с головой ударился в революцию». Вскоре пришла головокружительная карьера: в 20-м — председатель Смоленского комитета комсомола, в 21-м — секретарь губкома в Тюмени; оттуда Николай был направлен в Москву секретарем «Цекамола», в 24-м он уже «Первый», а затем Генеральный секретарь Комсомола.

В 1928 г., как «скромно» пишет внучка, Чаплин «простился с комсомолом, с друзьями определился на торговое судно и помощником кочегара отбыл в Европу». Чёрт-те что! Это Генеральный-то секретарь ВЛКСМ! Кочегарство, вероятно, не подошло Николаю. В начале 30-х годов он становится Председателем Всекопита СССР, как пишет внучка, «руководит общественным питанием страны». Как неудавшийся кочегар «руководил», свидетельствуют сегодня обнародованные архивные материалы о гибели в 1931—1932 гг. от голода миллионов (!) его сородичей.

В 1932 г. Киров сказал: «В Ленинград скоро приедет отличный работник». И «в огромном доме на Каменноостровском проспекте (это все тот же наш дом — Б. М.) поселился Николай Чаплин — начальник политуправления Мурманской ж. д.».

В июне 1937 года уже Сталин сказал: «Пора тебе, Чаплин, выходить на большую дорогу». Через несколько дней этой дорогой оказался путь на Лубянку, куда его, начальника Юго-восточной ж. д., доставили ночью 29 июня и вскоре там же расстреляли...

В восемнадцать лет Чаплин писал: «Я горы готов свернуть». И он действительно «ворочал горы», не замечая, а, может быть, и не думая о гибели миллионов людей, населявших их.

Не хочу, но иногда ловлю себя на крамольных мыслях: а что было бы, если б Сталин периодически не отправлял на тот свет зарвавшихся нуворищей? Ну, может быть, не надо было их расстреливать, но изолировать от общества социально опасных монстров, подобных Чаплину, Жданову, Кузнецова, Ежову, Попкову и иже с ними, безусловно было необходимо. Пусть бы «ворочали горы» Верхоянского хребта на Колыме, Яне, Индигирке. Ах нет, их, как мух клейкая бумага, манили к себе апартаменты «большого дома на Кронверкской».

Сегодня чаплины — герои. Они — «невинно пострадавшие», репрессированные. На памятник им в банке России открыт счет. По обе стороны нашей 3-й парадной дома 23/59 по Кронверкской улице повесили мемориальные доски в честь никогда не живших там Попкова и Кузнецова, «белые одежды» которых залиты кровью полутора миллионов действительно невинных младенцев, детей, женщин, стариков, голодом умерщвленных в блокаду. Подумать только, что же творится? Царь Ирод, издавший указ об умерщвлении нескольких десятков младенцев, которые появились на свет в день рождения Христа, стал именем нарицательным изверга рода человеческого, а этих нелюдей возводят в ранг героев!! Но об этом мои рассказы впереди.

ТРЕТЬЮ «ПОЛОВИНУ», также весьма многочисленную, составляют сородичи первой и второй. Эти не менее азартно играли в кровавые игры сталинизма, но, будучи более беспринципными, изворотливыми, предусмотрительными, а может быть, просто везучими, оказались в выигрыше. Сегодня, чтобы остаться на плаву, они пытаются влиться в общий хор хулителей сталинизма. Обратите внимание, что они пишут: «Мы жили, как слепые и глухие...», «...мы не знали.», «мы твердо верили, что все решения Сталина мудры и справедливы...», «...мы были загипнотизированы...», «...мы не представляли...» «мы... мы... мы...»

Сейчас у них Сталин — исчадие ада, а тогда...

«Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!..»

Ведь никто из них, ни С. Михалков, ни К. Симонов, ни А. Твардовский, ни жившие в нашем доме Ал. Прокофьев, Н. Черкасов, Д. Толстой и многие другие не хотят искренне рассказать, как они подымали руки, отправляя на каторгу, расстрел себе подобных, чтобы не лишиться благ «дома на Кронверкской».

Да, это было. И я помню, как мы — дворовая мелюзга, с вожделением поглядывали на сытые окна «начальников», откуда иногда нам бросали куски хлеба и даже булки. Особенно почему-то запомнилось, как из окна второго этажа (окно во двор двумя этажами выше, там, по 8-й парадной, в войну поселился маршал Говоров) холеная дочка очередного «руководителя» бросала нам огрызки ананасов и шкурки бананов. Мы, стыдно говорить, дрались за них и догрызали... Кто жил в этой квартире? Кто вырос из этой дочки? Не она ли пишет воспоминания о своих невинно осужденных и сегодня реабилитированных родителях? Недавно на этом месте поставили гранитный столб с большой головой Шостаковича, тоже успевшего пожить в нашем доме, но с первой парадной.

Кому же построят будущий мемориал?

«Так кого же мы возьмемся защищать в «трудном прошлом»? Тех, кто играл? Или тех, кто вопреки и наперекор всему не проиграл? Тех, кто из доносов и процессов лепил пирамиду карьеры, культа и зарабатывал очки? Или тех, кого — как потом выяснилось, совершенно неоправданно (!) — положили в основание этой пирамиды?» (А. Афанасьев).

Не укладывается в голове, как можно сегодня одевать в белые одежды, например, начальника управления кадров ЦК ВКП(б), члена оргбюро ЦК ВКП(б), ведавшего в конце 40-х годов подбором кадров, куратора работников Госбезопасности (по сути главного кадровика СССР) А. А. Кузнецова, расстрелянного вслед за Попковым в 1951 году, и при этом говорить, что он ничего не знал и не ведал о злодеяниях Сталина?

Во главе с такими руководителями наша страна — мы — вошли в ВОЙНУ.

Хватит! Я не о том взялся писать.

Моя война поделилась примерно на пять равных по времени частей: I. Ленинградский геноцид. II. Эвакуация. III. Ташкентское пулеметно-минометное училище. IV. Фронт. V. Эпилог. Записки я писал около тридцати лет. Все время хотелось что-то добавить, найти очевидцев, встретиться с потерявшимися фронтовыми друзьями, услышать их мнение, что-то уточнить. Поэтому координата времени местами оказалась нарушенной. Но ведь я и не задавался целью строго следовать хронологии. Главное — ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ИСКРЕННОСТЬ В ЕГО ИЗЛОЖЕНИИ.

Часть I. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕНОЦИД

1. Короткое вступление. 2. Война пришла. 3. Жизнь в Блокаде.

Глава 1. КОРОТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Я читаю «Блокаду» Чаковского, мемуары Жукова, Конева, Малиновского, романы Симонова, Эренбурга, Полевого... рассказы «фронтовых писателей второй волны» — Бондарева, Бакланова, Гринина, Копелева..., и меня временами охватывает безысходное чувство сожаления, что Блокада, Война дойдут до потомков через людей, не знавших настоящего голода, не ходивших в штыковую атаку, не давивших в осенней слякоти жирных окопных вшей, а тех, кто прошел блокаду среди «нужных», и войну — за спинами пехоты.

Кости пехоты — основы нашей армии во время войны — разбросаны по огромным полям сражений. Именно она, пехота, «несла свободу порабощенным народам Европы». Ту социалистическую свободу, от которой эти народы освобождались долгих полвека. А сотни тысяч блокадников плотными рядами уложены в погребальные траншеи Пискаревского, Серафимовского и других блокадных кладбищ. Они своей смертью доказали горькую правду, кощунственно сказанную в 1941 г. крупнейшим ученым в области питания профессором Цигельмайером в записке Гитлеру: «Люди на таком пайке жить не могут». Сегодня, в пору гласности, фарсейски звучат слова писателя-«фронтовика» Гр. Бакланова: «По его, Цигельмайера, рекомендациям уморили голодом в блокадном Ленинграде сотни тысяч мирных жителей» (Литературная газета, 16.01.85).

Уважаемый Григорий Яковлевич, кто морил и как морили?
МОРИЛ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ. МОРИЛ СОЗНАТЕЛЬНО И НА ВЫБОР.

Сколько же ленинградцев погибло в Блокаду?

В «Трудах Нюрнбергского процесса» (т. 1, с. 584) значится цифра 632 253 (такой точности может позавидовать современная

ЭВМ!). Эта цифра передана Советским правительством и получена суммированием «месячных отчетов отдела здравоохранения». Уже давно мало кто сомневается в том, что эта цифра занижена. Ведь сколько людей кануло в Лету, минуя блокадный учет (кузнецовы и попковы уже тогда пытались замести свои кровавые следы!)

Существует множество других цифр, например: «Можно считать, что от голода погибло не менее, чем 800 тыс. ленинградцев («Ленинградский реквием», Вопросы истории, XII, 1965), «...в Ленинграде и пригородах в суровое время блокады погибло от голода не менее миллиона человек.» (На защите Невской твердыни, 1965, с. 336), Пишут: «более миллиона...», «миллион двести тысяч...», «половина миллиона». Жертвами были в основном дети, женщины, старики, инвалиды — «балласт» войны, то есть те, кто не мог принимать активного участия в войне. Умирали те, кто не мог в полную силу «ковать победу». Спасать их от голода или все отдать на борьбу с фашизмом? Такого вопроса не стояло. Решения Комитетом обороны принимались единогласно. Оставшиеся в городе ленинградцы были приговорены к медленной и самой мучительной из смертей — ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ. Комитетом обороны — и, я подчеркиваю, **абсолютно сознательно**, здесь не может быть двух точек зрения — жизнь была обещана только армии, рабочим оборонных объектов, милиции, партийному и советскому аппаратам с их семьями. Прочим: детям, старикам, больным, женщинам — иждивенцам, служащим было предложено выживать кто как может, «без гарантии».

В самые страшные дни декабря 1941—января 1942 гг. из Москвы один за другим шли приказы о вывозе из Ленинграда дефицитных стратегических грузов. Гранин в беседе с Косыгиным, руководившим тогда эвакуацией из Ленинграда, задал ему сакральный вопрос: «Как выбирали, что вывозить раньше — людей или металл, кого спасать?...». «И людей вывозили, и оборудование. Одновременно» — ответил Косыгин (Запретная глава, Знамя, № 2, 1988)

А если поточнее, то это выглядело так.

В январе 1942 г. из ГКО пришло очередное указание: срочно отправить из Ленинграда 300 тонн дефицитного металла. Косыгина была прекращена эвакуация детей и самолетами вывозили металлы. Арифметика здесь простая:

300 тонн = 300 000 кг делим на 20 кг (вес блокадного ребенка) = = 15 000. Пятнадцать тысяч детей дополнительно легли в погребальные траншее Пискаревки.

РАЗВЕ ЭТО НЕ ГЕНОЦИД?

В книге английского журналиста А. Верта «Россия в войне 1941—1945 гг.», (1967) со ссылкой на А. В. Каравеса сказано: «Несмотря на блокаду, из Ленинграда были переброшены по воздуху в Москву 1000 артиллерийских орудий и значительное количество боеприпасов и другого снаряжения».

В ноябре 1984 г. на полке библиотеки курорта Цхалтубо мне попалась книга Д. В. Павлова, уполномоченного Государственного Комитета Обороны по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда. Д. В. Павлов — тот человек, которому было поручено провести в жизнь это чудовищное решение. Естественно, потом, уже в мирное время ему не раз приходилось отвечать перед разными аудиториями (а может быть, и перед своей совестью?) за совершенные преступления: ведь удушить голодом миллион своих, казалось бы, близких тебе советских людей — это, я думаю, пострашнее, чем сбросить атомную бомбу на вражескую Хиросиму. Там погибло сразу только 130 тысяч человек. В книге в свое оправдание он приводит стереотипный ответ, который очень уместно здесь процитировать.

Собственно Павлов говорит не сам, а сначала, как ширмой, отгораживается ленинской цитатой:

«Когда речь идет о распределении продовольствия, думать, что нужно распределить только справедливо, нельзя, а нужно думать, что распределение есть метод, орудие, средство для повышения производства. Необходимо давать государственное содержание продовольствием только тем служащим, которые действительно нужны в условиях наибольшей производительности труда, и если распределять продовольственные продукты, как орудие политики, то в сторону уменьшения тех, которые не безусловно нужны, и поощрения тех, кто действительно нужен». Далее говорит Павлов: «Эти слова, сказанные В. И. Лениным много лет назад (на Третьем Всероссийском продовольственном совещании в 1921 году) при иных обстоятельствах и в другой обстановке, полностью себя оправдали и в условиях смертельной схватки с врагом в 1941 году» (Павлов Д. В. Ленинград в блокаде, 1967).

Почему-то мне кажется, что даже Ленин, прочитав такое кощунство, перевернулся бы в гробу.

«...если бы не помочь авиации, — добавляет далее Павлов, — то умерло еще больше». К этому можно добавить: если бы не Дорога жизни, то умерли бы все мирные жители Ленинграда, и Павлова, как я понимаю, ничто не остановило бы в выполнении решения ГКО, ибо ТАК УЧИЛ ЛЕНИН.

Сегодня я ни в коей мере не собираюсь обсуждать, и тем более осуждать решения сталинского ГКО. История все рассудит. МОЯ ЦЕЛЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ (ОСОБЕННО МОЛОДЕЖИ) НА ВСЮ СУРОВОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ НАШЕЙ ВОЙНЫ.

Массовый геноцид в ленинграде зимой 1941—1942 гг. по интенсивности и количеству жертв не может идти ни в какое сравнение ни с каким известным в истории человечества уничтожением огромных количеств беззащитных детей, женщин, стариков и больных самой мучительной и длительной голодной смертью!

«Геноцид армянского народа, предпринятый турками в 1915—1920 гг., привел к уничтожению двух миллионов армян. Результатом кровавого трехлетнего разгула преступной клики Пол Пота в Камбодже в 1976—1978 гг. явилось уничтожение красными кхмерами трех миллионов человек. «Фабрика убийств», как пели Освенцима, работала без выходных дней» (Правда, 9.12.88 г.).

Давайте сравним все это с тем, что происходило в Ленинграде в зиму 1941—42 гг.

За все время существования фашистских «фабрик смерти» (т. е. с 1939 по 1945 г) «зверски замучено и уничтожено» (газета «Правда», 13.09.87):

Освенцим	4.000.000;
Майданек	1.380.000;
Треблинка	800.000;
Маутхаузен	122.000;
Заксенхаузен	100.000;
Равенсбрюк	92.000;
Бухенвальд	56.000.

Посмотрите. Самая большая цифра — 4 млн в Освенциме (кстати, она многими оспаривается). Но даже, если это и правда, то под Освенцимом в литературе понимается весь комплекс немецких концлагерей, разбросанных по юго-западным областям Польши (Аусштейг — типа нашего микроголага). Аусштейг объединял 11 концлагерей, из которых только пять имели печи (крематории). Иначе, четыре миллиона надо сначала разделить по крайней мере на пять и только после этого сравнивать с Ленинградом.

Таким образом, уничтожение людей в Освенцимских лагерях шло со средней скоростью 300 000 человек за полгода. В Ленинграде за те же полгода (с ноября 41-го по апрель 42-го) умерло полтора миллиона! Что же касается других немецких «фабрик смерти», то по количеству и скорости уничтожения жертв их просто неприлично сравнивать с Ленинградом. Например, известный на весь мир Бухенвальд, где ежегодно собираются его узники и установлены различные мемориалы, меньше тысячи человек в месяц. В Ленинграде в конце января 1942 года бывало до 20 тысяч трупов в день!

Потери в наших последних войнах также не идут ни в какое сравнение с Ленинградской блокадой: Афганистан — 15 тысяч; Чечня — 4 тысячи, т. е. в сумме меньше, чем умирало в Ленинграде за один день (столько поляков было расстреляно в Катыни).

Гибель полутора миллионов ленинградцев в сегодняшней официальной прессе изображается, как фатальная неизбежная жертва, принесенная Победе. Альтернативы этому у ГКО не было. Я попробовал сделать такой, вероятно в чем-то дилетантский, расчет.

Миллион умерших с голоду. Чтобы их оставить в живых, достаточно было каждому добавить к блокадному пайку полкило хлеба. Или 300 граммов муки.

1 000 000 чел. × 300 г = 300 000 000 г (или 300 тонн муки ежедневно). Транспортные самолеты того времени поднимали по 4 тонны: $300 : 4 = 75$ самолетов вылетов в день. Если даже создать аэродромы за 50 км от фронта, то при интенсивной работе можно сделать по 10 вылетов в день, летая только над нашей территорией без посадки, проводя прицельное сбрасывание контейнеров с мукой: $75 : 10 = 8$ транспортных самолетов.

При желании можно было, вероятно, выделить не восемь, а в десять раз больше — 80, организовав их загрузку и заправку. Смогли же немцы годом позже создать «воздушный мост» в сотни километров через вражескую для них территорию, чтобы снабжать свою трехсоттысячную армию питанием, горючим, боеприпасами в Сталинградском котле.

Но, как пишет Павлов: «Массовая переброска продуктов самолетами в тех условиях была дорогой мерой...». Правда, при этом он не поясняет, в каких единицах шло измерение «дорого—дешево».

Безусловно, могли быть предложены и другие пути спасения ленинградских детей, женщин, стариков, заключавших в себе заметную часть генофонда русской нации, поколениями накапливавшегося в столице Российской империи и зимой 1941 г. обреченного на гибель. Расскажи, например, правду о состоянии дел в октябре—ноябре 1941 года, и я уверен, что нашелся бы Данко, который вывел бы людей из голодных джунглей города. Ведь от Ленинграда до Ладоги 40 км, и там еще по воде до жизни 20.

Здесь дело не в этом.

Сегодня Павловы и иже с ними любят цитировать первую часть директивы гитлеровского командования от 7.10.41, повторяющей приказ фюрера «не принимать капитуляции Ленинграда, а позднее — Москвы». Беженцев из Ленинграда, говорилось в приказе, «во избежание заноса эпидемий, следует отгонять огнем, если они

только приблизятся к немецким позициям...» Продолжение этой директивы звучит так: «но всякое бегство отдельных лиц на восток, через небольшие бреши в блокаде, должно поощряться, поскольку оно может лишь усугубить хаос в Восточной России». (А. Верг. Россия в войне 1941—1945 гг., 1967).

Но ленинградское руководство (Жданов, Косыгин, Кузнецов, Полков и др.), не желая хаоса, действовали согласно другим директивам. Индивидуальная эвакуация из Ленинграда строжайше прекратилась. Никто не хотел получить 2,5 миллиона голодных беспомощных людей в тылу страны, напрягающей все силы на борьбу с фашизмом: «Не вносите дезорганизацию в работу тыла! Тихо умите на местах!» И ленинградцы умирали...

В официальной версии это выглядит следующим образом: «Эвакуация населения началась еще в период работы Ледовой дороги. 6 декабря 1941 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление начать с 10 декабря эвакуацию населения из Ленинграда по трассе Ваганово—станция Зaborье, доведя число вывозимых людей к 20 декабря до 5000 человек в сутки. В постановлении предусматривалось создание на трассе перевалочных и питательных пунктов, установление норм питания эвакуированных и решение других вопросов. Однако 12 декабря 1941 г. (т. е. через два дня! — Б. М.) Военный совет фронта постановил «отложить эвакуацию впредь до особого распоряжения» (Ленинград и Большая земля. 1975).

Особые, более скромные распоряжения с грифом «сов. секретно» неоднократно издавались в 1942 году, но документально их выполнение ни разу не подтверждалось («Ленинград в осаде». Сборник документов, 1995).

Глава 2. ВОЙНА ПРИШЛА

Экзамены за 8-й класс кончились. Мы, семеро шестнадцатилетних подростков, решили впервые в жизни без родителей уехать одни, пароходом до Ладоги. Волнения... сборы... кто-то еще отвоевывает свое незыблемое право на самостоятельность, но вдруг: «до 10 июня билетов не будет. По Неве идут военные грузы и никаких гражданских рейсов»... 15 июня — проезд на Ладогу закрыт. На баржах везут солдат и технику. Ну и пусть!

Впереди каникулы, лето. Привольное дачное житье. Дачу в Пудости в селе Кямяря снимал отец для нашей мачехи с ее маленьким сыном Сашкой, мною и сестрой Ниной.

22 июня детская дачная компания днем, как обычно, «гоняла в лапту». Ждали взрослых, чтобы ставить рюхи. И вот со станции

идет отец (он в то воскресенье работал свехурочно) «Война с немцами!» Взрослые сразу как-то изменились, посуворели, собираются в кучки, что-то говорят... Еще несколько раз бьет битка. И наша игра расклеивается. Настроение взрослых передается нам. С того вечера мне врезались в память слова отца: «Если немец пропадет, то с севера, из Финляндии, поэтому вам лучше оставаться на даче». (Немцы вскоре придут с юга и сожгут нашу Кямяря в начале сентября).

На следующий день все пошло кувырком. Мы с дачным другом Костей (он был старше меня и уже успел окончить школу) пошли гулять как-то по особому, «по взрослому». Первый раз в жизни (и последний) я услышал от него откровенно взрослые слова: «Ты знаешь, а мне страшно, ведь там сейчас убивают». Мы сидели на земляничной полянке. Кругом блаженная тишина, в голубом небе высоко бегут и бегут пушинки облаков. Костя знает, куда они бегут. Он уже видит войну. Тело его может быть подсознательно чувствует близкую смерть. Оно молодое и очень хочет жить... Через несколько дней Костю призовут в армию. Он уйдет со слезами обреченности, а еще через месяц его мать будет исступленно кричать над похоронкой, размахивая прядями растрепанных волос. Костю убили уже в первом бою, где-то в Эстонии.

Для меня же война еще долго оставалась интересным волнующим событием.

Школьники старше восьмого класса должны явиться в школу. К концу июня дачи опустели. В городе началась интересная полная романтики жизнь: затемнения, тревоги, бывают зенитки... У меня коллекция осколков, я их меняю на гильзы и пр. Мы, уже девятиклассники и десятиклассники, ходим в школу на дежурства, таскаем на чердаки песок, воду, а во время тревог смотрим за небом. Нас учат тушить зажигательные бомбы — «зажигалки».

На ночное дежурство назначается группа из 5—6 учеников во главе с учительницей. Я попадаю в группу Марии Александровны Малининой — нашей «франсэ». Она из старых дворянок. Во время бодрствования Мария Александровна старается научить нас играть в преферанс. ... Тревога! Я бегу на крышу с Валей Рощиной. Валя со своей подругой Мусей Шайкевич пришла в наш седьмой класс из балетного училища. 14—15 лет — это тот возраст, когда на уроках физкультуры мальчишки может быть еще подсознательно, но начинают разбираться, что красиво и что некрасиво. Я лезу за Валей по узкой железной лестнице и впервые вижу ее ноги значительно выше колен... Но лестница коротка и уже виден темный грязный чердак. Мы пробираемся к чердачному окну. Небо в огнях. Лихорадочно рыскают прожекторы, летят

очереди трассирующих пуль, в портовой стороне ярко разгорается пожар. Пламя вихрем выбрасывает в небо столбы искр. Невидимый дым заслоняет звезды и зловеще расползается по черному небу. Где-то высоко ловится надрывный гул немецких самолетов — идет бомбёжка. Там сотрясаются дома, люди охают в бомбоубежищах. А рядом со мной стоит Валя... При каждом взрыве бомбы замирает душа, «сосет под ложечкой», а я все-таки молю немцев, молю небо: ну бросьте хоть парочку зажигалочек, я могу, я хочу тушить их здесь, на глазах у Вали! Но небу не до меня. Оно все дрожит от разрывов бомб, воя пуль. Там далеко и поэтому непонятно для меня пирует смерть. «Пойдем, пойдем отсюда. Я боюсь,» — прикасается ко мне Валя. Я последний раз с тоской гляжу на небо. Неподалеку с крыши дома в районе Пушкинской взлетают ракеты: красная—зеленая, красная—зеленая. Это немецкие лазутчики (настоящие!) корректируют бомбометание... Я бегу за Валей. Уже в коридоре нас застает торжественный и будто победный голос диктора: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»

Днем мы участвуем в эвакуации детей. Должны ехать все до седьмого класса включительно. Детей уже отделили от родителей. Они жмутся к стенке. Многие плачут. Среди них я вижу Женьку Хейна из нашего класса. Он стоит с узлом, испуганный, вот-вот заплачет. Я не здороваюсь. Как можно сейчас уехать? Дома о эвакуации никаких разговоров. Бабушка сказала, что лучше умрет здесь, где родилась, чем уедет куда-нибудь (через несколько месяцев она это и сделает).

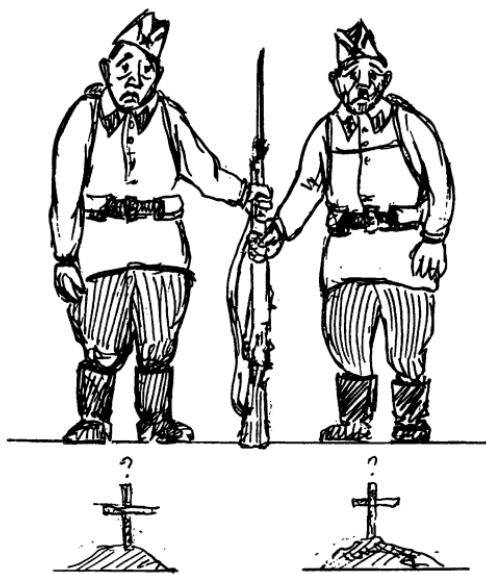
С 18 июля ввели карточки. Но продукты еще продавались по более высоким ценам в открывшихся коммерческих магазинах. Дома все робкие разговоры о необходимости запасать продукты сразу разбивались о нехватку денег. Работала одна мама. Ее зарплата машинного печатника с разными «сверхурочными» составляла около 700 рублей. Бабушка и я были «у нее на шее». Сестра Нина ушла на курсы медсестер. Она на казарменном положении.

Постепенно пропадали продукты в коммерческих магазинах. Становилось все хуже и хуже с едой. Однажды к нам заглянул отчим — дядя Коля. Он записался в народное ополчение. За ополченцем сохранялся среднемесячный заработка, который он оставил маме. В июле дядя Коля ушел на фронт и вскоре пришло письмо из госпиталя, а дней через десять он пришел сам. Дядя Коля был ранен легко в руку (убили его только в 1942 году подо Ржевом), а в начале августа он принес первые рассказы из первых уст. Ополченцев послали в Эстонию. Одна винтовка на двоих. Чтобы стрелять, надо было ждать, когда убьют напарника. Немцы же воору-

жены до зубов и патронов не жалеют. Наши солдаты шли с голыми руками против танков, орудий, самолетов... Немцы гоняются по полю на самолетах за каждым солдатом и бьют, бьют, бьют, сея смерть и уныние. Настроение у него подавленное, рассказывает

только шепотом, «чтобы не услышали», ибо на борьбу с «паникерами» были направлены большие силы ленинградских «органов».

Пошли похоронки. Убит Толя — мой двоюродный брат, прошедший всю финскую войну, убиты, ранены какие-то дальние родственники, которых в Ленинграде у нашей исконно городской (петербургской) семьи было много. Вокруг говорят... шепчутся... Но меня все это еще прямо не касается. Люди стали нервнее, подозрительнее, часто сверх нормы. Началась «шпиономания», подогреваемая официальной печатью и радио о необходимости ловить немецких лазутчиков. Немецкая «пятая колонна» в Ленинграде в начале войны действительно



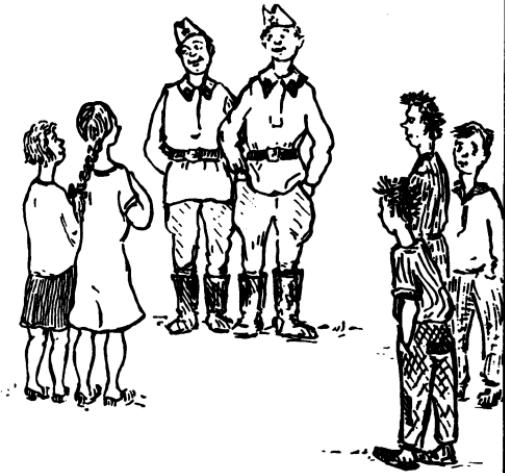
Начало Отечественной войны, лето 1941 г.

Одна винтовка на двоих.

Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

была сильна. Кроме того, в тыл засылались вооруженные группы немецких солдат, которые сеяли панику среди напуганного безоружного населения, в основном женщин, детей, стариков. Раздавать оружие гражданским лицам никто не решался, да его и не было в достаточном количестве даже у солдат.

Из десятиклассников — семнадцатилетних мальчишек — создавались «истребительные батальоны». Я помню, в школу, вероятно, в самом конце июля, пришли несколько наших мальчишек на два года старше меня, одетых в новенькую с ярко-красными нашивками «истребителей» форму. Чуть позже их батальон попадет в засаду и почти весь останется там. А пока они смущенно и гордо улыбаются, рассеянно кивают по сторонам. Мы с завистью глазеем на «истребителей», а они поверх наших голов выискивают знакомых девчонок. Девчонки восхищенно таращат глаза... Это все, чего мальчишки могли добиться на «женском фронте». В ночь



Июль, 1941 г.

«Истребители» — пятиклассники 5-й средней школы Петроградского района, призванные в армию и зачисленные в истребительный батальон для борьбы с немецкими диверсантами.

Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

они ушли, чтобы умереть, ни разу не почувствовав женских губ и объятий.

«Шпионов» ловили пачками. Чуть похожие на немцев по несколько раз попадались в руки не в меру бдительных горожан. Хорошо, если не изобьют до милиционера, а если на голове шляпа, обязательно кто-нибудь бросит: «Раз в шляпе — значит, шпион!». Ведь не надо забывать, что население предвоенного Ленинграда чуть ли не на половину состояло из бежавших из деревень крестьян.

Все жившие в Ленинграде немцы, а их было немало, подлежали насильственной эвакуации под надзором милиции. Помню, на работу пришла бухгалтер вся в слезах. Она получила повестку выехать в 24 часа. Женщина была русской, но с оставшейся от далеких немецких предков фамилией. Все ей сочувствовали, но молча. Забегая вперед, скажу, что какими-то путями оставшиеся в Ленинграде «русские немцы», вроде моего школьного приятеля Нонки Гансена, первыми гибли от суровых испытаний, не имея ни сочувствия, ни поддержки среди людского окружения. Подозрительность и отчужденность среди людей в то время было легко гипертрофировать. Почва этому готовилась всеми предшествовавшими войне волнами репрессий, «черными марусями» и расстрелами «без суда и следствия».

Но ловили и настоящих шпионов.

Воздушная тревога! Я стою у окна родной квартиры на пятом этаже. В ночном небе, невидные, гудят немецкие бомбардировщики. В квартире почти никого не осталось. Все спустились в бомбоубежище. Не скажу, что мне не страшно. Нет, просто бравада, авось...

Ударили первые зенитки. Их резкие, будто харкающие металлом хлопки забивают идущий волнами противный вой самолетов. Самолеты кажутся над домом. Сейчас завоют бомбы..., «сосет под

ложечкой»... И вот с чердаков ближайших и дальних домов со стороны Пушкарской и от Ситного рынка летят ракеты почему-то в сторону Петропавловской крепости. Одна, другая, третья... Это немецкие шпионы-ракетчики направляют бомбовые удары. Шпионов пытаются ловить, но в кромешной темноте это трудно.

ОДИН РАЗ Я ВИДЕЛ

Его волокли с чердака вниз по лестнице, всего изодранного и окровавленного. Это был «фезеушник», деревенский, еще совсем ребенок (в школы ФЗО принимали с четырнадцати лет). Он плакал навзрыд, размазывая по лицу слезы, сопли и кровь. Сердобольные

женщины не дали озверевшим мужикам забить его до смерти. Сквозь просиявшие причитания он рассказал, что какой-то «дядя» дал ему ракетницу и сказал, что если он залезет на чердак и будет пускать ракеты, то получит консервы и ботинки... Другие продавались за большую плату.

Первые хлебные карточки я получил в школе. Они были «ижидивенческие». Как-то пришел школьный друг Ленька Вольфсон и сказал, что его отец-аптекарь может принести гематоген, вита-



На Большой Пушкарской поймали «ракетчика-корректировщика немецких самолетов».

Рисунок В. Д. Скульского, 1980.

мин «С» с глюкозой и еще что-то съедобное. Нужны деньги. Я сказал маме. «Конечно бери, и как можно больше». Все это стоило копейки. Пока шли разговоры, Ленька смог принести только три бутылочки. Все съедобное стало быстро исчезать из аптек.

Повестка

Здравствуйте! 16 ~~июля~~ ¹⁶ перед вами
мобилизационный приказ оставляет
ваше на трудовую яч-
ейку сроком
на 12 дней. С собой
брать: несущую воду, погоду, ~~и~~
пакеты и одежду, много
по возможности ~~и~~ крепкое
продуктовое ~~и~~ не ~~одево-~~
гивается с 100 днём работы
сбор 30/VI в Здесе днёв
в 10^м школе.

Начальник на работу назначен
по закону военного времени

Директор школы АВ

Конец июля 1941 г. Ксерокопия повестки на оборонные работы.

23 июля я получил повестку о мобилизации на оборонные ра-
боты. Это была романтика. Я бегал в школу узнавать, куда, когда,
как? Собирались ехать далеко, под Лугу. Но отправка 9-х классов
тридцатого июля была отложена. Как раз в это время мама вела
сложные переговоры об устройстве меня на работу в литографию.
Дело в том, что мне было только 16 лет, а работа, на которую
меня оформляли (подручный станкового печатника), счита-

лась вредной. Наконец, где-то в начале августа меня оформили в литографию картлаборатории Географо-экономического НИИ при Ленгосуниверситете им. Бубнова. Мама там работала машинным печатником. Литография помещалась в правом одноэтажном флигеле старинного особняка графа Бобринского (Красная улица, 60). В самом особняке, в его парадных залах, помещался Географический музей с огромным чучелом бурого медведя перед входом. С этого времени я стал получать рабочую карточку и зарплату (кажется, 300 рублей).

Еще идет август. Но восьмое сентября, когда будет накрепко замкнуто кольцо блокады, не за горами. Немцы обошли «Лужский рубеж» и рвутся к городу с юга. Обо всем этом я узнаю только после войны, поэтому пока что вокруг меня все безоблачно. Я прихожу в литографию в костюме (подарок отца), переодеваюсь, убираю одежду в шкафчик и начинаю крутить ручку станка. Командует мною станковый печатник — молодой парень Федоренко. Он кончит плохо. Уже в блокаду, где-то в ноябре, вместе с машинным печатником — алкоголиком дядей Мишой они вечерами будут оставаться и печатать продуктовые карточки. Дядю Мишу расстреляют, а Федоренко будет убит на фронте в штрафном батальоне.

Но все это будет потом, а пока что дядя Миша по утрам приносит бутылочки с политурой, заправляет их солью и вешает под таллер — все время движущуюся взад-вперед тележку с камнем на литографской машине. Бутылочки весело тарахтят, а к обеду вся растворенная в политике дрянь осаждается на дно. И дядя Миша благоговейно вкушает «порцию» спиртного.

Война постепенно входила в нашу жизнь сменой тематики. Если в начале августа наши хромолитографы по инерции еще были заняты составлением абриса шишкинских медведей в лесу, то сейчас пошли аляповато скроенные агитплакаты:

Как взовьются балтийские соколы,
Как нацелятся с разных сторон,
Только перышки с неба высокого
Полетят от фашистских ворон!

В конце августа поступили заказы от Ленгорисполкома на различные противопожарные плакаты, а в сентябре литографией полностью завладели военные. Многие плакаты мы уже печатали под надзором вооруженных командиров Красной Армии. Для выполнения таких заказов мы иногда оставались на сверхурочную работу.

Мне шестнадцать лет и я, согласно приказу, с отрывом от производства прохожу «курс боевой подготовки красноармейца» при физкультурной кафедре университета.

«Одним длинным — коли!», «Одним коротким — коли!». И я со всем молодым пылом стараюсь поглубже засунуть штык деревянной винтовки в соломенное чучело улыбающегося «фрица»...

Мои друзья собираются в школу, в девятый класс. Нашу 5-ю среднюю школу переоборудовали под госпиталь. Они будут учиться в школе на углу Рентгена и Льва Толстого. Я очень хочу туда, но нужна рабочая карточка и деньги. Я уже взрослый и не могу сидеть «на шее у мамы». Договорились, что Ленька Вольфсон и Гошка Ягичев будут по телефону диктовать мне домашние задания, а я буду учиться по учебникам. Они ушли...

И вот первый приступ грусти. Как будто улетела стая, а я остался. Вечер. Темно. Я иду мимо нашей школы. Она незнакомая, темная. Только мелькнет из-за штор испуганный огонек и



10 сентября 1941 г.

Школьные друзья. Мы фотографировались, не зная, что кольцо блокады уже замкнулось. Слева **Илья Крон** (1925 — 1990). Выберется из блокады раньше меня. В 1943 г. уйдет на фронт солдатом пехоты — пулеметчиком. Будет тяжело ранен. Потом долгие скитания по госпиталям. Возвращение домой. Гидрометеорологический институт. Белое море. Камчатка. Антарктида... (Умер в 1990 г.)

Гошка Ягичев (1925 — 1943). Уйдет на фронт солдатом пехоты. Убит на фронте.

Я. Инвалид войны второй группы по ранению.

Ленька Вольфсон. Родившись на год позже нас (в 1926 г.), на фронт не попадет. В январе 1942 г. уедет из Ленинграда. В Ташкенте окончит 10 классов. Затем Московский авиационный институт. Работает главным конструктором в «закрытом» институте в Санкт-Петербурге.

сразу исчезнет. Школа непривычно пахнет карболкой. Из санитарных машин выносят раненых...

...Но настоящая война все еще сторонилась меня, окружая лишь острыми щекотливыми событиями. На работе я получил повестку «ехать на окопы» под Стрельну. Сбор был назначен во дворе университета. Я ушел, не сказав маме (сбежал), и уже рано утром сидел во внутренней галерее «Двенадцати коллегий» и читал «Войну и мир», обязательное внеклассное чтение для 9-го класса. Прибежала вся в слезах мама и увела меня. Я был очень огорчен. Работать на окопах, спать на земле было куда романтичней, чем крутить ручку станка... Только в конце сентября мы узнаем, что из этой группы никто не вернулся назад: немцы прорвались к Финскому заливу через Стрельну, и шли они вдоль выкопанных ленинградцами окопов.

В начале сентября в саду Госнардома горели американские горы. Из нашего окна были хорошо видны огромные языки пламени, закрывавшие шпиль Петропавловки, уже покрашенный в серый цвет. Там, в Госнардоме, или рядом, в Зоологическом саду, в начале 30-х годов мы часто болтались с квартирным другом Юркой, «мотая» школьные уроки.

Юрка был на год или на два старше меня. Он последним из их семьи умрет от дистрофии в декабре. Замерзший Юркин труп долго будет лежать в закрытой дальней комнате нашей квартиры среди постельных тряпок, пропитанных поносными испражнениями и покинутых вшами.

А пока что наши карманы топорщатся от гильз и осколков. Мы хвастаемся друг перед другом своим бесстрашием во время бомбёжек и рассказываем слышанные истории про шпионов и «фрицев».

Но август, теплый летний август клонится к концу. Березы давно прыснули желтыми слезинками. Листья лип, которые весной сорок второго года я буду с жадностью жевать и петь из них лепешки, сейчас стали темными и жесткими. В коммерческих магазинах с ночи выстраивались длинные хмурые очереди ленинградцев, еще помнивших голодовку восемнадцатого—двадцатого годов. Помню, как одно время в коммерческом магазине, что был напротив нашей школы, часто «выбрасывали» залежальные галеты. Там же продавались мороженое, газировка. На Площади Труда однажды мы с мамой «попали на яйца». Была давка. Но денег у нас оказалось мало... Цены на хлеб на рынке упрямо лезли вверх. С нашей зарплатой рынок стал недоступен. Однажды, возвращаясь с работы, на углу проспекта Горького и Гулярной я увидел большую очередь: какой-то здоровенный детина из бочки продавал за деньги (8 рублей за килограмм) квашенную хряпку. Мама ругала, почему я не купил, а я пожалел денег, которые копил на какую-то книжку.

Эвакуация шла полным ходом. Уехали наши другие соседи-эстонцы с моим квартирным другом Гольди (Рейнгольд Карлович Покк). Он на год младше меня. Его отец, директор телефонной фабрики «Красная заря», уже в эвакуации на Урале добьется отсрочки призыва в армию своему единственному сыну, но в 1946 году в Эстонии Гольди утонет, спасая утопающую женщину.

Заходил Виктор — тоже из нашей многолюдной квартиры. Виктор на два года старше меня. Он уже в военной форме. Виктор будет убит на фронте в начале 42-го года.

Куда-то пропал Вовка-мышка, еще один обитатель нашей квартиры. Он на два года младше меня. Мышку, умершего от голода, а может быть, просто замерзшего, потом кто-то подберет на улице около нашего дома. Из семи ребят примерно моего возраста, с которыми я рос до школы (родственники и соседи по квартире), после войны в живых останусь только я...

Не помню, чтобы в то время кто-нибудь запасал продукты. Они пропадали в магазинах быстрее, чем в сознании людей, даже самых дальновидных, возникал образ того ужаса, в который будет ввергнут Ленинград через несколько недель. Сегодня можно абсолютно уверенно говорить, что голодная смерть, по крайней мере многих десятков тысяч ленинградцев, лежит на совести тех продажных журналистов, писателей, поэтов, кто, продаваясь за лишнюю пайку хлеба, на все лады в газетах, на радио, в кино, на плакатах бессовестно лгал, держа ленинградцев в полном неведении об истинном положении дел. Вся пропаганда твердила о «скором повороте», о «празднике на нашей улице». Мы верили и ждали этого праздника. Статьи писались на таком архиэзоповском языке, что нам, мальчишкам, разобраться в нем было не под силу. Сейчас даже не верится, что можно было держать в неведении миллионы людей перед лицом их смерти. Правда, Павлов, которого я уже цитировал, придумал по этому поводу такой иезуитский выверт:

«коммунисты... вселяли уверенность в победе, призывали народ не к пассивному ожиданию помощи извне, а к мобилизации всех сил и средств в осажденном городе. Мужественно готовилось население к встрече наступающей голодной зимы.»

Скажи в то время нам: «Ребята, хотите остаться живыми, выбирайтесь из Ленинграда! До жизни 80 километров!» Но нет! Нельзя! Вопреки желанию Гитлера умирайте здесь!

Глава 3. ЖИЗНЬ В БЛОКАДЕ

Вечером 8 сентября на Ленинград был совершен один из наиболее ожесточенных налетов: как пишут, было сброшено 6327 зажигательных бомб. На следующий день я шел в университет получать зарплату. Осторожно минуя побитый снарядами мост

Лейтенанта Шмидта, повернул направо. Я смотрел себе под ноги и сочинял стихи. Почему-то поднял голову, и... на Университетской набережной толпились люди. Одни со страхом, другие с тревожным интересом смотрели в сторону Исаакия. Полнеба было закрыто черными клубящимися тучами, а на их фоне золотился еще недокрашенный серой краской купол собора. Это горели главные в Ленинграде Бадаевские продовольственные склады. Говорили, что там был трехгодичный запас продовольствия. Горели они несколько дней. Район был оцеплен и никого не допускали. В смельчаков, пытавшихся туда проникнуть, стреляли. Но с набережной зрелище было зловещее и очень впечатляющее. До сих пор помню, как мощные вихри дыма протуберанцами взлетали к небу. Огонь, полыхавший там, даже при солнечном свете окрашивал снизу дымовые тучи в серо-бордовый цвет. На душе было по-животному тревожно.

Сразу же сократили все нормы выдачи продуктов. Иждивенцы стали получать по 250 граммов, а рабочие по полкило хлеба в день. Но настоящего голода еще нет, и я не догадываюсь, что очень скоро буду сыпать в кипяток землю с этих складов, пропитанную горелым сахаром и добытую ночью на охраняемом от населения пепелище.

С фронта поступают сводки об упорном сопротивлении, оборонительных боях... Только по названиям оставляемых городов можно понять, как быстро идут немцы. В отдельные дни и недели они практически не встречали сопротивления. Но я на такой анализ явно не был способен. До меня совсем не доходила страшная опасность даже тогда, когда в сводках замелькали знакомые с детства Красногвардейск, Ропша, Дудергоф, Красное Село... Уши больше прислушивались к газетным фразам: «враг отброшен», «враг остановлен», «враг несет огромные потери»... Где-то может быть и было так, но не под Ленинградом.

К концу сентября быстро растаяли все продуктовые запасы, так или иначе бывшие в каждой семье. Именно к этому времени наша квартира, а с нами и вся масса «рядовых ленинградцев», ощутила первое, как ледяной ветер сковывающее душу дыхание голода.

Мы еще не знаем, что такое дистрофия. Люди стыдятся постоянного чувства голода. Еще не слышно в очередях отчаянных криков: «Пустите! Я дистрофик третьей степени!». Но недостаток продуктов («голодный дискомфорт») уже крепко укоренился в городе. Люди стремятся что-то достать, купить, обменять. Город, как растревоженный улей, глухо гудит, с надеждой прислушиваясь к бравурным крикам о наших победах. Появились слухи: выезжать на колхозные поля запрещено — расстрел на месте... Но все равно

где-то в начале октября оставшиеся обитатели нашей квартиры сделали несколько выездов за хряпой. Дважды брали меня. Особенно запомнилась последняя поездка. Возглавлял ее Александров — застрявший в Ленинграде учащийся партийных курсов в Смольном. Александров с женой Надькой и дурашливой дочкой Нелькой поселились в нашей квартире году в тридцать седьмом — тридцать восьмом в комнате работавшего в Смольном сына Бухвовички после того, как тот повесился (я об этом уже писал). Присутствие партийца Александрова вселяло в нас уверенность в хорошем исходе.

По утрам уже подмораживало. Одевшись потеплее и забрав мешки, мы, женщины и дети, поехали на трамвае куда-то на Ржевку или Пороховые. Несмотря на ранний час, вагон был полон такими же «мешочниками», как мы. Не доехав до петли одну остановку, мы вышли и настороженно двинулись к темневшим вдали капустным полям. Осенний ленинградский рассвет задерживался, но и в темноте была видна безнадежно пустая черная вытоптанная земля. Очень редко попадались вдавленные в землю обрывки капустных листьев. Их собирали... Прошло часа три, и мы стали поворачивать к дому. На краю поля я увидел уткнувшийся тупым носом в землю наш подбитый ястребок «Чайку». «Не ходи туда, там солдат!» — крикнула мне женщина, но я пошел, ибо вокруг самолета зеленели, — а среди них и белели! — капустные листья. Я уже набрал почти целый мешок, как из-за самолета вышел заспанный солдат с винтовкой наперевес. Я испугался и убежал. Домой принес совсем немного хряпь, спрятанной за пазухой и в карманах штанов.

Хряпу мы не квасили, а готовили из нее густую баланду — «щи».

Я РЕГУЛЯРНО ХОДИЛ НА РАБОТУ...

Вскоре начались артобстрелы. Били рядом с нашей литографией по «Судомеху» — военно-морскому заводу. Некоторые снаряды, перелетая через нас, рвались на площади Труда. Били по кораблям, стоявшим у невских причалов Васильевского острова. Свист и разрывы стали обычными (но не привычными), и мы уже не прятались в щели, выкопанные во дворе. Литографские машины продолжали работать по военным заказам, несмотря на воздушные тревоги и артобстрелы. Однажды я видел, как по Площади Труда шел обоз. Мелькнула крамольная мысль: вот бы туда рванул снаряд! И один из них «послушался». На разорванную лошадь набросились люди, не обращая внимания на убитого возницу. Свистки милиции, какие-то люди с повязками... крики... ругань и... мне ничего не досталось, кроме кровавого зрелица, от которого осталась лишь досада на опоздание.

Другой раз я опоздал к разрыву снаряда на трамвайной остановке у площади Труда. Она тогда была подальше сегодняшней, у маленького скверика напротив Новой Голландии. Ушел с работы чуть позже и застал лишь лужицы крови, остатки окровавленной одежды и обрывки бумажных денег. Вокруг никого не было, и я тщательно собирая бумажки, пытаясь сложить их в одну купюру, но... увы!

На моих глазах однажды два снаряда попали в мост Лейтенанта Шмидта. Один, пробив дыру, ушел под воду, другой угодил в решетку. Сейчас и не скажешь, что в 1941—1942 гг. решетка моста была сильно побита, не хватало многих звеньев.

В меню нашей столовой появились суп из соевых жмыхов, каша из пищевой целлюлозы, дуранды. Давали крошечными порциями, не вырезая из карточек «крупу». Можно было прикрепляться к столовой, получая что-нибудь посыпнее, но тогда надо было либо сдавать туда карточки, либо из карточек вырезали «10 г мяса», «5 г масла» и пр. Вскоре и за дурандовой кашей надо было простаивать часами. Задолго до обеда один из нас — «дежурный» — тайком от начальства уходил занимать очередь «на всех». В обеденный перерыв перед пуском в столовую (на углу Красной улицы и площади Труда) собирались все, и тут происходили бурные скандалы, доходившие до драк. Ведь в те времена советские люди еще были напуганы драконовскими наказаниями по закону, введенному в 39 или 40 году (5 минут опоздания — выговор, 20 минут — под суд). К концу сентября обедов на всех прикрепленных уже не хватало и можно было, простояв в очереди, уйти «несолено хлебавши». Столовая Дворца Труда, где питались профсоюзные боссы, отгородилась от нас глухим забором.

Интересна дневниковая запись за 11 сентября 1941 года военно-корреспондента П. Лукницкого, волею судьбы попавшего в число «действительно нужных»:

«Дома прокормиться почти невозможно. Выручают только столовые, а меня, в частности, закрытые военные, где кормят хорошо. Не всегда однако в них успеешь попасть. В общих столовых (очередь на улицах!) мясные блюда даются только по карточкам. В магазинах без карточек не купить уже ничего, кроме вина, настоящего кофе (в елисеевском «Гастрономе») и продуктов, подобных развесному хмелю» (П. Лукницкий. Сквозь всю блокаду, 1980).

ПРИШЕЛ ТРЕВОЖНЫЙ ОКТЯБРЬ

На южных подступах к Ленинграду фронт стабилизировался. Немцы отказались от штурма города и все усилия перенесли на создание второго — дальнего кольца блокады. Фронт был прорван

в районе Малой Вишеры. Немецкие части двинулись по правобережью Волхова на Бугодощь и далее в сторону Тихвина с целью перерезать железнодорожные пути к Ладоге и соединиться с финнами, которые не только вышли на Свири, но и захватили ряд плацдармов на ее левом берегу. Это была катастрофа, ибо выполнение плана «второго кольца» неминуемо означало сдачу города, или полное вымирание его гражданского населения. Естественно, ленинградцы ничего не знали. Корреспонденты, писатели, дикторы усердно за тридцать серебряников отрабатывали свой хлеб и талоны в закрытые столовые. Они на все лады, глуша друг друга, забивали страницы газет, журналов и весь эфир бравурными штампами:

«5.10.41 — ...вчера наступая на Пушкин, мы потеснили немцев, ...наши части стремятся нанести удар по Никольскому. Словом, по всему фронту армии наступаем мы, а немцы обороняются.

8.10.41 — ...Сейчас мы перешли в наступление и продолжаем теснить врага.

26.10.41 — ...Войска Невской оперативной группировки Ленинградского фронта совместно с двинувшимися навстречу дивизиями 54-й армии (находящимися за кольцом блокады) на днях начали крупное наступление в направление на Синявино с целью взять Мгу и соединиться в этом районе, прорвав кольцо блокады.» (П.Лукницкий, «Сквозь всю блокаду», 1988).

Чем ложь бесстыднее и откровеннее, тем она кажется правдивее. И мы верили.

Стало холодно. Наша большая коммунальная квартира еще в основном держалась. Из десяти семей уехало только три. Паровое отопление так и не включили. Все грелись около огромной плиты на коммунальной кухне (как в голодовку двадцатых годов). Там же готовили и незатейливую еду, каждый не отходя от своей кастрюли. Ушли в сторону буйные коммунальные ссоры. Дрова доставали сообща. В комнате я смастерил из большой железной банки печку-буржуйку, трубу вывел в вентиляционное отверстие.

Быстро пропадали голуби, бродячие собаки, за ними воробы. Только на чердаках да черных лестницах еще можно было встретить голодных кошек. Очередной раз срезали нормы. Калорийность продуктов, выдаваемых по карточкам, уже не компенсировала затрату энергии.

НАЧАЛСЯ ГОЛОД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕНОЦИД) — РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ОБОРОНЫ МЕДЛЕННОЕ УМЕРЩВЛЕНИЕ СОТEN ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН И СТАРИКОВ.

Убедительно рассказать сытому о предсмертных голодных мухах умирающего нельзя. «Сытый голодного не разумеет». Дли-

тельное голодание неминуемо ведет к психическому перерождению личности. Голод способен быстрее, чем что либо другое, превратить человека в зомби, в морального урода, все помыслы и действия которого сужаются до размера пайки, куска дуранды, горсти хряпь. Как можно, например, сегодня убедить мать, что она способна убить и съесть своего грудного ребенка? Где, в какой стране, в каком самом страшном немецком концлагере могло быть такое? Конечно, редкая ленинградская мать доходила до такого состояния, но рассудок многих сдавал быстрее, чем тело. Особенно страшен голод для человека доброго, отзывчивого, легко ранимого, человека из когорты людей, незримо создающих духовную теплоту нации. Такие гибли первыми в первые месяцы блокады, освобождая место в лучшем случае «Иванам Денисовичам», а часто многочисленному отребью подонков, способных безбедно существовать среди смрада и нечести войны. Возвращение из такого состояния равносильно возврату к жизни после духовной и клинической смерти. Человек, побывавший ТАМ, в ТОМ состоянии, был по ТУ сторону жизни. Вряд ли кто может рассказать, что он ТАМ видел. Люди умирали, глубоко замкнувшись в себе, поэтому и нет книг о ЛЕНИНГРАДСКОМ ГЕНОЦИДЕ изнутри.

Меня нельзя убедить, что кто-то в Ленинграде остался живым, питаясь только продуктами, получаемыми по карточкам. Пусть блокадник, оставшись один-на-один с собой, попробует сказать себе такое... — не скажет!

Геноцид для меня наиболее пустое место в воспоминаниях. Что я делал? Как жил? Уже после войны мама иногда вспоминала вслух, а я ловил себя на том, что совершенно не помню. Мозг, вероятно, иногда отключался, пытаясь внести свой посильный вклад в единую проблему выживания организма.

В голове не сохранилось ни одной цифры блокадных норм. Уже потом в семидесятых годах, когда стало «модно» говорить о блокаде, я заучил цифру 125 граммов хлеба. И только в 1980 году все в той же книге Павлова я встретил наиболее полный обзор норм питания жертв Ленинградского геноцида.

«Карточная система была введена в Ленинграде одновременно с Москвой 18 июля 1941 г. Основным продуктом питания всю блокаду оставался хлеб, состав которого все время ухудшался. В ноябре—декабре сорок первого года ленинградский хлеб имел такой состав:

пищевая целлюлоза — 10 %;
хлопковый жмых (дуранда) — 10 %;
обойная пыль — 2 %;
мучная сметка и вытряски из мешков — 2 %;
кукурузная мука — 3 %;

ржаная мука — 73 %.

Припек доводили до 68 %. Хлеб был на вид привлекательный, белый, с румяной корочкой. На вкус горьковато-травянистый» (Д. В. Павлов. Ленинград в блокаде, 1975).

Я вкуса хлеба не помню, но цвет его у хозяек вызывал подозрительность.

В 1975 году В. М. Ковальчуком (Ленинград и Большая Земля, 1975) были опубликованы собранные из различных источников более подробные сведения о составе ленинградского блокадного хлеба, я еще раз повторяю — основного и, практически, единственного вида еды блокадников.

«Уже с 6 сентября 1941 года при выпечке хлеба добавлялись следующие примеси. К пшеничной муке 2-го сорта — 15 % ячменной муки, к пшеничной муке 1-го сорта — 20 % ячменной муки, к ржаной обойной и обдирной муке — 30 % овсяной муки и 3 % солода.

24 сентября Исполком Ленгорсовета увеличил процент примесей до 40 %. С 8 октября было предусмотрено выпекать ржаной хлеб с введением следующих примесей: солодовая мука — 14 %, соевая мука — 4 %, овсяная мука — 9 %, ячменная мука — 4 %, жмыхи — 4 %, отруби пшеничные или ржаные — 4 %.

Чтобы уменьшить расход муки, для выпечки хлеба были использованы самые различные примеси — рисовые отруби, мучная пыль с мельниц и др. Пришлось даже пойти на то, чтобы добавлять в качестве примесей целлюлозу, использовавшуюся ранее как сырье в бумажной промышленности... Она вводилась в хлеб в количестве 20—25 %, а иногда и больше... Применение целлюлозы резко понизило питательность хлеба».

Нормы выдачи хлеба (грамм в месяц)

даты введения норм / категория карточек	18.07.41	2.09.41	12.09.41	1.10.41	13.11.41
рабочая	800	600	500	400	300
служащая	600	400	300	200	150
иждивенческая	400	300	250	200	150
детская	400	300	300	200	150

даты введения норм / категория карточек	20.11.41	25.12.41	24.01.42	11.02.42
рабочая	250	350	400	500
служащая	125	200	300	400
иждивенческая	125	200	350	300
детская	125	200	350	300

Детскую карточку получали дети до 12 лет. Потом они перешли на иждивенческое обеспечение, поэтому в наиболее тяжелом положении оказывались блокадные подростки 12—15 лет: их организм требовал значительно больше питания, нежели старческий и детский, а получали они меньше.

Прочие продукты (грамм в месяц)

вид продуктов и интервал выдачи	рабочая карточка	служащая карточка	иждивенческая карточка	детская карточка
Мясо				
с июля по сентябрь 1941	2200	1200	60 0	600
с сентября 1941 по январь 1942	1500	800	400	400
крупа и макароны				
с июля по сентябрь 1941	2000	1500	1000	1200
с сентября 1941 по февраль 1942	1500	1000	600	1200
Жиры				
с июля по сентябрь 1941	800	400	200	400
с сентября по ноябрь 1941	950	500	300	500
с ноября 1941 по январь 1942	600	250	200	500
сахар и кондитерские изделия с июля по сентябрь 1941	1500	1200	1000	1200
с сентября по ноябрь 1941	2000	1700	1500	1800
с ноября 1941 по январь 1942	1500	1000	800	1200

«Чтобы не впасть в ошибку — пишет Д. В. Павлов, — следует тут же оговориться, что мясо, включая конину, в значительной мере (а в ноябре, декабре, январе для «рядовых» блокадников полностью — Б. М.) заменилось яичным порошком, мясорастительными консервами и пр. По соответствующему коэффициенту за 1 кг мяса выдавалось:

- 1 кг рыбы, или мясорастительных консервов, или
- 750 г мясных консервов, или
- 2 кг субпродуктов, или
- 3 кг студня или растительно-кровяных зельцев, или
- 170 г яичного порошка, или

От себя добавлю, что вместо сахара иногда мы получали повидло.

Представьте себе. Ленинградский ноябрь. Вот-вот должна быть «объявлена выдача». В семье кто-нибудь все время дежурит у радио (я совсем не помню Ольгу Бергольц, но голос диктора звучит до сих пор: «Исполком Ленгорсовета разрешил...»). Выдают полумесечную долгожданную норму мяса. Женщины толпятся у магазина: «Выдаем рыбу!». Иждивенцу на весах аккуратно грамм в грамм отвешивают двести грамм... чего? Ведь у рыбы есть голова, кишки, чешуя...

Я помню эти сцены, когда отчаявшаяся мать с ребенком стоит и безмолвно плачет у магазина. Не плачет, а из нее текут слезы. Сколько надежд она только что возлагала... а на ладони кучка рыбьего мяса с костями и жабрами... «Обманули!» Но обмана нет. Столько «положено», ибо такова норма блокадного смертника, продлевавшая агонию его жизни.

Но часто и эти продукты не выдавались. Так, например, в декабре было выдано жиров (в граммах):

рабочим — 350 г (12 г в день),
служащим — 150 г (5 г в день),
иждивенцам — 100 г (3 г в день),
детям — 500 г (27 г в день).

Наиболее полные сравнительные данные по пайкам, которые получали разные категории жителей в блокадном кольце, я смог достать только для первой половины октября 41-го года, т. е. для того времени, когда ленинградцев еще только-только поделили на «тех, кто действительно нужен» и «тех, которые не безусловно нужны». Чтобы не загромождать записи чужим материалом, приведу лишь нормы для крайних групп: «военные части передовой линии фронта» и «иждивенцев внутри кольца»:

наименование продуктов	первая линия армии, граммов в день	иждивенцы (дно блокады), граммов в день
хлеб	800	200
мясо	150	} 13
рыба	80	
крупа	140	} 20
макароны	30	
комбижир, сало	30	
масло растительное	20	} 10

сахар	35	50
овощи (картофель)	500	—
соль	30	—
чай	1	—
специи	3	—
табак	10 (или 20 г махорки)	—

В армии табак можно было заменить на 200 г шоколада или 300 г сахара. В конце блокады в табак добавляли 10—12 % хмеля и 20 % кленовых листьев.

Мне хорошо запомнилось 10 октября — я зарезал первую кошку.

Дело было так. Предложил заняться кошками мой квартирный друг Юрка. План обдумали до мелочей. С утра наточили ножи, по карманам уложили тряпки и веревки. Как только начало смеркаться, пошли на черную лестницу. Она у нас была теплой, грязной и вонючей — настоящая «кошачья лестница». Кошки еще были... Спустились этажа на два, и между ног у Юрки прыснула кошка. Он погнался за ней наверх. Я медленно пошел вниз. На подоконнике второго этажа сидел большой сибирский кот и недоверчиво глядел на меня, готовый в любую минуту прыгнуть. Надо было действовать. Забыв о тряпках, я схватил кота, прижал его к раме и стал исступленно пилить ножом его горло. Кот хрюпал, судорожно вырывался и царапал мне руки. Наконец, он вырвался и шатаясь побежал вниз по ступенькам, оставляя за собой густую темнокрасную полосу. Кровь хлестала из перерезанного горла...

На лестнице уже было почти темно. Электричество в то время включали невсегда и поздно. Со лба капал пот. Руки дрожали. Они были липкими. Кровь, кошачья и моя, уже загустела, и к ней прилипла шерсть. Бежать за котом не хотелось. Я вышел во двор. Мокрый осенний снег большими хлопьями падал в черный колодец «девятки». Вокруг ни души, и только где-то рядом в предсмертной агонии бился зарезанный мною кот.

На лестницу я вернулся минут через двадцать. Кот был мертв. Он лежал на бетонном полу в луже крови с открытыми глазами. Я медленно и тщательно завертывал его в тряпки (чтобы не видела мама).

В тот же день второй была молоденькая ласковая кошечка. Она слишком поздно сообразила, что я перерезал ей горло. Жалобное мяуканье вырвалось у нее изо рта вместе с потоком крови. Она даже не оцарапала меня.

Юрка был уже дома. Мы обдирали и варили кошек отдельно. Каждый в своей кладовке. Я закрылся от мамы на ключ и втихомолку при свете красного фотографического фонаря резал кошек на куски, а затем варил на электрической плитке. Маме сказал, что проявлял фотокарточки. Потом мама конечно все узнала. Она увидела сваренные в консервной банке косточки. Брезгливо понюхала и сказала: «И это ты ешь?» Я молчал. Она отвернулась и ушла. Кошачье мясо в то время еще действительно казалось противным. Оно было красным и премерзко пахло.

Второй раз мы с Юркой пошли за кошками в конце октября. Нас встретила чужая холодная лестница. Мы вышли на «девятку» и перешли на другую сторону — тоже пусто... Часа два я охотился. Кошки еще были, но они сразу убегали на чердак. Я добыл только одного кота почему-то с веревкой на шее. Он еле ходил и почти не сопротивлялся. Когда я заворачивал его, то сбоку подкрался другой кот и стал жадно лизать лужу крови.

В октябре в основном закончилась поляризация ленинградцев на «нужных» и «ненужных». Проходила она болезненно. У людей еще были силы бороться. Мало кто соглашался с решением ГКО и переходил в категорию смертников. Внешне еще все казалось по-старому, но на улицах, в очередях нет-нет да и вздергивали людей дикие срывы, уродливые проявления животного голода... Помню возвращался на «шестерке» с Васильевского острова. Напротив Подрезовой около кинотеатра «Свет» трамвай резко затормозил. Впереди в окружении обычных зевак мать, истерически причитая, укладывала на рельсы своих укутанных в платки детей. Те, ничего не понимая, хныкали и цеплялись за полы ее пальто. Только старший лет пяти-шести паренек тихо скучил: «Ма-а-а-м, дай хлебца!» ...Люди смотрели молча, и лишь за их спинами нетерпеливо дренькал трамвай.

Это было в октябре, а «до 1 декабря все владельцы служебных собак получали на них паек». Это я прочитал у поэтессы В. Инбер — жены директора 1-го медицинского института (Почти три года. Ленинградский дневник, 1946). Служебные собаки для ГКО, естественно, были нужнее.

12 октября 1941 года писатель П. Лукницкий записывает в дневнике:

«Ездил вчера в Союз Писателей... Какая-то старая переводчица истерически раскричалась, объявив, что «зарежется бритвой на этом самом месте», если ее не прикрепят к столовой... А обед состоял из воды с чуточку мелко накрошенной

капусты, двух ложек пшеничной каши на постном масле, да двух ломтиков хлеба и стакана чаю с одной конфеткой.»

Обратите внимание, как военный корреспондент — писатель П. Лукницкий, получавший военный паек, т. е. оставленный по эту сторону жизни и смерти, с чувством скрытого пренебрежения характеризует столовский обед и само поведение отчаявшейся женщины. Ему невдомек, что этот обед уже в те дни соответствовал почти полному дневному рациону блокадного смертника. Такое бездушное, без единой ноты сострадания к умирающим от голода людям в октябре только зарождалось среди «нужных» и в ноябре—декабре широко распространилось в городе.

Или вот еще дневниковая запись В. Инбер за 21 ноября 1941 года:

«На площади Льва Толстого. Старуха. Упала во тьме, и шарит в темноте свои иждивенческие стограммовые карточки».

Поэтессе («нужной») невдомек, что эти «стограммовые карточки» — та соломинка, за которую держится старуха. К этому я еще вернусь. А пока что приведу дневниковую запись другого писателя — тоже «нужного» — Льва Успенского (Военные дневники, Нева, 1987, № 2):

«26 октября 1941 года. Возвращались с ужина... Пристала собачонка... Взяли себе... Пошли в каюту (главным образом, за хлебом песику)».

Бедный песик! А как же дети на трамвайных рельсах? Или он их не видел? Я не хочу сегодня осуждать Л. Успенского. Но так было: «нужные» отторгали изгоев-смертников, ускоряя их гибель.

Институт Академии медицинских наук СССР еще до войны разработал нормы питания, необходимые для жизни советского человека:

взрослые, калорий в день	дети, калорий в день	
(в зависимости от вида работ)	от 1 года до 12 лет	от 12 до 16 лет
3000—5000	1000—2000	2400

А вот так выглядела калорийность продуктового пайка ленинградца после октябрьского снижения норм питания:

рабочие	дети до 12 лет	служащие, иждивенцы
около 1500	около 1000	менее 1000

Без «приварка» это была катастрофа, которая неминуемо кончалась дистрофией и смертью. Но в октябре «приварок» еще был у большинства жителей.

«ЗАКОННЫЙ» — в виде наспех собранных в первые дни войны запасов, жидких столовских обедов, талонов на различное «спецпитание», продажи или обмена на рынках и «барахолках» своих вещей, посуды, мебели, семейных ценностей. Наконец, пока вокруг ходило много «сытых», оставалась возможность «сходить в гости», попросить, выклянчить съедобное, либо, на худой конец, покопаться в отбросах.

«НЕЗАКОННЫЙ» — одновременно всколыхнулось в Ленинграде огромное море незаконных деяний, начиная со спекуляции, перепродажи продуктов, их воровства, и кончая аферами с подделкой документов на получение продуктов и грабежами.

В октябре все «нужные» и еще многие из приговоренных к смерти продолжали ощущать жизнь. В филармонии шли концерты, артисты, писатели, музыканты выступали по радио, зрительные залы театров и кино не пустовали. На афишных тумбах под тревожными плакатами, призывающими укреплять оборону и помочь фронту, еще виднелись остатки расклеенного в сентябре стихотворного послания акына Джамбула ленинградцам:

«...Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья,
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!»

К концу месяца усилились морозы. Пришла настоящая лютая зима.

Ноябрь и декабрь в Ленинграде — самое мрачное время года. К городу вплотную подступает полярная ночь. С Атлантики ветры нагоняют промозглую хмару, которая холодит души, застилает и без того чуть скользящие вдоль горизонта солнечные лучи. И сейчас-то, в мирное время, ленинградской зимой не хочется вылезать из постели, а тогда... выбираться из-под вороха тряпья в стылую голодную жизнь...

Город невольно погружался в спячку. Но хорошо спать, когда ты сырт. Голод гнал многих отчаявшихся наружу, на мороз, и они медведями-шатунами появлялись на улицах. Поползли страшные слухи об убийствах, грабежах, людоедстве... Возникали банды, стало опасно ходить вечерами, особенно возвращаться из продовольственных магазинов, около которых тебя могли поджидать безнадежно голодные бродяги.

Казалось бы, целых два месяца, но от них остались только отрывочные воспоминания. О ноябре Д. В. Павлов пишет так: «...наступило тяжкое мучительное время, и кто не пережил его,

тому трудно иметь точное представление о нем.» Это верно. И поэтому не Вам, Дмитрий Васильевич, понаслышке писать о том, что делали ленинградцы-смертники, чтобы выжить. Разве не кощунственно звучат строчки, миллион раз повторенные в изданиях Вашей книжки: «...ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой...» Какие грачи водились в мерзлом и темном ноябрьском Ленинграде? На каких собак можно было охотиться в ноябре?

В ноябре свет стали отключать все чаще, и мы с мамой, посидев немного с керосиновой лампой, старались быстрее залезть в холодную постель, чтобы как-то согреться. Разговоры были только о еде. Сводки с фронтов проходили стороной. Они были неутешительные. О войне говорили мало и только в связи с Ленинградским фронтом. Я сейчас никак не могу припомнить, чтобы хоть раз я или кто-нибудь из окружения подумал о приходе немцев. Заботы были другие — более низменные, земные: где бы достать поесть. ВОКРУГ БЫЛИ ТОЛЬКО ЛЕД ДА КАМЕНЬ.

Ждали ли мы прихода немцев, чтобы кончилась война? — Нет. Я ни разу не слышал: «Хоть бы пришли немцы!» Было одно: «Ну когда же наши начнут наступать?» Радио слушали только в надежде на наше наступление: вот завтра... вот завтра... И, конечно, не пропускали ни одного сообщения Ленгорисполкома «о нормах», «о пайках». Все остальные радиопередачи, которые в сегодняшней прессе трактуются как «подымавшие боевой дух ленинградцев» (выступления О. Бергольца, В. Инбер, музыка Шостаковича, стихи Н. Тихонова и др.) проходили мимо. Они предназначались для «нужных». Мы же медленно погружались на дно — в темноту погребальных траншей, уже копавшихся экскаваторами на будущих блокадных кладбищах.

Зима в тот год пришла рано. 10 октября лег первый снег, и я не помню, чтобы он уходил...

«С 20 ноября ленинградцам в пятый раз были урезаны нормы продовольствия. Рабочие стали получать по 250 граммов, служащие, иждивенцы и дети — по 125 граммов суррогатного хлеба. Кончилось топливо, остановился городской транспорт, вышел из строя водопровод, погасли в домах электрические огни. От истощения люди стали умирать. В ноябре было подобрано около двенадцати тысяч трупов, а в декабре почти в пять раз больше» (Блокнот агитатора. 31, 1982). Это только «бесхозных», подобранных на улицах! 9 декабря перестали подавать ток. Остановились трамваи. В квартирах погас свет...

Утром мама встает раньше меня и в полной темноте кипятит чай (т. е. кипяток). Мы съедаем по кусочку хлеба, иногда погрызаем дуранду или еще что-нибудь и идем на работу. Темно. Холодно. Мы пересекаем Пушкискую и по Подковыровой выходим на Карла Либкнехта. На Васильевский трамваи не ходят. Сплошным потоком

в обе стороны по трамвайным путям и по панелям идут голодные люди — сумрачные, серые, сосредоточенные. Тихо. Только шаркают многочисленные подошвы. Ни ругани, ни разговоров. Осталось в памяти, как видение: около Гребецкой упал человек на грязный снег панели. Ему не встать. Он пытается кричать, но крика нет — лишь какое-то тоскливо-мычание. Он царапает коченеющими пальцами следы еще живых людей, пытается привстать. К нему никто не подходит. Толпа в сплошной темноте двумя еле живыми змеями обтекает его. Все идут на работу — там рабочая карточка, там жизнь. В этой толпе мы с мамой плетемся через Тучков мост, по Съездовской линии, затем сходим по аппарели на Неву, след в след обходим завешанный маскировочными сетями крейсер «Киров», который стоит, прижавшись к набережной, где-то в районе современного Дворца бракосочетаний. Главное подняться по обледенелым скользким ступеням на набережную и не упасть. У меня мама, которая мне обязательно поможет, а у кого нет? Около спуска на Неве прорубь, к ней с саночками ходят за водой люди из соседних домов. Вода и лед. Напоминанием об опасности уже второй день у подъема лежит труп старика с кружкой в замерзшей руке. Ему никто не помог. Сейчас каждый останавливается у подъема: не будет ли он последним? Мы помогаем друг другу. Дальше уже проще: через площадь Труда и по Красной улице. С работы мама уходит раньше, а я к обеду на ракшиле натираю кору, которую заблаговременно сдираю с каких-то поленьев во дворе (вероятно, с осины, ибо береза, ель, и сосна не съедобны). Затапливаются общая печка, на сковородке я разминаю взятый с собой кусочек хлеба, мешаю его с корой, добавляю сколько можно олифы, все это прожариваю и, забравшись в дальний угол станкового цеха, съедаю.

Олифа пахнет олифой и отрыгается прогорклым постным маслом. Часа через два из общего чайника все пьют кипяток, каждый в отдельности, заправляя его кто чем может. Большинство пьет с глицерином. Олифа и глицерин — необходимые ингредиенты литографской технологии тех лет. В ноябре они уже становились «дефицитом» и выдавались со склада под строгий учет и только «на производство». Чай с глицерином пили, сторонясь соседей.

В нашем цехе из мужчин, кроме меня, еще регулярно приходят два старичка-хромолитографа. Один, высокий усатый, скоро умрет. Другой, маленький толстенький, останется жив, и мама его увидит после войны. Он приспособливается: всюду узнает, что где едят, что где можно достать, постоянно прячет что-то за пазухой и подозрительно смотрит вокруг. Усатый же безучастно глядит в лупу на озверелые морды плакатных фашистов. Иногда он засы-

пает, точнее, впадает в предсмертную спячку. В это время женщины со страхом шепчутся в углу. Потом кто-нибудь шевелит усатого, а он подымает голову и тупо смотрит на удаляющуюся от него жизнь. Не пришел на работу сторож — говорят, умер. Несколько дней не появлялся директор Рыжков. Все очень волновались, но ко времени составления списков на получение карточек жена принесла бюллетень. К концу месяца умерли еще двое... Мы все страшно хотим есть. Мы тупеем и наш кругозор сужается... Перестала ходить на работу мама. У нее тоже бюллетень...

Иногда я иду в литографию иным путем: по Кронверкской до театра им. Ленинского Комсомола, направо по парку Ленина и дальше на Неву. Это короче. К тому же по Неве всюду протоптаны хорошие тропинки. Правда, говорят, что по парку ходить страшно (у кого-то еще сохранилось чувство страха!). Запомнилось одно холодное и черное утро в начале декабря (а может быть, в конце ноября). Я плетусь по узкой протоптанной в снегу тропинке мимо Госнардома. Слева на фоне звезд видны горелые остатки американских гор. Никого. Только вдали в густой темноте то ли стоят, то ли идут две фигуры. Впереди скамейка. На ней что-то лежит. Вокруг утоптанный темный снег. Я ускоряю, как могу, шаг, чтобы успеть быстрее тех двоих. Может быть, что-нибудь съестное? Подхожу ближе. На скамейке аккуратно сложены детские косточки. Мясо с них счищено. Залитая кровью голова почему-то упала со скамейки и валяется рядом. Досадно. Человечина у меня не ассоциируется с едой.

Где-то в середине ноября начались сильные морозы. На лестницах полопались водопроводные трубы и кое-где образовались наледи. На «девятке» в подвале остался действующим только один кран и к нему выстраивались длинные очереди. Мы с мамой чаще сидели в бабушкиной комнате, рядом с кухней, на которую оставшиеся жильцы иногда выходили что-нибудь готовить. Но квартира пустела. Скоро почти все куда-то исчезли, или, замкнувшись в себе, сидели по комнатам и не показывались в черных замороженных коридорах... Замолчало радио — последняя связь с миром, со страной, в неимоверных страданиях и усилиях залечивавшей раны первых месяцев войны.

И вот смерть подошла к нам... Таскать воду на пятый этаж, выносить парашу, где-то доставать дрова становилось не под силу. Все чаще я старался залезть под кучу разных одеял и тряпок, замереть и ждать маму. А мама... На ней были я и бабушка. Мама что-то думала, куда-то ходила, где-то что-то доставала и частенько совала мне в руку то кусок дуранды, то хряпну, то сладкую мороженую картошку, а иногда и кусочек хлеба, оторванный от своих

250 граммов. Однажды мама пришла и сказала, что договорилась со своей сестрой Сашей, чтобы бабушка жила у нее. Бабушке было уже за семьдесят, но она еще двигалась довольно бодро. Правда, иждивенческая карточка (125 граммов хлеба) уже сильно сказалась на ней. Бабушка сама без посторонней помощи спустилась вниз, как обычно перекрестилась на то место, где стояла взорванная в 1932 году Матвеевская церковь и, поддерживаемая мамой, пошла

прочь, еще не зная, что больше сюда уже никогда не вернется. В тот день мама осталась ночевать у Саши.

САША — огромная толстая Саша с вечно торчащей изо рта папиросой! — таким мне запомнился другой мой блокадный Ангел-Хранитель.

Все мы звали нашу Сашу просто Сашей, хотя она и была старшей сестрой мамы. Мама стыдила, ругала нас с Ниной, говорила, что это тетя Саша, мы послушно кивали головой... до первой встречи.

К началу войны у Саши за плечами была бурная жизнь и двое уже взрослых детей. Старший Илья служил в погранвойсках, а младшая Женя с двухлетним сыном Аликом жила при ней. В 20-х годах Саша вступила в партию. В начале 30-х уехала на Урал среди «двадцатипяти тысячников» создавать колхозы, и только незадолго до войны вернулась в Ленинград с майором. Майор скоро

Наша Саша (за тридцать?) — Александра Николаевна Алексеева, сестра мамы — мой блокадный «Ангел-Хранитель». Умерла в 1945 г., чуть не дожив до 50-ти лет. Похоронена на Серафимовском кладбище.

пропал, и мы снова днями торчали в ее безалаберном хлебосольном доме на Бармалеевой, 16. Сейчас этого дома нет. Его сломали на дрова в 1943 году. Дом был деревянный двухэтажный, глубоко вросший в землю, весь в зарослях черемухи и сирени. В его комнатах страшно скрипели дощатые полы и жарко топились печи. До наших дней дожил лишь старый тополь, на который мы, огольцы из соседних домов, лазали в те далекие-далекие времена (около троллейбусной остановки, №№ 1, 6, 34).

Но до воспоминаний о Саше я еще кое-что хочу рассказать.

Прошла ночь. Наутро, вернувшись от Саши, мама подсунула мне под одеяло кусочек хлеба. Потом опять длинный путь на работу



среди снежных заносов, льда, мертвецов, аккуратно защитных в простыни и вынесенных ночью из домов родными или соседями. В иные дни спецбригады не успевали собирать трупы с улиц, и тогда покойники, особенно спрятанные в снежных завалах подворотен, вмерзая в снег, становились привычной частью пейзажа. Но, по-видимому, не только меня пугали полураздетые мертвецы со снятой обувью, без пальто, в неестественных позах валявшиеся на сугробах. Правда, такие встречались еще редко, но они уже напоминали о мародерах и убийцах, появившихся в городе.

Вечерами мама все чаще уходила на Бармалееву смотреть за бабушкой. Там было тепло и что-то перепадало из еды ей, а через маму и мне...

Обычно с работы я возвращался один. Дров становилось все меньше, а с ними уходили и силы. Не знаю, понимал ли я, что дело идет к концу? По-моему — нет.

Помню, пришел домой. Оставшиеся в окне стекла крест на крест заклеены бумагой, а выбитые заделаны фанерой. На паркетном полу скользко — выступил иней. Не раздеваясь, упал на большую мамину кровать и вою как-то утробно, низко и протяжно. На давно немытом лице сухие слезы. Это отчаяние молодого тела, которое хочет жить. Оно не хочет умирать, а голод сосет его последние соки и душит..., душит... Потом я засыпаю или проваливаюсь куда-то... Надо мною мама. Она живая, настоящая. Ее слезы щекочут лицо. Она обнимает меня, пытается согреть своим телом, губы шепчут, и я открываю глаза. Уже ночь. Мама кладет мне что-то в рот, потом затапливает буржуйку, греет чай, то есть кипяток, заправленный глицерином, развертывает тряпочку, а там богатство: кусочек мерзлого студня из столярного клея (от Саши!).

На следующий день я остаюсь дома, а мама идет к отцу. Не знаю как, но они договорились, что я перееду жить к нему (отец развелся с мамой еще до моего рождения).

И вот, где-то во второй половине декабря, ясным морозным днем мы с мамой, замотанные в платки и тряпки, погрузили на саночки мой скарб и тронулись с Петроградской на Невский проспект, дом 90–92, кв. 26. От этого похода запомнилось солнце, которое низко и ярко светило прямо в глаза, привыкшие к кромешной темноте внутренних помещений, да и всей ленинградской зимы. По Кировскому тащились мы долго и медленно. У Кронверкского проспекта кончились дома и обозначился чуть видимый спуск к Неве. До этого места в сентябрьское наводнение 1924 года доходила вода и, как рассказывала мама, поднялась, а потом уплыла в Неву вся деревянная торцовая мостовая Каменноостровского проспекта. Напротив улицы Деревенской бедноты тропинка стала

совсем узкой и к подъему на Кировский мост мы совсем выдохлись. К нам подошла молодая женщина, похоже, что врач, вынула из сумочки кусочек хлеба и протянула мне — такое не забывается!

Отец был вторично женат, но жил отдельно в двенадцатиметровой комнате коммунальной квартиры на втором этаже. Окна выходили во двор с садиком. Он встретил нас настороженно, сказал, что сам будет жить у своей жены (моей мачехи — тети Ксении), а я останусь один.

Мама плакала. А я не боялся одиночества. Я хотел только есть и не слушал наставлений отца как надо топить печку (ведь у нас на Кронверкской было паровое отопление), экономить оставшиеся крохи дров, куда ходить за водой и пр. Я смотрел на оставленные мне несколько стертых сухарей, баночку глицерина, немного желатина, соду, лимонную кислоту — это был подарок отца. Мне хотелось только одного: пусть они скорее уйдут и тогда я стану полновластным обладателем всего этого добра!

Но в разговорах было и другое. К часу дня каждый день я буду приходить к мачехе обедать. За это я отдаю продуктовые карточки. Хлебная остается у меня.

Уже темнело. Ушла мама. Ей предстоял длинный путь через весь ночной и голодный Ленинград на Петроградскую сторону. Это маме-то — такой трусихе, боявшейся и в добрые времена по вечерам выходить на улицу! Маме, за которой еще в финскую войну четырнадцатилетним подростком я ездил на Васильевский остров через весь затемненный город, чтобы встретить ее после вечерней смены.

Отец долго собирал свои вещи. При свете коптилки я видел как мелькнули в его руках сухари, мешочки с крупой... В этой комнате он жил долго. Сам готовил себе еду. Продукты хранил либо в комнате, либо в холодном коридоре. Все вокруг пропахло отцом и едой.

Наконец, я один!

С коптилкой в руках тщательно, сантиметр за сантиметром обшариваю всю комнату, все возможные уголки и дырочки, куда нечаянно могли завалиться кусочки хлеба, крупинки сахара, просыпаться мука. Особенно тщательно обследую мышиные норки, пытаюсь залезть туда рукой или пальцем... — пусто. Но вот на шкафу среди чертежей и бумаг я обнаружил коробку из-под сухарей. Там сухарная пыль наполовину с сушеными червяками — съедобно! За шкафом две слипшиеся конфеты — клад! Сковородка с остатками жареных шкварок! Уже, наверное, ночь, но я не замечая. На столе набирается целая кучка! Я затапливаю печь, делю

собранное на несколько частей. Одну часть ссыпаю на сковородку, заливаю водой, кипячу — у меня пир!

Утром я снова «химичу» на сковородке. Коры нет. Пытаюсь мелко напилить деревяшку, но она оказывается еловой и мое варево пахнет смолой. Все равно вкусно. На лучинах грею кипяток. Глицерина много класть нельзя: хоть и сладко, но во рту долго держится неприятный привкус. Затем снова шарю по углам уже при слабом дневном свете (окно забито фанерой и свет проникает только через форточку).

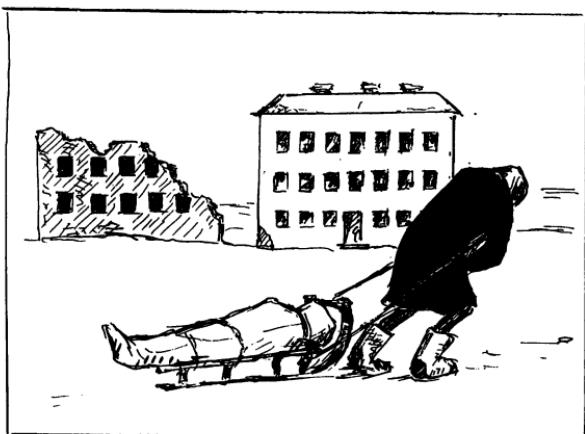
Днем за мной приходит отец: «Ну как?» — «Все в порядке». Он еще раз тщательно проверяет свою комнату. Но после меня уже трудно что-либо найти. И все-таки из бокового кармана выходного костюма отец достает целое состояние — плитку шоколада! Он улыбается, показывает мне — это мы будем менять на рынке.

И вот мы вдвоем — отец и сын — молча идем на Марата, 29, кв. 7.

Потянулись суровые последние дни 1941 года. Утром город в трупах. Будто всю ночь ленинградцы только и делали, что таскали мертвцев. Многих уже не зашивают в простыни, а просто выносят

из дома на мороз, иногда аккуратно прикрывая одеялами (так они и нужны покойникам!). Но одеяла долго не лежат, и уже к вечеру мертвцы, если их не убрали, смотрят на мир сморщенными черно-серыми лицами.

Я сижу в узкой и тесной комнатке мачехи. Топится круглая печка. Я жду, когда на столе появится какая-нибудь горячая похлебка. Это «приварок», добытый разными путями и содержащий Бог знает что. Потом будет обед из нормированных продуктов. В руке зажат кусочек принесенного хлеба. Глаза



Зима в начале 1942 года. По дороге в морг.

Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

нибудь горячая похлебка. Это «приварок», добытый разными путями и содержащий Бог знает что. Потом будет обед из нормированных продуктов. В руке зажат кусочек принесенного хлеба. Глаза

следят за каждым движением мачехиных рук : «Ну еще добавь..., ну еще немного...», — молю я эти руки. На те же руки смотрят глаза моего отца и брата. Ему еще семь лет и от этого его желания естественней, а ведь тетя Ксения его родная мать! Обед делит отец. Для него все равны.

После еды — «пакетики». Отец развел бурную деятельность на коммерческой основе — это и является основой нашего «приварка». Отец работает начальником цеха в небольшой литографии на Фонтанке, 113. Оттуда несется все, что можно съесть или продать: декстрин (из него можно печь лепешки), олифа (на ней можно жарить все, вплоть до коры), глицерин (с ним можно пить чай), столярный клей (из него получается вкусный студень), желатин, сода, лимонная кислота, бумага, краски и еще не помню что. Все это упаковывается в пакетики, пакеты, аккуратно подписывается (у отца каллиграфический почерк), а затем привязывается или прикалывается к моему пальто и я на два часа иду торговаться на Кузнецкий рынок.

Сам рынок закрыт. Торговля идет вдоль Кузнецкого переулка от Марата до Владимирской площади и дальше по Большой Московской, где сегодня поставили памятник Достоевскому. Тихо. Лишь вяло шаркают валенки и замотанные в тряпки ботинки. Иногда проскрипят полозья саночечек с покойником или водою. Вздох и вперед ходят людские скелеты, замотанные ни весть во что, в свисающих с них разномастных одеждах. Они вынесли сюда все, что могли с одним желанием — обменять на еду.

Я выхожу на середину и стою, чтобы меня все видели. Я новенький и меня быстро обступает народ. Читают. Недоверчиво щупают бутылочки с глицерином — не обманывает? Желатин я крепко держу в руке:

— Ну, покупайте же, вон сколько на мне навешано!

Но народ постепенно расходится. Кто-то предлагает за глицерин деньги, кто-то безнадежно протягивает постельное белье, посуду, потом кто-то просто просит, умоляет... Это не покупатели.



Январь 1942 года.
«Хлеб» на Кузнецком рынке.
Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

Покупатели другие. Они мордастые, воровато зыркают по сторонам и держат руки за пазухой — там хлеб, или сахар, а может быть кусок мяса. Мясо мне нельзя покупать — не человечина ли? Я подхожу к «покупателю».

— Продай! — то ли спрашиваю, то ли умоляю его.

— А у тебя что?

Я торопливо раскрываю перед ним все свое «богатство». Он брезгливо копается в пакетиках.

— Часы есть?

— Нет.

— А золото? — «Хлеб» отворачивается и уходит.

Иногда на рынке трусливо и воровато появляется военный. Этому надо табак и водку. Военные меняют быстро и дешево. У них всегда «богатые» продукты (хлеб, консервы, сухари, сахар...). Говорят, если военного поймают с продуктами, — расстрел. Но табак и водка необходимы сытому тыловику, томящемуся от безделья и отсутствия женщин. (Ведь нельзя же отнести к женщинам немощных, чуть живых блокадниц!).

Мясные консервы, галеты, американская тушенка, кусковой шоколад с военных складов поступали на блокадные рынки, вероятно, через подставных лиц. Да и как не быть такой торговле? Я уже приводил официальные нормы выдачи продуктов: «военный первой линии» получал некоторых видов продуктов несизмеримо больше, чем блокадный иждивенец. Например, мяса в 17 раз!

Но вернемся на блокадный Кузнецкий рынок.

Холодно. Коченеют ноги. Начинают противно покалывать пальцы рук. А я все брожу, с надеждой и заискивающей просьбой заглядывая в глаза «покупателей». Ходить надо до темноты. А попробуй разобраться в декабрьский ленинградский день, когда начинает темнеть? Я уже больше не могу, кажется, промерз до мозга костей, но спрятаться негде, кругом все закрыто, и всюду такие же безнадежные глаза.

Как нарочно, никто ничего не покупает. В такие дни особенно неприятно и стыдно возвращаться к мачехе, где отец будет с надеждой смотреть на мое пальто и считать пакетики. Сам он почти не ходит — пухнут ноги и кружится голова. Но, несмотря на это, отец stoически несет бремя хозяина, ответственного за всех.

Иногда мне фартит, и раньше времени кончается какой-нибудь товар. Тогда я бегу (если это можно назвать бегом) в тепло мачехиной комнаты, пытаясь что-нибудь засунуть в рот. Но все сосчитано, и у меня имеются строгие указания отца до какой цены можно «спускать»: суду и кислоту можно продавать за деньги, желатин,

глицерин — только менять на хлеб, дуранду, мороженую картошку, хряпу, или другую еду.

Я победно и радостно выкладываю перед отцом все полученное и стараюсь подольше рассказывать, как это все было, частенько обволакивая продажу придуманными историями. Только бы затянуть рассказ, ибо время еще не вышло. Но на меня навешивается новая партия, и я иду «дорабатывать» до темноты.

Потом я скалываю с себя пакетики и мы все вместе пьем горячий чай в прикуску с рыночным приварком. Чай — это уже дважды или трижды прокипяченная земля с Бадаевских складов, которую в свое время натаскал уже умерший муж сестры тети Ксени. «Чай», когда он крепкий, темно-коричневого цвета, сладковатый, терпко пахнущий жженым сахаром и горелыми корками.

Разговоры... О чем мы тогда говорили за чаем?... Нет, не помню...

Декабрь — это отчаянные попытки негодными средствами прорвать блокаду. Ценою огромных потерь наши войска вернули Тихвин, тем самым отбив у немцев всякую надежду на полное окружение Ленинграда. Декабрь — это бездарная авантюра, затеянная нашим командованием на Керченском полуострове и стоившая нам потери нескольких армий. Брось Сталин эти силы на подмогу наступавшей под Тихвином 52-й армии, и полтора миллиона ленинградцев остались бы живы. Ведь по свидетельству самих немцев положение их в декабре на Ленинградском фронте было критическим. Но, нет.

Уже в темноте я бреду по улице Марата до пустынного заваленного снегом Невского, перехожу на другую сторону, пересекаю Маяковского и дальше — в черную глубину двора — в мертвую заледенелую коммунальную квартиру, чтобы растопить печь и «похимичить» около ее открытой дверки.

Как-то я зашел в аптеку, что на правой стороне Невского, не доходя до Московского вокзала (она и сейчас там). На дверях висит инструкция, как приготовлять настой из сосновых иголок. Иголки продавались в белых бумажных пакетиках, похожих на те, что вешал на меня отец. Стоили они 25 копеек. Это стало частью моего вечернего «приварка». Больше ничего съедобного в аптеке не было.

Конец декабря. Надо идти в литографию за карточками. Работа временно прекращена из-за отсутствия электроэнергии. Утро. Еще совсем темно. Из-под кучи тряпья не хочется вылезать. Я высовываю руку, зажигаю коптилку. Изо рта идет пар. Затопить бы печку,

но... лучше это сделать после возвращения — экономнее. Чешется тело, немытое уже с сентября, особенно руки. Я отстегиваю пуговицу на общлаге бумазейной лыжной куртки, в которой спал, и чешу запястье, а там... ползают! Маленькие противные вши рядом выстроились у передних швов. Я отстегнул рукав: белые строчки гнезд ярко видны в свете мигающей коптилки. Я со злорадным наслаждением щелкаю вшей и гнезд около рукавов, но рубашку не снимаю: холодно, оставлю до вечера.

Мороз на улице жуткий — за тридцать градусов. В подвале замерз кран, но мне воды сейчас не надо. В чайнике она еще не замерзла. Я одеваюсь. У меня осеннее коричневое пальто. Под ним бумазейная куртка, дальше тощий вигоневый свитер и куча разных рубашек, двое брюк, кальсоны. Голова и лицо укутаны маминым шерстяным платком, к нему сверху привязана ушанка, ноги обмотаны шерстяными тряпками и засунуты в большие калоши, которые для крепости привязаны веревками. Руки в вигоневых рукавицах прячу в карманы...

Я выхожу на Невский.

По панели и по мостовой среди сугробов протоптаны тропинки и дорожки. Единственное средство перевозок — детские саночки. Странно, но даже сейчас — через полвека — стоит только услышать скрип их полозьев, как вместо уютно угнездившихся на саночках сонных карапузов мне видятся защищенные в простыни трупы, похоронно трясущиеся на рытвинах ведра и кастрюли с водой, разная домашняя утварь, которую отчаявшиеся ленинградцы тащили на рынки. На Невском почему-то прямо на мостовой кое-где действуют краны. Вокруг них копошатся кучки замотанных во всякое тряпье еле движущихся скелетов. Из крана тоненькой струйкой льется вода. Кружка наполняется и медленно выливается в посуду. Люди молчат. Они еще надеются выжить.

Напротив «Титана» свежие воронки от снарядов. Комья замерзшего асфальта и серый снег разбросаны чуть ли не до половины Невского. Новые тропинки боязливо жмутся к дому. Пересекаю Толмачева, Пролеткульта ...

**Граждане!
При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна.**

Ну и пусть. Переходить на другую сторону все равно не буду!

Угол Невского и Фонтанки — обрушенный дом. Бомба попала в его середину. Клодтовских коней нет. Они где-то закопаны. Часть Гостиного двора сгорела. Около Пассажа посередине Невского большая наледь вокруг действующего крана. Холодно и пустынно.

У Мойки мороз уже нестерпим. Коченеют руки и лицо. Я тру нос — замерзает рука. Грею руку — белеет нос. Не могу. Захожу в булочную. Там много народа. Пугливо забираюсь в угол. В меня сразу же подозрительно с опаской впиваются глаза очереди: кто я такой? Зачем пришел? Я стараюсь не глядеть на людей, на продавщицу. Тело стянуто одной мыслью: только бы не выгнала! Дай хоть чуточку отогреться, иначе не дойду! Но уже из угла, где стоят весы, где так тепло и так пахнет хлебом, она — сытая и злая — кричит: «Эй, ты, убираися вон!» — и угрожающе замахивается рукой. Я покорно пробираюсь к двери. Сердобольная старушка (а может быть, и не старушка, но что-то замотанное в тряпки), торопливо сует мне в руку «довесок». Это грамм 5—10 хлеба — «милостыня». Я, не сказав «спасибо», сразу засовываю ее в рот и выхожу. Мороз уже не кажется таким злым. Я поворачиваю на Гоголя. Здесь как-будто теплее: ближе дома и нет этого противного, все замораживающего ветра. На шпиль Адмиралтейства надет чехол. Купол Исаакия закрашен серой краской. Петр заколочен досками, а под ними обложен мешками с песком. По бульвару Профсоюзов стреляют. Многие деревья разбиты. На срединной аллее валяются побитые снарядами скамейки. Я неуклюже перелезаю через них и, наконец, выхожу на площадь Труда. Сюда снаряды попадают еще чаще. Побиты картины у гастронома, решетка вокруг Дворца Труда местами исковеркана осколками, покорежена взрывной волной. Но сейчас все тихо, и я совсем не думаю о снарядах. Моя цель — литография. Только бы не заморозиться, а добраться до нее. Там будет мама, а она уж что-нибудь принесет... Вхожу во двор. Он пустой. Поленницы дров, с которых я когда-то сдирал кору, нет. В стене литографии огромная дыра. Это в наш цех попал тяжелый снаряд. Вокруг все засыпано снегом — мертво. Я пытаюсь добраться до дыры, но сухой сыпучий снег сразу лезет под мои тряпки. Смотрю в черный зияющий провал. Глаза жадно пытаются найти что-нибудь съедобное или горючее. Ничего. Все уже подобрано и унесено. Только искореженная станина моего литографского станка холодно поблескивает в сумраке ленинградского декабряского дня. Наконец, вижу отломанную ручку лопаты и какие-то щепки. Все это привязываю к пальто, чтобы не держать в коченеющих руках, подхожу ко входу. Там приколота записка с корявым маминым почерком: «Сынушка, приходи завтра в час в университет, карточки будут давать там». Вероятно, ждать меня ей было уже невмоготу.

Стою у закрытой двери. Впереди длинная дорога. По старой карточке я уже выкупил хлеб и съел. Кругом никого, только пустота и мороз, и прижимая к себе деревяшки, иду назад...

Уже в полной темноте подхожу к дому, ощупью подымаюсь на второй этаж. Кружится голова и безнадежно хочется есть. Спотыкаюсь. Падаю. Это труп. Он еще не задубел. Тайная надежда: нет ли у него чего-нибудь съедобного? А, может быть, карточки?! Я на коленях в полной темноте обшариваю его карманы... пусто... пусто... просыпанный табак... немного денег... бумажки с остатками чего-то жареного, крошки хлеба. Всю добычу я складываю в его шапку, подымаюсь и с трудом открываю дверь. Из квартиры тянет затхлым морозным и вшивым холодом. У меня последние силы. Обязательно надо что-нибудь съесть. Но в комнате совсем пусто.

Это я знаю. В голову приходит мысль спечь из этих бумажек лепешки. Я рву бумагу на мелкие кусочки, на расщите натираю опилки... Вторая мысль! Ведь стулья склеены столярным kleem — его можно есть! С трудом разламываю упругий венский стул, скабливаю клей. Все это заправляю содой и тщательно перемешиваю с водой. Затем формую и жарю на сковородке лепешки. Печь постепенно прогорает и надо экономить дрова. Я засовываю в топку шапку покойника. Она вонюче горит, но греет. Это эксперимент: если выйдет, то покойника можно будет раздевать и дальше. Одновременно кипячу воду. И вот ужин. Я заглатываю клейкие лепешки, запиваю кипятком с глицерином. Хочется быстрее лечь в кровать, но вонючая шапка плохо горит. Я ее тормошу кочергой, наконец, закрываю вышушку и забираюсь под ворох тряпья...

Среди ночи я проснулся от страшной головной боли. Все кружилося, а тело будто кололо иголками. Противно пахло угаром и рвотой. Рвота с содой пузырилась на губах. Было упорное желание как можно быстрее исчезнуть отсюда, убежать. Голова не поднималась. Я свалился с низкого скрипучего дивана и пополз из комнаты. Приподнялся у двери, открыл ее и выполз в холодный коридор. Ручка входной двери была скользкой от инея. Дверь, вероятно, примерзла и не открывалась. Я пополз в другую сторону, где за узким коридором была коммунальная кухня. Желудок конвульсивно освобождался от остатков бумажных лепешек. Я затих где-то на полути, уронив голову на заиневелый пол. Не знаю, сколько прошло времени, но я все-таки очнулся (ведь мне надо было еще написать эти записки!), приподнял налитую чугуном голову, потер онемевшую щеку, сел. Начался ледяной озноб. Вероятно, это была последняя попытка тела остаться живым. Оно все тряслось и дергалось. И... вы, читатели, не удивляйтесь. Правда, легко сказать: не удивляйтесь, ибо я сам не могу понять, но до сих пор каждой клеточкой тела помню то удивительное состояние, когда я, бесплотный, вишу в воздухе и как будто со стороны смотрю на бывающееся в

агонии мое тело. Это не сон. Мне не больно и не тяжело. Мы существуем отдельно. Помнится какое-то детское любопытство: что же с ним — с этим телом — будет? Потом галлюцинации прошли. Держась за стенку, я вернулся в комнату. Шапка в печке еще ядовито тлела, распуская по комнате едкий вонючий дым. Я открыл выюшку, засунул в топку без разбора попадавшиеся под руку деревяшки. Больше сил не было. Сколько времени продолжался кошмар той ночи? Рвота, понос, я вставал, лихорадочно бросал что-нибудь в печь, пил воду, снова ложился, вставал, то в кромешной тьме, то в полутьме... Наконец, то ли уснул, то ли потерял сознание... Сквозь дрему, как будто во сне, услышал далекий женский крик. Я не мог повернуть голову, но знал, что это кричит мама. Потом я помню склонившееся надо мной ее заплаканное лицо и какие-то утробные причитания.

Мама пришла! Мама меня нашла!

Уже позже из ее рассказов я узнал, что, не встретив меня в университете, мама взяла свои карточки (мои ей не дали), пошла на Невский. На лестнице в темноте она натолкнулась на покойника и решила, что это я. Ее крик я и услышал. Затем, поняв, что это не ее сын, мама открыла дверь, вошла в комнату, зажгла коптилку и увидела картину еще худшую: здесь уже не было сомнений в том, что в кровати перепачканный рвотой лежал ее сын. Он был мертв. И вот, дважды подряд встретившись с мертвым сыном, она увидела мои открытые глаза (на лице, видимо, больше ничего не оставалось).

Уже совсем вечерело. Мама, наспех покормив меня (если это можно назвать кормлением!), побежала в поликлинику. Надо было вызвать врача, чтобы получить бюллетень, который давал право на продуктовые карточки. Мама осталась ночевать, и мы грели друг друга остатками своего тепла.

На следующий день пришла врач (кстати, тоже решив сначала, что труп около квартиры — недождавшийся ее пациент). Не раздеваясь, она посмотрела на меня, выписала бюллетень, сказав маме на прощанье, что через неделю, если я буду жив, пусть мама зайдет к ней. Через неделю я приду сам. А пока, что дальше было, как говорят, дело техники. Хотя только мама знала, что такое изнуренной голодом тащиться к отцу (он уже не ходил), в его присутствии требовать и добиться от маечки вернуть продукты за те дни, что я не ходил к ним (ведь все было уже съедено за мой упокой). Потом через весь Невский и Неву идти в университет, убеждать там, что я живой и хочу есть, получить мои карточки, и при этом все время чувствовать, что дома лежит ее сын, который умрет, если она не сделает невозможного.

Мама сделала это.

А вечером мы затопили печь венскими стульями и что-то поели. Мама снова осталась у меня. Это была ночь под 1942 год...

Пока ленинградцы, каждый по своему, встречают Новый 1942 год, я немного отвлеку читателя и предложу заглянуть в блокадный мир города, пользуясь исключительно либо дневниками записями, либо хорошо проверенными воспоминаниями очевидцев.

Зимой 1941—1942 гг. в Ленинграде одновременно существовало, по крайней мере, три блокады — три резко различные антогонистичные между собой группы людей. Сегодня они все равны, и писатель Д. Гранин в январе 1998 года напишет о блокадных жителях «чохом»: «Массовый героизм людей, которые хотели сберечь свой город, свою историю, свои национальные святыни помог выстоять в Великой Отечественной войне» (Невское время, 34.02.98). Уважаемый Даниил Александрович, неужели Вам, книги которого издаются в многотысячных экземплярах, не стыдно писать такое? Вы либо не понимаете, что происходило в городе (тогда зачем писать?), либо выполняете социальный заказ ради получения очередных благ (тогда это проституция). Но это к слову.

ПЕРВАЯ БЛОКАДА «действительно нужных». Это — обитатели Смольного, окружение Жданова, Кузнецова, Попкова, это — заседания, продпайки, доппитание, театры, выступления по радио... Это суровая, не всегда сытая, но полнокровная жизнь военного тыла.

ВТОРАЯ БЛОКАДА «не безусловно нужных» — илистое дно Геноцида, где правила бал Голодная Смерть.

ТРЕТЬЯ — КРИМИНАЛЬНАЯ БЛОКАДА.

Люди «первой блокады» практически все остались живы. Выходцами из нее создана львиная доля современной литературы о блокаде. Именно они «проявляли массовый героизм» и сегодня составляют основную массу «льготников–блокадников» — участников обороны и жителей блокадного Ленинграда.

На «второй блокаде» — на Ленинградском геноциде — долго лежало государственное «табу». Подавляющее большинство ее невольных участников (не свидетелей!) вошло в число «жертв великой войны». Писать о своих блокадных действиях они уже не могут.

О жизни «третьей блокады», по-видимому, не столь уже и малочисленной, в памяти народной остаются лишь страшные рассказы и легенды о мародерах, бандах, шайках грабителей и про-

чей нечисти, скупавшей золото, бриллианты, картины, завладевавшей квартирами и пр., и пр. Сами свидетели пока молчат. Но верится мне, что среди них были люди (или нелюди), оставившие письменную память о своих похождениях. Придет время и мир узнает, что было ТАМ. Кое-что уже появляется.

В 1998 году большим тиражом в красочном переплете вышла в свет «*Осадная запись (Блокадный дневник)*» А. Н. Болдырева — известного ученого-востоковеда, профессора ЛГУ, умершего в 1994 году. Блокадная жизнь автора — еще не криминал, но уже и не «вторая блокада». Книга читается одновременно с чувством жалости и омерзения к автору. Вероятно, это понимал и А. Н. Болдырев, написавший в завещании: «Тетрадки вместе с моими блокадными дневниками сдать в архив... А если не примут, то сжечь все.». Нашлись люди (вторая жена — В. С. Гарбузова и И. М. Стеблик-Каменский), а также многочисленные спонсоры из Эрмитажа и университета, которые, вопреки желанию покойного, вывесили на всеобщее обозрение грязное белье блокадных дней А. Н. Болдырева, в котором он все 800 дней балансировал на грани закона, частенько переступая дозволенное.

А. Н. Болдырев молодым сотрудником Эрмитажа, полным сил и здоровья, всю блокаду провел в Ленинграде, ведя «бесконечную изнурительную битву за выживание». И выжил, в одиночку прорвавшись между Сциллой (смерть на фронте) и Харибдой (голодная смерть).

День за днем втайне от первой жены, дочери и многочисленной родни он записывал в тетрадь всевозможные ухищрения, которые придумывал и реализовывал, чтобы избежать призыва в армию, добить пропитание и, в конечном счете, «быть представленным к ордену».

От Народного ополчения его спасла любовница. Жена всю блокаду сдавала кровь. Помыслы же автора дневника были направлены на то, как получить лишний талончик в столовую, достать пайку хлеба, миску супа... Один во враждебном ему мире! Войны нет! Есть только животное чувство сохранения собственной жизни. И так день за днем, месяц за месяцем, год за годом. К концу блокады он настолько адаптировался к той полуживотно-грязной жизни, что отказался эвакуироваться в страхе быть отправленным на фронт.

«Дневник есть подлинная история Блокады, наподобии древних летописей», — напишет в заключение И. М. Стеблик-Каменский. Да, возможно, как *Подлинная история полукриминальной блокады*.

А что в это время представляла собой «Первая блокада» — «действительно нужных»?

1. Дневниковые записи Л. Успенского из Блокадного кольца (Л. Успенский. Военные дневники, Нева, № 2, 1987):

«18.11.41. Вчера с Чернатьевым... перешли в свою штабную «каюту». Рожкошь и изобилие! Напр., сегодня было: 1) завтрак — селедочки типа кильки с картошкой (пять килечек и пять картофелин) и чай по два стакана с сахаром; 2) обед — борщ (не украинский и не надоевший «флотский», а обычный красный с «много сметаны») и шницель свиной, правда небольшой, но вкусный, с картошкой. Утром сто грамм хлеба, в обед — то же; 3) ужин — котлетка с картофельным гарниром (жареным), причем дали по две порции — и по два стакана киселя из повидла, оч. сладкого. (Забыл упомянуть, что после обеда на третье тоже были даны по два стакана такого же киселя, только горячего). Хлеба опять два куска (100 гр.) плюс двадцать пять грамм — ко второй порции.»

Это записывает писатель, вернувшись из Ленинграда на военно-морскую базу, расположенную в блокадном кольце. Обратите внимание: ни одного слова об ужасах геноцида, о муках умирающих ленинградцев, о трупах детей на улицах! Казалось бы, уму непостижимая дикая черствость. Но не надо спешить с приговором: «сытый голодного не разумеет».

2. «Мне, как и всем ленинградцам, пережившим блокаду...», пишет сегодня Г. Кулагин, бывший в блокаду главным инженером завода им. Сталина. (Г. Кулагин. Дневник и память (о пережитом в годы блокады), 1978).

Вместе с ленинградцами можно было лечь в братские могилы Пискаревского, Серафимовского и других блокадных кладбищ, а Вы, Г. Кулагин, были лишь рядом с обреченными на смерть «не безусловно нужными».

В блокаду на завод Сталина были эвакуированы многие цеха и оборудование Кировского завода (как-никак, а завод Сталина находился километрах в пятнадцати от фронта и на правом берегу Невы). На этом заводе был наложен ремонт танков и выпуск военной продукции. Рабочие питались в столовых и получали «танковые пайки». Не густо, но смертность здесь была ниже. Г. Кулагин, занимая высокий пост, питался в спецстоловой и получал еще кое-что. В той же книге, например, он описывает посылку — спецпаек, полученный им из наркомата обороны: твердокопченая колбаса, икра, масло, шоколад...

Интересно одно из его наблюдений того времени: «В январе я гостил на бронепоезде, и там впервые за обедом подали конину. Командир и комиссар брезгливо отодвинули от себя тарелки».

Я ни в коем случае не хочу опорочить жизнь Г. Кулагина в ленинградскую блокаду. Нет. Это была жизнь великого труженика,

все силы отдававшего работе, Победе. Его надо было кормить — его кормили. Но... не ему писать о том, что такое блокадный голод.

3. Спецпайки.

Знакомство с литературой и беседы с блокадниками очевидно свидетельствуют о том, что спецпайки в блокадном Ленинграде были распространены весьма широко.

Мне рассказывала уже взрослая женщина, мать которой в 41 году работала уборщицей в Смольном и сумела отправить свою dochь в эвакуацию вместе с детьми аборигенов Смольного. Эти дети содержались в особых детских садах, и некоторые из них в зиму 1941—1942 гг. из блокадного Ленинграда от любящих родителей получали посылки с шоколадом и прочими деликатесами.

4. Писательница Т. Толстая пишет мне:

«...в одном письме, особенно поразившем меня, говорится о том, что шофер Жданова (сообщает вдова друга этого шофера) должен был возить кастрюлю с горячими блинами Жданову... Другой говорит, что сам видел: у Жданова был ручной медведь и Жданов собственноручно кормил его шоколадом».

5. Летом 1988 года в «Смене» одна за другой печатались пространые статьи — панегирики Ленинградским руководителям 40-х годов, расстрелянным в 50-х по «Ленинградскому делу», а ныне реабилитированным «за отсутвием состава преступления». Среди них в блокаду второе после А. А. Кузнецова место занимал П. С. Попков — председатель исполнкома Ленгорсовета (мэр). Автор статьи, умиляясь добротой и отзывчивостью Попкова, описывает случай, когда «в театре Музкомедии во время спектакля «Роз-Мари» к находившемуся в зале П. С. Попкову обратились артисты с просьбой дать указание не вырезать талоны за дрожжевой суп». Попков дал, ибо спектакль ему понравился.

Это был январь 1942 года. Представьте себе зал Музкомедии. На сцене:

О, Роз Мари, о Мэри!
Твой взор нежней сирени,
Твои глаза, как небо голубо-о-е
Родных степей прекрасного ковбоя!...

А где-то рядом в жилых кварталах у Невского не в силах терпеть этот ад, мать вскрывает вены, чтобы своей кровью накормить и тем продлить жизнь грудному младенцу.

Ведь Попков все это не только знал, но и видел своими глазами! Какие же люди (или нелюди) могли заполнять в это время зрительный зал Музкомедии?

6. ВАД-101 — Военно-автомобильная дорога через Ладогу — «ДОРОГА ЖИЗНИ». Сколько героических страниц, сколько книг посвящено ей! Какие только благодарности не адресованы ее строителям, эксплуатационникам, защитникам, партийному, советскому руководству страны и «лично товарищу Сталину» за создание Дороги Жизни. Дорога спасла сотни тысяч людей, оставшихся в блокадном кольце.

Если на время отложить в сторону все, написанное о дороге в годы «застоя», и обратиться к дневниковым и отчетным материалам тех лет, то получается несколько странная картина, не совсем согласующаяся с сегодняшними представлениями.

Первое, что бросается в глаза, еще ничего не читая, а только про-сматривая фотографии дороги, — это состав автопарка: исключи-тельно видевшие виды мобилизованные в городе полуторки ГАЗ-АА и ЗИС-5. Ведь в это время в наших северных портах один за другим разгружались английские караваны — «конвой», привозившие со-временные американские «шевроле» — легкие маневренные быст-роходные машины. Но они, обходя Ленинград, шли на Москву.

«Техническое состояние автомашин в течение почти всего первого периода работы ледовой дороги было крайне низким. Автобатальоны укомплектовывались в основном автомашинами 3-й и 4-й категорий, поступавшими из городских уч-реждений, так как машины 1-й и 2-й категорий, согласно мобплану, еще в начале войны были направлены в различные воинские части». Так например, «Из 156 автомашин, принятых 388-м батальоном, 86 требовали капитального ремонта». (Ленинград и Большая Земля, Наука, 1975).

Но это еще полбеды. Все время действия дороги продолжались перебои с горючим.

Из записной книжки начальника ВАД-101 М. А. Нефедова:

«10 декабря 1941 г.: Бензин — острые проблемы.

11 декабря 1941 г.: Сплошной подвох с бензином.

22 декабря 1941 г.: Лимитирует горючее.

1 января 1942 г.: Положение с горючим снова стало очень острым. Парк стоит. Шилов горючее не добыл.»

Сообщение начальника Военной автоинспекции:

«...на 18 час. 15 декабря по трассе Ленинград—Ладожское озеро—Бабаево по обочинам простоявало 120 автомашин из-за отсутствия горючего».

Сутками не работала Дорога жизни и по другим причинам. На-пример:

«Только за 28 и 29 декабря фашистской авиацией было разбито 13 автомашин, убито 7 и тяжело ранено 3 человека. Ввиду этих обстоятельств 28 и 29 декабря трасса продолжительное время была даже закрыта для движения автотранспорта»...

Обратите внимание: убитых, раненых — единицы. Кончай работу! Никому в голову не приходило, что одна машина, доставившая в Ленинград за один рейс 1,5 тонны муки, оставит в живых тысячи (!!?) детей, женщин...

Что же в это время творилось на восточном берегу Ладоги? Удивительные данные приводятся в монографии кандидата исторических наук В. М. Ковальчука «Ленинград и большая Земля», утвержденной к печати Ленинградским отделением Института истории СССР АН СССР.

Автор (правда, в период «застоя») сумел так проанализировать обширный материал, что пришел к парадоксальному выводу: «Таким образом, страна выделяла Ленинграду достаточное в условиях войны количество продовольствия и другого снабжения». Все дело, оказывается, упиралось в то, что «все сухопутные пути в Ленинград были перерезаны противником, доставка грузов в блокированный город вырастала в сложнейшую проблему».

Если это так, то зачем же вместо муки, жиров, сахара по ледовой дороге в Ленинград доставлялись тысячи тонн (!) квашеной капусты и огурцов в бочках? («овощи свежие и квашеные — 7582 т»). Зачем через всю страну из Средней Азии в Ленинград привозили пол-литровые банки с повидлом? И пр.

Если, действительно, как пишет В. М. Ковальчук, «в сторону Ленинграда непрерывно шли эшелоны с мукой, маслом, крупой, сахаром и другими продуктами», то куда же они пропадали?

Попробуем обратиться к приводимым в той же книге цифровым данным.

Начальник Политуправления Ленинградского фронта П. А. Тюркин 25 февраля 1942 г. писал А. А. Жданову:

«Установленный Военным советом фронта план перевозок... срывается. Основная причина срыва — отсутствие грузов. На 24 февраля 1942 г. на базах Войбаколо, Жихарево, Лаврово (восточный берег Ладоги — Б. М.) грузов почти нет, за исключением нескольких десятков тонн продовольствия, вещевого имущества, соли, сена. В Кобоне имеется 950 т запасов, на подходе 50 т муки и 18 вагонов боеприпасов».

Или еще такая цитата:

«Из-за недостатка грузов на перевалочных базах в феврале и особенно в марте 1942 г. транспортные возможности ледовой дороги использовались неполностью. В связи с этим командование было вынуждено выключать из работы часть автотранспорта, а иногда и несколько батальонов в полном составе. (Странно. Почему в это время автотранспорт не мог заниматься эвакуацией умирающих блокадников? — Б. М.). В тех же случаях, когда на перевалочные базы прибывало достаточно грузов, перевозки возрастили. Так, 31 марта на западный берег Ладоги было перевезено 6243 т.»

Обратите внимание, за сутки можно было перевезти 6243 т грузов, а «...в ноябре—декабре 1941 г. среднесуточная доставка грузов составляла всего 361 т...»

Иными словами, в самое тяжелое время дорога использовалась на 5 % ее возможностей! Почему? Ответ может быть только один — ГЕНОЦИД.

7. Но это еще не все. В. А. Ковальчук пишет:

«Вторым источником снабжения Ленинграда продовольствием, существенно дополнявшим централизованное снабжение, являлись подарки, поступавшие в осажденный город от трудящихся самых разных уголков Советской Родины».

Слушайте дальше:

«Подарки, которые непрерывно шли в Ленинград со всех концов Советского Союза, часто сопровождали делегации трудящихся — знатные люди областей, краев, республик»

Так,

«...в начале февраля 1942 года в Ленинград с подарками прибыла делегация Приморского края. Они побывали в Ленинграде, Кронштадте...» и т. д. «В виде подарков поступали продукты питания, теплые вещи, предметы личного обихода...»

И, естественно, сами делегаты. Последние были не только не съедобны, но еще и все время пребывания на ленинградской земле поглощали скучный паек блокадников, тем самым отправляя их на тот свет. В феврале—марте 1942 года в осажденном городе только официально побывало 17 делегаций и несчитанное количество концертных бригад, контролеров, ревизоров и др. Все они охотно позировали перед фотокамерами и сегодня любят смотреться со страниц различных «мемуаров». Посмотрите на них хотя бы в сборнике «Память, письма о войне и блокаде» (Лениздат, 1985). Ну ладно, приехали женщины, а то ведь на вас смотрят упитанные широко улыбающиеся призывного возраста мужчины. Им и горя нет, что их приезд аукнется блокадникам смертью десятков, а то и сотен младенцев, их матерей и дедов! Каждый визитер — это 100 кг муки, отправленные в Ленинград и четверо или пятеро детей, вывезенных из Блокады.

А сколько делегаций с подарками в то страшное время ездило в обратном направлении!?

Вот, например, дневниковые записи В. Инбер за 23—27 февраля 1942 года, когда она в составе очередной делегации райкома ВКП(б) Петроградского района ездила «за кольцо» вручать подарки бойцам армии Федюнинского.

Делегация собралась у особняка на Скороходовой (райком ВКП(б)), где горело электричество и

«на грузовичке, укрытом со всех сторон фанерой, поехала в сторону Смольного... В районе Смольного мы довольно долго стояли, поджидая делегации от других районов. Мы везли на фронт подарки: пять автоматов, маскировочные халаты, бритвенные приборы, табак, кожаные и меховые перчатки для командного состава, носовые платки, гитары, мандолины. Лично Федюнинскому везли кожаную шкатулку для табака. От разных районов города подарки разные».

Основную часть груза из умирающего города — туда-обратно, естественно, составляли сами делегаты. Члены делегаций побывали среди бойцов, провели «очень краткие митинги» и потом: «Начиная обед, прежде всех тостов мы провозгласили тост за Сталина». Подняв бокалы и провозгласив остальные тосты (в бокалах, очевидно, была не вода), делегаты с чувством исполненного долга вернулись домой. («Озеро пересекли за полтора часа»). То, что эта поездка могла оставить в живых сотню-другую ленинградцев, «нужной» Вере Инбер было невдомек, главное, поднять бокалы и произнести тост.

Когда сегодня читаешь воспоминания журналистов, поэтов, писателей, ответственных работников тех времен, то складывается впечатление, что они только и делали, что возили свои тела в Ленинград и обратно (и хоть бы после этого написали что-нибудь путное!)

Чтобы закончить с Дорогой жизни и с цитатами, приведу в заключение последнюю длинную выписку из дневниковых записей «нужного» П. Лукницкого о его поездке на «Большую Землю» из Ленинграда 1—4 февраля 1942 года.

«Было девять утра, когда я вышел из дома. На набережной канала Грибоедова стояла трехтонная АМО — крытый брезентом фургон, пятнистый от белой маскирующей краски. Кузов был полон вещей и сгрудившихся, навалившихся один на другого людей. Это были эвакуируемые — их оказалось четырнадцать человек. Тяжело катясь по засугробленным улицам Ленинграда, огибая и обгоняя саночки с покойниками, прижимая гудком к сугробам и стенам хлебные очереди, мешая женщинам, согнутым под тяжестью ведер, бачков, кастрюль, тазов с ледяной водой, мы приближаемся к Охтинскому мосту. В десять утра пересекаем Неву и, оставляя позади себя вмерзшие в лед пароходы, баржи, не обращая внимания на разрушенные и сгоревшие дома, мчимся дальше, в направлении Всеволожской.

И как только мы выезжаем на эту дорогу («Дорогу жизни» — Б. М.), ставшую военной, фронтовой трассой, мы попадаем в поток попутных и встречных машин, в царство многих тысяч автомобилей — порожних и заметенных снегом в канавах, по обочинам, «раскулаченных», превращенных в жалкие металлические скелеты. Попутные машины бегут во множестве с пассажирами, эвакуирующими кто как может, кого как (по закону ли, по «бллату» ли) устроили. Вот устроенные «по первому разряду»: бело-пятнистый автобус с торчащей над крышей железной трубой «буржуйки»; грузовик-фургон, раскрашенный как попугай, с такой же трубой коленцем в бок, с окошечками и фанерной дверкой и приступочкой лестницы. И по «второму разряду»: просто фургон. Но уже без печки. И «по третьему»: грузовик, переполненный изможденными людьми, закрытыми от ветра брезентом. И «по четвертому», печальному, как похороны без гроба: просто кузов грузовика

либо бензоцистерна, на которых, представленные всем лютым ветрам и морозу, без всякой уверенности, что доедут живыми, сидят, цепляясь друг за друга, лежат один на другом полутрупы, с ввалившимися щеками, с темными и красными пятнами на лицах, неспособные уже пошевелить ни рукой, ни ногой...

Все это едет и едет чередой, все это надеется начать жить там, «за пределом», «по ту сторону».

А кое-кто уходит пешком, волоча скарб свой на саночкиах, но скарб постепенно сбрасывается, сил все меньше. И часто на сугробе обочины вот уже мертвый, не выдержавший перехода, лежит в шубе навзничь глава семьи, а семья хлопочет вокруг. Похоронить? Нет сил и возможностей. Просто снять с него все ценное, сунуть украдкой тело под снег и самим тащиться дальше, минуя кордоны, по рыхлому снегу, леском, позади дач, потому что эвакуироваться пешком не разрешается. Да у иных и нет никаких эвакуационных удостоверений, без которых их не пустят нигде и заставят вернуться обратно, или — за папиросы, за табак (самую высокую здесь на трассе валюту!) — посмотрят сквозь пальцы, пожалев посиневших детей: «Идите, да лучше говоритесь с каким-нибудь шофером, чтоб подсадил!...»

А шоферы — владыки на этом тракте! От них все зависит, они — как боги, они везут в Ленинград продовольствие и горючее. Им за спекуляцию, даже за мелкое воровство угрожает расстрел, но иные из них ловки и безбоязненны и требуют с голодающих встречных папирос и суют им — кто кусок хлеба, кто горстку муки.»

П. Лукницкий описывает четыре «разряда» эвакуации. Но были еще разряды «люкс», «спецразряды» и прочие атрибуты нашей жизни. Например:

«С 10 октября по 25 декабря 1941 года... самолетами Московской авиагруппы из Ленинграда было вывезено более 50 тысяч человек. В том числе около 30 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов, более 13 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. раненых и больных».

ВНОВЬ СПУСТИМСЯ НА ДНО ЗНАКОМОЙ МНЕ «ВТОРОЙ БЛОКАДЫ»

Январь, 1942 год

Январь был для ленинградцев самым тяжелым месяцем. Хотя уже в конце декабря увеличили норму хлеба рабочим до 350 граммов, а потом до 400 граммов в день. Но все равно эти нормы оставались нормами смертников. Продукты по карточкам не восполняли самых минимальных затрат энергии. Смертность росла, и в отдельные дни, как я слышал, переваливала за 20 тысяч. У людей сдавала психика. У булочных с ночи выстраивались длинные очереди, ибо иногда в самые лютые морозы хлеба на всех не хватало. В конце января несколько дней карточки отоваривались мукою. Для многих это оборачивалось смертной трагедией.

Мама ушла с твердым намерением просить у Саши взять меня на Бармалееву, где в двух маленьких комнатах уже ютились четверо женщин с маленьким Аликом. Мы договорились встретиться в парадном университете восьмого января (давали зарплату и, ка-

жется, регистрировали карточки). Торговля на Кузнецком рынке ожесточилась и соваться туда с нашим «товаром» было бесполезно. Отцовский приварок сначала сократился, а потом пропал, и я к нему почти не ходил...

5 января я вышел «на свет Божий». Ватные ноги после болезни плохо слушались, но я дошел до Нейрохирургического института (вход с ул. Маяковского). Еле поднялся на второй этаж. Народу было много. Сидели в пальто не раздеваясь. Там мне довольно быстро мне продлили бюллетень (врач тоже была в пальто).

И вот я на Невском. Оттепель. Не по-зимнему ярко светит солнце. С крыш капает, но в тени еще мороз. Невский плотно укрыт снегом. Медленно, подняв голову к солнцу, я иду по солнечной стороне. У Елисеевского магазина от улицы Пролеткульта перехожу по узкой протоптанной через Невский тропинке в Екатерининский садик и сажусь на скамейку. Солнце чуть греет и приятно слепит глаза, привыкшие к темноте заколоченных окон. Скоро начинают мерзнуть ноги. Немного отдохнув, поворачиваю к дому. Парикимахерская справа от входа в Дом театральных работников открыта, и мне в голову приходит шальная мысль подстричься. Захожу. В парикмахерской сравнительно тепло, и кому-то моют голову над раковиной. Я тоже хочу, но боюсь, как бы мои вши не полезли наружу. Перебарываю страх, в пальто залезаю в кресло. И вот уже вода льется мне на голову, стекает и коричневой жижей заполняет раковину. Вижу, как на поверхности грязной мыльной жижи барахтается одна... другая... Парикимахерша безучастно привычными движениями еще раз мылит голову. Голова страшно зудит и чешется. Но мне все равно радостно и приятно. Горячая вода попадает на лицо. Я ловлю ее языком и размазываю вокруг губ. Хочется жить и ненавидеть немцев! На обратной дороге отовариваю хлебную карточку и, уставший, иду домой «химичить».

Потом снова ударили морозы. Стало совсем несносно. И вот 8 января.

С мамой мы встретились между дверями главного входа в университет. Она сунула мне в руку котлету из конины. Мы поднялись в Главный коридор. Почему-то помню, как у актового зала на полу горел костер, у которого я грелся, пока мама узнавала, где находится наше начальство. Закоченели ноги, и я вышел на Менделеевскую линию. В сквере и на парапете около решетки лежало несколько аккуратно завернутых в простыни и зашитых трупов. Это было совсем обычно, и я не обращал внимания. Душа ликовала! Мама договорилась с Сашей и берет меня на Бармалееву!

Дорога назад уже не казалась такой трудной. Надо было как-то пережить еще несколько дней.

...Совсем несносно... Морозы за 35 градусов... Я просыпался все позднее, постепенно теряя представление о времени. Дрова кончились. Ломать упругие венские стулья или огромный дубовый шкаф отца не было сил. В подвале напрочь замерзла вода. Дом вымирал и черными впалыми глазницами заколоченных окон мертвое смотрел в садик...

Мама пришла дней через пять в страшный мороз, вся покрытая инеем. В тот день я уже не вставал. Она отоварила мою карточку, что-то приготовила, заставила меня переодеться в принесенное из дома белье, чтобы не нести на Бармалееву вшей. Я безучастно делал, что мог и что говорила мама...

Мы спустились вниз, но идти у меня не было сил. И вот, сама измученная и голодная, мама впряженась в саночки, на которых тупо сгорбившись, сидел я. Часа два, отдыхая у каждого столба, мы тащились по Невскому мимо пепелища только что второй раз горевшего Гостиного, мимо видневшейся в конце Лассала филармонии, куда уже спешили любители музыки. Они были сыты и «в упор» не видели агонии «не безусловно нужных»...

Втащить меня на Дворцовый мост маме кто-то помог. А на мост Строителей, я помню, подымался сам, как на огромную отвесную скалу. Уже затемно мы добрались до Бармалеевой. Наверх на второй этаж меня подымали мама и желание выжить.

Я на Бармалеевой!

Здесь другая жизнь. Она заполнила всю крохотную двухкомнатную квартиру, и смерть не таится по углам. Даже на холодной промерзшей кухне с огромной плитой победно шипел пузатый пятилитровый самовар. В первой, «большой», проходной комнате спали Саша и Женя с Аликом. Вторая — маленькая. Там умещались мама и бабушка, а в углу у параши рядом с печкой на сундуке было постелено мне. Дрова экономили, но, несмотря на морозы, температура в комнатах всегда была плюсовая.

Для меня началось новое время. С вечера клали в воду столярный клей (экономно!). К утру он набухал и его варили в печке, заправляли солью, лавровым листом и ставили в холодной кухне на мороз, а оттуда приносили тарелки уже застывшего студня. Это был основной приварок, который позволил выжить.

Первые дни я был очень слаб и не выходил на улицу. Мама одна старалась все делать по дому и к вечеру еле держалась на ногах. Саша еще не совсем отошла от сентябрьского инсульта. Она страдала от частой одышки и... отсутствия курева (мама говорила, что Саша меняет свой хлеб на папиросы). Несмотря на

все это, на Сашиных плечах лежало самое главное: приносить из литографии что-нибудь съедобное: столярный клей, олифу, глицерин, иногда дуранду, лошадиные кости и еще что-то. Напомню, что Саша входила в актив литографии, взявший на жесткий учет все содержание фабричных складов. Как я сегодня себе представляю, ее положение позволяло получать кое-что в первую очередь (или без нее). Женю я плохо помню. Она отчаянно боролась за жизнь Алика, которому исполнилось три года. Его первые слова были не «мама», а «это полезно?». На Алика выдавали дополнительно какие-то продукты, и Женя целыми днями пропадала, доставая их в очередях.

Потом я стал подыматься... Потянулись томительные дни выживания и надежд. Город, как арбуз семечками, был набит разными слухами, которые женщины несли в дома: скоро ли повысят нормы, в «восьмерке» карточки отоваривают шоколадом, немцы прорвались в город, на рынке поймали фезеушников — продавали из-под полы человечину и пр., и пр. Эти слухи тогда казались огромными, ибо от них зависела наша жизнь.

Просыпались медленно, залеживаясь под тряпками, старыми одеялами и пальто как можно дольше в застылых комнатах. Но голод гнал из кроватей. Я шел на замерзшую обледенелую кухню и старым сапогом раздувал самовар, щипал лучину, с вожделением глядя на тарелки, полные застывшего замерзшего студня. Мама выносила парашу. Женя затапливала печь. Грели хлеб и готовили нехитрую еду из полученных по карточкам или где-то добытых продуктов отдельно — две семьи. Мама строго следила за равноправием в нашей: мама, бабушка и я. Потом все садились за стол и как могли старались продлить еду, поскольку очень неприятно быстро проглотить свою порцию и потом голодному смотреть, как едят другие.

На Жене и мне лежала обязанность обеспечивать всех водой. Выглядело это так. Мы забираем саночки, два ведра, веревки и спускаемся вниз. Мама на покрытой льдом площадке помогает нам привязывать ведра и мы трогаемся в путь. Ближайший действующий кран был в подвале Планового института на углу Геслеровского переулка и Бармалеевой, вход со двора. Но вода из него текла не всегда. По Бармалеевой мы пересекаем Малый и медленно идем к Геслеровскому. Еще не доходя до него, с надеждой смотрим: есть ли народ? Кажется, вся жизнь собралась в этом вопросе. Есть народ — есть вода. У института бело и пусто. Но еще теплится надежда, что все уместились во дворе. Но чем ближе, тем безнадежнее становится взгляд Жени. Воды нет... Надо идти по



Февраль 1942 года. За водой на Малую Невку.

Рисунок В. Д. Скульского. 1980 г.

Геслеровскому на Карповку. Но в последнее время мама запрещает брать оттуда воду для питья. Карповка засыпана помоями, спуск залит испражнениями, проруби замерзли. Говорят, по ночам туда спускают покойников. Мы советуемся и по Вяземскому переулку через весь Аптекарский остров тащимся на Малую Невку. Это более километра, но там всегда пробиты проруби. Всю дорогу думается об одном: как мы достанем воду, наполним ведра и вытащим их на обледенелый берег. Главное, не упасть в воду, не промокнуть, не замерзнуть — иначе смерть. Она кругом: в аккуратно лежащих у подъездов покойниках, защитых в простыни, в распахнутых настежь окнах вымерших квартир, в разрушенных бомбами и сгоревших зданиях.

Мы с Женей осторожно, помогая друг другу, спускаемся на Невку к проруби. Бесконечно долго кружками черпаем воду и все время думаем о подъеме — скользком и обледенелом... Но вот все позади, и мы на набережной. Впрягаемся в лямки и тащим саночки. Ведра шевелятся на ухабах. Вода плескается. Останавливаемся. Жалко каждую каплю. Но мороз не дает долго стоять. Пытаемся попеременке — один тащит, другой толкает сзади. Только бы не разлив! А вода с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. Уже вечереет. А может быть, я смотрю на серые дома и у меня сереет в глазах?.. Но вот и Карповка. Мы осторожно переезжаем деревянный мост. В намокших обшитых тряпкой вигоневых рукавицах коче-неют руки. Скоро Бармалеева. И я вижу маму. Она, закутанная в

тряпки, ждет нас на углу Малого — беспокоится: нас долго нет и мало ли что могло случиться. Мы пытаемся успокоить ее, а сами рады, что все так хорошо кончается. Мама тоже впряженная в лямку, и мы втроем, как «Тройка» Перова, преодолеваем последний кусок дороги.

Саша встречает нас на лестнице и пытается давать «ценные указания». Бабушка уже не ходит. Она безучастно сидит в углу или на кровати и ждет, когда ей выдадут ее крохотную иждивенческую порцию еды. Мама и Саша ее дети, они жалеют свою мать, но кому-то надо умереть, и бабушка умирает. Каждый день мы смотрим на кровать: теплая ли она? Бабушка вся высохла, она маленькая, и ее не разглядеть среди вороха тряпья...

Наконец, ведра затащены на второй этаж. Пока нас не было, Саша, как говорила мама, «сползала» в литографию и что-то принесла. Саша никого из нас на фабрику не берет и все «шахеры-махеры» производит сама. Вместе с едой Саша приносит разные слухи о победах на фронте, о скором прорыве блокады... Она партийная. В свою очередь, мама рассказывает, что слышала в очередях: полуслепотом об убийствах, людоедстве, громче пересказывает практические советы о том, что из горчицы можно печь лепешки, только ее надо долго мочить, чтобы не отравиться, где и чем лучше отоварить карточки, в каком-то магазине отоваривали кусковым шоколадом, а в нашем давали стеклянные банки с по-видлому за сахар из расчета 1:10. Помню, удивился, когда прочитал на банке дату выпуска — январь 1942 г.

Однажды, уже во второй половине февраля, военная девушка, приехавшая из Кронштадта, принесла письмо от сестры Нины. Когда она ушла, я еще раз прочитал письмо вслух. В конце была не замеченная мною приписка о том, что Нина с этой девушкой посыпает нам собранный ею сахар. Мама бросилась за ней, догнала, но сахара не было. Девушка обещала принести потом. «Потом» не было.

В конце февраля у нас неожиданно появился приехавший в командировку с Большой Земли младший брат мамы и Саши — Николай (Косик — любимый сын бабушки). В офицерском полушубке, свежий, с резкими сытными движениями, он был будто из другого мира. Косика внизу ждала машина. Он быстро ушел, оставив после себя весь свой паек командированного и терпкий дух сытого живого тела. В конце войны тяжело раненый Косик вернется домой, немного поработает на заводе «Красногвардеец» и вскоре умрет, не дожив, как и Саша, до пятидесяти лет. Но больше всего из многочисленного потомства бабушки достанется

жившей в Новой Деревне семье старшего сына — дяди Володи. В его семье было шестеро: дядя Володя, его жена — новодеревенская цыганка Нюрка и четверо детей — Толя, Лиля и мои сверстники Лена с Вовкой. Толя будет убит на фронте, Лиля успеет выйти замуж и с мужем, работавшим на оборонном заводе, эвакуироваться на Урал. Все остальные умрут в блокаду.

Запомнился мне мамин рассказ, услышанный в очереди. Отчаявшаяся мать принесла умирающего ребенка к воротам госпиталя, занимавшего в войну Каменоостровский дворец, и хотела убежать. Солдаты ее поймали, дали хлеба, каши и... ребенка, а на прощанье обещали подкармливать. «Так она и живет. Повезло ей», — всегда добавляла мама.

После этого рассказа, каждый раз, когда мы с Женей подходили к Малой Невке и спускались к проруби, я с тайной надеждой смотрел на противоположный берег — на Каменный остров. Оттуда всегда тянуло живой жизнью и сытым дымом военных кухонь. Там стояли штабы Ленинградского фронта. Там ели...

Острое, уже нечеловеческое чувство тянуло туда, и лишь опасность встречи с солдатом мешала перейти реку. Но однажды я все же решился. Опасливо, стороной по льду я подошел и сначала спрятался за деревянные быки Каменоостровского моста. Потом при первых сумерках по льду обошел восточную стрелку острова и уже в потемках лазал по помойкам госпиталя, выискивая среди отбросов и замерзших нечистот что-нибудь съедобное.

Однажды я пошел на Кронверкскую в родную 35-ю квартиру в надежде «поживиться» дровами. Квартира заморожена и пуста. Снаряд попал в шестой этаж дома, пробил потолок и пол нашего пятого этажа и разорвался на четвертом. Из обоих дыр тянуло нежилым затхлым морозом. В большой передней стояла огромная вешалка красного дерева — остатки собственности члена Государственной думы Раевского. Я с трудом затащил ее в комнату и с отчаянной решимостью стал ломать в полной уверенности, что в квартире никого нет. Вдруг медленно приоткрылась дверь и передо мной возник скелет партийца Александрова! Я обомлел. Обломки моей «антисоветской деятельности» были разбросаны по всей комнате. Как мог существовать «слушатель партийных курсов при Смольном», незадолго до войны направленный из деревни в Ленинград, в промерзшей квартире на пятом этаже без воды и отопления? — «Боря, что ты делаешь? Я подам на тебя в суд, и ты отвешишь по законам военного времени за порчу государственного имущества». Александров торжественно показал на приколоченный к вешалке государственный инвентарный номер. Я испугался

и мямлил невесть что. Александров постоял, и ушел, наслаждаясь произведенным эффектом и предстоящим судом.

Другой раз на Кронверкскую я пришел уже в марте. Но до этого произошло еще много разных событий.

Сколько ни пытаюсь, не могу припомнить режим работы радио. Работало ли оно вообще? И ДА, И НЕТ.

Судя по литературе о блокаде — да. И очень продуктивно. По радио читали свои вдохновенно-патриотические стихи Ольга Бергольц, Николай Тихонов, передавались различные призывы крепить оборону города, пели песни, исполнялась Шестая симфония Дмитрия Шостаковича и пр.

Судя по моей памяти — нет. Черный фиброзный репродуктор, висевший над проходом из большой комнаты в маленькую, мне запомнился глухим молчанием, которое иногда прерывалось монотонными сигналами метронома: тук-тук-тук-тук. Тогда я пытался считать эти удары, приближая тем самым время еды. Кроме того, сигналы метронома подавали надежду, что вдруг заговорит АНДРЕЕНКО. Эта фамилия неотделима от Блокады. Я ее не забуду и на том свете.

В 1987 году в ленинградской больнице хроников, покинутый своими детьми и родственниками, умер Иван Андреевич Андреенко. Комсомолец с 1923 года. В Блокаду же, точнее с 18 января 1942 года фамилию Андреенко, зав. отделом торговли Ленгорсовета, знал каждый ленинградец. До сих пор во мне звучит голос диктора, который, уподобляясь Левитану, вещал, а ленинградцы, затая дыхание, слушали: Исполком Ленгорсовета решил объявить продажу крупы в счет норм... иждивенцам — сто граммов...

Людей в городе становилось все меньше и меньше. В конце января живым добавили по 50 граммов хлеба, ввели дополнительные талоны, которые иногда чем-нибудь отоваривались. Мы ходили в «Торгсин» с большим пузатым чайником получать по талонам пиво. Торгсин (торговля с иностранцами) — продуктовый магазин на углу Большого и Матвеевской улицы. Сеть торгсинов была создана в СССР в голодные тридцатые годы. В торгсинах продукты продавались не по карточкам, а за «боны», которые можно было получить в обмен за золото. Последним из домашних золотых вещей мама отнесла в торгсин мой крестильный крестик. Она, помню, плакала и на прощанье дала мне его поцеловать. Крестик остался в памяти почему-то большим и очень ажурным.

Февраль тянулся страшно долго. Мы часами сидели на кроватах, тупо уставившись в стенку, и ждали, когда можно будет идти

на мерзлую кухню ставить самовар и затем съесть заветный кусочек хлеба с похлебкой. Жизнь продолжала угасать... Однажды Саша пришла с фабрики пустая, без обычного свертка с kleem... У бабушки отрылся понос. Говорили, что от декстрина, из которого мы пытались печь лепешки. Так вслух успокаивали себя ее взрослые дети — мама и Саша. На самом деле все знали, что это понос дистрофика, от которого нет спасения, ибо перестает работать желудок.

Надо было что-то делать. Я вызвался, и мама снарядила меня идти продавать что-нибудь на Дерябин рынке. Рынок находился недалеко, на Малом проспекте. После войны его деревянные лавочки сломали и на их месте в 50-е годы возвели помпезное здание «образцового» рынка. В 60-е годы рынок закрыли, а в его помещениях оборудовали магазин «Океан».

Рыночная толкучка начиналась с Шамшевой, или даже с Лахтинской улицы и продолжалась вдоль по Малому вплоть до Рыбацкой. Но обстановка здесь была совсем иной, нежели в декабре на Кузнецном. Меня встретила безысходная тоска умирающих дистрофиков. Люди двигались, либо стояли, молча протягивая руки с бедной домашней утварью, ношенными тряпками, обувью, — будто просили милостыню. Дед продавал буржуйки, а рядом с ним лежали аккуратные вязанки щепок... Никто не покупал... Все ценное, что можно обменять на продукты — обменено. Да и продавцы съедобного, боясь милиции, редко появлялись на толкучке. Ворованные продукты реализовались, минуя рынок, за спинами, а иногда и под охраной милиционеров, которые, как современные рэкетиры, взимали «пошлину».

На мою плюшевую скатерть, махровые полотенца, занавески никто даже не посмотрел, и только за мамино платье удалось получить вязанку дров. Продрогший, я вернулся домой...

Дрова кончались, и я ходил «промышлять» на улицу, залезая в разбитые бомбами или полуобгоревшие дома. Это было опасно, поскольку считалось воровством и каралось «по законам военного времени». Однажды я оказался на третьем этаже дома на углу Геслеровского и Пудожской (сейчас дом 34). Разорвавшаяся бомба обрушила часть передней стены. На улицу свисали железная кровать и большой дубовый шкаф с книгами. Он опасно накренился наружу. Я долго возился, но в конце концов ограничился только связкой книг.

Февраль был лют, но в середине месяца снова прибавили хлеба, и рабочие стали получать по полкило. На улицах по-прежнему лежали трупы. Погребальные команды не всегда успевали их убирать. Но главное — на небе появилось солнце!

Перечитывая сейчас написанное мною о Блокаде и сравнивая свои воспоминания с опубликованными материалами, я обратил внимание на полное отсутствие в моей памяти артобстрелов и бомб-безек зимнего блокадного Ленинграда. Еще раз напрягаю память... Ведь были тревоги... рвались снаряды... от бомб рушились и горели дома... нет не помню... даже мысленно не могу нарисовать картину...

«Всего от разрывов снарядов и бомб за время блокады погибло около 17 тысяч и ранено около 34 тысяч человек» («Ленинград и Большая земля», 1975, с.46).

Так ведь это же капля среди гор умерщвленных голодом ленинградцев! Как я сейчас понимаю, липкий страх быть убитым снарядом, бомбой сохранялся у тех, чье горло ледяными пальцами не душила голодная смерть.

Пришел март

Перелома еще не было. Горожане продолжали умирать тысячами, но остающиеся в живых уже ждали теплого солнца, жизни. Все живое отвергало голодный шок, стабилизировалось в ожидании чего-то «вот-вот, вот-вот»...

4 марта мне исполнилось 17 лет. Я получил самый дорогой в жизни подарок: каждая из женщин отломила от своей пайки кусочек хлеба!

В марте черные тарелки репродукторов уже не замирали от отсутствия электроэнергии. Но передачи вызывали только раздражение. Кто-то мог сочинять стихи, кто-то мог петь песни... а мы умирали... Ждали только Андреенко с его объявлениями о выдаче норм, и как радость — чего-нибудь по дополнительным талонам, в крайнем случае, сообщений о победах, приближающихся конец страданий. Но объявления были редки, а победы к весне совсем прекратились. И ЛЮДИ ТЫСЯЧАМИ УМИРАЛИ ОТ НЕСТЕРПИМОГО ВСЕПОЖИРАЮЩЕГО ГОЛОДА.

11 марта умерла бабушка.

До этого она неделю не вставала. У нее все время был понос, и бабушку уже ничто не могло спасти. Ухаживала за бабушкой мама, но все равно вонь стояла страшная. Мы ждали ее смерти. Бабушку не было видно среди груды тряпок, и только по терпкому запаху мы знали, что она еще жива. Мама старалась чаще менять подстилку, но вода оставалась большим дефицитом. На стирку мы набирали снег, который в тот страшный год в Ленинграде был белый и чистый.

На следующий день бабушку зашили в простынь, все вместе спустили со второго этажа («обязательно ногами вперед» — при-

читала мама), привязали к саночкам. Мы с Женей впряглись в лямки. Мама плохо себя чувствовала и много плакала. Саша пыхтела, дынила и осталась с Аликом.

Везти было недалеко. Морг находился в больнице Эрисмана. Светило мартовское солнце. Мы вывезли саночки на проспект Карла Либкнехта и, не пересекая его, повернули налево по солнечной стороне. Снег еще не таял и саночки шли легко. Лишь у Ординарной, где около булочной была огромная наледь, пересекавшая весь проспект, а на противоположном от булочной углу угрюмо чернел остов обгоревшего дома, мы с трудом перетащили бабушку. Веревки ослабли и она болтала из стороны в сторону. Впереди привычно краснел трамвай, еще с декабря застрявший посередине площади Льва Толстого. И вдруг трамвай дрогнул! Мы с Женей, не сговариваясь, остановились — не может быть! Каждый подумал, что ему показалось. Но, когда мы проезжали мимо, около трамвая возились люди в ватниках.

Направо, в нашей школе всю блокаду работал госпиталь. Там была жизнь. Вокруг же стояли промерзшие голодные дома, а в них где-то глубоко внутри робкими неверными угольками кое-где еще теплилась жизнь.

Мы пересекли площадь и по Английскому Большому добрались до Карповки. Дальше дорога к моргу шла по берегу речки. Трупы в беспорядке валялись по обе стороны дороги. Берег Карповки здесь довольно высокий и крутой. Покойники сползали по нему, а некоторые уже лежали на льду.

Описание этого морга (как он выглядел в декабре) есть в дневниковых записках Веры Инбер:

« 26.12.41. Страшно выйти утром из наших задних ворот (ворота на Карповку, через которые мы везли бабушку — Б. М.), очутиться у самой прозекторской на берегу Карповки. Это — мертвецкая всего района под открытым небом... Мертвцы — в простынях, скатертях, лоскутных или байковых одеялах, иногда в портьерах... Однажды я видела небольшой, видимо, очень легкий трупик ребенка в оберточной бумаге, перевязанный бечевкой... Все это напоминает одновременно и побоище и ночлежку».

В марте, т. е. через три месяца, перед моргом образовалась свалка из трупов, большей частью завернутых в простыни и защищенных. Лишь справа на грязном утоптанном автомобильными шинами снегу выделялись отдельные кучки трупов полуодетых женщин и детей, в беспорядке сваленных с машин. Эти, вероятно, были собраны по опустевшим квартирам. До сих пор запомнился синевато-серый труп женщины в нижней рубашке с вывалившимися наружу тощими грудями и открытыми глазами. В других кучах покойники были в пальто, валенках... Ближе к моргу трупы уже были акку-

ратно сложены в штабеля (поленница) высотою метра по полтора, вероятно, подготовленные для вывоза.

Я остался у санок. А Женя ушла «записывать» бабушку. Потом мы радостно с пустыми санками возвращались домой и нам в лицо светило солнце. Трамвая на площади Льва Толстого не было.

После смерти бабушки был какой-то краткий общий подъем духа — будто лопнул нарыв. Женщины долго что-то мыли, чистили, выбрасывали. Стало больше места (будто бабушка его занимала!).

Заработала Карповская баня, и мама послала меня мыться. Действовал один зал. Он был перегорожен на две части скамейками. В одной — маленькой, мылись мужчины, в другой — женщины. Точнее то, что от них осталось. Было холодно и полутемно. В сырому пару за скамейками перемещались скелеты, на которых складками висела кожа. Это были блокадницы. От прикосновения тепловатой воды непривычно бегали мурashki, вся кожа зудела и болезненно чесалась...

В 80-х годах Карповскую баню сломали. На ее месте обосновался «долгострой» фешенебельной гостиницы, которая уже лет пятнадцать возводится на углу Каменноостровского и набережной Карповки, рядом с особняком Анны Павловой.

Нет, больше не могу писать про Блокаду...

ЛУЧШЕ ВОТ О ЧЕМ...

При бане действовал «санпропускник». Это порождение войны в различных видах будет следовать за мной (точнее, я за ним) всю войну. А сейчас я с ним встретился первый раз, сдав белье «в прожарку». Стационарный санпропускник — камера, куда на палках, вешалках, или просто на полках раскладывается белье, верхняя одежда и даже обувь. Затем закрывается дверь и в камеру пускается пар, доводя температуру до 80 градусов. Предполагается, что при такой температуре в течение 15—20 минут все вши сварятся и даже погибнут их яйца — гниды. Военный походный санпропускник устроен проще. Бочку из-под бензина с вырезанным верхом ставят на костер, на дно наливают немного воды, на палках подвешивают белье, а сверху прикрывают крышкой. Вода кипит и в пару варятся вши. Бывало по разному. Зазевается дежурный солдат, вода выкипит, и из бочки повалит густой дым горящего обмундирования. Ничего не подозревающий хозяин белля, выйдя из бани палатки сытый, в прекрасном расположении духа, остается «в чем мать родила», растерянно топчется на месте и застенчиво прикрывает «стыд» под смех и веселое беззлобное улюлюканье окружающих.

ших. Иногда же твоя гимнастерка оказывается в самом холодном месте бочки и к ней в страхе и панике сбегаются все вши. Тогда приходится трясти ее над костром, наслаждаясь треском лопающихся жирных породистых насекомых.

Но все это будет значительно позже, когда я вернусь в жизнь и разноцветным фейерверком понесутся мои полнокровные сытые фронтовые дни, а я вместе с новыми друзьями займусь сугубо мужским делом — войной — тем беспечно геройским времяпровождением, о котором мужская плоть начинает мечтать еще в утробе матери.

Вновь силой вернемся
на противное природе человеческой место — дно Блокады —
В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕНОЦИД.

В середине марта кончился столярный клей. Пайка не хватало и силы таяли. Наступала новая депрессия. Я «шел под откос». Надо было что-то делать... В таком состоянии где-то на Кировском я прочитал объявление о наборе в «Комсомольский полк по охране города». Заявления принимались от «граждан мужского пола, достигших 17 лет». Я только что их достиг, поэтому пошел в Петроградский райком комсомола, что на Скороходовой, сдал документы и получил справку.

В назначенный день я пришел в райком и был определен в строевое подразделение. В тесном холодном помещении собралось человек двадцать, в основном, таких же доходяг, как я. После томительного ожидания нас группами вызывали в теплую комнату, объясняли задачи, рассказывали, как будем нести службу, долго говорили о победах на фронте, о заботе партии... Потом снова предложили подождать, снова вызывали... А мы — рядовые Комсомольского полка по охране города — хотели есть. Голод нестерпимо, до боли выжимал соки, тело минутами замирало, но мы терпели в надежде на еду. Под вечер, так и не накормив, всех распустили по домам, ибо в райкоме никто не смог решить проблему кормления. Питаться мы должны были в райкомовской столовой, прикрепление к которой строжайше лимитировалось.

Не помню сколько дней это длилось. Наше подразделение постепенно таяло. Мы часами сидели в полуподвале, приюхиваясь к запахам райкомовской столовой...

Эти «походы в райком» добивали меня, и к вечеру с прилипшим к спине животом я еле-еле доползal до Бармалеевой. Саше, Жене и маме было не до меня. Мама устроилась на работу в 24-ю литографию к Саше и должна былаходить туда каждый день. Она очень

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ
Ленинград, Скороходова, 19. Тел. В 271-23

С Т Р А З І А

Дано том... *Михаилов Б. Н.* ... в тоъ,
что он с 20 марта 1942 г. зачислен в Комсо-
мольский полк по охране города в на основании
решения Ингрийского полкома от 12 марта с/г. за
ним сохраняется предыдущий гарантъ.

Зас. Секретаря РК ВЛКСМ
Петроградского района
Потушкова

20 марта 1942 года.

Фотокопия справки о зачислении
в Комсомольский полк
по охране города.



Первая страница комсомольского
билета, на основании которого я был
зачислен в Комсомольский полк.
Единственный документ, который
прошел со мной всю войну.

тоже чуть живой появлялась на Бармалеевой, ничего не принося домой.

Как-то неожиданно у меня начался «бабушкин понос»... Может быть виною этому был не райком, а селедочные кости и голова, которые я нашел в подворотне нашей школы, а может быть желудок уже не выдерживал изнуряющего голодания. Я боялся сказать об этом дома и решил лечиться сам. Кое-как добрался до Кронверкской, где могли быть лекарства. Квартира еще не разморозилась, т. к. в шкафу за ящиком я нашел упавшую туда бутылочку гематогена. Бутылка лопнула от мороза. Но гематоген не разлился.

В тот приход Александров, т. е. его скелет вручил мне повестку, сохранившуюся до сих пор.

Гражданину (ке) Михайлову Б.

ПОВЕСТКА

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» Вы считаетесь мобилизованным с 27 марта по 8 апреля 1942 года для выполнения в порядке трудовой повинности работ по очистке города.

Немедленно по получению настоящей повестки Вы обязаны явиться в контору домоуправления для получения направления на работу.

Рабочие и служащие действующих предприятий, а также учреждений обязаны по получению повестки явиться в места по указанию руководителя предприятия (учреждения).

В процессе выполнения работ по очистке Вы обязаны беспрекословно подчиняться распоряжениям бригадира, безоговорочно следовать его указаниям и выполнять ежедневные задания...

За неявку или уклонение от выполнения работ по очистке Вы будете привлечены к уголовной ответственности по законам военного времени.

ИСПОЛКОМ ЛЕНГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На оборотной стороне повестки отметки о явке и выполнении работ, подпись руководителя предприятия и печать Центрального географического музея.

Без этой повестки и особенно без подписи и печати ходить по городу было рискованно.

С повесткой в руках я добрался до Бармалеевой. Дверь в квартиру была открыта. В большой комнате на полу лежала Саша.

Женя и мама пытались ее приподнять. У Саши случился «удар»: перекосило лицо и отнялась нога. Несмотря на голод, Саша оставалась большой и тяжелой...

Что было дальше я, откровенно говоря, не помню. Попытался складывать из разбитых осколков памяти того времени более или менее правдоподобную картину — получается плохо... Помню только, как ночью чужим голосом кричала Саша, ругалась и требовала папирос, как плакали и суетились около нее женщины... Помню утро. Мне не под силу сползти с сундука. Я зову маму. Но дома никого. Холодно. Только за стеной по-мужски с надрывом хранил Саша. Надо добраться до ведра с парашей, но мне не встать...

Саша — наша блокадная кормилица — умирала бурно, отказываясь от еды, умоляя, требуя и прося водки и папирос. Она не вставала, а женщины не могли водить ее «на ведро». Заболел Алик, у него тоже начался понос, и Женя была не помощница. Дело шло к концу...

Дня через два-три мама с утра пошла в райком в мой Комсомольский полк просить помощи... Как бы мне сегодня хотелось написать о милосердном поступке руководителей Петроградского райкома комсомола! Но, увы. Мама вернулась вся в слезах и с пустыми руками.

Потом еще помню, как сквозь туманное забытье услышал за стеной в большой комнате глухие мужские голоса, женские причитания... опять все смолкли... или я провалился в небытие...

Что в это время делала мама, я не знаю. И как-то недосуг было спросить, когда она еще была жива. Но, как может догадаться читатель, наперекор всему я остался живым.

Да, еще помню: пустой замороженный двор бывшего имения графа Бобринского. Черная дыра в стене правого флигеля. В глубине дыры уже схваченная ржавчиной станица печатного станка. Я с лопатой в руках сижу на гранитном бордюре главного входа в Географический музей. По небу быстро проносятся облака, каждый раз надолго закрывая солнце. Я жду маму. Она должна отвезти меня домой и накормить. Мне очень холодно. Солнце, как нарочно, светит сзади из-за дома. Чтобы встать под его лучи, надо выйти на середину двора, но там морозно, сквозит и негде сесть...

Сегодня я держу в руках ту повестку — тот волосок, на котором я был подвешен к жизни: первая отметка — «задание выполнено» — датирована 31 марта. Это последний день, когда можно



Март 1942 года. Очистка города. Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

было, поставив подпись и печать, получить продуктовые карточки — право на продолжение существования... Опять пытаюсь что-то вспомнить...

Мама каким-то образом доставила меня полумертвого на Красную улицу показать, что я еще живой, выполняя «трудовую повинность» и поэтому должен получить рабочую карточку.

Тело боролось. И в апреле я уже сам ездил в литографию. Печати на наши повестки ставили здесь же в Географическом музее, который, как и мы, входил в состав Географического факультета ЛГУ.

Саша тоже осталась жива. Ее «взяли в стационар». Приехали за ней сослуживцы — рабочие 24-й литографии. Их фабрика оживала. Там открылась «закрытая» столовая, был организован учет живых и помочь особо нуждающимся. Саша каким-то образом принимала в этом самое бурное участие. На фабрике ее знали и, как я думаю, любили, потому что ее нельзя было не любить.

Две недели изможденные, еле шевелящиеся ленинградцы чистили город: скальывали лед, убирали помойки. Свозили на тех же саночках мусор с завалов около разбомбленных домов. Вытаскивали оттуда замороженные, но уже местами начинавшиеся разлагаться трупы... Власти боялись эпидемий. Но, то ли болезнестворные микробы сдохли с голода, то ли дистрофичные ленинградцы были противны даже тифозным и холерным бациллам — эпидемий не было.

Пока я отбывал трудовую повинность, на Кронверкскую на мое имя пришла еще одна повестка: «Явиться на Военно-учебный пункт

(ВУП) для прохождения трехмесячной военной подготовки с отрывом от производства и с сохранением среднемесячной зарплаты».

ВУП занимал здание школы на Петроградской набережной, где сейчас находится Нахимовское училище и стоит «Аврора» (старинное, чуть ли не петровских времен здание со шпилем и бюстом Петра). Здесь все было организовано четко. Нас, бойцов сразу же перевели на казарменное положение. Домой отпускали только в воскресенье и, кажется, на какое-то время вечером. В будние дни на Бармалеевой я уже почти не бывал.

Казарма нашей роты была на втором этаже в просторном классе. Служил я, вероятно, во втором взводе, поскольку с тех времен сохранился такой документ (цитирую, как есть, машинистка запятых не признавала):

ДОГОВОР

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ БОЙЦАМИ 1 и 2 РОТЫ (С ОТРЫВОМ ОТ ПР-ВА) III-ОЧЕРЕДИ (чернилами дописано: 2-й взвод).

Мы бойцы 1 и 2-й роты в ознаменование пролетарского праздника 1 мая имея беспредельное желание выполнить приказ Наркома Обороны т. Сталина в деле подготовки резервов для Красной Армии способных уничтожить немецко-фашистские орды вероломно напавшие на нашу страну взаимно берем на себя следующие обязательства:

1. По боевой и политической подготовке иметь оценки только на отлично и хорошо.
2. В совершенстве освоить основной вид оружия — винтовку.
3. По огневой подготовке 1 и 2-е упражнение выполнять не ниже чем на отлично и хорошо.
4. Принимать активное участие по наведению санитарного порядка в аудиториях и общежитиях.
5. Для обеспечения культурного отдыха и досуга принимать участие в организации бригады художественной самодеятельности.

Политрук 1 роты.

Политрук 2 роты

подписи

Состав нашей роты был довольно пестрым. Резко выделялась группа сытых мордастых парней, которые «ходили на головах» и при случае показывали нам свое превосходство подзатыльниками либо грубой насмешкой. Двое из них были детьми хлебопеков, остальные имели более темные неафишируемые статьи питания. Эти часто бегали домой, а по вечерам чавкали под одеялами.

Основная же масса новобранцев, хотя и была тоща, но каждый из них имел какой-то домашний «приварок». В их карманах часто появлялись то сухари, то сахар, иногда около кроватей валялись раскрошенные куски дуранды. Кичась перед «мордатыми», они не подбирали крошек, но старались и неронять. Я с завистью смотрел

на эти крошки, норовя тайно засунуть их в рот, боясь вызвать жестокие насмешки: «Дистрофик паршивый!». Это была правда и поэтому было вдвойне обидно.

На другом полюсе были мы — небольшая группа «доходяг», не имевших побочных источников, и только волею случая оставшихся живыми. Все наши помыслы, направленные на выживание, крутились вокруг еды. Учителем была ЖИЗНЬ — **суровая, но благосклонная к упорным мамкам**. Мы не дружили, и тайно друг от друга, как могли, доставали еду.

В начале мая по предприятиям в Ленинграде стали раздавать землю под огороды. В ход пошли скверы, сады, парки, а то и просто газоны на улицах. Саша вернулась из стационара, но из дома не выходила. Мама получила землю на нее и на себя сразу слева от памятника Стерегущему. Я несколько раз издали видел ее там, сгорбившуюся над грядкой. Наши пути расходились, и мне все чаще надо было принимать решения самому.

Напротив «Стерегущего» наша рота проводила занятия по тактике. Мы, вооруженные деревянными винтовками, «ходили в атаку» среди деревьев в сквере у Татарской мечети. Все кусочки земли, куда попадало солнце, здесь тоже были вскопаны, и кое-где уже появлялись крохотные всходы. Я старался кончить бросок между грядками и, упав на землю, сразу же начинал быстро-быстро выдергивать красные хвостики свеклы, жадно запихивая их в рот. Хвостики были вкуснее молодых липовых листьев, которых можно было есть «от пузга».

Неделю подряд нас водили копать контэрскарпы вдоль берега Большой Невки у Ботанического сада (на случай, если немцы прорвутся с юга и будут штурмовать Петроградскую сторону). Мы шли мимо длинного мрачного здания госпиталя, фасадом выходившего на набережную. Меня всегда тянуло пройти по его задам (как это делают голодные псы). Там оттаивали зимние помойки и громоздились новые, забросанные окровавленными гнойными бинтами, марлевыми повязками и разными вонючими отбросами военного госпиталя. Как-то среди разбитых уток и прочего хлама я нашел консервную банку с недоеденной кашей и в ней огрызок хлеба! По-моему, с тех пор я с вожделением и безо всякой брезгливости заглядываюсь на каждую помойку: не глянет ли оттуда, как золотой самородок, заветная банка, доставившая мне тогда столько радости.

На берегу Большой Невки каждый получал лопату и участок берега длиной полтора метра. На нем надо было прокопать верти-

кальную стенку. У «доходяг» случались голодные обмороки, но я все равно изо всех сил старался быстрее кончить «урок», чтобы успеть подлезть под ограду сада и половить там лягушек. Однажды помню: «Боец Михайлов, что у тебя там шевелится?» Под злые смешки «мордатых» я выпустил из плена противогазовой сумки добычу. Но чаще охота была успешной. Тогда я убегал на Кронверкскую и там, оставшись наедине, затапливал буржуйку, резал и варил на сковородке лягушек, добавляя в варево листья липы и молодую крапиву. Это были минуты блаженного одиночества. Правда, над ними всегда висел «дамоклов меч» наряда вне очереди за опоздание на поверку.



Май 1942 года. Богатая добыча!
Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

В памяти о лягушках остался лишь цвет их мяса: оно было белое, похожее на куриное. И еще помню, что его всегда было мало: практически, одни лапки (кишки я уже выбрасывал).

После рытья контрэскарпов нас несколько раз посыпали на разборку домов на дрова. Однажды моего напарника придавило рухнувшей стеной двухэтажного дома где-то в конце Скороходовой. Из-под развалин его извлекли только на следующий день и уже мертвого. Посылки прекратились.

Наш ВУП функционировал при Петроградском райвоенкомате, занимавшем небольшой особняк на Петроградской набережной. «Военкоматчики» частенько, злоупотребляя властью, использовали нас на различных подсобных работах. В мае мы разносili призывные повестки бронированным в начале войны жителям. После обеда каждый из нас получал 5—6 повесток, которые надо было вручить «под личную подпись». Занятие не из веселых. В большинстве случаев адресаты в горькую зиму переселились «в мир иной» и нас встречали заколоченные управдомом двери. Иногда же двери открывали родные «подлежащего мобилизации гр.». Начинались слезы, истерики, ибо покойнику требовалось не только «немедленно явиться на призывной пункт», но иметь при себе одежду, ложку и пр.

ПОМНЮ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Я иду с последней повесткой в большой серый дом на углу улицы академика Павлова и Кировского проспекта. В руке зажат кусочек хлеба граммов 50, поданный мне в одной из квартир в ответ на повестку вместе с причитаниями: «Сынок, помяни его, раба божьего...». Мне радостно на душе, и я согласен так поминать всех «рабов божьих». До вечерней поверки еще далеко. Этот кусочек я унесу на Кронверкскую, залью водой, смешаю с листьями — и на сковородку, устрою пир!.. День хоть и холодный, но солнечный. С улицы Чапыгина на Кировский парком выползает детский сад. Детишкам лет по 5—6. Может больше, может меньше. Они укутаны в платки, косынки, из которых книзу уродливо торчат ноги-спички. Среди тряпок видны обтянутые кожей черепа, на которых явственно обозначены впалые глазницы и пропалы рта... Я впервые вижу так много живых детских скелетов, их потухшие безразличные глаза... Первая поравнявшаяся со мной пара приостанавливается около моего хлеба, подходят другие... останавливаются. «Дядя, да-а-ай!» И уже со всех сторон ко мне тянутся цепкие костлявые ручки и глаза. Я совсем не хочу отдавать. Это мой хлеб! Воспитательница отошла к дому, отвернулась. В отчаянии я смотрю назад, надо бежать! Но ноги будто прилипли к панели. Вокруг собирается толпа. Не помню, как я делил или отдавал свой хлеб, но дети ушли, а я остался без хлеба... Правда, как это часто бывает, горе мое было непродолжительным. В квартире, куда принес повестку, я был награжден сторицей. Туда только что вернулся с фронта мой адресат и пир стоял горой. Меня напоили настоящим сладким чаем с сухарями. Большой белый сухарь дали с собой.

Июнь

В Ленинград постепенно и неохотно проникало тепло. На ВУПе учеба шла своим чередом. Мы уже овладели нехитрой теорией солдата: винтовка образца 1898 г. 7,62 мм (трехлинейка). Начались боевые стрельбы. Тир располагался на задворках Петропавловской крепости. Стреляли в кирпичную крепостную стену, расчищая себе площадки среди густого репейника и буйной крапивы. В длинные перекуры (курили только «мордатые») можно было прислониться к нагретой чуть наклонной крепостной стене и в истоме сладко погреться на солнце, которое хоть немножко восполняло нехватку еды... Но все равно есть хотелось страшно. Пайка не хватало.

В общем же к июню ленинградцы стали получать продуктов чуть больше. Появились разные дополнительные источники добывчи пищи, которые одних спасали от смерти, другим позволяли приближаться к военной тыловой норме. Я к этим источникам доступа не имел. Среди нас — полуживых «доходяг» — началось расложение. Одни потянулись к жизни, к здоровым сверстникам. Другие — в свое время, вероятно, переступившие смертельную черту, — оставались ТАМ и медленно гасли. Им ничего не могло помочь. Труп одного мы как-то вынесли из класса. Боец посередине урока облокотился на парту и затих... навсегда. Еще один — просто не проснулся по утреннему подъему. Наверное, я был где-то посередине. Зрела новая депрессия, за которой стояла отчаянная беспросветность. Она усугублялась еще и слухами о том, что вскоре до конца учебы нас переведут на полное казарменное положение и запретят выходить на волю. Иначе, меня запрут в клетку и лишат единственной связи с миром, где можно что-то достать, проявить свои способности, усиленные болезненным желанием что-нибудь съесть.

А что будет после ВУПа?.. Разговоры о скором прорыве блокады, о «празднике на нашей улице» уже набили оскомину и повторялись только на политзанятиях. Все наступательные операции Красной Армии в первой половине 42-го года (Керчь, Ржев и др.) кончались отнюдь не «праздником».

У меня не было огорода... не было работы... возвращаться на Бармалееву, чтобы еще в худшем варианте пройти новый зимний ад?!.. Бежать! Все равно куда!!!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1985 году я показал блокадные записки двоюродной сестре Жене — единственному оставшемуся в живых свидетелю моей блокадной жизни. Женя позвонила на следующий день и сказала: «Ты знаешь, я всю ночь ревела. Все-все так и было. Только я не знала, как тебе досталось на Невском».

Часть II. ЭВАКУАЦИЯ

1. «Вакуированные».
 2. Военная мачеха Алма-Ата.
 3. Паровозные бригады войны.
-
-

Глава 1. «ВАКУИРОВАННЫЕ»

К началу июня мысль «УЕХАТЬ!» полностью овладела мной. Поддержал отец. Мама плакала. Куда ехать? Я выбрал совет отца — в Алма-Ату. Туда эвакуировалась со своим мужем-художником и двумя детьми сестра мачехи. Знакомство не близкое, но... все-таки встретит знакомый человек.

Заявление, справка с работы, из жилконторы... и вот у меня на руках эвакоудостоверение, полученное в эвакопункте на углу улиц Мира и Кронверской.

Мама набила мне два чемодана разными вещами. Положила свои выходные крепдешиновые платья, шерстяные кофты, подарки тете Нюре и пр. Отец написал записку.

20 июня. Финляндский вокзал. Вдоль перрона сиротливо выстроились разномастные дачные вагончики. Меня провожает мама. Я отдаю ей полученную на два дня норму хлеба (700 г), она отказывается, у нее трясутся руки, губы. Я залезаю в вагон.., гудок.., мама и перрон медленно ползут назад. Маленькая худенькая, повязанная разными платками мама плачет и машет мне.

Поезд медленно, с остановками, плется к Ладоге. У Борисовой Грибы мы — теперь эвакуированные — выходим в лес (женщины в одну сторону, мужчины — в другую). Утром на берегу Ладоги нас быстро сортируют, отбирают чемоданы, грузят на огромные железные баржи... И вот уже холодный ладожский ветер гонит навстречу мелкие барашки волн. Кто-то вздыхает, пугливо смотрит за борт, полуслепотом идут рассказы о немецких обстрелах, потопленных баржах, бомбежках. А мне холодно. В модном с большими плечами пальто и вигоневом свитере, я жмусь к железной обшивке баржи, прячась от ветра и подставляя лицо солнцу. Качает, немножко мутит, рядом кого-то рвет...

ЧАСАМ К ЧЕТЫРЕМ БАРЖА УТЫКАЕТСЯ «В БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ»

Здесь другая жизнь! Штабеля ящиков с продуктами, горы мешков с мукой... Я пытаюсь украдкой, послюнив палец, исподтишка ткнуть его в мучную пыль, которой покрыты доски... Кругом другие — необычные люди. Они ходят, а не ползают, говорят, а не лепечут, у них есть тело, которое держится прямо и уверенно.

На полянке за колючей проволокой мы находим свои чемоданы и тащим их в теплушка. Вот мой вагон. Он пойдет до Свердловска. Я занимаю место на верхней полке и иду с котелком за едой — суп, каша, хлеб. Есть надо мало, иначе будет понос. Это знают все, но разве удержишься! Дороги ленинградских эвакопоездов на тысячи километров заляпаны поносными лепешками. Не будет исключением и наш состав.

Мое эвакоудостоверение действует на месяц. За это время я доеду до Алма-Аты, выучив все несложные, но обязательные правила железнодорожного поведения, созданные войной: санпропускники, пункты кормления, кипятильники, базарчики.

КОЛЕСА ЗАСТУЧАЛИ...

Теперь их тук-тук, тук-тук надолго войдут в мою жизнь. В этих звуках сольется грусть расставаний и радость встреч, счастье и печаль, а больше всего надежд на новое — волнующее и неизвестное, но всегда желанное.

Сначала было плохо и даже очень. Сегодня бы я сказал: какой-то кошмар. До мелочей запомнилась третья ночь. Остановка в Шарье. Все ушли в санпропускник, ибо без справки о «прожаривании» не дадут еды. У меня понос. Я один и ослаб так, что не могу слезть с полки. От меня воняет. Прошлой ночью соседи, сбившись в дальнем углу нар, о чем-то переговаривались, глядя в мою сторону. Таких, как я, много. Желудки их отказываются работать и никакими средствами не возвращаются к жизни. Это знают соседи. Они не хотят, чтобы я умирал у них на глазах. За мной сейчас придут страшные черные санитары с носилками, те, которые вчера уносили из вагона старика, умершего подо мной на нижней полке. Я уже не чувствую ни голода, ни холода, лишь где-то глубоко лампадным язычком в моем теле чуть шевелится совсем молодая жизнь. Ее затравили, загнали в угол. Она одна... Мама, где ты? Слезы до боли сжимают горло. И я плачу навзрыд. Мамы нет. Холодный дождь стучит по ржавой железной крыше, капает на пальто, на лицо... Слышны шаги. Люди возвращаются, тихо переговариваясь между собой.

Я судорожно вцепляюсь в деревянную обшивку вагона. Никакие санитары не оторвут меня от нее! Поддерживая друг друга, соседи поднимаются в вагон. Я стыдливо с головой закрываюсь пальто, пытаюсь заглушить всхлипывания. Соседка — сердобольная старушка, а может быть просто мать солдата, тихо дотрагивается до меня. Я вздрагиваю... Она хочет мне помочь. И вот, я утыкаюсь в ее грудь и реву. Этими, последними в жизни слезами, я прощался с детством, и мне сразу надо было становиться взрослым.

Там, куда мы идем
Нет ни родственников, ни близких,
По особому там
Даже листья деревьев дрожат
Там
Под самым большим,
Самым чтимым в Шарье обелиском
Ленинградцы,
Блокадники,
Сверстники наши лежат.
«Мы пред ними в долгую» —
Наставляю я младшего сына,
Их шаринцы спасали,
И все-таки многие здесь...

Ленинград...
Ленинград,
Ты один у великой России,
Но твоих Пискаревок
В России
Не счесть.

А. Беляев

Изможденные женщины вагона меня мыли, кормили, стирали белье. Жизнь возвращалась медленно. Но еще медленнее тянулся поезд, оставляя за собой могильные холмики блокадников, не сумевших вернуться назад — в жизнь.

Киров—Молотов—Свердловск. Нас сортируют по другим поездам, вагонам. Соседняя семья сплошь из женщин и детей зовет ехать на Южный Урал, но я упорно цепляюсь за Алма-Ату.

В новом вагоне, идущем в Сибирь, несколько семей с детьми. Резко выделяется семья на моей полке. Эти из-под Тулы. Глава — здоровый большой мужик — «куркуль». Под стать ему жена — толстая неповоротливая «кабаниха». С ними дети — взрослые, полузврослые. Придя в вагон последним, куркуль сразу попытался «навести порядок» и устроиться отдельно на уже занятой нижней

полке. Это ему не удалось, и он с остервенением стал забрасывать ко мне на верх сидора и окованные железом чемоданы. Увидел меня. Это вызвало у него раздражение:

— А ну, пшел отсюда!

А мне идти некуда. Я забился в угол и жду.

— Вишь, городской нашелся. Городские — они все воры. Тронется поезд — выброшу тебя вместе с чемоданами!

ПОЕЗД ТРОНУЛСЯ...

Все пути эвакопоездов — это сплошные базары, базарчики и барахолки, где все обменивается и все продаётся. К железным дорогам стекаются с окружающих деревень, приезжают издалека все, кому чего-нибудь не хватает. Война по-своему распределила людей по социальной лестнице. Общественное богатство перераспределялось, создавая новые, дотоле неизвестные классы имущих и обездоленных.

Остановка состава «на кормление» где-то за Тюменью. Обычно на кормлении поезд стоит часа 3—4, а то и больше. В это же время проводится и медосмотр. Кого-то «снимают с поезда» под плач и причитания родственников, либо весь состав отправляют «на прожаривание».

Впереди еда. Я мечтаю: хорошо бы был пшеничный суп. Он густой. Иногда дают суп на мясном бульоне, вдруг мне попадется кусочек мяса! Тело уже постепенно оттаивает, наливаются соками. Жизнь кажется беззаботной и прекрасной. И как всегда... вдруг! Около пищеблока, обычно тихого и сосредоточенного, бушует толпа. Крики, ругань, мат, люди куда-то лезут. Тревога залезает и в меня, мобилизует силы. Еще не понимая всего, я втискиваюсь в толпу. Оказывается, еды мало, кормить будут только ленинградцев и детей, остальных на следующей станции. Я высоко, как знамя, подымаю свое эвакоудостоверение и пытаюсь пробиться через толпу. Меня непускают, потом кто-то сильно бьет в бок. Упасть некуда.

— А ты, заморыш, куда лезешь?! — со злобой кричит мой сосед-куркуль. Вслед ему визгливо вторит жена:

— У него целые чемоданы жратвы и шмутья, а тут дети малые с голодухи пухнут!

Вокруг чужие мне деревенские люди, озлобленные, уставшие от бесконечных тревог, сорванные с насиженных мест и от этого потерявшие мирный облик.

— Тоже, ленинградец нашелся! Да настоящие ленинградцы на кладбищах лежат, а не в тылу побираются! Чего смотришь? Гони его в шею!

Потом на боевом счету этого «заморыша» будут по крайней мере десятки убитых и покалеченных фашистов, слово «власовец» сольется с «куркулем», а пока я гадким утенком с отчаянной решимостью прорываю заслон завистливой толпы. И вот уже вокруг меня понурая флегматичная толпа ленинградцев тихо, но уже упорно окружившая заветную «амбразуру». Впереди меня старик в очках слезливо просит добавки.

— Проваливай, много вас таких шатается! — повариха бескомпромиссна. Толпа сзади ропщет:

— Уходи, не мешай раздаче!

Появление на станции состава «вакуированных» всегда вызывает оживление. Кое-кто из местных жителей, наслушавшись «страшных» рассказов, выходит к нашим поездам просто так — поглазеть на скелеты «вакуированных ленинградцев». Такие смотрят на нас, как на диковинок из зоопарка, беззастенчиво показывая своим детям пальцами на наиболее колоритных дистрофиков. Это уже неприятно: к нам постепенно приходит забытое в блокаду человеческое чувство собственного достоинства.

Убогая Сибирь тянется бесконечно

Незаметно перелески сменяются березовыми колками, вот уже среди них появились поля, избы стали хатами, а те — мазанками, когда-то белеными, но облупленными войной. Позади Омск, Татарка, безводные Барабинские степи с белыми блюдцами сухих озер... и, наконец, долгожданный Новосибирск. Он вырос как-то вдруг железнодорожным мостом через Обь и огромным, только перед войной построенным вокзалом. Слева по террасам Оби — «Шанхай» — море черных покосившихся халуп без единого зеленого мазка. За вокзалом видны подымющиеся в город недавно построенные каменные дома.

В Новосибирске наш состав сразу загоняют в южное депо. Там формируется состав на Алма-Ату и Ташкент.

И вот мое новое жилье: наспех приспособленный под людей двухосный «телячий» вагон. Внутри терпкий запах навоза. Щели заткнуты зимней соломой.

Телячий вагон — это коммунальная квартира, и даже больше: все на виду друг у друга. Новые люди: две еврейские семьи с крикливыми младенцами, болезненным папой и растрепанными женщинами, одна украинская семья, какой-то старик и я. Еврейские семьи из Ленинграда. Украинская — семья политработника из-под Харькова. Эта семья — моя первая встреча с очевидцами «живой» войны, с ее огромным горем, навалившимся на страну. Я слушаю

подноготную войны, страшную изнанку жизни в оккупации, рассказы о зверствах немцев, о предательствах, о трагедии беженцев с каким-то удивительным безразличием: это совсем другая жизнь, не касающаяся меня.

От Новосибирска до Алма-Аты ехали долго, сутками простоявая на полустанках, пропуская эшелоны солдат, техники. Все, что можно мобилизовать, торопилось на запад, туда, где немцы, прорвав южные фронты, неумолимым «девятым валом» захлестывали Украину, Дон, Кубань, сея панику, смерть и опустошение.

У нас же ярко светило казахстанское солнце. В степи паслись коровы с горьким полынным молоком, иногда вдоль насыпи важно и неторопливо брели верблюды. Вся война, казалось, не заходила дальше тонюсенькой однопутной дороги. В те времена большинство степных казахов не говорило по русски, но купля-продажа все равно шла бойко. В теплушке в обмен на иголки, нитки, мыло и прочие «городские» товары появлялись курт, кумыс, айран, а ближе к Балхашу — рыба. Проехали Барнаул, шахтерскую Рубцовку с ее серыми закопченными домиками, Семипалатинск... Еды хватало. Жизнь только по инерции текла «от кормления до кормления».

Июль. Казахские степи давно пожелтели. Ковыль седыми волнами переливается по мягким склонам оврагов. Вместе с ним кругом льется и колыхается жара. Дневной зной лезет в щели, в распахнутые настежь двери теплушек, раздевает людей. Их тщедушные синевато-белые тела млеют и безвольно трясутся на полках, ожидая вечернюю прохладу...

Однажды под утро я проснулся от шума в вагоне. Было еще темно, но все в торопливом беспокойстве возились на полках, собирая и увязывая тряпки, узелки, горшочки, разбросанные по углам. Хныкали полусонные ребятишки...

Мы приехали!

Глава 2. ВОЕННАЯ МАЧЕХА АЛМА-АТА

А выходить не хочется. Из ставшей уже родной теплушке видны бесконечные товарные составы. Привычно пахнет станцией: смесь тавота, разложившейся мочи и паровозной гари. Огни перрона светятся где-то вдали. У меня адрес: совхоз «Горный Гигант». Нас привезли на станцию Алма-Ата 1-товарная. Станция стоит на Турксибе. До города еще шесть километров. Наспех попрощавшись, мы расходимся. Я сдаю чемоданы в камеру хранения и выхожу в пристанционный поселок. Вокруг пыльной привокзальной площади в порядке

и без стоят казенные дома и беленые частные домики. За ними в темной зелени садов видны мазанки с соломенными крышами. Трамваи уже ходят, и я еду в город. Он совсем не похож на Ленинград. Стойкие ряды огромных пирамидальных тополей тянутся вдоль ручейков, текущих в канавах между панелью и мостовой. Канавы с ручейками — арыки, панель — тротуар, мостовая — проезжая часть улицы и пр. Да и, вообще, тот русский язык, который я получил с молоком матери, кончился вскоре после Урала. А как только мы заехали в хлеборобные земли Южной Сибири, то везде полновластным хозяином стал сибирский жargon украинского.

«Горный Гигант» — большой, главным образом, фруктовый совхоз — начинается сразу на восточной окраине города. На продолжении улицы Калинина километрах в двух, чуть в глубине слева от дороги стоят несколько одноэтажных домиков. В одном из них в комнате с верандой ютится вся семья дяди Миши.

В первый же день зашел разговор, что мне делать дальше. С работой в Алма-Ате оказалось трудно. Мне нужна была не просто работа, но и жилье. Алма-Ата к лету 42-го года страшно распухла. До войны это был небольшой городок, сохранивший строгую казарменную планировку царского казачьего поста — Верного. По прямым улицам, обсаженным пирамидальными тополями, текли арыки, за заборами в садах прятались мазанки. Дома, в моем городском представлении, стояли только в центре и почти все были построены в конце 30-х годов, когда Верный переименовали в Алма-Ату и сделали столицей Казахской ССР.

Уже на третий день я пошел устраиваться на работу. Но в первом же отделе кадров мне дали понять, что кроме отсутствия жилья, у меня есть еще один «крупный» недостаток, который закрывает мне двери всех учебных заведений и перспективных работ — это 1925 год рождения. Двадцать пятый вот-вот должны были «брать» (призывать в армию). Начинать нас учить, и тем более давать жилье не было никакого резона.

С четвертого дня я стал рано уходить из дома и слонялся по городу, старательно вычитывая объявления о найме на работу. Через неделю тетя Нюра встретила меня около дома: «Забирай свои вещи и больше не приходи!» Был вечер, и я ушел с изрядно облегченными чемоданами. На трамвайной остановке я стоял один в темноте среди совсем чужих мне людей в незнакомом городе, ставшем мне военной мачехой. Хотелось бежать. Все равно куда. Лишь бы не видеть больше этих безразличных лиц, слоняющихся в поисках еды бездомных собак, кошек, трамваев, дребезжащих через весь город от Талгара до Тастанка, бежать от коммерческих столовых,

где надо пресмыкаться, чтобы получить похлебку... «Милый девушка, Константин Макарыч, нету больше никакой моей возможности...»

В те дни страна жила Сталинградом. Наши армии, истекая кровью, насмерть стояли на «том», правом, берегу Волги. Надо было выстоять еще совсем немного. Оборонная промышленность, перебазированная на восток, как птица Феникс, восставала из огня и пепла военных пожарищ, набирала силы, и вот-вот наши танки, самолеты, орудия должны были мощной лавиной устремиться на запад. А пока немецкую сталь и огонь сдерживали живые человеческие тела. Потери были огромны. Ежедневно многие десятки, а иногда и сотни тысяч матерей, отцов, жен, сестер, братьев и детейправляли поминки. Стране было не до меня.

Несмотря на вечерние часы, трамвай был полон. Я еле втиснулся туда чемоданы, а сам повис на поручнях. Пока ехали на первую Алма-Ату, у меня из кармана вытащили паспорт, эвакоудостоверение и остатки денег. Из человека, хоть как-то охраняемого законом, я превратился в «беспаспортного бродягу». В войну и тем более в мое предпризывное время, вдали от родных мест это было опасно. Веревочкой, соединявшей еще меня с тем, моим миром оставались комсомольский билет и два чемодана. Таким я появился в станционной милиции. Дежурный милиционер оставил меня ночевать в КПЗ, а утром дал справку о утере паспорта и направление на работу в подсобное хозяйство НКВД на станцию Или. А чтобы я не «пропал» по дороге — посадил в полуторку, идущую туда за продуктами.

И ВОТ Я — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ

Передо мной среди полынной степи разбросано несколько саманных халуп. Бьет в нос запах коровьего кизяка, вокруг куски ржавого железа, обрывки гнилых тряпок, проволоки, битого кирпича... Я захожу внутрь. Там на ворохе мятой соломы валяются, спят, или давят вшей разномастные понурые люди в подштанниках. Приведший меня бригадир показал место посередине, выдал пайку хлеба и приказал завтра с утра быть у конторы. Никто даже не повернулся в мою сторону.

Халупы — сараи были проходным двором, куда милиция посыпала всех подозрительных, задержанных на улице — по сегодняшним меркам — бомжей. Это было людское дно. У милиции не хватало оснований посадить его обитателей в тюрьму, либо отправить в трудколонию. Я среди них. На нас держится подсобное хозяй-

ство, дающее какой-то приварок к несытной жизни городской милиции.

Я сел. Слева от меня занимал место старик с сыном, справа — двое разбитных грязных-прегрязных полудеревенских парней. Этот симбиоз стал нашей бригадой.

Вечерело. Света не было. Надоедливо кусались мелкие среднезиатские комары, шуршали в соломе мыши, надсадно кашлял и кряхтел старик. Это от него я потом услышу незатейливые русские присказки:

— Что мягче всего? Нет, не подушка, а рука. Лег на пуховую подушку, подложи под щеку ладонь, как будет хорошо!

Я кладу руку на фибровый чемодан, прикрытый соломой и тряпкой — действительно, с рукой лучше.

— Что слаще всего? Нет, не сахар, а сон. Ведь когда хочется спать, разве думаешь о еде?

Тут я немножко колеблюсь, что-то думаю... и вот уже, положив под щеку ладонь, сладко сплю. Мне снится мама. Она такая маленькая. Я ее давно перерос. Еще в финскую войну она брала меня под руку и смотрела такими добрыми и мягкими серыми глазами. Вот она сует мне что-то в руку, в рот. А я ем... ем... ем...

Старик толкает меня в бок: вставай, сынок! В сарае еще темно, но в пустом без рамы окошке уже чуть розовеет восток. Свежо. Вылезать из-под пальто не хочется, но уже все встали. Я выхожу наружу в степь. Она огромная и бесконечно пахнет чем-то чужим. Из соседнего сарая тоже вылезают нечесанные с соломой в волосах «сельскохозяйственные рабочие». Со сна никто не моется. Как встал, так и пошел — все на тебе, все с собой. Мы все тут временные, у каждого свои потаенные мысли, каждый живет «про себя». Большинство пацанов — военные беспризорники; еще не достигшие призывного возраста (по крайней мере, по внешнему виду, ибо ни документов, ни родителей у них нет). Совсем мало стариков. Женщин нет.

Каждый по отдельности, или небольшими группами, отвернувшись от других, разводит свой костерок, подкладывая солому, траву, либо щепочки, кипятит в консервной банке или жестяной кружке воду, готовит завтрак. Я стою один со своим кладом — немецким котелком, куда можно наливать суп, а в крышку класть кашу и даже с маслом. Мне идти некуда. Свою пайку хлеба я уже давно съел, а следующую дадут только в обед. Никто меня не замечает. Наконец, старик, недовольно глянув исподлобья, предлагает сесть. В моем котелке заваривается ячменная каша. Мы молча едим. Старик объясняет, что сегодня мы будем возить ячмень. Надо наворовать колосьев, потом их обшелушить и варить. Старик больной, он останется в сарае и будет присматривать за моими чемоданами.

Собираемся у конторы. Приводят быков. Я помогаю подымать тяжелое ярмо, запихивать в него меланхоличную огромную голову быка. Потом мы вчетвером залезаем в телегу с большими наклонными бортами из палок и едем в поле километров за восемь. Холодно. Быки идут медленно. Еще медленнее поднимается солнце, разливая вокруг благодатное тепло. Быстро и незаметно это тепло густеет, ноги наливаются усталостью, тело — истомой. Жарко, тянет в сон, но жерди тряской телеги не дают спать. Наконец, мы на склоненном ячменном поле. Навалив воз соломы, залезаем наверх и — «цоб—цобе» — поворачиваем быков к дому. Там уже дымят кухни. Нам дают по большой миске «затирухи» и по куску пшеничного хлеба. Я это все моментально съедаю и как голодный пес оглядываюсь вокруг.

— Кому еще?! Ешьте «от пуз»! — кричит кашевар, и я опрометью бегу к заветному котлу. Потом мы, разморенные и сытые, валяемся в тени под саманной стенкой, ни о чем не думая, ничего не желая. Вероятно, в таком состоянии находится удав, проглотивший жирного кролика. Но... у удава нет начальства... и мы снова трясемся в телеге: за день надо сделать две ездки. Уже в темноте тайком мы разводим за сараев костерок и варим сухой ворованный ячмень. Он не разваривается, мы глотаем какой есть и, не раздеваясь, лезем в солому спать.

Для такой жизни меня хватило лишь на несколько дней. Надо было бежать. Я поделился своей идеей с напарниками. Но чью они опередили меня и смылись, захватив с собой стоявший в ногах мой большой фибровый чемодан. Проснувшись, я безнадежно побегал вокруг сараев, и с оставшимся чемоданом ушел на станцию. Там стоял рейсовый автобус, шедший почему-то в Каскелен. Поскольку единственным, оставшимся у меня документом, был комсомольский билет, то к вечеру я оказался в Каскеленском райкоме комсомола, а на следующее утро «по путевке комсомола» появился на Каскеленской ГЭС и был зачислен учеником электрика. Завхоз выдал мне пайку хлеба и определил место жительства на чердаке дома, где хранилось чье-то сено. Прощаясь, завхоз спросил:

— А где ты будешь жить и как питаться, ведь у нас нет столовой?

— Не знаю.

К ночи задул уже холодный сентябрьский ветер, через дырявую крышу закапал дождь, из города поступил первый вызов - обрыв провода. В кромешной тьме мы с дежурным электриком, забрав инструмент и «кошки», спускались с горы. Дождь пошел сильнее.

Идти надо было медленно, все время глядя вверх. Там, на фоне противного дождливого неба, еле-еле видны провода. Их четыре: три фазы и ноль. От того, что голова все время задрана кверху, капли дождя скатываются не только за шиворот, но и попадают на грудь, в разворот моего модного коричневого пальто, которое становится все тяжелее... Домой мы возвращаемся уже под утро. Около чердака электрик смотрит на меня:

— Да ты ведь совсем мокрый, где ты будешь сушиться?

Я с надеждой смотрю на электрика. Неужели он бросит меня и уйдет в теплый дом, оденет все сухое, жена накормит его... Еще минуту в нем борются какие-то совестливые чувства — ведь работали-то мы вместе. Потом он, отвернув глаза, машет рукой и уходит. Я лезу по мокрым ступенькам на свой холодный чердак, стуча зубами, снимаю пальто, пытаюсь его выжать скрюченными холодными пальцами, потом поочередно выжимаю брюки, рубашку, снова одеваю их (запасная пара осталась в украденном чемодане) и глубоко-глубоко зарываюсь в сухое пахучее сено. Его труха щекочет, облепляет меня, наконец, я оказываюсь в нем, как в согревающем компрессе и с последней мыслью: только бы прошел вдруг заболевший зуб, проваливаюсь в сон (он слаше всего).

Наутро меня никто не будил. Яркое, но, увы, сентябрьское солнце пробилось через щели крыши и сказала:

— Давай, вставай, сейчас будет тепло. Я согрею тебя, высушу. Жизнь в семнадцать лет прекрасна!

И я встал. Но проклятый зуб раздул мне левую щеку и скосил физиономию. Я спустился вниз, вывесил на солнце пальто, ботинки (брюки и рубашка высохли на мне за ночь). Из труб соседних домов тянулись дымки. Пахло пареной тыквой с кукурузой и пшеницей, а из дома напротив вообще несло жареным мясом. Оттуда вышел мой электрик и безразлично шмыгнул в сторону. На ГЭС у машин я встретил завхоза, старшего электрика и рабочих:

— Как же так? Да почему ты сразу не пришел сушиться? Давай, иди сюда! Неси вещи! Хочешь есть? Садись!

Сразу стало тепло. Вокруг нашлось так много хороших добрых людей, и только один зуб омрачал мое существование. Я поел, напился горячего чая с разными вареньями и плюшками, засунул в карман пару яблок, но зуб ныл. Постепенно один за другим все разошлись по рабочим местам. Я ушел к себе на чердак. Потом взял чемодан и тем же путем, что появился, исчез. Днем я уже был в Алма-Ате, а чемодан — в камере хранения.

От зубной поликлиники у меня остались яркие картинки большого деревянного молотка и стамески, которыми деловая вра-

чиха в два приема с часовым перерывом долбила мне коренной зуб. Когда я вышел на улицу, солнце уже пряталось за высокие алмаатинские тополя. Надо было что-то придумывать, очень хотелось есть. На Зеленом базаре я еще успел продать припрятанные яблоки и с деньгами солидно дефирировал по рядам, голодными глазами заглядываясь на лепешки, жареные пирожки, прицеливаясь и пробуя семечки и орехи.

Вечерело. Базар быстро пустел. В отбросах уже рылись базарные доходяги, выбирая оттуда не совсем сгнившие яблоки, груши, прочую зелень. Мне идти некуда. Сентябрь в Алма-Ате уже не лето. Хотя днем иногда и припекает, но рано темнеет, а с уходом солнца с гор тянет холодной сыростью.

И тут появился **Васька**. Полгода потом мы были вместе, никогда не сближаясь до дружбы, но не теряя друг друга из виду. Наверное, он был прирожденный вожак и щедро дарил, что мог, своему окружению. Я не знаю ни его настоящей фамилии, ни года рождения. Чуть позже он расскажет, что бежал от немцев из Днепропетровска. В нем удивительно сочеталась глубокая ненависть к куркулям-украинцам и, в то же время, нежная любовь к Украине, о которой он рассказывал с большой теплотой.

— Ты чего здесь? На! — И Васька протянул мне кусок сыра. Рядом стоял маленький костлявый пацаненок Сучок. Я взял сыр и настороженно пошел за ними, как голодная собака, поманенная куском хлеба.

Стемнело. Задами, через огороды мы пробрались в небольшой дворик общарпанной мазанки. Там жил Толик с маленькой Зинкой. Папка их был убит на фронте, а мамка... мамки почему-то не было. Толик «вел хозяйство» и кормил Зинку. По моим понятиям ей было лет пять(она уже бойко болтала). Мы спали в сарае. Мы — это человек пять-семь пацанов без дома, родителей и всяких мыслей о завтрашнем дне. Утром мы исчезали. К вечеру изрядно уставшие собирались в сарае, делились мелкой добычей, хрюстели яблоками и арбузами. Иногда кто-нибудь исчезал на время или насовсем. Назвать эту мазанку воровским притоном было бы неверно. Просто мы жили, как могли, в этом растревоженном войной людском муравейнике. Я легко и свободно вошел в роль тощего эвакуированного «херувимчика», правда, уже изрядно потрепанного, грязного и заросшего. Моеей задачей было разжалобить и отвлечь торговок. Это было нетрудно, так как всех их где-то коснулась война, были свои дети, либо похоронки на них.

Но всему приходит конец. Как-то ночью я, набросив пальто, вышел из сарая. Меня слабило, и я ушел за ограду подальше.

Только присел, как около мазанки замелькали фонарики, крики, визг, заголосила Зинка. Я упал между грядок. Мимо проскочил Васька, еще кто-то прыснул за ним, сбоку пробежал милиционер. Я лежал ни жив, ни мертв. Когда все стихло, я, крадучись, задами пробрался на улицу Калинина. Было холодно. На душе скребли кошки. Впереди — беспросветно. Мама была далеко — в Кирове. Она вскоре после моего отъезда вместе с Сашей и 24-й литографией эвакуировалась туда. Я медленно побрел в сторону почты в самый конец улицы Калинина. Город еще спал. Шататься по безлюдным улицам было опасно: милицейские наряды ловили бродяг-дезертиров. Но, слава Богу, в те годы алмаатинские полисадники густо заросли кустами, а за дырявыми заборами не везде водились собаки. Где-то за забором, дрожа от холода, я провел остаток той последней ночи в Алма-Ате. Вокруг сентябрило и солнце совсем не торопилось показываться из-за гор. Я еле дождался открытия почты. Мне были перевод на 100 рублей и посылка — это мама! В письме она звала приезжать в Киров. Это была соломинка в океане чужих жизней, чужого горя.

НА СЕВЕР, К МАМЕ!

На запасных путях станции Алма-Ата-товарная я снова встретил Ваську. Он воровато сидел на шпалах и грыз воблу. Я обрадовался. Была неподдельная радость обоюдного спасения. Мы избежали колонии, откуда Васька недавно сбежал. Его искали и он скрывался «по-настоящему».

Из Алма-Аты надо было смыться. Усталось и злой надлом Васьки коснулись и меня. К вечеру в заброшенном товарном вагоне нас было уже четверо: мы с Васькой, знакомый мне Сучок и Ахмед — большой неповоротливый татарин непонятного возраста (рубеж в восемнадцать лет определял: дезертир — не дезертир, иначе — расстрел или колония). Мы решили ехать на следующий день.

Перемена места, путь в неизвестное всегда вселяют надежду на что-то лучшее, бодрят, поднимают дух, особенно, когда тебе семнадцать лет. Васька преобразился. Он ласково рассказывал о «Днепропетровське», о райской Украине... Через полтора года я увижу этот «рай», — поруганный немцами, растерзанный и истоптаненный солдатскими сапогами, а сейчас его рассказ нам кажется сказкой, красивой и чистой. Мы сидим на соломе, тесно сжавшись в комок. В мыслях каждый по-своему воюет с немцами, стреляет из пулеметов, пушек, убивает ненавистных фри-

цев-фашистов, немцы, как тараканы прыскают от нас во все стороны... мы герои...

Рано утром я беру из камеры хранения чемодан, отмычкой мы открываем пассажирский вагон, залезаем на багажные полки и ждем. Нас нет. Вскоре вагоны подают на 2-ю Алма-Ату под посадку, и они доверху набиваются разномастной толпой. К нам на верх запихивают сидора, вкусно пахнущие салом, сухарями и яблоками. Никто не мешает нам, никому не мешаем мы... Но зоркие очи и тонкий слух проклятых куркулей не дремлют. Поймали нас в Талды-Кургане. Ахмет ночью спускался «на двор» и зацепил какую-то бабусю. Увидев Ахмета, уже перезнакомившиеся пассажиры оторопели и бросились проверять сидора. Нас выволокли на свет Божий и спустили вниз по ступенькам вагона. Мне не хотели отдавать чемодан, ибо были уверены, что он краденый.

У нас появилась твердая цель — «Щира Україна». Про маму и Киров я забыл. Дни полетели быстро. В Семипалатинске мы подрядились грузить арбузы, за что в арбузных вагонах, как короли, выехали в Новосибирск.

Сюда уже пришла настоящая осень. От Барнаула до Новосибирска яркими кострами среди желто-серой степи горели березовые колки. Земля пустела. Огромный Новосибирский вокзал встретил нас спертой духотой забитых народом залов. Раз попав туда, обратно никому не хотелось выходить. Вокзальная шантрапа спала вповалку и вся хотела есть. Нам надо было искать свою «биологическую нишу». Я с комсомольским билетом, справкой о потере паспорта и биркой из камеры хранения пошел прямо в... милицию. Там показал письмо мамы и попросил помочь уехать в Киров. Может быть мой «ангельский» интеллигентный вид, еще просвечивавший через грязь, а может быть, еще что-то, но мне поверили (а зря!) и предложили поработать несколько дней дворником на вокзале, за что я получу билет.

На утро я, уже не боясь облавы, гордо с метлой в руках вышел на привокзальную площадь. Васька, Сучок и Ахмет были при мне. К сожалению, наше новосибирское существование закончилось уже на следующий день, когда сердобольная старушка-бригадир неожиданно для себя (и для нас!) застала всех четверых, сидящих в сторожке среди дворницеек утвари и уплетающих пропавшую до этого в станционном буфете еду. На ее крики, не дав нам закончить завтрак, уже бежали люди. Сучок с Васькой смылись, я тоже успел шмыгнуть в толпу и уже оттуда услышал, как заголосил Ахмет — его били.

В ту же ночь, благополучно получив в камере хранения чемодан, мы (уже втроем) залезли в пульман с кузбасским углем и покатили дальше на «Щиру Україну», на войну, где мы будем стрелять из пушек и есть жирных гусей — будем настоящими солдатами.

Сильно дуло и было холодно. Мы выкопали в угле ямку и сбились в ней, дыша смесью мороза и угольной пыли. В Омске наш товарняк загнали в дальнее западное депо. Мы сидели замерзшие и чумазые. Шевелиться не хотелось, но голод гнал из вагона. Пока у состава меняли паровоз, я успел сбегать на станционный базар. Там черными угольными руками я осторожно вынул из за пазухи маминого крепдешинового платья. Оно было нежное и лилось из рук, как песок. Меня обступили бабы: «Откуда достал? В милицию бы его». Наконец, получив за платье две буханки хлеба, я опрометью бросился к нашему вагону. Там уже сидел Сучок с банкой повидлом. Жизнь пошла бы дальше, но из Омска Васька принес неутешительную весть: до Украины далеко и там еще немцы. Эти слухи вместе с начавшимися морозами сильно покачнули оптимизм. Из Омска мы все равно поехали на запад, ближе к фронту — там сытнее и интереснее — там жизнь!

Но еда кончалась. Вместе с ней кончался сентябрь. Ранним морозным утром, дрожа тощими тельцами, мы подъезжали к Петропавловску. Каждый понимал — это все. Дальше нельзя.

Глава 3. ПАРОВОЗНЫЕ БРИГАДЫ ВОЙНЫ

Довольно бурные воспоминания юности никак не дают мне дойти до описания своей войны, куда я попаду только в мае 1944-го года. До этого я завершу свои тыловые похождения, накатаюсь на паровозах, окончу военное училище полного профиля и молоденьким младшим лейтенантом в коверковой гимнастерке (подарок Черчиля советским офицерам) появлюсь в окопах на заднестровских плацдармах с тщеславным желанием геройски воевать и вернуться домой в запыленной гимнастерке, на которой обязатель но будет орден. Боевые офицеры с орденами и золотыми нашивками (знаки тяжелых ранений) в те годы вызывали благостный трепет в ребячих душах.

В Петропавловске мне предстоит подняться со «дна», самому начать зарабатывать на хлеб с затиухой, на себе познать тыловую жизнь нашего народа.

Итак, выбравшись из угольного пульмана, мы, крадучись, появились на станции Петропавловск Омской железной дороги. Это было длинное одноэтажное здание, до войны беленое мелом. При станции работали буфет и ресторан. Мы обследовали эти заведения вокруг, сходили на пристанционный базар — ничего не «обломилось». От этого еще сильнее захотелось есть. Холодно. Вдоль пустого перрона гуляет морозный ветерок. Люди попрятались в душном натопленном зале ожидания. Пристанционная площадь пестрит объявлениями о найме на работу, поступлении в училища, ФЗУ. Конечно, наша свобода, воля лучше, но там будут кормить. Мы торопливо совещаемся и, наконец, решаем перезимовать здесь в Петропавловске, чтобы с первыми же лучами весеннего солнца тронуться на запад, на Украину, которую мы великодушно разрешили советским солдатам освободить к нашему приезду. Удивительно, но у нас почему-то была безграницная вера в Победу.

После небольших колебаний мы выбрали расположение неподалеку ФЗУ № 32 при депо станции Петропавловск. В приемной комиссии нас приняли насторожено, с подозрением вертели наши недостоверные документы и, наконец, предложили заполнить бланки.

Еще не понимая, чем это грозит, мы двинулись в неизвестность. Эта неизвестность оказалась вполне крепким двухэтажным деревянным домом со скрипучими лестницами на второй этаж и вонючими уборными во дворе. Дом стоял на противоположной стороне густой сети рельсов, через которую вел виадук.

Меня с Васькой определили в группу кочегаров, Сучка — в пустынную. В кочегары набирали только мужчин, у путейцев преобладали девчонки. Они пискливо визжали на втором этаже, куда для мальчишек вход был закрыт. Первый этаж был наш. При входе была раздевалка, куда я сдал свой чемодан. Мы вошли в спальню комнату. Там стояли десятка полтора железных коек с соломенными тюфяками и подушками, заправленными бельем. У каждой кровати — тумбочка. Васька занял койку у двери, мне досталась в глубине комнаты. Мы отдалились друг от друга. Затем нам выдали б/у (бывшее в употреблении): белье, рубашку, брюки, ватник, зимнюю шапку, ботинки и направление в санпропускник.

НАЧАЛАСЬ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

В семнадцать лет человек легко приспосабливается к новым условиям. Наша комната быстро заполнялась новыми фезеушниками. Большинство их составляли дети работников депо. Были еще деревенские парни и двое эвакуированных.

Впереди неумолимо надвигалась зимовка. Вся наша жизнь сосредоточилась вокруг трех домов: ФЗУ, депо и столовая. «Принимать пищу» мы ходили три раза в день. Столовая находилась на противоположной стороне огромной замерзшей уже лужи, которая занимала большую часть привокзальной площади. В столовой длинный стол. На нем тесно поставлены миски с затирухой. Около каждой миски пайка хлеба и ложка. Вдоль стола скамейки. Надо подскочить первым к пайке-горбушке и схватить ее. Потом, не спеша, можно хлебать густую затируху.

Бывало и так:

— Тетя Паша, а у меня нет миски! — кричу я.

— Як нэт?

— А вот так. Пайка есть, а миски не было. Вот это Васькина, вот — Сенькина, а у меня нет!

— Щоб вы уси околэли, горобцы несчастны! — тетя Паша выливает длинный поток беззлобных ругательств.

Я покорно сижу, подняв руки. Я знаю, что после ругательств она принесет заветную миску, но скорей бы! У меня уже нет терпения: стянутую со стола миску я зажал между коленями и прикрыл ватником. Она горячая и больно жжет ноги.

Вольное житье продолжалось до начала кочегарских поездок, когда нас отделили от других групп ФЗУ, переселили в вагоны и бросили в самое пекло труда военных паровозников.

Но прежде, чем об этом писать, я должен хоть немного рассказать о нравах, царивших не только в нашем «двухэтажном доме», но в других общежитиях военного времени, ибо те, кто слушал мои рассказы и знаком с современными «общагами», говорят, что разница небольшая.

Рядом со мной стояла койка Сеньки Разуваева. Не скажу, что мы дружили. У меня вообще в ту пору не было друзей. Я обходился письмами и таился в себе от письма до письма. Сенька был выше среднего роста, но узкоплечий и сутулый. Откуда он родом, есть ли у него родители, никто не знал. Сам Сенька нелюдимо молчал, иногда не ночевал в общежитии, после чего старался незаметно прийти и залезть под одеяло. От него пахло сивухой.

В общежитии конечно процветало воровство. Казалось, воровали все и всё. Вещи либо хранили на вешалке, либо прятали по потайным местам. Однажды я получил зарплату — 160 рублей. Часть сунул в карман, а заначку — 120 рублей спрятал в тайник: у меня в головах был чуть распорот по шву тюфяк и там лежало все мое добро. Утром, как идти в столовую, я полез проверить деньги — их не было. Подошли ребята.

— Вот только вчера сюда клал.
— Может забыл, может упали? — участливо спросил Сенька и полез под кровать. Появился Васька.

— А ну, встань! — пхнул он ногой Сеньку. Тот, съежившись, вылез из-под кровати и гнусаво заныл:

— Не брал, не брал я.

— Показывай карманы!

Сенька обреченно стал выворачивать карманы. Оттуда вывалилась свернутая в дудочку моя зарплата.

— А ну, бей его, — повернулся ко мне Васька.

Сенька глядел исподлобья трусливо и заискивающе. У меня не было никакого желания его бить.

— Что стоишь? Бей!

Я подошел и неумело ударил в грудь.

— Разве так бьют?! — Васька наотмашь приложил свой кулакище к Сенькиному носу.

Сенька завизжал, зажимая двумя руками хлынувшую из носа кровь. Второй удар пришелся ему в подыхало. Сенька скрючился, упал и завыл. Это оказалось своеобразным «ату!». Собравшиеся с какой-то патологической злобой стали бить его ногами, подогревая себя отборным матом и стараясь попасть в самые больные места: в пах, в голову... Я не скажу, что мне это было противно, нет, стадное чувство наслаждения кровью врага, торжеством победы, наверное, идет еще со времен зарождения человечества.

Сенька уже не кричал, а только конвульсивно дергался от каждого нового удара, закрывая руками голову. Потом его выволокли и бросили на мороз, совсем не задумываясь, что с ним будет дальше. Я видел в окно, как немного спустя, Сенька зашевелился и хромая ушел в сторону станции. Через несколько дней о нем все забыли.

К середине октября моя жизнь, а вместе с ней и самый опасный для страны Сталинградский фронт, более-менее стабилизировались. В ФЗУ начались регулярные занятия в классах, производственных мастерских шестого железнодорожного училища и непосредственно в депо. Рашиль, лерка, метчик и прочие слесарные инструменты, наряду с известным с детства молотком, прочно вошли в наш лексикон. Уже в ноябре мы должны были сдавать экзамены на слесаря 3-го разряда. Затираха, пшеничка, галушки, овсянка, ячка вместе с хлебом медленно, но уверенно наполняли меня мясом и здоровьем. Я уже активно участвовал в выпуске стенгазеты, даже написал стихи про рыжик, замысловато срифмовав его с огромноглазой невзрачной на вид фезеушницей Сашкой. В общежитии отъевшиеся фезеушники устраивали бедлам. Беспеч-

ная жизнь на всем готовом требовала развлечений. Мы их искали, где могли, не гнушаясь ничем.

За неповиновение обществу (скорее сильному, стоящему во главе группы) следовало наказание. чаще всего это была «подушка» или «темная». При выполнении наказания существовал особый неписанный ритуал.

Уже с вечера в комнате воцарялась тревожная тишина. Никто не смеялся, говорили в полголоса, шептались по углам: «Косого будут бить». Эти зловещие слова (ибо забить могут и до увелья) электрическим зарядом перескакивали от койки к койке, будоража и возбуждая еще чисто детское восприятие жизни. Сам Косой, чувствуя что-то неладное, ходит по комнате, как пригнанная на бойню скотина, боясь выйти в коридор. Никто не посмеет рассказать ему, когда и как приговор будет приведен в исполнение. Все раньше времени стараются забраться в кровати — не терпится. Ведь ты не только увидишь зрелище, но и примешь в нем участие. Обреченный только чувствует, но ничего не знает. У него еще есть НАДЕЖДА. Кто-то гасит свет, и воцаряется томительная тишина. Никто не спит. Проходит полчаса, иногда час. В это время страсти накаляются, воображение подростков наполняется запалом боевых петухов. Медленно подымается вожак и крадучись идет к кровати обреченного. Короткий истощный крик сразу гасится подушкой. Все опрометью бросаются с кроватей и начинается молчаливое избиение корчащегося тела. «Подушка» лучше, чем «темная». При «подушке» не бьют по голове и наказуемый может использовать одну руку, чтобы прикрыть мошонку. Избиение прекращается также внезапно, как началось. Приходит няничка: темно, тихо, все лежат по своим кроватям. Лишь Косой тихо скулит под одеялом.

Я хоть и не общался с Васькой, но пользовался его покровительством. К тому же лежавшие в чемодане учебники за 9-й класс вселяли в окружающих что-то вроде уважения, которым в те далекие годы пользовались «ученые».

Но всему приходит конец.

На носу ноябрь. В Петропавловске настоящая зима. На осеннюю замороженную распутицу лег тощий снег, кое-как прикрывший жирную черноземную грязь. К задворкам общежития пригнали четыре старых плацкартных вагона, внутри поставили буржуйки. Здесь будем жить мы — кочегары.

В депо кочегаров не хватает. Пытались вместо них посыпать женщин — этих неутомимых тружениц войны. Женщина, казалось, все может, на все годится. Она способна сесть за трактор, валить

лес, наконец, на ней можно пахать... Но быть паровозным кочегаром (как и солдатом пехоты) — нет. Кроме физической нагрузки, здесь надо переступить моральный рубеж — полностью оголиться перед мужчинами, забыв о своем естестве, пренебречь святая-святых женской плоти. Такое мало кому доступно и всегда вызывает у окружающих если не презрение, то в лучшем случае — отчуждение.

Где-то «наверху» сказали: «Хватит им (т. е. нам — фезеушникам) быть баклупши, пусть поработают.» В конце октября нам выдали новое обмундирование: ватники, ватные брюки, шапки, валенки, рукавицы и стиранное кочегарское белье пятнисто-коричневого цвета. Причину цвета мы вскоре узнаем, а пока оно просто чуть сыровато и пахнет «собачьим мылом».

В вагонах холодно, поэтому сначала мы воюем за места на средних полках около буржуек. Потом начинаем обживаться. Перво-наперво добровольцы раздобыли рогожные мешки и ушли воровать уголь. Вскоре тамбуры жилых вагонов были завалены крупными кусками кузбасского угля, от которого докрасна раскалились буржуйки. Кое-где запахло ворованной печеной картошкой. Жизнь повеселела. Вагоны по старинке освещались вделанными в стекло парафиновыми свечками: одна свечка на два отсека. В получьме мы обычно сбивались у горящей печки и что-нибудь рассказывали о довоенной жизни. Никто не жаловался на полуоголодный военный быт.

В первую же ночь мы познали всю «прелесть» будущей жизни в вагоне. Легли спать, завидуя тем, кому досталась нижняя полка, ибо на средней нечем было дышать. Но печка погасла, с ней ушло тепло. На полу выступил иней. Уже потом, когда начались сибирские морозы за 40°, а добрая половина кочегаров была в поездках, мы поступали так: вечером при раскаленной буржуйке ложишься спать внизу, среди ночи холод загоняет тебя на среднюю полку, а к утру уже одетым во все ватное и в валенках стучишь зубами под самым потолком на багажной полке.

ЧТО ЖЕ БЫЛО ДАЛЬШЕ?

В жизни и работе кочегаров, я бы сказал, как в зеркале отразилась нелегкая трудовая жизнь страны, ввергнутой в тяжелейшую войну, поэтому хочет того читатель, или нет, но я расскажу о ней подробнее и начну вот с чего.

Со времени нашего «исхода» из деревянного дома и до конца войны (это почти два с половиной года) я жил среди мужчин, практически не общаясь с женщинами. Когда мужчины остаются одни,

их повадки, поступки, взаимоотношения как-то упрощаются, оголяются. Только в таких условиях может существовать хрупкая, но настоящая мужская привязанность друг к другу, которая, если и выносит женщину, то с большим трудом. В мужском коллективе обычна большая простота нравов, раскованность, а в разговоре появляется мат так же обязательно, как вши на здоровом долго немытом теле.

Русский мат — уникальное явление в истории мирового языкоznания. Казалось бы, бессмысленный набор слов, но, будучи произнесенным в определенной обстановке и с определенной интонацией, он способен послать человека на верную смерть (и я об этом еще расскажу), подчинить волю сотен людей одному, в считанные минуты сплотить или раздробить коллективы. Мат — это последнее действенное средство в умелых руках (точнее устах), безотказно работающее в экстремальных обстановках, когда бессильно все другое. Поскольку война требовала огромных физических и моральных напряжений, то мат процветал, и не только среди нас — людей.

Чтобы дать читателю передышку от чтения навязчивых рассказов о своей персоне, я попробую немного рассказать о мате, ибо о том, что творилось в паровозных бригадах войны, он еще начнется.

КОРОТКОЕ ЭССЕ О МАТЕ

Лето 1946 года. Румыния. Война давно кончилась. Маневры под Галацем. Мы живем в палатках. Тепло. Тихо. Лишь где-то далеко идут учебные стрельбы. Я снял сапоги и сушу портянки, лежа на ароматном сене, которым забита вся палатка. Я улыбаюсь, не зная чему.

Треугольник неба виден из палатки,
Разметалися по небу облака,
И доносятся, как некогда в землянке,
Гулкие раскаты до меня ...

В общем-то я волнуюсь. Скоро нам стрелять по движущейся мишени на глазах у всей дивизии и «Самого Генерала»...

И вот, три часа дня — начало стрельб. На высоком холме на сытых разномастных жеребцах красуется дивизионное начальство в золотых погонах. За холмом в кустах притаилось деревянное чудище, построенное полковым художником-самоучкой. Оно изображает танк с большими черными крестами. «Танк» за длинный трос привязан к трактору. Наша «сорокопятка», запряженная чет-

веркой откормленных румынским овсом лошадей, спрятана в перелеске. Вокруг в большом каре расположилась вся дивизия. Мы стреляем на глазах у тысяч зрителей!

Команда генерала и «танк» выползает из укрытия. Наша задача с трех снарядов его подбить.

— Пошел!

Мы вылетаем из перелеска. Я — командир взвода, сижу на зарядном ящике рядом с ездовым. Кони сразу без команды берут крупной рысью. Расчет бежит сзади. Пушка лихо подлетает на кочках, солдаты цепляются за ее длинный ствол, прижимают к земле. Под холмом ездовые круто осаживают лошадей. Пушка, будто сама соскаивает с крюка и разводит станины. Весь расчет тянет ее в гору (все-таки 500 кг!). Снаряд в патроннике и я кричу:

— По танку! Бронебойным! Упреждение полкорпуса! Один снаряд, огонь!

Наводчик лихорадочно крутит обе ручки, стараясь попасть в крест. Выстрел! Танк замер, как вкопанный.

Трактор уходит, волоча за собой обрывки троса и оставляя нам на растерзание любимое детище генерала :

— Огонь! — Выстрел!

— Огонь! — Выстрел!

Бедолага развернулся, накренился на бок, пушка-жердь клюнула в землю. Мы сияющие смотрим на командирский холм... Там что-то непонятное. К нам летит адъютант командира дивизии:

— Кто давал команду стрелять по стоячemu танку? тру-ту-ту!..

А завтра в городе «фрумоз грандиоз маре бал». Там будет меня ждать Ликуда. Плакал бал! Кони тоже понуро плетутся к передкам. Ездовой со злости бьет коренника. Тот даже не огрызается. Виноваты все. В чем? Непонятно. Это никому уже неинтересно. То ли мы первым снарядом перебили трос, то ли он сам развязался. Генерал зол. Танк он любил и лелеял.

За нами стреляют 57-миллиметровые пушки. Эти новые элегантные красавицы только в конце войны появились на фронте. Щиток и длинный ствол с дульным тормозом у них выдвинут чуть вперед, что придает им сходство с приготовившейся к прыжку пантерой. Пушкой, впряженной в шестерку лошадей, командуют двое молоденьких лейтенантиков, только кончивших училище и не бывавших на фронте. Это их первая стрельба. Бывалым солдатам сразу бросается в глаза неслаженность расчета. Трактор уже потянул кое-как починенное после нашего разгрома чудище, а шестерка лошадей еле зашевелилась в укрытии. Вот пушка закачалась на кочках, ездовые в седлах шпыняют каблуками в бока лошадей. Те

нехотя вразнобой тянут упряжку, стараясь при каждом удобном случае «сачкануть», хотя тащить-то им по сути дела нечего. Наконец пушку вывозят на бугор, что вызывает явное неудовольствие еще неостывшего начдива. Солдаты копошатся около станин, разворачивают орудие, снимают стопора. Молоденькие офицерики бегают вокруг, не зная, как ускорить работу. «Танк» неумолимо движется вдоль фронта. Наконец:

— Огонь! — Мимо.

Второй снаряд:

— Огонь! — Мимо.

«Танк» удаляется от позиции, и уже вслед ему летит последний снаряд: «Ура!» Снаряд падает рядом с «танком», подымая столб земли. Но радоваться нечему. «Танк» целехонек. Солдаты в растерянности стоят у орудия. Снарядов больше не дадут. Надо уезжать. Командир взвода кричит под гору уставную команду:

— Передки на огневую!

Ездовые тянут лошадей наверх. Те упираются. А кому хочется в яркий майский день впрятаться в шлейку? Наконец, ездовые подгоняют лошадей к орудию. Те, чувствуя растерянность солдат, артачатся. Коренной жеребец сзади пристает к молоденькой пристяжной кобылке, другой пристраивается к ней сбоку. Жеребцы косятся друг на друга, кобылка игристо огрызается, пытается лягнуть заднего, отчего ее ноги заходят за шлейку, постромки запутываются. Ездовые орудуют среди лошадей, матерятся, пытаются выстроить их в ряд, распутать ремни. У пушки заело станину, и она не сводится...

В это время наблюдавший за всей этой неразберихой генерал не выдержал. Он с ходу пустил коня в галоп, вылетел на позицию:

— Что должен делать командир... В три господабогадушумать!

Лейтенантики забегали, пытаясь всеми силами ускорить отъезд в укрытие. Генерал весь напрягся. На него смотрит вся дивизия. И тут произошло то, что поразило даже меня, три года впитывавшего в себя отборный мат и то, ради чего пишу это эссе.

Генерал приподнялся в стременах и на глазах, на виду у всей дивизии:

— Батарея, слушай мою команду! Пушки — на...! Лошади в...!

Ну, я понимаю солдат, они люди, они подвластны мату. Я могу понять лошадей — этих умнейших и хитрюющих тварей на Земле, которые всегда прекрасно знают, чего от них хотят (но не всегда это делают, особенно если недолюбливают ездового). Но пушка! Ведь она железная! Почему намертво заклинившаяся станица, по

которой солдаты уже были кувалдой, вдруг от команды генерала сама свелась и села на крюк?!

На позиции все замелькало, как в быстрой киносъемке, и через несколько минут холм был пуст. Последним с него съехал генерал, устало сгорбившись в высоком казацком седле.

А ТЕПЕРЬ СНОВА ВЕРНЕМСЯ «К НАШИМ БАРАНАМ»...

Поездки должны начаться с 7 ноября. Мы уже не учимся, а беззаботно гуляем на воле. Преддверье праздничного вечера раздувает ноздри молодых мальчишек. У них под носом и на подбородке появился пушок. Меня с напарником «командируют» в Кокчетав за картошкой и самогоном для праздника. Тайные мысли о Сашке обуревают душу...

Первым вызвали Ваську. Ночью, когда все спали, пришел посыльный и буднично сказал:

— Дмитриенко, в поездку.

Два вагона кочегаров с нетерпением ждали его возвращения. Он пришел тоже ночью, через два дня. Точнее поздним вечером, потому что многие еще не спали. Его новый ватник был весь в ма-зуте, на лице, вымазанном угольной пылью, ярко светились белки, но глаза смотрели безучастно и тоскливо. Ни на кого не глядя, он прошел к своей полке и, ничего не снимая, как был, завалился на убранную постель. Дежурная воспитательница подошла было к Ваське, но, ничего не сказав, вышла из вагона. Мы бегали смотреть на Ваську, каждый раз ощущая какой-то мимолетный испуг, может быть, страх и в то же время неодолимое желание самому испытать все. На следующий день Васька ходил в «бычальных».

Через несколько дней посыльный с дежурной воспитательницей Марией Петровной (тетей Машей) среди ночи растолкали меня:

— Собирайся в поездку.

Сон в семнадцать лет крепкий. Надо опомниться, но там не ждут. Я слез с полки, стянул с нее уже появившийся у меня паровозный сундучок-шарманку.

— Постель не убирай, — участливо сказала Мария Петровна, — иди с Богом.

И я ушел в темный и злой мороз. Шел ли со мной Бог, не знаю, ибо по заученной дороге в депо я еще спал, а проснулся только у дежурки.

Дежурка. Здесь надо найти свою бригаду, узнать, где твой паровоз, и получить «наркомовский паек». Это дополнительно 400 г хлеба, 80 г колбасы, 50 г сахара на сутки поездки (если не ошиба-

юсь). Я, как завзятый паровозник, открываю ключом шарманку и складываю туда продукты. Нас трое — машинист, помощник и я — кочегар. Машинист злой, ничего не говорит, только бросил при встрече:

— Почему опоздал?

Помощник — молодой, всегда улыбающийся казашонок (я увижу его окровавленную физиономию еще не скоро). Мы, каждый по своему, сжавшись от холода, идем в дальнее западное депо.

На железной дороге работа круглосуточная. Все время снуют и гудят паровозы, лязгают буферами вагоны, матерятся стрелочники, тащат на себе пудовые шубы кондукторы, а мы идем прямо к нашему паровозу.

И вот ОН передо мной. Огромный пышащий со всех сторон жаром и паром красавец СО-501-К — товарный паровоз марки «Серго Орджоникидзе» с конденсацией пара. Именно в радиаторной шахте ЭТОГО паровоза, ЭТОТ машинист несколько дней назад сознательно сварил моего предшественника — маленького татарчонка. Следствие по ЭТОМУ делу еще не закончено, и машинист продолжает работать.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...

Паровоз действительно «пышет жаром», но не в сибирские морозы, когда в степи ветер и минус 40°! В такое время сквозит во все щели, и не щадит мороз никого и ничего. Иногда в будке на лобовом щите паровоза прямо над топкой замерзает манометр. В сильный мороз, если паровоз надолго остановился «под красным светофора», кочегару разрешается («нехорошо, но можно») залезть в шахту радиатора погреться. Для этого надо взобраться наверх и через остановившиеся лопасти вентилятора пролезть внутрь шахты. Если вентилятор вдруг заработает, то вылезти из шахты уже нельзя. В шахте парно, темно, тепло и сразу клонит в сон. Это знают все. Перед тем, как потянуть на себя реверс, то есть тронуть паровоз и автоматически запустить вентиляторы, машинист всегда спросит: «Все на месте? В шахте никого нет?» На тот злополучный раз машинист не спросил. Паровоз тронулся, лопасти закрутились, и татарчонок оказался в западне. Сначала криков не было слышно — он спал.. Услышали, когда состав пошел на подъем к Мамлютке. Это самый тяжелый подъем на профиле Петропавловск—Курган. При подходе к нему машинист всегда скажет: «Идем на подъем». Если у паровоза не хватит сил вытянуть состав и он остановится («растягивается»), надо вызывать резервные паровозы, спускать состав с подъема и снова его

затаскивать, что на три-четыре часа выведет из строя самую напряженную железную дорогу войны, соединяющую Сибирь с фронтом. За такое — военно-полевой суд (железнодорожники в войну находились на военном положении), штрафной батальон и почти верная смерть. Машинист решил остаться живым и повел состав под дикие вопли медленно варившегося кочегара. После подъема, практически, уже в Мамлютке, состав остановили и из шахты вытащили сваренный труп. Потом по депо был приказ, строжайше запрещающий спускаться в шахту, но «мороз не тетка», и я не раз грелся на том месте, где в предсмертной агонии в перегретом пару метался мой предшественник.

К сожалению, дальше я должен немного утомить читателя небольшими профессиональными пояснениями. Их пропустить нельзя — тогда будут непонятны некоторые мои дальнейшие поступки. Постараюсь покороче.

Все знают, что паровоз и вагоны составляют единое целое, по крайней мере так думали изобретатели. Но нет гармонии между обслуживающими его людьми! На паровозе — паровозники (паровозная бригада: машинист, помощник, кочегар), а состав ведет поездная бригада — начальник поезда, старший кондуктор, кондуктора.... Обе бригады — лютые враги. При встрече у каждого на загривках, как у породистых кобелей, топорщаются волосы. И есть от чего!

У паровозников вся железная дорога делится на отрезки от основного до оборотного депо: в основном они живут, а составы водят до оборотного и обратно. Например, путь от Петропавловска на запад: Петропавловск (основное) — Макушино (оборотное) — Курган (основное) — Шумиха (оборотное) — Челябинск (основное) и т. д. Расстояния между депо 150—200 км. Что делается дальше, нам не интересно. Наша задача: в Петропавловске взять состав, довести его до Макушино, там отцепиться, съездить на поворотный круг, повернуться, взять другой состав и с ним возвратиться в Петропавловск. В Петропавловске смена бригад. Наши сменщики не отцепляясь, ведут состав на восток до Исилькуля (оборотное депо) и возвращаются назад.

Во время войны паровоз обслуживали две бригады. Работа без выходных. Если учесть, что бригаду вызывают за два часа до прихода паровоза и уходим мы тоже позже, то в среднем паровозники работали по 13—14 часов в сутки, без выходных.

Это — «в среднем». Но бывало и так.

Проход на восток хороший, и наши сменщики обернулись туда-назад часов за 8—10. На запад — все забито, и мы часами стоим в

степи у каждого светофора. Спать нельзя. На манометре всегда должно быть 12 атмосфер, чтобы в любую минуту тронуть тяжелый состав. Такие поездки иногда продолжались суток по четверо. А что такое не спать четверо суток и все это время орудовать лопатой и ломом в угольной яме?

А это вот что.

После трудной поездки весь в угольной пыли и мазуте, я еле добираюсь до своего вагона, сбрасываю валенки, ватник, лезу на свободную полку и сразу проваливаюсь в сон. Дежурит тетя Маша. Она даже не пытается пристыдить меня, или заставить раздеться, умыться, поесть — бесполезно (помните: «что слаще всего?...»). В это время паровоз ушел на восток. Туда проход хороший. За два часа до прихода паровоза, т. е. часов через 6—7, из депо бежит посыльный:

— Михайлов, в поездку!

Я не слышу. Меня за ноги тащат с полки, но я все равно сплю. Тетя Маша кое-как накручивает на мои ноги портянки и засовывает их в еще мокрые валенки. Я ничего не понимаю. Потом мне кажется, что все это во сне, но кто-то выталкивает меня из вагона. Привычно рукой хватаюсь за поручни и соскакиваю в снег. Ночь. Мороз. Я безучастно плетусь за посыльным, лезу под вагоны — скорей, скорей! Ведь надо еще получить наркомовский паек, узнать, в какое депо идет наш СО-501-К и бежать туда. Паровоз уже пришел. Меня пропускают без очереди. И вот, еще с закрытыми глазами я лезу в свою угольную яму.

Я нарисовал худшую картину. Бывало и наоборот: двое-трое суток полного безделья, и уже думается, скорей бы в поездку!

ВЕРНЕМСЯ СНОВА К ПАРОВОЗНОЙ И ПОЕЗДНОЙ БРИГАДАМ

Итак, задачи паровозной бригады ясны. Замечу только, что распределение обязанностей внутри паровоза строго регламентировано: машинист отвечает за машину (она должна бесперебойно крутить колеса), помощник — за пар (на манометре всегда должно быть 12 атмосфер при минимальной затрате угля), кочегар обязан набросать угля в лоток, смочить уголь и, когда помощник будет бросать уголь в топку (кочегару это не доверяется!), стоять у топки и орудовать ее дверцей. Открыть ее надо только на момент, когда лопата помощника подходит к топке. Открыл чуть позже и лопата ударяется в закрытую дверку: тебя изматерят и заставят собирать рассыпавшийся уголь. Открыл чуть раньше — изматерят и пообе-

щают лишить «прогрессивки», ибо в открытую топку входит холодный воздух, что ведет к затрате угля.

Задача поездной бригады — довести все вагоны до места назначения в целости и сохранности. У кондукторов огромные валенки, шапки, рукавицы, полуушубок, на нем шуба и пр. Вся эта гора одежды взбирается на заднюю площадку последнего вагона и в любую погоду днем и ночью сидит там не высовывая носа — «сопровождает состав».

Все было бы спокойно, но... на колесных осях вагонов есть буксы. В буксах лежат заветные «концы» — напитанные мазутом нитяные очесы, тряпки — наилучший и единственный материал для факелов, без которых не могут обойтись паровозники. Задача кочегара — эти концы украсть. Но если из буксы вытащить концы, то букса сгорит. За сгоревшую буксу поездная бригада идет под военно-полевой суд. Умирать никто не хотел. Поскольку кочегар всегда убежит от неповоротливого безоружного кондуктора, то те объединялись под флагом смертельной борьбы с нами. Они устраивали хитроумные ловушки, засады, сторожили кочегаров с ломами в руках и пр. Если даже ты идешь просто так, все равно будь начеку. При возможности кондуктора тебя побьют для острастки (ведь рыльце у тебя в пушку!). Одному из нашей группы вскоре ломом перебили ногу. Он открыл счет нашим потерям. Но без факелов никто не оставался — это была честь кочегаров.

Поездки пошли часто и без перерывов. Сибирь, как могла, помогала фронту. Эвакуированные заводы не только достигали довоенного уровня, но и, благодаря неимоверным усилиям людей, напряжению их воли и строжайшей «железной» дисциплине, изо дня в день наращивали выпуск военной продукции.

Раз в два-три дня через Петропавловск шел «негабаритный груз»: на открытых платформах — отдельно фюзеляж и крылья — смиренно тряслись бронированные штурмовики ИЛ-2. Немцы назовут их «черной смертью». Краснозвездную «черную смерть» лицом к лицу я встречу через два года на Тираспольском плацдарме и пойму немцев. А пока в такую поездку нам дают «двойной наркомовский», в паровозную будку залезает солдат с автоматом, и мы идем всю дорогу по зеленой улице, «на проход».

На обратном пути мы везем уральскую руду, метал, битую технику. Машины, пушки, искореженные танки с опаленными красными звездами и черными крестами найдут свой общий конец в плавильных печах растущих металлургических гигантов Сибири.

Стабилизировались и ужесточились законы военного времени. Вместе с ними формировался и наш быт. Первый шок, поразивший мальчишек (нам было по 16—17 лет) неимоверной тяжестью труда, прошел. Кто-то сбежал, кого-то перевели в путевые обходчики, один погиб под колесами своего паровоза, двое получили инвалидные травмы. Но основная масса постепенно втягивалась в трудовую жизнь войны. Эта жизнь уже не казалась такой беспросветной. К тому же нет-нет да и мелькала в наших разговорах «Щира Україна», на которую были направлены Васькины весенние помыслы и клинья наступающих советских армий.

Однажды пришла моя очередь воровать уголь.

За воровство уже карали жестоко, но печи надо было топить, и мы ходили глубокой ночью (ведь для паровозника день-ночь все равно).

Я привычно взял мешок и ушел. Подлез под один вагон, под другой:

— Стой! Кто идет!

Я замер под вагоном и медленно поднял голову. Как сейчас вижу: луна светит сзади, передо мною телячий вагон с намалеванной мелом свастикой, а под ней «Heil Hitler!» Это было так необычно и по-детски страшно. Рядом клацнул затвор.

— Руки вверх! Стрелять буду!

Я опрометью бросился бежать, петляя между вагонами. Сзади раздался выстрел. Пуля на рикошете зикнула около уха. Там, где я только что был, запрыгали фонарики. Автоматная очередь дважды полоснула по вагонам. В них заголосили женщины, заплакали дети. Но я уже был далеко. Уголь я принес часа через два. Он был плохим — карагандинским.

Утром тетя Маша рассказывала, что ночью через Петропавловск везли немцев и кто-то сбежал. Сейчас ищут. Стреляли. Среди немцев есть убитые. К случаям, когда меня спасала «сорочка», я уже стал привыкать (тьфу-тьфу!).

Близился Новый год. Немцы все еще не теряли надежды вырвать из окружения Сталинградскую группировку. Бои шли тяжелые, но вместе с похоронками в Сибирь шли радостные известия об отступлении немцев. Это освещало лица надеждами на возврат довоенной, теперь казалось — такой безмятежной, жизни.

ПОД НОВЫЙ ГОД мы возвращаемся из Мауцшино с тяжеловесом. Шли четвертые сутки поездки. Поздний вечер. Пурга. Уголь в

яме смерзся, и я с остервенением из последних сил тычу ломом в черную неподатливую стенку, потом гребу лопатой. В яме ничего не видно. Угольная пыль мечется из стороны в сторону, залезая в рот, нос, за шиворот.

— Уголька! Твой мать, уголька! — кричит из будки помощник казашонок. Через щель я вижу, как он добродушно скалит свои белые зубы. Щурит и без того узкие щелки глаз. Состав пошел на затяжной подъем к Мамлютке — самый тяжелый отрезок пути. Потом будет сплошной спуск к Ишиму, к Петропавловску. На манометре 12 атмосфер, нормально. У меня тоже полный лоток угля. Дело за машинистом. Я прислоняюсь к обледенелой стенке... она медленно наклоняется, превращается в полку... рядом в буржуйке играет жаром кузбасский уголь... я блаженно вытягиеваю ноги, потом слышу, как в соседнем купе кто-то кричит. Ну и пусть. Поправляю ватную подушку и... ворот сдавливает мне горло, я лечу в дверь сквозь неистовый мат, ударяюсь о что-то железное, мимо мелькают окровавленные скулы помощника, его испуганные дрожащие губы, разъяренное, налитое звериной злобой лицо машиниста. Я судорожно пытаюсь ухватиться за поручни паровозной будки, но сильный удар выбрасывает меня в ночь, в пургу, в мороз. Я лечу под откос. Окончательно просыпаюсь где-то по дороге, или далеко внизу. Можжит колено. Из носа тонкой струйкой стекает кровь, в валенки, в рот, в уши, в разорванный ватник набился снег... А наверху, на насыпи мимо меня медленно проползают вагоны: тук-тук, так-так... Одно спасение — ухватиться за них. Там наверху жизнь. Остаться одному в сибирской степи в сорокаградусный мороз в мазутном ватнике — верная смерть. Одно отчаяние, вероятно, дало мне силы вскарабкаться на высокую железнодорожную насыпь. Вагоны двигались еле-еле, обречено отсчитывая стыки и последние минуты моей жизни. Я хватаюсь за свисающую ступеньку. Она волочит меня вдоль шпал. Сил, чтобы подтянуться и взобраться на площадку вагона, нет. Пальцы коче-неют, разжимаются, и я, как куль, сваливаюсь на шпалы рядом с колесами. Уже виден последний вагон. Еще попытка. Хватаюсь левой рукой, повисаю вниз головой и, превознemогая боль, забрасываю большую ногу за ступеньку, потом подымаю голову... Состав медленно набирает скорость.

Тело быстро кочнеет. Сначала я сжался в комок, потом распластался вдоль деревянной обшивки вагона... Засветились огни Мамлютки... Только бы не пошел «на проход». Но ближе к станции состав тормозит. Из здания появился дежурный с фонарем.

Еще немного, паровоз проходит мимо дежурного и снова набирает скорость. Надо прыгать. Здесь уже страшнее. Меня никто не толкает. Сам. Растопырив руки и ноги, высоко подпрыгиваю в воздух и падаю на соседний путь. Больно. Очень больно. Лечу кубарем, ударяясь головой о рельсу, наверное, теряю сознание, потом далеко впереди вижу быстро уходящий в пургу хвостовой огонь последнего вагона. Сзади сквозь снежную завесу мигает огонек станции. Хромая и зажав нос, из которого все еще капает кровь, я заковылял туда. Вхожу в жарко натопленную дежурку. На меня смотрят с испугом и удивлением заспанные глаза сторожа и только что вернувшегося дежурного: откуда среди бескрайней снежно-мертвой степи появилось живое существо в крови и изодраном ватнике? С ходу сочиняю версию о том, что машинист послал закрыть перепускной кран, а я сорвался с лестницы.

— Так почему же он не остановил состав?

— А мы опаздываем, и я помахал ему, чтобы не останавливался, ведь дальше кочегар не нужен.

Меня больше не спрашивают. А может быть и спрашивают, но я уже сплю.

Часа через два дежурный по станции растолкал меня. Он оставил шедший резервом паровоз. Я кое-как взобрался на тендер, на решетку вентилятора и паровоз тронулся.

Кругом мороз. Снег крутит и слепит огромный паровозный прожектор, а я, как король, сижу на решетке. Подо мною мерно жужжат вентиляторы, обдавая теплом и паром. Тем паром, который сварил татарчонка. Но мне он не страшен. Если будет очень жарко, я отодвинусь на край... Я отодвигаюсь... голова сама клонится вниз. Тело колесом огибает решетку вентилятора и уже во сне я подкладываю руку под щеку... Что было в начале сна, я не помню (вероятно, ничего не было), но кончился сон тем, что меня кто-то сильно дергает за ухо. Я пытаюсь брыкаться ногами, но они не слушаются, на них что-то давит. Просыпаюсь. Паровоз стоит на запаске. Вентиляторы давно отключены, но из радиаторов еще идет тепло. Дует морозный ветер. Во сне шапка съехала набок и открылось левое ухо. Я щупаю его — ухо онемело. Но еще мягкое. Тру до боли ухо, щеку, нос. Сползаю вниз. Половина ватника и брюк покрыта льдом. Другая половина мокрая от пара. Тело тоже сырое: зудит и чешется.

Как забитый звереныш лезет помирать в свою нору, я ковыляю в свой вагон и заваливаюсь на ближайшую полку. В соседнем купе дым коромыслом. Пьяные голоса орут длинные украинские песни. Уходит старый, а может быть уже пришел Новый год.

Никто меня не замечает, не видит, и я проваливаюсь в сон без сновидений...

Теперь пока тело спит, самый раз вернуться на подъем к Мамлютке.

Машинист, хоть и был зверем, но паровоз знал, за что ему многое прощали. Он первый почувствовал, «что-то не то, машина не тянет». Что такое «растянуться на Мамлютке», я уже объяснял. Он глянул на манометр и все понял: с его медной трубки свешивалась сосулька! Манометр просто замерз со стрелкой на 12 атмосферах. Машинист сорвался с места, бросился к лопате, раскрыл топку. Лопат пять он бросил в топку, а шестую с углем и злостью воткнул в растерянное испуганное лицо помощника, раздробив ему нос и скулы.

— Где кочегар?!

Распахнув дверцу в тендер, машинист увидел меня, мирно спавшего на куче угля. Это налило кровью его глаза и вышивирнуло меня с паровоза. Вдвоем с окровавленным помощником они чудом сумели «дать пар» и вытянуть тяжеловес на подъем.

Километров через двадцать машинист сообразил, что выбросил меня на верную гибель. После татарчонка я был вторым, и на той же Мамлютке.

В Петропавловск состав пришел под самый Новый год. Машинист уже отошел и бросился звонить в Мамлютку. Но там произошла смена дежурных и никто ничего не знал. Из депо дали команду направить поисковую группу. Но легко сказать, на далекой Мамлютке в новогоднюю ночь в войну найти трезвых мужиков, способных в пургу и мороз организовать поиск. Да и как искать ночью? Ведь кочегар все равно замерз, а труп занесло снегом.

Утром 1 января 1943 года на поъеме к Мамлютке искали мой труп. Это организовал оробевший машинист, а может быть его жена с четырьмя, мал-мала меньше, детьми. Ведь понимал же он, если его простили за татарчонка (тот нарушил «Правила техники безопасности»), то вряд ли второй труп пройдет ему так же легко.

А в то же время с меня, спящего, кто-то стаскивает разорванный и мокрый ватник, брюки, валенки, смывает кровь, потом приходит врач, перевязывает ухо, голову, окровавленные разодраные коленки... Тело спит. Я бы сегодня сказал: сработали предохранители и полностью отключили нервную систему. Тело отдыхает и готовится к новым передрягам.

Мастер меня не ругал, и я трое суток валялся на полке. Еду приносила воспитательница. Четвертую ночь уже не спалось. Ломило ушибленный локоть, с подмороженного уха сползла повязка, было душно, но ватник сбрасывать не хотелось. Я тупо смотрел в противоположное окно, тоскливо думая о предстоящей встрече с машинистом... Вдруг на фоне черного окна мелькнула тень. Она ощупью стала пробираться к моей полке. Худенькая девичья рука, зажатая в кулак, юркнула мне под ватник. Сашка! Ее огромные глаза смотрели на мои бинты и обмороженную распухшую физиономию с детским ужасом, через который светилась уже настоящая женская теплота. Я хотел взять ее кулак в свою руку, но она испуганно выдернула его и бросилась бежать. Из разжатого кулачка на постель высыпалась грудка пайкового сахара. Что я тогда думал — не помню. Знаю только, что решил отнести ей первый же наркомовский паек (его получали только паровозники). Так и сделал. Но это было уже недели через две. Днем я пробрался в женское общежитие. На ее койке лежал пустой соломенный матрац. Несколько дней назад их группу отравили на работы по полустанкам Омской железной дороги. Больше я Сашку не встречал. И только сейчас представляю себе, сколько надо было иметь мужества маленькой Сашке, чтобы среди ночи залезть в закрытый кочегарский вагон, который и днем-то девчонки обходили стороной. О наших вагонах среди них ходили рассказчи, будто кочегары ловят девчонок, затаскивают в вагон и там насилиуют всей группой.

Дней через десять пришел мастер и сказал:

— Борька, может, съездишь на Иске, а то Сашок в шнек попал.

И я поехал.

Иска (ИС — Иосиф Сталин) — мощный предвоенного выпуска скоростной (пассажирский) паровоз со стокером. Уголь подается в топку шнеком. Кочегару здесь работать легче. Если уголь хороший, то достаточно только передвигать заслонки у шнека и следить за правильной его работой. Сашок — наш самый маленький и щуплый кочегарик — не уследил, и его вынули из угольной ямы с переломотой шнеком ногой.

Пассажирские составы (на запад — солдат, на восток — раненых) мы возили уже не до оборотного, а до основного депо (Курган — на западе, Омск — на востоке). В депо в паровозном общежитии ночевали. Там был душ и выдавали серую больничного типа

застиранную одежду. Ночью я спал в теплой комнате на пружинной кровати с простынями. Это было также неожиданно и необычно, как дворняжке из собачьей будки вдруг разлечься на пуховой постели хозяина.

Вскоре на ходу я неудачно прыгнул с паровоза на тендер и с головой, как морж, бухнулся в ледяную воду водяного бака. Но мы уже возвращались домой. Там-то я и узнал, что вышел приказ о призывае в армию «граждан мужского пола 1925 года рождения».

Шла уже вторая половина января 1943 года.

Часть III. ТАШКЕНТСКОЕ ПУЛЕМЕТНО-МИНОМЕТНОЕ УЧИЛИЩЕ

1. Дорога на юг. 2. Ленинские лагеря. 3. Термез.

Глава 1. ДОРОГА НА ЮГ

Я не скажу, что ушел на фронт добровольцем. Нет. Январь сорок третьего года — это не июнь сорок первого. Сотни тысяч похоронок белым саваном покрыли частную жизнь десятков миллионов людей. Почти в каждой семье поминали мужей, отцов, детей, братьев. Конца войны еще не было видно, и отправка на фронт была равносильна гибели или, в лучшем случае,увечью.

Сегодня, на восьмом десятке лет, анализируя свое тогдашнее поведение, я могу сказать, что в прошедшей жизни осознанно не искал ни легких, ни тяжелых путей, просто шел, ведомый своей судьбою и совестью, полученной в наследство от родителей. Теперь, когда война далеко позади, я остался живым и не очень покалеченным, благодаря судьбу. Она показала мне жизнь, где заложенное природой мужское начало широко и вольно разливается вокруг, не будучи сдержанным рамками искусственных запретов цивилизации.

В депо стало известно, что в армию призовут только 25 % кочегаров, остальные получат броню. Петропавловские и куркули забегали, доставали справки о кормильцах, единственных сыновьях и пр. Тетя Маша как-то отвела меня в угол и стала внушать, куда надо идти, что написать, что говорить, ибо я, как единственный сын у матери, мог получить «паровозную броню». Но я ничего не стал делать, а как только получил повестку, в тот же день был в военкомате. Что могло быть хуже блокады и кочегарства? О смерти в то время я просто не думал.

С февраля нас, призывников, уже не посыпали в поездки. С дня на день ждали отправки. Я, как «образованный» (8 классов), был зачислен в училище. Началось прекрасное время ничегонеде-

ланья. Целыми днями мы валялись на вагонных полках и плевали в потолок. Кстати, это очень трудно, лежа на полке, дважды плюнуть в одну точку на потолке. Надо плевать сильно, чтобы плевок не вернулся тебе обратно, и одновременно точно, для чего надо харкнуть потяжелее. Занятие, требующее большой сноровки, особенно если хочешь прослыть чемпионом.

Нас переодели в белое путейское белье, выдали чистые стиранные ватники, брюки, новые ботинки. Мазут остался только тот, что въелся в кожу.

Наконец: **отправка будет 8 февраля** с запасного пути станции.

ПРОВОДЫ НА ВОЙНУ (ПРЯМО ПО САВИЦКОМУ)

Слезы, причитания, толпа женщин — матерей, сестер, невест, и среди них, одетые в полуушубки, валенки и ушанки хорохорятся растерянные подвыпившие или просто пьяные новобранцы. В ожидании они пробуют на вес свои огромные туго набитые сидоры, стыдливо отстраняясь от материинских поцелуев и слез.

Мы — пятеро «фезеушников» — стоим в стороне от пакгауза. Нас никто не провожает. В ФЗУ на дорогу мы дополнитель но получили по буханке хлеба («по булке на нос») и по паре новых рабочих ботинок, расписались за все, повернулись и ушли на войну, оставив «бронированных» прозябать в тылу. Пятеро — это Васька, Сучок, я и еще двое кочегаров из соседнего вагона. Мы «свои» и насторожено жмемся друг к другу, с завистью поглядывая на добротные полуушубки деревенских новобранцев. У каждого из нас в руке своя «шарманка», а под мышкой «булка хлеба». Морозит крепко. Наши стиранные ватники не для Сибири, да и в ботинках долго не устоишь на одном месте.

Мимо в окружении красноармейцев деловито проходит начальник (командир, старший по составу), перепоясанный портупеей, со «шпалой» в петлице (капитан!). Мы с какой-то непривычной боязнью и опаской смотрим ему вслед.

Задом подают состав. На последнем вагоне обыденно висит стрелочник с красным флагжком. Вагоны лязгают буферами, медленно перестукивая на разошедшихся в сильный мороз стыках. «Три коротких — стоп!» Скрипнули тормозные колодки, и откуда-то с головы состава над толпой запрыгала разноголосая и долгожданная команда:

— По ваго-о-нам!

Мы быстро находим свою видавшую виды теплушку, отбрасываем засов и, обгоняя друг друга, лезем в вагон. Там привычные четыре нары по восемь человек на каждую. Лучшая из них задняя

нижняя. Но на ней уже кто-то разлегся. Этот «кто-то» — Володька Набатов, эвакуированный из Подмосковья, мой будущий курсантский друг. О нем я еще буду говорить целый год. А сейчас Володька сумел вскарабкаться на вагон, с крыши пролезть в боковую форточку около потолка и как фраер разлечься в пустом вагоне, с превосходством победителя рассматривая нас.

Васька, потеснив Володьку, ложится у входа: если что, сразу можно смыться. Правда, это ему уже не поможет, и скоро затравленным зверем он будет метаться по вагону, пока не выбросится в открытую дверь. За Володькой устраивается Сучок, потом кочегары и городские. Я замешкался и должен довольствоваться местом в дальнем углу. Там «сифонит» из щелей и форточки. Я пытаюсь залезть между кочегарами и во весь свой зычный голос «качаю права».

— Эй, Труба, заткнись! — кричит, очевидно мне, тот самый Володька.

Я делаю вид, что это меня не касается, потом огрызаюсь и, наконец, смиряюсь со своей участью.

В широко раскрытых дверях появляются сидоры. Их заталкивают в вагон слезливые мамашы и «деды». За сидорами, неуклюже шлепая валенками, появляются деревенские новобранцы — «куркули». По вагону растекается терпкий запах самогона, овчины, пшеничных сухарей и лежалого сала. Этот запах надсадно раздувает наши ноздри и сладким осадком ложится на стенки пустых желудков. (Наверно, такое же чувство возникает уочных волков, оказавшихся вблизи деревенских овчарен.) Куркули деловито лезут на нары и раскладывают там свои пожитки. Потом все собираются у дверей, снимают добродетельные полуушубки, отдают их родителям и остаются в заплатанных задрипаных «кацавейках». Казалось бы, обычный деловой ритуал (личные вещи обратно не высылаются) здесь оборачивается новым приливом женского рева и причитаний. Прощание со своими кровными чадами может быть навсегда, навечно, тяжело смотрится и со стороны. Люди в это время обнажаются, и ты как будто подглядываешь недозволенное. Сопровождающая команда пытается отогнать толпу, но это только подливает масла в огонь.

Нам махать некому. Посередине вагона печка. Около нее в железном ящике заготовлены уголь и щепки «на разжигку».

— А ну, сторонись! — толкает Васька заднего куркуля и подходит к буржуйке. И вот уже язычок пламени скользнул по бумаге, перескочил на щепку, пытается спрятаться, но все равно видно, как он суетливо и жадно прыгает по мелко наструганной щепе... можно сыпать уголь...

Наконец, сквозь женский плач вдоль всего состава для кого похоронно-протяжный, а для кого волнующе-зовущий раздается «один длинный — вперед!». Состав медленно набирает скорость. Люди пытаются бежать, отстают и вот уже последняя зареванная баба, уткнувшись в платок, падает на сугроб.

Справа, не торопясь, проходит ФЗУ № 32, наши кочегарские вагоны, вот над нами виадук, слева — мастерские депо, потом снова справа вдали — шестиэтажное здание ЖУ-6, от него во все стороны разбежались по снегу черные халупки работников депо. У меня нет никакой тоски. Наоборот, я уезжаю с радостью.

НАКОНЕЦ, МЫ ОДНИ

Постепенно спадает напряжение и все расходятся по своим местам. Казалось, все предвещало недели две покоя под привычный перестук вагонных колес. Но, «нет мира под оливами»... Состав идет «на проход».

Уже вечерело. От печки лилось тепло. Я, как мог, заткнул щели, отгородился от стенки досками. Усталость суматошного дня постепенно закрывала глаза. Наверху раздались первые рулады уснувших куркулей.

Я еще не спал, а только по-детски боролся с наступающим сном, как меня кто-то сильно толкнул в бок: «На!» — и сунул в руку горсть аппетитных жареных в рыжиковом масле пампушек. Сон пропал. Сквозь стук колес и трясучку товарного вагона (рессоры не пассажирские!) на всей нашей полке отчетливо слышался хруст и шорох. Сверху через щели сыпалась благодать в виде шматков сала, сухарей и прочей снеди. Все это в темноте проворно исчезало в наших желудках, а частью рассыпалось по доскам, оставляя неизгладимые следы пиршества. Не знаю, сколько все это продолжалось, но наконец утижеленные, сытые и довольные мы утихомирились.

Первый армейский день кончался в блаженном благодушии обитателей нижней задней полки. В ту ночь мне ничего не снилось (как, впрочем, и в последующие). Проснулся я от какого-то истощенного визга сверху. Через щели закрытых дверей пробивался утренний морозный свет. Печка уже топилась и около нее копошились новобранцы. Вслед за визгом на верхней полке с похмелья зашебуршились ее обитатели и один за другим включались в общую ругань: их сидора оказались порезанными, и что удивительно, ни с того, ни с сего они решили приписать это дело нам — кочегарам! Им поддакивали с других полок:

— За это надо бить морду! Калечить... увечить...

Да каждый нормальный человек, ну хотя бы ты, дорогой читатель, разве может поверить, что мы, вместо того, чтобы спать, среди ночи потрошили куркульские сидора? Да у нас вон по целой буханке хлеба валяется на нарах! Мешки просто всю ночь терлись о доски и прорвались до дыр. Кто же кладет мешок на голые доски? А что с них высыпалось, так все и валяется, что на нашей полке, а что наверное провалилось через нее на пол, а там может и на шпалы — смотреть надо!

Визгливый куркуль, пытаясь уличить нас в воровстве, встал на колени и решил заглянуть под нашу полку, при этом высоко подняв кверху свою откормленную задницу. Но разве можно это делать? Ведь нет на свете человека, у которого не чешется рука и не хочется шлепнуть при виде оттопыренной задницы?.. (По «натяжке» бить не грех — полагается для всех!) Васька, сидя у печки, тихонько приложил свой 44-й размер рабочего ботинка к куркулю, и тот под одобрительный смех «клонул» под нары. Засмеялись и некоторые из сидевших у печки куркулей. Это чуть разрядило обстановку, но здесь же из-под полки вылез визгливый куркуль с расцарапанной физиономией. Для нас — фезеушных кочегаров, это было «ничего особенного». В другой раз будет знать, как высовывать задницу и, главное, искать под лавкой исчезнувшие в наших желудках сухари. Для деревенских же парней, еще не отошедших от материнской ласки и заботы, это, вероятно, было необычно и жестоко. Они участливо начали вытаскивать занозы, а потом искать, чем бы помазать ранки. Кто-то из нас предложил испытанное средство — поссать на них, быстро заживет.

— Закрывай глаза, я тебе всю рожу обоссу!

В другой бы раз это вызвало дополнительный смех, а здесь при виде вспухшего лица засмеялись только мы.

На противоположной нижней полке лежал Король. Такой была его фамилия. Не тот Король из московского дворика, о котором сентиментально пел Окуджава, а другой — по всему видно, сельский заводила. Вокруг Короля собралась компания. На очередной остановке обедать пошли отдельно, тесно держась около своих вожаков. Нас, «городских» — восемь, а их? На той стороне сразу был виден разброд. Вокруг Короля роилось человек десять-двенадцать.

К вечеру мы знали: нас собираются бить ночью, сонных, в темную. У наших троих нашлись ножи. Я получил свинчатку. Печка топилась, но около нее никого не было. Все скрывались в темноте своих полок.

Я так подробно описываю поездку, ибо здесь, в поезде, уже закладывались основы будущей курсантской этики, начиналась дифференциация казалось бы одноликой массы призывников, выделялись вожаки, подонками становились слабовольные, плодились «шестерки»..., каждый выискивал в себе и утверждал что-нибудь особенное, отличающее, возвышающее его над другими — формировалась армейская «дедовщина».

Но это все будет потом, а сейчас мы пугливо жмемся к Ваське. Сна нет ни в одном глазу. Меня будут бить по-деревенски! А куда деваться? Я судорожно сжимаю отлитый по форме сжатой ладони кусок свинца, мысленно воображаю, куда и как буду бить (бить, или не бить — вопроса нет), но у меня ничего не получается...

Среди ночи первым встал Король и не торопясь подошел к печке. Один из куркулей тихо открыл щеколду двери.

И вдруг Васька с ножом в руке бросился на дверного куркуля. Нож прошел через меховую кацавейку, куркуль заорал истошным голосом и бросился прочь от двери, проскакивая через «свойков». Никто из нас не пошевелился. Васька вернулся на свое место, махнувшись громовым голосом, угрожая всеми карами не только родителям куркулей, но и всему их роду до последнего колена. Король остался сидеть у печки. Никто из куркулей не решился один на один идти на Ваську. Рана оказалась совсем небольшой: нож просто скользнул по плечу, чуть поцарапав его.

Наконец, ночь и пережитые волнения взяли свое, и мы угомонились. В теплушке установилось настороженное сосуществование. Состав от Новосибирска повернулся к югу на Черепаново (первое обратное депо на Турксибе). Однопутка. Мы часами стоим под семафорами. Печка топится еле-еле, иногда тухнет. Солнце уже нагревает вагон. Можно распахнуть двери и глазеть на огромный белеющий снежными пластины свет. Глаза жмурятся от яркого ласкового солнца. Мы не ведаем, что будет творить с нами это на первый взгляд такое доброе светило там, на юге, куда медленно тащится состав призывников. В такие часы ни у кого нет желания ругаться, злиться. Мы млеем и ведем неспешные разговоры «за жизнь». Знакомимся.

Наконец, Семипалатинск.

К нашему только остановившемуся вагону подбегают милиционеры. Среди них один в штатском. Мы открываем дверь и тотчас же в вагон просовывается голова милиционера:

— Чубарь, выходи!.

Но у нас такого нет.

Васька метнулся со своего места к задней стенке, выхватил нож, прыгнул на вторую полку, сунул голову в форточку (ту, через которую в Петропавловске пролез Володька). Здоровый милиционер вскочил в вагон:

— А ну, не дури, выходи!

Васька сжался в комок, бросился на куркульскую половину и оттуда с разбега выпрыгнул из вагона через головы стоящих внизу милиционеров. Кто-то из них выхватил наган:

— Стой, стрелять буду!

Васька упал на рельсы, попытался встать, но тут же рухнул на землю. Левая нога у него как-то неестественно выпирала в сторону. Подскочившие милиционеры подхватили его под мышки и поволокли в сторону станции.

Все это произошло за какие-то секунды. Мы еще продолжали сидеть, не отдавая себе отчета, что произошло.

— Попался! — злорадно прошипел куркуль над нами.

Оставшись без Васьки, мы потянулись в угол и сбились там в одну оробевшую кучку. После обеда за нами ржаво и похоронно захлопнулась дверь теплушкы, возвестив конец Васькиного террора. Поехали, и сразу же в вагоне запахло расплатой. Куркули над нами зашевелились. Король (потом я попаду в его отделение), сел на Васькино место у печки. Вокруг него собирались дружки. Они смеялись, гугонили, иногда заговорщики поглядывая в нашу сторону. Было ясно: расплата за порезанные мешки и Васькины угрозы будет.

Смеркалось. По стенкам полутемного вагона, остановившегося на полустанке, бегали кровавые отблески чуть пламенеющего в открытой топке угля. Куркули, как тараканы, выползали из щелей, плотной стенкой загораживая свет. Наступало их господство.

Свалившуюся с неба благодать власти, возможности командовать и понукать другими каждый реализует в силу своего характера и воспитания. Куркули распорядились, как велела им природа.

Вечером они пели песни и угомонились поздно. Ночь прошла спокойно. Утром после кормления их душа стала «терзаться и просить»

— Выноси парашу! — приказал Король Сучку. Это было ново, ибо при Ваське мы этим не занимались. Но делать было нечего. Мы молчаливо и предательски отодвинулись от Сучка. Он понес парашу под ехидные смешки куркулей. Мы таились в своем логове. Что будет дальше?

— Эй, шестерка, сала хочешь? — это верхняя полка решила позабавиться над нами. «Шестерка» — относилось к Сучку. Между

досок верхней полки один из куркулей просунул свой член и стал мочиться, стараясь попасть на Сучка. Куркули сначала злорадно зафыркали, а потом заливчато заржали. Мы трусливо жались в угол, по возможности отстраняясь от летящей мочи и от Сучка.

— Нэхай воны вытряхают свои шарманки, побачимо дэ наше сало! — предложил кто-то из них.

Первым заскулил Сучок:

— Да у меня ничего нет, я ничего не брал!

Его гнусавый голос, слезливый тон постепенно раззадоривал куркулей. Начало было положено.

— Иди сюда! Выверни шарманку! Ничего нет — тебя не тронем, зато других распотрошим!

Сучок неестественно задергался на полке и, ни на кого не глядя, согнувшись, сполз к печке, забрав свою шарманку. Предательство никогда не обходится дешево: его заставили высыпать на пол весь жалкий скарб; здоровенный куркуль сел на шарманку, как на унитаз.

Вечная заповедь: «Хлеба и зрелищ!», но при этом хорошо быть зрителем, а не гладиатором! Мы ждали своей участи. Сучок стоял на коленях перед печкой и всхлипывал.

— Давай следующий, — упоенный легкой победой и властью, Король глянул на нас. Крайним был я.

Некоторые из читавших мои записки с недоверием говорили: «Не может быть, что ты так хорошо все помнишь». Хотелось бы посадить такого «Фому неверяющего» на то мое место и через 50 лет спросить: «Помнишь?»

Все молчат. Мне надо встать и с шарманкой идти на беспрозрачный унизительный позор перед всем вагоном. Иначе меня выволокут за ноги и начнут бить. Я весь сжался в комок и стараюсь втиснуться в нашу поредевшую группу.

— А ну, тащи его шарманку сюда! — приказывает Король Сучку. Сучок сначала растерянно не понимает, чего от него хотят. Король встает и подзатыльником направляет Сучка в мою сторону. Тот падает на нары и ползет ко мне:

— Ну, Борька, ну, дай шарманку! — сквозь всхлипывания просит он, уже совсем униженный. Вот он подползает ближе, уже тянутся к шарманке... Я поджимаю под себя ноги и со всей силы «дуплетом» бью в Сучка. Он как-то странно невесомо проскальзывает на нары и летит прямо в сидящего на шарманке куркуля. Тот опрокидывается навзничь. Растопыренные ноги Сучка ударяют по раскаленной печной трубе, она отскакивает на противоположную сторону и падает на ватное одеяло. Из печки вырывается столб искр.

— Горим! — орет кто-то сверху. Кто-то схватывает ведро параси и выплескивает на печь. Удушливая вонь горелых мочи и кала растекается по вагону. На ходу Король распахивает дверь... крики... шум... Но колеса уже перестукивают на входных стрелках Аягуза.

Сучок исчез из вагона, не дожидаясь его остановки. От головы поезда к нам уже бежали сопровождающие.

После Аягуза на нашей полке вместо Васьки и Сучка поселились старшина с солдатом из сопровождающей команды. Всему вагону «по прибытии на место дислокации» была обещана гауптвахта. Что это такое, я расскажу потом, когда там буду сидеть, а пока что «жизнь продолжается».

Кстати, чтобы забыть о Сучке и вычеркнуть его из записок, скажу: он не станет офицером. При первой сортировке в Ташкенте Сучок попадет в батальон пулеметчиков, начнет учиться, но в августе сорок третьего года половина училища будет направлена маршевыми ротами на правобережные заднепровские плацдармы. Я лишь издали увижу его костлявую спину, прикрытую тощим вецимешком; где-то на задворках мозга промелькнет алма-атинский Зеленый базар с его терпким запахом гнилых яблок, наш притон, маленькая Зинка, пульман с морозной угольной пылью... и тут же все провалится в тартарары от вожделенной команды: «Р-р-рота, выходи стройтесь на обед!»

Старшина был уже пожилым (лет тридцати) солдатом, кадровую служил до войны где-то на Дальнем Востоке, в начале войны был ранен и после блужданий по госпиталям попал в тыловую команду. Первый шок немецкого Blitzkrieg'a и тяжелые ранения напрочь отбили у него желание возвращаться «туда», но фронт, боевых друзей он вспоминал с большой теплотой. Вечерами, когда неторопливо стучали колеса, а в печке загадочно бегали огоньки, старшина рассказывал. Его две золотые нашивки и багровый шрам через всю левую лопатку, манера легко, по-свойски, говорить о расстрелах, смертях, всех нас превращали в стадо кроликов, неотрывно следивших за каждым его движением. За фронтовыми рассказами пропадала наша мальчишечья петушиность. В вагоне пахнуло войной, фронтом. Уже с утра мы ждали вечера, когда можно будет вместо официальных политинформаций, сбившихся в тесный кружок вокруг печки, без конца слушать старшину и вместе с ним переживать каждую атаку ненавистных фрицев, каждый отход, отступление наших. Все неудачи первого года войны в марте сорок

третьего года смотрелись через розовые очки побед наших армий на юге Украины и особенно в Предкавказье. Газеты каждый день приносили все новые и новые известия одно другого радостнее. Бросая технику, раненых, еле справляясь с паникой, немцы бегут с Кавказа, из Сальских степей! Нами взяты Батайск, Ростов, Харьков! На севере развернулись бои за пепелища Ржева, Гжатска! Ликвидирована «демьянова уха» в районе Демьянска к югу от Старой Руссы!..

Только в середине сорок четвертого года я на себе узнаю, как даются военные успехи, а пока что бравурные лягушки тыловых политработников, корреспондентов и писателей бьют по нашим мозгам, заглушая рассказы фронтовиков.

Освобождалась «Щира Україна». Правда, не было уже Васьки, Сучка, да и мы ехали в другую сторону. Наш старшина не спорил с политработниками, а когда они говорили, угрюмо молчал, сидя в своем углу.

К концу марта фронт постепенно стабилизировался. Наши сильно потрепанные дивизии с выбитой пехотой местами уже не могли не только наступать, но и удерживать занятые рубежи. Немцы, создав у себя в тылу сильную оборону и подведя резервы, на отдельных участках переходили в наступление. То там, то здесь наши «драпали» и приходилось срочно латать дырки. Так, моей будущей 113 стрелковой дивизии, куда я попаду в мае сорок четвертого года, в ту тяжелую весну фронтовые остряки присвоили наименование «Засеверодонецкой» в память о бегстве с правобережных плацдармов на Северном Донце, большой кровью захваченных в феврале. Но все это происходило там, на фронте.

Колеса наших вагонов тем временем стучали уже далеко за Алма-Атой. Иногда шли дожди, но чаще ярко светило солнце. Степь пробуждалась, раздражая нас весенними запахами нежной зелени и талой земли.

В Джамбуле на станционном базаре за 350 рублей я продал новые рабочие ботинки. Деньги пошли на общий стол вместе с остатками пшеничных сухарей и пожелтевшего в тепле деревенского сала. Хлеб мы уже получали «на вагон», за кипятком бегали «на всех». Приближался Ташкент, а с ним новая неведомая курсантская жизнь. В преддверье ее мне минуло 18 лет. Знали об этом только я и где-то далеко на севере в Кирове — мама.

Глава 2. ЛЕНИНСКИЕ ЛАГЕРЯ

С внутренней тревогой я подхожу к описанию курсантской жизни. Училище — это замкнутый клан с особым бытом, своими горестями, заботами, своим юмором, понятным только курсантам. Этот юмор нельзя перевести ни на какие языки, как нельзя рассказать о нашей жизни так, чтобы современный читатель почувствовал всю ее сочность, молодость, задор, вылезавшие из швов и дыр наших стиранных и много раз латанных гимнастерок.

В марте 1943 года, одновременно с давно уже покойным Константином Устиновичем Черненко, я углубился в учебу. Правда, он — в высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б), а я — в военном училище. Конечно, здесь было некоторое различие, но учеба, есть учеба. Все учащиеся, будь то первоклашки, студенты, курсанты или слушатели ВПШ, начав учебу, превращаются в рабов контрольных работ и домашних заданий, двоек и пятерок, ненасытными чудищами пожирающими свободное (у курсантов — «личное») время. Все они становятся равноправными гражданами волшебной «Страны Невыученных Уроков». Учащихся кормят и поят, одевают и обивают, дают кров и следят за здоровьем. Вся страна заботится об их благополучии. От тебя требуется казалось бы так мало: одно послушание! Естественно, с первого же дня и до последнего мы вели непримиримую борьбу с теми, кто о нас заботился, кровью и потом отвоевывая свое священное право на «сладкое слово СВОБОДА». **На этом внутреннем фронте наши потери к концу учебы составили около десятка убитых и покалеченных курсантов.**

Хорошо помню тот ненастный дождливый день, когда мы подъезжали к Ташкенту. Сейчас тот Ташкент стоит в моей памяти размытым пятном желтовато-серых саманных лачуг, вдоль и поперец разгороженных дувалами. Наш состав перегнали прямо на станцию Бозсу (кажется, километрах 12—17 от города). Там мы выгрузились из теплушек и разномастной корявой «колонной по четыре» с мешками и торбами за спиной появились в расположении училища. Похоже, что нас не ждали. Была первая половина дня. Чуть вдали из казарм выходили и строились в ровные подтянутые ряды курсанты 1924 года рождения. В новеньких гимнастерках и кирзовых сапогах (кирзачах) они казались нам на голову выше и старше. Двадцать четвертому году не довелось стать офицерами. Кровавый молох фронта требовал пищи, и курсанты ТашПМУ маршевыми ротами в полном составе вместе с командирами

взводов и рот уходили «под Сталинград» (точнее, уже далеко за Сталинград, куда-то под Харьков и Ростов), чтобы не дать захлебнуться нашему наступлению. К сожалению, маршевые роты не смогли помочь, но это уже не их вина. Курсанты ТашПМУ честно легли в весенний слякотный чернозем Восточной Украины.

Это будет потом. А пока что во второй половине марта 1943 года в ТашПМУ, занимавшем часть казарм обширных «Ленинских лагерей», оказался двойной комплект курсантов.

Нам-то что? Мы стоим перед штабом училища и ждем, пока начальство нас накормит, поселит и скажет, что делать дальше. Вокруг — ни травинки, голый плац. Поодаль за ним в низине зеленовато-желто дымят трубы химического завода. Дым садится вниз, выстилает небольшие овражки и ядовито подползает к училищу. От дыма першит в горле.

Никуда не заворачивая, новобранцев сразу повели в санпропусник. Партиями человек по шестьдесят мы заходили в тесноватый пустой зал. Здесь предстояло раздеться, оставить все и больше сюда не возвращаться. На выходе нас ждал другой зал, уже с солдатским обмундированием. С собою требовалось взять только обувь (ее не было в училище).

То был первый шок — расстаться со своим добром, свято хранимым каждым новобранцем. Я успел только выскоичить на минутку во двор («оправиться») — так теперь будет называться «пописать») с кучей учебников и спрятать их под сараем. Следующий шок таился в предбаннике, где нас встречали дородные деревенского вида бабы с бритвами. Каждого новобранца заставляли прилечь, растопырить ноги, и баба ловко, в один момент, сбивала всю выросшую у него к восемнадцати годам курчавую красоту. Потом новобранца сажали на стул и такой же бритвой оголяли голову. После этого он общипанным петухом, глупо улыбаясь, плелся в мойку. Особенно позорной эта операция казалась куркулям, ибо в деревнях, по-моему, до сих пор, мужики, раздеваясь, стараются прикрыть «стыд» ладонями даже от себе подобных, а здесь бабы... да еще бреют!.. Я пошел среди первых и уже из мойки слышал их крики и визг. Среди первых я выскоичил из мойки, за что был награжден возможностью покопаться в куче стиранного белья и обмундирования, приготовленного для нас. Все гимнастерки и галифе были б/у — обноски, недавно снятые с двадцать четвертого года, который одевали во все новое.

Пока куркули моются, чтобы не терять времени — для читателей

НЕБОЛЬШОЙ ЛИКБЕЗ

Училище по размеру — примерно полк. В полку — три строевых батальона. В каждом батальоне — по три роты. В каждой роте — по три взвода. В каждом взводе — по четыре отделения, в отделении — по восемь курсантов. Если к этому прибавить разные службы: санчасть, пищеблок, штаб, худбригаду и пр., то в общей сложности будет что-то около тысячи человек.

Я специально всуе не помянул хозроту — эту сатанинскую организацию, созданную, чтобы портить жизнь и терзать душу порядочным и дисциплинированным агнцам божиим — курсантам. Хозрота состояла из уже еле волочащих ноги сорокалетних стариков, пригодных разве только дорожки посыпать, ибо при каждом движении из них сыпался песок. Они охраняли ворота в лагерь, дежурили на пищеблоке, несли охрану гауптвахты, санчасти, в общем, проводили в жизнь все запреты, наложенные высоким начальством на нашу свободу. Выполняли они поручения истово, ибо любая провинность солдату хозроты грозила отправкой на фронт (смерть,увечье). И это не просто угрозы. Потом они еще от нас поплачут. И, вероятно в постоянном предчувствии наших проказ, хозрота жила замкнуто, настороженно. Ее солдаты были неподкупны, хотя в отличие от нас и питались по третьей (тыловой, голодной) норме. Потом в Термезе внутри крепости хозротовцы пытались было создать собственный огородик, но охрана его от курсантов оказалась им не под силу.

В училище организован один батальон минометчиков и два — пулеметчиков. В минометный батальон старались подбирать более смышленых «образованных» новобранцев, способных быстрее познать мудреные азы артиллерийской науки. **Меня определили в 4-е отделение 1-го взвода 2-й роты 1-го (минометного) батальона.** Там я по росту стоял вторым или третьим после Жорки-версты. Володька Набатов оказался в том же отделении, но стоял далеко сзади. Правда, его, как голосистого запевалу, часто ставили вперед. В четвертом отделении прошла вся моя курсантская жизнь. По-хорошему, доброму я сохранил память о всех своих товарищах по той трудной курсантской жизни, о Жорке и особенно Володьке. Володька, ты погибнешь только в апреле 45-го года при форсировании Одера, воды которого унесут твой труп в Балтику. Жорке летом 44-го года мина оторвет ногу, а я встречу День Победы в дивизионном медсанбате после очередного ранения. **Но пока мы курсанты — семнадцати–восемнадцатилетние мальчишки, рожденные, чтобы радоваться и познавать жизнь — это великое творение Высшего Разума.**



Февраль 1944 года. 4-е отделение, 1-й взвод, 1-й батальон ТашПМУ.

Скорые пехотные «ваньки-взводные»

(«Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут»).

Сидят: Жорка-Верста (Георгий Павликов), командир взвода лейтенант Деушев,
Стаська-Пан (Людвиг Янковский).

Стоят: Ваня (Иван Голивкин, командир отделения), Вовка (Владилен Лях),
Вася-Хохол (Василий Зайцев), Борька-Труба (Борис Михайлов),
Володька (Владимир Набатов).

Все мы в последний год войны будем либо убиты, либо ранены.

Никто не сдастся в плен, никто не перейдет на сторону врага.

Уже под конец учебы, когда вот-вот должен был выйти приказ о присвоении офицерских званий, мы сфотографировались с командиром взвода — татарином Деушевым. Посмотрите на нас. Все мы весной 1944 года были направлены в пехотные части действующих армий командирами взводов (стрелковых, пулеметных, минометных) «ваньками-взводными» — «дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Это было офицерское дно войны, откуда шли два пути — в «наркомзем» или в «наркомздрав», иначе — смерть или увечье.

Все, кого вы здесь видите, заплатили за нашу Победу либо жизнью, либо кровью. К 1970 году, когда я занялся поисками «одно加拿ников», в живых остались двое: Жорка и я. В послесловии я напишу о коротких боевых дорогах курсантов 4-го отделения. А сейчас...

Мы подходим к казармам: длинные бараки с двухэтажными нарами, на которых плотно один к другому уложены тощие курсантские тюфяки и подушки, набитые трухлявой соломой. Здесь же назначенные командиры отделений получили на своих солдат по простыне, наволочке, жиденькому пикейному одеялу и куску мыла. Старшина развел нас по нарам, показывая узкие отсеки, отведенные для каждого отделения.

Сбившись в кучку, мы в нерешительности стоим у входа. Старшина собирает командиров отделений, учит их заправлять постель, они возвращаются назад и учат нас. Потом старшина проверяет, кто как научился. С солдатской издевкой он стаскивает белье с плохо заправленных постелей сначала один раз, потом другой, после третьего раза появляются «нерадивые», «упорно нерадивые». Над ними смеются «служаки», которые овладели искусством с первого раза.

— Выходи строиться на обед!

Моросит мелкий, совсем не узбекистанский дождик, под ногами слякоть. Наша «колонна по четыре» растянулась метров на пятьдесят. Куркули в домашних пимах (обуви еще не выдали) пытаются обойти лужи, прыгают с камешка на камешек... Вот уже видна заветная столовая, откуда непристойно льются дразнящие запахи...

— Р-р-рота, стой! — командует старшина.

— Подтянуться! Кругом марш!

Сначала мы не понимаем, что от нас требуется.

— Ты что,... твою мать, не слышишь? — поясняет свою команду старшина. Мы уныло, нестройно поворачиваем назад.

— Не слышу шага! — кричит старшина. И так три-четыре раза мы ходим взад-вперед от казармы до столовой, пока усердный топот валенок по лужам — брызги во все стороны — не удовлетворит старшину.

Но вот дверь в столовую пройдена и мы приближаемся к заветному столу.

Команда:

— Занять места!

Каждый стол со скамейками на 16 человек (по 8 человек с каждой стороны). На столе аппетитно дымятся две кастрюли супа. Садиться еще нельзя. Звучат рапорта: «Отделение готово к принятию пищи!», «Взвод готов к принятию пищи!», «Рота готова к принятию пищи!», «Рота, садись!»

Дальше священнодействуют дежурные:

— Кому?

— Мишке!

— Кому?

Только бы не мне. Это середка. Лучше, когда горбушка, она сытнее.

— Трубе!

Я хватаю и сразу же отламываю корку. Каждый поступает со своей пайкой по-своему. Некоторые прячут, чтобы потом обменять на курево. Я не курю и свой табак меняю на хлеб.

Мы еще соскребаем кручинки каши с плоских алюминиевых тарелок, а уже:

— Рота, выходи строиться!

Чуть замешкался за столом, грозит наряд вне очереди.

Незадолго до майских праздников в училище пришла обувь — английские очень красивые красно-желтой кожи ботинки. Выдавали их только в обмен на валенки и совсем развалившиеся солдатские чоботы. Мне не досталось. Но радость обновок была прежде временной, и уже на следующий день наиболее сообразительные курсанты стали их менять на наши простые рабочие опорки. Чуть дольше красавцев-англичан удалось менять у химзаводских баб на русские ботинки плюс две лепешки, но вскоре и бабы сообразили, в чем дело. Английские ботинки оказались негнущимися «дубовыми» и... гнилыми. Сначала они в кровь натирали ноги, а потом разваливались.

Чтобы кончить на время с обмундированием (весь год учебы оно горело на нас, как на огне), скажу еще о наших «двухметровых голенищах» — обмотках, которые долго были притчей во языцах.

Команды «подъем!», «тревога!» означали, что через полторы минуты курсант должен стоять в строю с намотанными обмотками.

— Подъем!

Летят пикейные одеяла, обе ноги сразу влетают в галифе, курсанты сыпятся с верхних нар, налету застегивая пуговицы. Двухметровые голенища наматываются уже по пути в строй. Командиру взвода не нравится.

— Отбой!

Мы несемся в казарму, прыгаем на нары под одеяла, на ходу стараясь кое-что сбросить с себя. Старшина проходит вдоль нар, вылавливая «смышленых» курсантов, нырнувших под одеяла одетыми.

Потом снова: «подъем!», «отбой!». И так несколько раз утром и вечером, а иногда и среди ночи. Наконец, мы все вовремя в строю, только Зайцев волочит за собой развязавшуюся обмотку.

— Курсант Зайцев, отбой!

Всем смешно и радостно смотреть, как наш Вася раздевается до кальсон (здесь уже не сплутуешь!), залезает под одеяло и готовится вскочить. Мы приготовились смотреть спектакль «Подъем Зайцева». Но в это время:

— Рота, отбой!

Проклиная ни в чем неповинного Васю, мы бросаемся на свои постели и через полторы минуты никто не шелохнется. Еще минута и уже где-то внизу раздается первый сап уснувшего: «солдат спит — служба идет!».

Первое Мая в училище прошло казенno и серo. На плацу сколотили трибуну, обтянули ее красной тряпкой. Командир училища — небольшого роста плотный бритый полковник Мешечкин в орденах и с золотыми нашивками, произнес речь, зачитал приказ и принял парад.

Вскоре после праздника по училищу пошел слух о том, что мы передислоцируемся. Слухи разрастались и, наконец, все узнали: едем в Термез.

К этому времени мы выглядели уже полугопниками. Наши гимнастерки б/у были рваные-прерванные, залатанные разномастными заплатками.

Перед отъездом в училище привезли «новое» обмундирование — бумазейные ярко-канареечного цвета иранские кителы с шахскими бронзовыми пуговицами и офицерские б/у фуражки. Обмундирование было «военным трофеем», доставшимся Советскому Союзу при дележе имущества иранской армии между СССР, Англией и США в декабре 1941 года. В этих кителях мы грузились в пассажирские купейные вагоны и именно за эти кители курсанты пулеметного училища — аборигены Термеза — сразу же прозвали нас «желторотиками». За время ташкентской учебы мы достаточно постройнели, и в купе можно было положить спать по десятку курсантов: по два курсанта на каждую полку, один ложится на пол и один (поменьше) сворачивается калачиком в багажном ящике.

Глава 3. ТЕРМЕЗ

Термез встретил нас страшной жарой. Как сонные мухи, невыспавшиеся курсанты нехотя вылезали из вагонов и строились на запасных путях станции. Согласно плану пулеметные роты расквартировывались в старинной царских времен крепости в километрах в трех-четырех от станции. Минометчики же занимали казармы вдали от города, построенные еще в царское время на уступе коренного

берега пограничной Аму-Дары. Казармы были добротно рубленые, с высокими потолками и дубовыми ставнями. Внутри казармы оказались плотно заставленными свежими, еще пахнущими смолой двухэтажными нарами.

Транспорта не было, и мы весь день (всю жару) на себе таскали разный хозяйственный скарб училища: 6 км — туда, 6 км — обратно. От этого на иранских кителях вскоре появились первые заплатки.

Столовая (пищеблок) была в крепости. Там же находились гауптвахта и санрота. Все эти заведения мы будем осваивать по мере необходимости (нашей или начальства).

Только тут в Термезе началась наша настоящая курсантская жизнь. Какая она была, эта жизнь? Наверное, трудная, но помальчишески озорная и веселая. Из разных уголков памяти как маленькие чертенята сейчас выглядывают и строят мне рожицы наши проделки, которые тогда занимали все наше «личное» время. Мы были напичканы разными «идеями» и реализовывали их в любое подходящее или неподходящее время. Сегодняшним ветеранам-старикам ни в коем случае нельзя разрешать описывать эту жизнь «по памяти». Например, посмотрите роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», где он описывает жизнь запасного полка военного времени. Его запасной полк — «Чертова яма» — по составу, житейским условиям, программам начального обучения, да часто и конечным результатам во многом схож с пехотным училищем (нашим ТПМУ). Из училищ, также как и из запасных полков, периодически на фронт отправляли маршевые роты, которыми закрывали наиболее опасные дыры фронтов.

Но, читая роман, обратите внимание, что сохранилось в памяти сегодняшнего озлобленного старика. Астафьев как будто пишет «правду-матку», но все черно, безысходно и густо сдобрено зловоньем отхожих мест. Ни шутки, ни улыбки. Страх и ужас в глазах молодых парней, вырванных из деревенской жизни и брошенных в преисподнюю. В их уста вложены размышления сегодняшнего измученного послевоенной жизнью глубоко пожилого человека. Мы — молодые, пышащие здоровьем призывники, Астафьевым превращены в ленинградских дистрофиков.

Ничего подобного в ТашПМУ не было! Да, я уверен, не бывало и в запасных полках. Конечно, как и везде, «доходяги» были, но основная масса жила полной молодой жизнью.

Вторая половина мая в Термезе — разгар лета. Закончилась уборка богарной пшеницы, на ее месте уже зеленеют всходы первого урожая кукурузы, налилась сочная сладкая тута, на урючинах беззаботно и завлекательно кое-где желтеют бока плодов. Они еще

не созрели, но какое до этого дело курсантам? В первую же ночь из нашего плохо охраняемого лагеря ушли разведчики. Их вылазка закончилась удачно. Неоспоримым доказательством этому стала наша длинная на 24 «очки» уборная. Удивительно (потом я сам в этом убеждался) — недозревший урюк проходит через пищеварительный тракт совершенно не перевариваясь, точнее, полностью сохраняя свой первичный абрикосовый аромат. Уже утром подходя к уборной, я обратил внимание: от нее пахло абрикосами. Что за наваждение? В чем дело? Но войдя внутрь, я увидел очки, залитые «абрикосовым вареньем».

Термезскую жизнь батальона минометчиков можно разбить на три части: привольную лагерную, крепостную и «ОПРОС-15».

ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ

Появление батальона курсантской «саранчи» под боком у вкусно пахнущих узбекских садов и огородов вызвало шок среди мирных обитателей аулов, расположенных в приграничной пойме. Бороться с нашими набегами практически было невозможно. Они совершились бескомпромиссно, напористо и по-волчьи беспощадно-опустошительно. В ответ на жалобы аборигенов уже в июне командование обнесло нас колючей проволокой, а на ворота поставило хороту. Узбеки обзавелись ружьями, заряженными солью. Война ожесточилась и пошла с переменным успехом. Мы набирали опыт, набивая шишки и залечивая их на гауптвахте или в сандроте.

В самом конце мая курсанты ТашПМУ приняли присягу. Всем строем мы повторяли слова клятвы, без задержки пропуская их через уши, настроенные совсем на другие звуки. В конце ритуала полковник строго-настрого предупредил, что теперь мы солдаты — защитники Родины, и за малейшее преступление (самовольная отлучка на срок более часа, невыполнение приказания и др.) нас ждет военно-полевой суд.

— Запомните, кого еще хоть раз поймают на огороде — военно-полевой суд!

Но как курсанту пройти мимо бахчи и не заглянуть туда? Это все равно, что порядочному кобелю, увидев сучку, не понюхать у нее под хвостом. Такое было выше всех наших сил!

Уже на следующий день вдвоем с приятелем во время мертвого часа мы беззаботно сидели на дувале узбекского сада и лакомились тутой. Она была крупная черная, уже перезрелая и поэтому совсем

приторно-сладкая. Фуражки лежали рядом. Неизмеримо жарило солнце, выравнивая извилины наших расплавленных мозгов, плотно уложенных в голых, начисто выбритых черепах. Мы лениво шевелили руками, перебирая ветки шелковицы... Встреча с командиром взвода соседней роты — ненавистным Прокопченко — была неожиданной для обеих сторон. Он возвращался из поселка (явно от бабы — сказал бы Пан). Подойдя к нам со спины, Прокопченко по-иезуитски схватил фуражки. Сначала мы было прыснули от него в узбекский сад, но... без фуражки в лагерь не вернешься. Как нашкодившие псы, понурив головы, мы приплелись за ним в расположение части.

Финал был плачевным, ибо мы первыми нарушили присягу. Нас похоронно-торжественно вывели перед строем батальона и писарь зачитал приказ: «Тroe суток гауптвахты!» В назидание всем тощий капитан-очкик (командир батальона) театрально содрал с нас ремни, дежурные смотали обмотки и с винтовками наперевес под барабанную дробь взяли под стражу. Хоззводовский солдат, не выпуская из рук винтовки, повел нас в крепость. Мы плелись два километра, купая в лесовой пыли завязки кальсон и пугая своим видом встречных узбеков, мирно восседавших на покорных осликах.

ГАУПТВАХТА

Гауптвахта помещалась в крепости, в подвале полуразрушенного саманного домика. Свет в крепости проникал через маленькое зарешеченное окошко где-то под потолком. В переднем углу брошено чуть-чуть соломы, рядом — деревянная скамейка. В центре подвала яма, из которой несло сыростью и дохлыми мышами. На дне лежала куча заплесневелых и погрызанных мышами книг. Среди них оказались задачники по геометрии и алгебре за девятый класс. Их-то как раз и не хватало в моем наборе!

Ни свет, ни заря нас подняли. В тот день на «губе» оказались только трое, а работы невпроворот. Арестанты, как правило, выполняли самую неблагодарную и грязную работу: топили смолой кухонные печи, выносили помои, убирали уборную или по ночам чистили картошку под присмотром часовых. Лучше было попасть на кухню, на печи. Ты хоть и станешь «трубочистом», но зато есть возможность, ставив в разделочной кусок мяса или, на худой конец, несколько картофелин, запечь их в вонючей смоляной золе. Редкий желудок выдерживал пир арестантов у смоляных топок. Поэтому на вопрос комвзвода: «Почему курсанта нет в строю, ведь срок гауптвахты кончился?», чаще всего был ответ: «Он в сандроте».

Не явился исключением и мой хорошо закаленный живот. Через трое суток я оказался в сандроте.

Меня моют, одевают во все чистое и кладут, как шаха персидского, на железную пружинную кровать с белой простынью и подушкой. Приходит врач:

— Откуда?

— С гауптвахты.

Ему не надо большой прозорливости, чтобы поставить точный диагноз безо всяких подозрений на дезинтерио:

— Прочистить желудок и весь тракт!

...После чистки очень хочется есть (просто есть мы хотели всегда).

Из сандроты я возвращался дня через четыре уже без конвоя, чуть похудевший и голодный, как волк. До ужина было далеко и мне ничего не стоило восполнить потерю калорий за счет кукурузы. В благодушном состоянии я появился в казарме. В расположении нашего взвода над маленьким дежурным столиком склонились курсанты. Я подошел. Там лежало несколько запалов от гранат. Идея была ясна: высыпать из них дефицитный порох, необходимый нам в борьбе с узбеками (об этом рассказы впереди). Я «проходил» гранату еще в сороковом году в военном кружке Дворца пионеров в Ленинграде и поэтому сразу же обратил внимание — взрыватель не походит на тот, что вставляется в РГ-38. Взрыватель от РГ-38 дистанционного действия. Если сработает капсюль, то всегда есть время убежать или выбросить его, пока горит порох. А если это взрыватель от противотанковой пятикилограммовой гранаты ударного действия (как это потом и оказалось), тогда лучше с ним не связываться, ибо он срабатывает моментально.

— Подождите, лучше посмотреть в инструкции.

Я привстал из-за стола, перекинул ноги через скамейку и сразу же почувствовал острый укол в бок. Над столом резко блеснул огонь, вскочил с окровавленными руками и громко заголосил курсант Лукьянчиков, сосед справа схватился за глаза. Дежурный офицер со старшиной уже были тут как тут. Четверых увезли в госпиталь. Я пытался скрыть от начальства осколок, попавший мне в бок, в надежде остаться в стороне, но Лукьянчиков всех добросовестно выдал. Он остался без двух пальцев, сосед справа — без глаза; сосед слева был я. Им двоим, как «самострелам», полагался военно-полевой суд и, теоретически, расстрел, ибо с такимиувечьями на фронт в штрафбат не брали. Меня в числе других четверых курсантов, названных Лукьянчиковым зачинщиками, взяли под следствие и отправили в уже знакомый подвал

гауптвахты. Потом из загноившейся ранки я вытащил кусочек латуни, но в санроту не попал.

Приказы о расстрелях и направлениях в штрафбаты за «членовредительство» иногда появлялись в гарнизоне перед отправкой маршевых рот на фронт, но в нашем минометном батальоне этого не было. Однажды приговор о расстреле был приведен в исполнение перед строем двух училищ и ОПРОСа (особый полк резерва офицерского состава, куда я потом попаду). Наша рота стояла далеко и я ничего не видел. Не знал я тогда, что через год с небольшим в далекой Югославии мне самому придется участвовать в расстреле новобранца-таджика за зверское изнасилование жены партизана.

А ВРЕМЯ ЛЕТЕЛО...

Начались боевые стрельбы. В бездонных карманах курсантов кроме взрывателей и детонаторов появились винтовочные, автоматные патроны, бикфордов шнур, тол... Мы становились все более и более взрывоопасными. Бедные наши няньки — старшины и офицеры — с ног сбивались в тщетных усилиях защитить курсантов от боеприпасов. Беглые обыски,очные налеты на тумбочки, матрасы, тайная слежка, угрозы, приказы — ничего не помогало, а только заставляло нас искать более изощренные способы доставать, прятать, а потом использовать взрывчатые вещества (чем сегодня занимаются чеченские боевики).

Ночью из караула пропали два курсанта соседней роты. Кто-то видел куда-то бежавших офицеров, кто-то сказал, что курсантов убили узбеки, трупы найдены и увезены в госпиталь («Почему в госпиталь, а не в морг?» — думаю я). Все возбуждены, ходят, шепчутся по углам. Ждем чего-то...

После завтрака курсанты, как обычно, повзводно расходятся на занятия. У нас огневая подготовка в классе. Это рядом, и мы без строя плетемся через плац...

— Тревога!

По лагерю воет сирена. Все бросаются в казармы. Дневальные уже открыли пирамиды с личным оружием. Противогаз, скатка, винтовка, саперная лопата. «Минометов не брать!» И вот уже взвод за взводом докладывают о готовности к выполнению боевого задания. Патронов не выдают. Мы стоим 10 минут, 30 минут. Солнце печет вовсю. Команда: «Из строя не выходить!» Мы теряемся в догадках. Наконец, появляется комбат с каким-то большим начальством.

— Равняйсь! Смирно!

И нам зачитывают очередной приказ. Он длинный и полон суровых кар «за самовольную отлучку», «за уход с поста» и пр., и пр. Из приказа мы узнаем, что во время очередной вылазки на бахчу узбекский сторож в упор выпустил полный заряд соли в спину курсанту. Другому солю перебило сухожилие на ноге. Оба в госпитале. Их будут судить военно-полевым судом как самострелов-дезертиров.

Курсанты каждый по-своему переживают приказ. На месте подсудимых мог оказаться любой из нас.

Бахчи, огороды — это не просто пристанища дынь и помидоров. Это, в первую очередь, самоутверждение личности. Именно здесь курсант среди себе подобных может показать сноровку, бесстрашие, мальчишеский героизм. «Не хлебом единым», — и обстановка рождала своих героев!

Тактические занятия. Мы отрабатываем действия командира стрелкового взвода в наступлении. Ведет занятия командир роты. Он уводит нас километров за пять от лагеря и импровизирует боевой приказ:

«Противник силою до батальона занимает оборону по линии: рошша Пистолетна — одинокое дерево — дувало и далее в направлении кукурузного поля. Позиции противника хорошо укреплены, окопы выкопаны в полный рост. На вооружении противник имеет пулеметы, противотанковые ружья... Нашему полку приказано овладеть рошшей Пистолетной (это его любимое название, за что он и получил свое прозвище) и дальше развивать наступление на рошшу Круглу...»

Начало июля. Кругом безлюдно и безнадежно жарко. Узбеки попрятались за дувалами и там пьют чай. Работать в такое время нельзя. Да и самому Рошше Пистолетной, вероятно, тошно. Струйки пота сочатся из-под фуражки и засыхают на лице прихотливыми узорами белой соли. Мухи бесполково и назойливо снуют около глаз... Наконец, команда: «Вперед, в цепь!» И мы короткими перебежками идем на сближение с противником.

— Ты убит, ты убит... — бегает вокруг нас комроты. И вот первые «живые» выходят на промежуточный рубеж для сосредоточения для атаки. Лежа, саперной лопаткой надо выдолбить в твердом как камень лессовом суглинке ямку и замереть, ожидая команды.

— За мной! В атаку! Вперед! — кричит Рошша. Хилое «Ур-а-а», и мы бежим. Слышатся редкие хлопки холостых патронов. Рошша бежит тоже. Вот он поравнялся со мной. Слышно его хриплое тяже-

лое дыхание. Вероятно, дают знать фронтовые ранения, да и возраст (ему за тридцать).

— Курсант Михайлов, почему не ведешь огонь по противнику?

— Я веду.

— Какой это к... матери огонь? «Губу» захотел?! Где стреляные гильзы? — взрывается Роша (и у него для этого есть основания).

Нехотя загоняю патрон в патронник и еще предпринимаю неуклюжую попытку сделать перебежку в сторону и уклониться от выстрела, но Роша уже меня «взял на прицел». Все равно, два из пяти моих холостых патронов оказались замотанными в обмотки, а один засунутым в специально оборудованный тайник фуражки. У него свои мысли, у меня — свои.

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?

Два раза в месяц рота заступает в караул. Мы караулим шесть объектов: два на аэродроме (это самые удаленные от начальства), один у бензосклада где-то рядом с базаром, остальные у складов боеприпасов, продовольствия и др. На каждом объекте — пост. На посту — три смены. Две — с оружием, одна — без. Первая смена стоит на посту, вторая — отдыхает, третья — готовится к наряду. Смена караула — каждые два часа. Так по уставу...

Ночь. В караульном помещении никто не спит. Все взбудоражены. На случай, если придет проверяющий, из соломы и шинелей сооружены муляжи второй (спящей) смены. Оружие расставлено так, чтобы проверяющий офицер не увидел отсутствие многих винтовок. Вокруг выставлены посты наблюдения и пр. Полная «конспирация». Кажется, все предусмотрено...

Разбившись на две группы, мы, каждая своей дорогой, движемся к бахче. Я попадаю в группу ложной атаки (этому нас научили офицеры себе на голову!). Мы занимаем позиции по краю дороги вблизи бахчи. Другая группа (там Володька) издалека обходит бахчу и затаивается в арыке. Ветер от нас. Узбекские собаки быстро улавливают терпкий дух курсантских портнянок. Сначала, будто нехотя, тявкает одна, за ней другая и вот уже визгливый собачий перелив разносится над бахчой. Мы ждем, пока та группа займет позиции. Наконец, с нашей стороны низко над бахчой летит красная ракета, рассыпая шипящие искры на головы узбекских сторожей: «Анику-у-у-й!». Этот узбекский клич, зовущий на помощь, будоражит нашу кровь. Сторожа трутся, сбиваются в кучки. Все их внимание направлено в сторону красной ракеты, туда, где мы, как нетерпеливые псы, рвемся с поводков. Что бы ни ждало впереди, азарт предстоящего боя бе-

редит тело, ладони плотно обжимают цевье, а палец гладит вороненую сталь спускового крючка.

— Огонь!

Мы выскакиваем из укрытия и стреляем. Потом, не добегая до края бахчи, останавливаемся и палим залпом, вразброс... Порох холостых патронов вылетает из стволов, красным огненным пламенем освещая аппетитные бока чардоуских красавиц. Узбеки ведут беспорядочный ответный огонь, но это совсем не страшно, соль не долетает до нас, а с характерным шорохом рассыпается по резным листьям. Поэтому кое-кто из нас выскакивает на бахчу, хватает первую попавшуюся дыню и убегает. Но у края хороших дынь нет. Брать трофеи — не наша задача.

Гвалт, стрельба, собачий лай — все это далеко разносится по округе, доходя до аула. Оттуда вскоре появляется подмога. Мы, отстреливаясь, сначала медленно отступаем, а потом просто бежим. Узбеки, путаясь в полах халатов, некоторое время победно преследуют нас. Бежать надо быстрее. Ведь поднятый нами шум скоро дойдет до начальства...

Еще полчаса, и, как ни в чем не бывало, мы сидим в тесном караульном помещении, шомполами прочищая и смазывая винтовки. По уставу мы готовимся к заступлению в наряд. В углу, прикрытая щинелями, «спит третья смена».

А на другом конце бахчи по тому же сигналу красной ракеты группа захвата по-пластунски без оружия с мешками в зубах устремляется вперед. Спелые пахучие чарджуйки одна за другой исчезают в мешках. Вскоре в окне караулки появляется измазанная дыней остроносая физиономия Володьки: «Давай Ваську!» Вася неторопливо уходит. Ему возить дыни. Их надо надежно спрятать, ибо, победив на одном фронте, нам надо будет выдержать бой с начальством, которому узбеки явно накляузничают утром.

Между тем учеба шла своим чередом.

Молодыми зубами мы яростно грызли гранит артиллерийской науки.

В лагере ввели летний распорядок дня:

4 часа утра

Еле-еле брезжит рассвет. «Подъем! Выходи строиться на зарядку!» Сначала лениво, а потом все живее, живее курсанты шевелят руками и ногами.

4-30—8-00

Занятия. Обычно с утра на голодный желудок назначались уроки, не требующие мысленного напряжения: строевая подготовка, политучеба,

	физкультура и др. Жара начинается часов в семь. Завтрак.
8-00—8-30	— Товарищи курсанты, еды хватает? — Хватает, даже остается! — Что делаете с остатками? — Сразу доедаем!
8-30—13-00	Занятия. Самое пекло. В это время хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит, а у нас: тактика, строевая подготовка, отработка действий бойца в обороне, в наступлении и пр.
13-00—14-00	Обед и купание в арыке с мутной теплой грязной, но всегда такой желанной водою.
14-00—16-00	Мертвый час. В казармах плотно закрыты ставни. Курсанты валяются на двухэтажных нарах, изнывая от духоты и жары, проникающей во все щели.
16-00	Подъем! Душное пекло в самом разгаре. Нас, как сонных мух, веником выметают из казармы. Жара свинцовым покрывалом лежит на земле. Все живое куда-то спряталось, и только курсанты противовесственно шевелятся на плацу.
16-00—18-00	Еще занятия.
18-00—19-30	Самоподготовка («домашние уроки»). По казарме ходит дежурный офицер и «наблюдает», чтобы курсанты не спали, а добросовестно штудировали замызганные, с вырванными страницами уставы и инструкции.
19-30—20-00	Ужин.
20-00—20-30	Чистка оружия.
20-30—21-30	Личное время. Курсанты должны писать письма, пришивать пуговицы, ставить заплатки, или просто сидеть и смотреть в стенку, дожидаясь отбоя под бдительным надзором дежурных. Всех давно клонит ко сну, и только боязнь получить наряд вне очереди мешает залезть на нары (или под нары) и уснуть праведным сном уставшего ребенка.
21-30—22-00	Вечерняя поверка, подготовка ко сну. Нам готовиться не надо. Одно время начальство пыталось донимать нас перед сном разучиванием песен. Помню, как мы полусонными голосами

тянули: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...», или «Врагу мы скажем, нашей родины не тронь, а то откроем оглушительный огонь!» В строю эти строчки почему-то сами собой переделывались в: «Врагу мы скажем, нашей родины не трожь, а то откроем оглушительный пердеж!». Но это тогда, когда рядом не было политработников, которых мы побаивались.

22-00

Отбой! Не помню, снились ли нам сны. Наверное, да, поскольку, будучи ночным дневальным, часто приходилось слышать бормотание, крики и даже слезы спящих товарищей.

Кормили нас по девятой (курсантской) норме. Она была выше третьей (тыловой солдатской полуголодной), но тоже «не ахти», поэтому курсантских изобретений добывания пищи хватило бы на десяток патентов.

Одно из них — «закрыть амбразуру» (окошко для выдачи пищи).

Лучшим специалистом в этом приеме слыл Лукьянчиков (пока его не увезли в госпиталь). Копировать Лукьянчика не мог никто. Он был толст и страшно прожорлив. В мгновение ока он, казалось, одним глотком отправлял в себя весь обед и тут же стоял у раздаточного окошка, глазами голодного пса пожирая толстую огромную повариху — тетю Фаню: «Те-е-е-тя Фаня, дай порцию...». Тетя Фаня непреклонна, гонит его, замахивается черпаком. Лукьянчиков знает, что тетя Фаня бить не будет, у нее есть сердце и двое таких же, как он, охламонов (правда, на одного она уже получила похоронку). Лукьянчиков стоит долго, взглядом провожая каждый черпак, и с нетерпением ожидая конца раздачи. И вдруг, всегда неожиданно, прикрывая полную миску бежит в угол.

Мы возвращаемся с тактических занятий на обед.

Гимнастерки топорщатся от засохшей на них соли. Белые разводы NaCl образуют причудливые узоры вдоль пушки, появившиеся у некоторых над губою и на месте будущих бакенбард. Страшно хочется пить. Ближе к лагерю Деушев командует: «Ногу!». Мы пытаемся «поймать ногу» и выровнять ряды. По обе стороны дороги стеной стоит кукуруза. Ее спелые волосатые початки нахально издеваются над нашими пустыми желудками. Деушев шагает справа. С другой стороны колонны из первого отделения высакивает курсант, отламывает початок, и, как ни в чем не бывало, марширует дальше. Деушев видит!

— Курсант Демченко, один наряд вне очереди!

— Да, Михайлову можно, а мне нет, — обиженно гнусавит Демченко.

— А ты стреляй, как Михайлов, за пререкания еще один наряд! — парирует Деушев.

Любой читатель из этой фразы может сделать единственный вывод. Не хвастаюсь (этим я займусь потом), но что да, то да, стрельбы мне действительно давалась. И когда начались минометные стрельбы боевыми минами, то от нашего взвода стреляли Голивкин и я.

А стрельбы начались где-то в самом конце июля. Это я хорошо помню, так как в Термезе персики спешивали в самой середине лета и узбеки долго сушат их на плоских крышах глинобитных мазанок. Стреляли мы именно тогда, ибо вот уже пятьдесят лет стоит лишь прикрыть глаза, как во мне перед строем батальона навзрыд плачут узбеки: старик и старуха.

Полигон находился в пустыне, километрах в семнадцати от Термеза. О начале стрельб всегда становилось известно заранее. Обстоятельно готовили материальную часть, шанцевый инструмент, чистили и мазали солидолом повозки, мыли солдатские кухни. В поход выступали поротно еще затемно, чтобы хоть часть пути пройти по холодку.

На полигоне до нас кто-то выкопал ровные ряды землянок — каждая на четверых. Плоских крыш с персиками, даже если забраться на крышу землянки, не видно, но читатель уже должен сообразить, что острое курсантское чутье лучше всякого угломера и прицела определяло азимут и дальность нашихочных разбоев.

В первую же ночь скрытно, минуя часовых, мы ушли втроем: Жорка, Володька и я. Июльские ночи на юге темные, и нам пришлось поблуждать, чтобы найти именно ту, еще днем обреченную крышу. Дальше было «дело техники». Володька легко прыгнул на мое отставленное в сторону колено, оттуда на плечи, с меня вскарабкался на Жорку и, балансируя на нем, бесшумно лег всем своим тщедушным телом на крышу. Под крышей спали, поэтому надо было без единого шороха смети все персики в подставленные снизу гимнастерки, воздушно слезть, незаметно вернуться в лагерь, спрятать добычу и уснуть.

На утро нашу роту подняли ни свет, ни заря. Возбужденные офицеры ходили вдоль строя и молчали.

— Равняйся! Смирно!

Из офицерской землянки выходит командир роты, за ним, неестественно сгорбившись, старик со старухой — узбеки.

— Кто украл персики, выдь из строя! — с места в карьер начал Рошша Пистолетна. Все курсанты на одно лицо. Все стоят по команде «смирно» и немигающими глазами смотрят перед собою.

— Все равно найду! Всех подлецов знаю! Какого... вы мне тут ... вашу мать!.. — Рошша постепенно распаляется, переходит на крик, потом вытаскивает из кобуры «ТТ», загоняет патрон в патронник:

— Какие вы, к ... матери, вояки!? Стариков грабите! По миру пускаете! Убью! Застрелю, как последнюю сволочь!

Старик со старухой пугливо жмутся друг к другу. Слезы катятся по сморщенному лицу узбечки. Для них эти персики — жизнь. Иначе — голод, а я знаю, что это такое! Курсанты стоят, не шелохнувшись, в колонне по два, развернутой лицом к землянкам.

— Все равно найду, расстреляю подлеца здесь же на месте, перед строем, — уже начинает повторяться Рошша. Потом он на минуту замолкает и идет вдоль строя, злыми прищуренными глазами пытливо вглядываясь в курсантов. Я стою за Жоркой, меня не видно. Может быть это, а может и что-то другое останавливает Рошшу:

— Курсант Михайлов (сердце трусливо екает и прыгает в пятки), это что на тебе скатка, как ... у старухи?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант.

— А ты что, видел? — не удерживается Рошша, но никто не смеется. — А ну, выдь из строя, покажь, что у тебя там.

Я делаю два шага вперед-кругом, медленно снимаю скатку, разворачиваю шинель. Вся рота смотрит на нее. Ведь скатка — это тайный склад курсантского добра. Закатать туда можно все. Однажды у курсанта в скатке нашли мину со взрывателем. Рошша уже поостыл, он и сам не знает, как будет расстреливать меня перед строем, но... в скатке пусто. Кажется, все облегченно вздыхают.

В конце концов старик со старухой получают с кухни по две буханки хлеба и четыре пайки сахара, а наша жизнь постепенно входит в колею до следующего «ЧП».

Каждый курсант напичкан различными зловредными замыслами, как арбуз семечками. Разгадать их и предупредить ЧП — задача офицеров. Особенно в начале дня курсант не может ничего не делать. Он заряжен энергией и искрит по любому поводу.

Команда: «Разойдись!» Все возвращаются в землянки в ожидании заветных звуков трубы: «Бери ложку, бери бак, а не хочешь, беги та-а-а-к!»

Мы еще не дошли до своего жилья, как где-то в стороне крики, свист; курсанты сломя голову несутся мимо. Я бегу тоже, еще не

зная, в чем дело. Испуганные офицеры срываются с мест: «Что случилось?» Полутораметровый варан мечется вдоль уже образовавшейся плотной курсантской стены. Он пытается уйти от смерти, но спасения нет. Свора молодых парней, жаждущих кровавых зрелищ, замкнула круг. Шомполы, ремни, а то и просто солдатские котелки делают свое дело. С перебитыми ногами, с проломленным черепом варан еще безнадежно огрызается, пытается грозно шипеть и наконец замолкает. Кто-то пинает его ногой: варан мертв. Возбуждение, охватившее толпу, стихает. Жалости нет. Кто-то говорит, что шкура варана очень дорогая, а мясо можно есть. От этого разговор перескакивает на привычные деревенские темы: как обдирать коров, коз, собак, чтобы не испортить шкуры, а затем вообще уходит в сторону. Варан забыт. Днем его труп облепят мухи, а ночью будут пировать шакалы...

Неделя стрельба пролетает незаметно. Уже назначен день возвращения в казармы. Наша рота уходит последней. Вечереет. Солнце вот-вот зайдет за гряду высоких барханов. От них уже потянулись длинные узорчатые тени. Командирам взводов разрешили уехать раньше. Нас ведет Роша.

— Запевай!

— А что петь? — Набравшись смелости выкрикивает кто-то из строя. Все знают, ЧТО любит Роша, да мы и сами не против ЭТО запеть, но пусть он скажет сам. Роша немного колеблется, потом отворачивается и бросает в сторону:

— Давай поручика!

Похабная песня сначала появляется на свет неуверенно, запевалам вроде совестно тянуть матерные слова, но потом песню подхватывают другие, строй выравнивается и очередной куплет звучит громко, уверенно:

— ...Поручик расстегнул свои штанишки
И мигом бросился к ногам!..

И вот уже по всей пустыне, пугая тарантулов, каракуртов и прочую ядовитую нечисть, разносится залихватский припев:

— Мадам ха-хочет!

Поручик хочет!

И начались тут проституци-нацентуци, верверсале,
Ерцен-перцен, шанкер-верцен,
Хопца-дрица, хоп ца-ца! Хоп-ца!!....

Все наши вещи на повозках, вечером идти легко, мы с удовольствием дерем молодые глотки и не замечаем, как вдали появляется темный силуэт крепости, а за ней вскоре длинные казармы нашего лагеря. 17 километров позади.

Увлекшись рассказами о курсантском житье-бытье, я совсем забыл о войне. Но она шла. Война кровавая, изнуряющая. В начале лета 1943 года только безмозглые оптимисты могли безоговорочно верить в нашу безусловную победу. У немцев была вся Европа. Лиши пушки металлурги Франции, точили снаряды чехи, бельгийцы, датчане. Шла на восточный фронт «голубая дивизия» испанцев. Еще росла у немцев РОА (Русская освободительная армия Власова), формировались «дикие дивизии» из таджиков, туркменов и других мусульманских национальных меньшинств нашей огромной страны. Резали партизан крымские татары, стреляли в спины нашим отступавшим солдатам чеченцы и ингуши — «волки нападают на больных оленей». Я уж не говорю о находившихся в состоянии войны с СССР Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии и других сателлитах Гитлера. Второго фронта, на который все так надеялись, не было. «Война в пустыне» выгнала Роммеля из Африки, что убило всякую надежду немцев на ближневосточную нефть. Американцы постепенно наращивали удары в Тихом океане, утверждали свое господство в Атлантике. На Средиземном море Италия попала в окружение союзников и вот-вот ждала неизбежной высадки десанта. Немцы не могли не чувствовать этого, и Геббельс уже настраивался на бравурные речи об изобретении в Германии «сверхсекретного оружия», которое поставит на колени весь мир.

До сих пор помню то тоскливо-щемящее чувство, с которым я встретил известие об упорных боях, начавшихся на Курской-Орловской дуге, и отходе наших войск. Неотвратимый гнет этих отходов «на заранее подготовленные рубежи» вместе с тяжелой июльской жарой растекался по лагерю. Ведясь тогда статистика курсантских проделок, то в начале июля кривая резко поползла вниз. С утра мы уже вслушивались в каждое слово Левитана, цепляясь за «враг остановлен», «враг истекает кровью»... Мы хотели верить, но ведь теми же выражениями был заполнен эфир в пору тяжелейших поражений наших армий сорок первого—сорок второго годов! Разобраться что происходит, было не под силу нашим мозгам.

И вот наши пошли! Сначала мы как-то робко, еще не веря известиям, повторяли километры, взятые нашими, но потом пришли Орел, Белгород... Это Победа!

Наши души, наши помыслы в те дни перелетали узбекские бахчи и огороды, чтобы оказаться там, под Прохоровкой, где сошлись танковые армады обеих сторон и решались судьбы войны.

ВНЕШНЕ В ЖИЗНИ УЧИЛИЩА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.

Утренний сон у курсантов особенно крепок. Наступает кратко-временная прохлада. Все окна казармы раскрыты, и в них льется ночной воздух с близких афганских гор. Тела разметались по двухэтажным нарам, простыни сбиты в кучки, некоторые свисают на пол. Казарма спит...

Тихо входит командир батальона. За ним командиры рот, взводов. Дневальный козыряет им.

— Объявляй тревогу.

— Тревога! В ружье! — что есть мочи орет дневальный.

И сразу все преображается. Командиры взводов, старшины, дневальные мечутся среди заспанных очумелых курсантов, срывают простыни, тащут за ноги... Гимнастерка, галифе, ремень с саперной лопаткой... и уже верхние скатываются вниз, путаясь в шнурках и обмотках.

— Командиры отделений, ко мне! — командует Деушев.

Батальон получает задание: быстро и скрытно сосредоточиться для боя в пяти километрах от лагеря. С собой: винтовки, противогазы, скатки, по два миномета на взвод. Время засечено, как только дана команда «В ружье!»

На плацу кучно собираются взводы и один за другим бегом уходят за проволоку лагеря. Деушев на ходу перераспределяет, кому что нести: «Михайлов, отдай винтовку, бери двуногу!» Двунога (20 кг 300 г) неуклюжа, и если выюк подогнан плохо (а это бывает всегда, так как минометы общие, батальонные), то ее сошки больно бьют по ногам, набивая синяки. Сначала я стараюсь не отставать от основной группы, которая роится переди около Деушева, но проходит 5—10 минут и я уже глотаю лесковую пыль сзади.

Светает. Солнца еще нет, но его предвестник — жара зrimой волной наваливается со всех сторон. Гимнастерка мокрая. Пот лезет в глаза, но руками надо все время придерживать сошки двуноги. «Давай, не отставай!» — это со мной уже поравнялся замыкающий Голивкин. Деушев его всегда держит в резерве. Я пытаюсь со всех сил хоть немного вырваться вперед...

— Воздух! — кричит сопровождающий нас инструктор. Все бросятся врассыпную. Я распластавшись на каменистом суглинке лицом кверху и клацая затвором, изображая стрельбу по самолетам. Через минуту: «Отбой!» Я пытаюсь подняться, но вся амуниция придавливает к земле. Рядом Деушев: «Лях, возьми двуногу у Михайлова!» Вовка помогает мне вылезти из выюка, я набрасываю 20 кг 300 г на Ляха и легко догоняю основную группу.

Деушев следит за каждым. Пшел третий километр.

— Михайлов, возьми противогаз Зайцева! Тот всю дорогу будет тащить плиту и винтовку!

— Голивкин, ко мне! Михайлов, возьми винтовку Голивкина!

Иван равняется со мной и играючи бросает винтовку. Он будто только вышел из столовой, бежит легко, пружинисто. Взвод уже растянулся далеко и последних не видно. Минометные выюки совсем отстали. Деушев собирает около себя группу человек в десять. Я в ней.

— Король, веди группу!

Пшел четвертый километр. Мы, нагруженные разной амуницией, делаем рывок и больше не смотрим назад. Король бежит тяжело, матюгаясь и все время кстати и некстати подгоняя отстающих. Дыхание давно сбито. В горле першил, легкие забиты лесковой пылью. Кажется нет больше сил, но... еще, еще немного и мы выходим на финиш. Здесь полоса препятствий: 25 метров низко натянутой колючей проволоки. Около нее толпятся штабные офицеры, полковник (начальник училища), очкарик (командир батальона), Роша Пистолетная (командир роты).

— Газы! — кричит инструктор. Я падаю на землю, быстро выдергиваю маску, привычным жестом растягиваю ее и набрасываю на голову, поправляю клапан и... воздух не идет!

— М..., Васька, чтоб тебе!..

Оказывается, я по ошибке схватил его противогаз, закрытый и уложенный со всем хохляцким усердием! Читатель помнит: у меня, как у порядочного курсанта, давно выпотрошены все внутренности железной противогазной коробки, оторван язычок клапана и пр. В моем противогазе дышится, будто без него. Задыхаясь и проклиная «подлюку хохла», я добираюсь до конца полосы, высовываю голову, сразу сдираю с лица ненавистную резину и волоку за собой две винтовки. Роша подскакивает ко мне, чтобы помочь.

— Назад! — кричит очкарик. Я сбрасываю с себя, что принес, снова одеваю противогаз (но уже свой!) и налегке ныряю обратно под проволоку. С другой стороны к ней уже подходят курсанты с минометными выюками. Вон пыхтит Зайцев. Деушев уже командует:

— Михайлов, бери плиту у Зайцева, Зайцев, назад за Ярченкой!

К проволоке Голивкин подтаскивает Янковского. Тот мешком висит на его плечах. К Пану привязаны обмотки, за которые его будут волочить под проволокой. Противогаз ему можно не надевать — он «кубитый», но «кубитых» мы не должны бросать, так как согласно приказу батальон проходит через тыл противника.

Я тащу под проволокой эту проклятую плиту. Она кажется тяжелее меня: толкаю вперед, а вместо этого сам пячуся назад. Нахожу просвет в проволоке, чуть поднимаюсь на четвереньки, чтобы зайти к плите спереди... хрясь! Палка замполита больно прижимает меня к земле. Он, как журавль, ходит между проволокой и бьет палкой по поднимающимся задницам курсантов. Пот застилает стекла противогазовой маски, щекочет ноздри. Мимо меня Голивкин зло и напористо тащит за ноги Янковского. У него одни жилы, которые работают, как стальные тросы. Голова Пана волочится по земле. Она вся в ссадинах и кровоподтеках. Деушев пытается сзади подставить ладони, но рывки Голивкина резкие, сильные. Я просовываю Деушеву скатку. Он подхватывает ее и подкладывает под голову Пана. Глаза у Янковского открыты и как-то безучастно и тоскливо смотрят вокруг.

Еще немного. Осталось 10 метров, 5 метров. Хрясь! Палка опять больно бьет меня по плечу. Я прижимаюсь к земле, рука не имеет и не желает больше держать ручку плиты. Я последний! Сквозь соленую резину маски зубами нашупываю сыромятный ремень выюка плиты, подтягиваю его на себя, еще раз, еще раз, больше не могу! И тут чьи-то сильные руки клешнями хватают меня за лодыжки и вместе с зубами, сыромятным ремнем и минометной плитой выволакивают из-под проволоки. Гимнастерка задралась, и карбонатный суглинок как рашиплем скребет по животу и ребрам. Какое-то мгновение от боли я лежу на земле, но резкий голос Голивкина заставляет вскочить. Маску долой, бегом к оружию и в строй! ПОБЕДА!

Какое это огромное и счастливое слово — ПОБЕДА! Там у начальства Деушев уже докладывает: «Первый взвод готов к выполнению боевого задания, потери — 3 человека, минометы готовы к бою!» Мы строимся в колонны. Все в лесской пыли, ободранные, с кровоподтеками, но все равно радостные и возбужденные. Я опять стою за Жоркой. У него разорвана гимнастерка, во всю спину кровоточит шрам от колючей проволоки. Я пытаюсь его прикрыть от мух. Жорке больно, но он остался в строю (потерь должно быть меньше). Лечиться будем после «боя». Себя я не вижу, но саднит живот, то есть то место, где он должен быть, локти, колени...

— Молодцы, товарищи курсанты!

— Служим Советскому Союзу!

Солнце печет неимоверно. Сзади на носилках лежат «убитые». Я вижу Пана. Ему только ввели противостолбнячную сыворотку. Пан весь забинтован. Мухи облепили глаза, копошатся на окровавленных ранах.

ленных бинтах. Рядом с ним еще двое из нашего взвода. Дальше пять человек из второго. «У нас потери меньше», — проносится в голове. Нет никаких дум, никакой жалости к «убитым».

МЫ ПЕХОТА — ЦАРИЦА ПОЛЕЙ! А царица назад не смотрит. Земля освобождена или захвачена только после того, как по ней пройдет пехота. Можно забросать землю бомбами, сжечь и разрушить города снарядами, пройти танковым рейдом, но только пехота овладеет территорией! За нами идут заградотряды, погребальные команды, санроты, медсанбаты, госпитали, за нами тянутся бесконечные эшелоны хозрот, артиллерийских батарей, полевых аэродромов, за нами штабы, политотделы, корреспонденты, поэты и прочая шушера. Все они придут на освобожденную нами землю и будут радоваться Победе. Они обшарят наши трупы, снимут с них боевые ордена, ботинки и солдатские ремни, свезут нас в братские безымянные могилы, соорудят монументы, напишут стихи и поэмы, а потом каждый год в день Победы будут собираться на площадях и в ресторанах, восхваляя свои ратные подвиги. **Пехоты среди них не будет.**

И это правда. В 1975 году в день 30-летия Победы в столовой нашего геологического института был устроен товарищеский ужин. Заместитель директора С. В. Егоров, бывший в войну капитаном, командиром артиллерийского дивизиона подавал команды:

— Артиллеристы, встать! Выпьем за артиллеристов! Моряки, встать! Выпьем за моряков! Летчики встать! Выпьем за летчиков!...

Я стоял в стороне у окна и смотрел: нестройно и тяжело, но с гордостью за свою профессию, поднимались бывшие солдаты, а сейчас седовласые, престарелые люди, чокались...

— Пехота, встать!

Тихо.

Егоров растерянно смотрит в зал. Неловкое молчание. Кто сидит, знает, что такое пехота. Знает, что самым суровым наказанием для любого вида войск — будь то летчик, танкист или сапер, было: «**списать в пехоту!**» (понимай, списать в расход). Я никоим образом не хочу умалить роль кого-либо из собравшихся, но в нашем институте из трехсот ветеранов не нашлось в тот день ни одного солдата стрелковой роты. А ведь они составляли основу Советской Армии.

Но это меня уже не туда «занесло». До фронта еще далеко и читателю придется послушать разные курсантские были.

Команды: «Вольно!», «Отбой!». Начальство довольно. За хорошую службу нам выдают по дополнительному бачку компота на

стол. «Убитых» еще не сняли с довольствия. Мы азартно по морскому счету делим их порции между собой, как потом на фронте после боя будем упиваться спиртом убитых товарищей.

Через несколько дней «убитые» снова появятся в расположении части побледневшие, чуть осунувшиеся и с освобождением от кроссов на одну или две недели.

А вечером уже все уходит в прошлое. Личное время. Курсанты пишут письма, а чаще просто так без дела валяются на нарах.

— А ты слабак, Зайцев. Вон Труба сегодня за тебя плиту тащил, — начинает подначивать Володька. Нет, таких в офицеры не возьмут.

Вася сопит. В его планах он должен вернуться к себе в деревню в офицерских погонах и обязательно с портупеей. У него там есть к кому возвращаться, но мы не знаем, как ее зовут. Он пишет своей зазнобе длинные письма. Володька не унимается:

— Дай адрес, я напишу твоей крале, какой ты слабак.

— Не дам.

Это уже Володька играет с огнем. Никому уже нет дела до того, что Зайцев один всю дорогу нес плиту, а потом еще приволок на себе «интеллигентного доходягу», никто не говорит, что Михайлов тащил плиту только 25 метров, да и то, если говорить по правде, его самого вместе с плитой выволокли из-под проволоки. То все «не считается».

В такие дни казарма тихая.

Подъем в четыре часа утра в лагере продержался чуть более месяца и потом был отменен, так как постоянное недосыпание изнуряло курсантов. Они засыпали не только на занятиях, но и просто в строю. Вечером некоторые отказывались от ужина, залезая куда-нибудь под нары.

В августе, слава Богу, появились первые признаки ночной, а затем и вечерней прохлады. Кроме того, после очередного «афганца» вместо жары пришли «холодные» дни с температурой всего около 30°. Во время «афганца» занятия на улице отменялись. Ту же пыль мы глотали в классах.

Большинству курсантов артиллерийская наука давалась с трудом. Командиры взводов в отчаяньи опускали руки, когда в классах на макетах полигонов курсанты упорно подавали команды, заставляющие мины лететь куда угодно, только не в цель.

По сути дела, вся артиллерийская наука — это сплошные синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы, то есть задачки моих любимых тригонометрии и геометрии. В то время, как разные КУ (коэффициент удаления), ШУ (шаг угломера) и пр., путались в

расплавленных на нестерпимой термезской жаре курсантских мозгах, у меня в голове сразу возникала плоскость или, при сложной стрельбе, объемная фигура, на которой вся артиллерийская премудрость быстро находила свое место.

В учебных классах за неправильную команду курсант получал «двойку» и редко за невыученный урок — наряд вне очереди. На фронте за тоже самое расплачивалась пехота своими жизнями, но об этом все впереди. В Термезе от нас страдали только узбекские огороды.

МАРШЕВЫЕ РОТЫ

В августе в училище стало известно: пришел приказ о формировании маршевых рот. «Маршевые роты» — это когда недоученных курсантов вдруг выхватывают из будничной жизни, вместо офицерских золотых вешают солдатские погоны, и ротами в полном составе, иногда вместе с командирами взводов грузят в телячьи вагоны. Такие роты, минуя разные резервные распределители, с ходу вступали в бой, затыкая собою наиболее опасные прорехи фронтов. Естественно, это почти всегда вело к большим потерям среди новоиспеченных солдат.

Как назойливые блохи, запрыгали по курсантским нарам слухи о том, что на фронт отправляют всех племетчиков и третью роту минометного батальона. В эти подразделения срочно переводили нерадивых курсантов-минометчиков. Я не был примерным курсантом и как потом узнал, лишь благодаря Деушеву остался в Таш-ПМУ, поэтому могу перейти к дальнейшему жизнеописанию будущих офицеров-минометчиков.

Не помню, то ли мы шли в крепость на обед, то ли занимались где-то неподалеку, но хорошо вижу, как широко и скрипуче распахиваются старинные окованные железом ворота крепости и оттуда длинной колонной по четыре медленно выливается серая масса пулеметчиков. Уже не беззаботных мальчишек-курсантов в выгоревшем латанном обмундировании, а чужих солдат в новых гимнастерках с полевыми солдатскими погонами без золотого курсантского канта, с тощими вещмешками, скатками, солдатскими котелками — скорые солдаты фронтовой пехоты. Они, уже не соблюдая равнения и шага, молча, без обычных песен, шли на отправку — на фронт. Было именно так.

Одного из этих солдат — Владимира Яковлевича Ильяшенко, ставшего после войны геологом Среднеазиатского института минерального сырья, — я случайно встретил в 1984 году в Ташкенте. Вот что он рассказал о дальнейшей судьбе маршевой роты.

Телячий вагоны отправились из Термеза в двадцатых числах августа, и уже в середине сентября прямо с колес вступили в бой за Днепровские плацдармы. По Днепру шел «восточный вал Гитлера». С первой попытки форсировать реку на подручных средствах назад вернулась половина, трупы остальных унесли уже холдные воды Днепра. Вторая попытка оказалась более удачной. Нашим солдатам удалось не только переправиться, но и углубиться в оборону немцев километра на полтора и продержаться там до вечера. Что было дальше, Владимир Яковлевич не знает. Его, тяжело раненого, увезли в тыл.

После ухода маршевых рот в освободившиеся казармы перевели наш минометный батальон.

ЖИЗНЬ КРЕПОСТНАЯ

Термезская крепость — суровая, в угоду амбициям сегодняшних политиков забытая страница российской истории.

Сюда, в далекую Тыму-Таракань в устье Сурхан-Дарьи, впадающей в судоходную здесь Аму-Дарью, в конце XIX века верхом на лошадях добрались русские солдаты и следовавшие по их пятам купцы. Здесь, на голом месте, чуть ли не в центре мусульманской цивилизации, они выстроили неприступную по тем временам красавицу-крепость; здесь они жили, торговали, вели мирный диалог с баями, ханами, с самим эмиром Бухарским, решая сложные вопросы совместимости магометанского и христианского вероисповеданий. Итогом этому явилось строительство в начале XX века в столице Российской империи огромной Татарской мечети, домов эмира Бухарского. В страшные для народов Средней Азии годы нашей гражданской войны крепость видела Фрунзе, в кровавый двадцать девятый год в ней стояли головорезы Буденного. Многие годы она грозно смотрела на банды басмачей, скрывавшихся на противоположном берегу Аму-Дарьи в Афганистане. В Отечественную войну крепость научила и проводила на фронт двенадцать тысяч солдат и офицеров. Их руками она несла Знамя Победы через пожары войны. 9 мая 1945 года ее питомцы расписались на стенах поверженного рейхстага. В 70-х годах около нее был построен мост через Аму-Дарью, по которому наша до зубов вооруженная стотысячная армия уходила в Афганистан и потом стыдливо бежала оттуда. Сегодня наша крепость — наша военная суровая мамка — оказалась на чужой территории.



20 июля 1987 года.

Ворота Термезской крепости. Около них обелиск с пятью фамилиями узбеков — жителей Термеза, не вернувшихся с войны. Наши усилиями в конце 80-х годов перед входом была прикреплена мемориальная доска, глашающая о том, что в войну здесь помешалось Ташкентское пулеметно-минометное училище.

ночам, уже не боясь дневальных, стайками потрошили наши тумбочки «с дарами природы». Потом крысы вдруг стали болеть и дохнуть. Не дремала наша санчасть. Но толчком к активной борьбе с крысами послужила не их массовая гибель.

Однажды вечером в казарму пришел Деушев и сказал:

ЗАВТРА ЕДЕМ РАЗГРУЖАТЬ АФГАНСКУЮ ШЕРСТЬ

Закупка шерсти у Афганистана была монополией Англии. Англичане продали нам партию шерсти, и паромом через Аму-Дарью ее надо было переправить в Союз.

В конце августа на долгих пять месяцев за нами закрылись ворота крепости — единственный легальный выход на волю, но... Длина крепостных стен по периметру около пятисот метров, высота стен чуть более десяти. Длина пары связанных курсантских обмоток — четыре метра. Дальше читатель должен сам соображать, каким образом дары узбекских огородов продолжали пополнять наши ненасытные желудки.

Занесенный в казармы сытный дух кукурузных початков, подсолнухов и узбекских лепешек не прошел незамеченным древнейшими обитателями крепости — крысами.

Сначала на крыс не обращали внимания. Наоборот, их появление оживляло нашу скучную серую жизнь. Но крысы постепенно смелели и по

Мы работали весь день. Таскали на себе тяжелые, килограммов по 50—70, огромные тюки прессованной шерсти. К вечеру шерсть была всюду. Все тело зудило и чесалось, в горле першило. Бесчисленные шерстинки проникли в карманы, за пазуху, в желудок. На следующий день «грузчики» потянулись в санитарную. Прошло какое-то время и по крепости прополз слух: крысиная чума! Всю крепость залили карболкой, устроили травлю крыс, а тех, кто грузил шерсть, переселили в отдельную казарму, каждому всадили в задницу по шприцу какой-то вонючей гадости, от которой нельзя было сесть. Крепость закрыли на замок. Целый день по казармам шныряли чужие врачи, с тревогой поглядывающие на нас.

Дня через три после «шерсти» незадолго до подъема нас подняли по тревоге и построили на плацу. Коварство этого построения состояло в том, что в наше отсутствие в казармах начался повальный обыск. Нас застали врасплох. Из-под тюфяков, из подушек, тумбочек и шинелей дневальные под зорким оком старшин выносили и складывали в общую кучу жалкий тайный скарб курсантов: кукурузные початки, обедки лепешек, разные тряпки, дынные семечки, банки, стрелянны гильзы, обрывки газет, книги. Я с тревогой ждал приговора своим учебникам. Но нашего старшины не было. На плацу запалили костер. Все молча смотрели на разноцветные языки пламени, лениво лизавшие курсантское добро. И здесь с мешком в руках появился наш старшина. Он о чем-то поговорил с Рошшей. Тот махнул рукой на костер... Геометрия, алгебра, учебник литературы за 9 класс... **В костре горели мои желания учиться. Не пройдет и двух лет, как их новая поросль подымется над пеплом этого костра, а пока что меня, как наиболее нерадивого, в назидание другим вывели из строя и в очередной раз отправили на «губу».**

— Там на фронте люди кровь проливают, а этот «ученый», виши, книжки читает, пусть теперь в яме образумится, — бросил вслед Роша. **И я покорно пошел «образумиваться».**

Октябрь — везде октябрь. Солнце поздно появляется на небе, а иногда вообще забывает это сделать. Тогда на крепость сыпится противный холодный дождь пополам с мокрыми сморщенными листьями огромных тополей. Эти деревья все лето были ночлегом бесчисленных стай воробьев, полевых скворцов, которые ни свет ни заря крикливо срывались со своих мест и так же шумно и хлопотливо вечером устраивались на ночлег. В казармах не топят, хотя печи есть везде: царские солдаты устраивались на окраинах России солидно и основательно. В такие дни нас стараются меньше выводить за крепостные стены. Но все равно осенняя сырость про-

никает внутрь казарм вместе с непросыхающими шинелями, залитыми грязью обмотками и ботинками. У курсантов начались простуды, «чиряки». Под сильным прессом военной муштры, постоянных команд, приказов, наряду с обычными болезнями появились и, как сейчас говорят, «стрессы» (психические расстройства). Такое до войны вообще встречалось редко и всегда вызывало тайную пугающую реакцию у окружающих («свихнулся», «рехнулся», «очумел» и пр.). У нас во взводе «свихнулся» Прохоров — командир третьего отделения. Началось вот с чего.

Мы построились на плацу. «Смотри, смотри!», — толкает меня сзади Лях и показывает на стоящего впереди слева Прохорова. Он как-то неестественно застыл. Глаза остекленели, и темным пятном по галифе разливается моча. Пятно опускается вниз, ползет по обмоткам... Кто-то толкает его вбок. Прохоров поворачивает голову, качается, у него трясутся руки. Потом Прохорова выводят из строя.

— Придуривается, — бросает вслед ему Король, — симулянт. Короля никто не поддерживает. Видно, что с Прохоровым «не то». Прохорова раза два возвращают из санкторы в казарму, но потом он исчезает совсем.

Так было «на воле». А на гауптвахте, один в сыром подвале, я провел две почти бессонных ночи, стуча зубами на кучке сырой плесневелой соломы. Эти ночи выбили из меня всякое желание читать книжки и вообще нарушать уставы.

Но ведь дождь шел не все время. Термез — одно из наиболее солнечных мест Союза. Приходило солнце и сразу вселяло в курсантов проклизливую жизнь. Наступившие холода требовали повышенного питания. Мы старались.

В КАРАУЛЕ НА АЭРОДРОМЕ

Там есть противопожарный стенд, на котором висит прокопченное ведро. В нем курсанты по ночам парили тыквы с соседних огородов (узбекские тыквы залеживались по канавам до глубокой осени). Некоторые варят черепах. Помню, однажды мы с Ляхом (Володьки почему-то не было) поймали черепаху, с трудом камнями разломали ей панцирь и варили: четыре лапки, шейка и хвостик — больше у нее ничего не было. Черепашье мясо нам показалось твердым и совсем невкусным.

Не всегда шло гладко.

В классе, где мы тренировались в артиллерийской стрельбе, в центре стоял макет полигона, изображающий в масштабе реальную ситуацию: дороги, лес, деревни... На перекресках дорог — кучи камней. Вместо валунов авторы макета использовали бобы. Однажды я

задержался в классе и попробовал один «камень». Он оказался вкусным. Тогда я собрал с полигона все «камни» и съел их. Желудок среагировал быстро и бурно — бобы оказались касторовыми!

Часов ни у кого не было. Вообще, ручные часы у советских людей только-только стали появляться перед войной и считались роскошью. На постах мы стояли по два часа «на глазок». Днем почти везде были сделаны солнечные часы, а ночью изобретали кто что мог. Часто полагались на Большую Медведицу. Конец ручки ее ковша за ночь очерчивает большой полукруг, который легко измеряется в артиллерийских делениях с помощью той же ладони. Если не ошибаюсь, отстоять надо было «три ладони». Одна ладонь — 160 малых артиллерийских делений.

Ноябрь, потом декабрь... В начале месяца прошли дожди и резко, как обычно в Средней Азии, похолодало. Начались холодные промозглые ночи. Иногда по утрам на землю ложился иней. Тогда нам разрешали одевать «шинель в рукава», но все бесконечные марш-броски, кроссы — «шинель в скатку».

В казармах по-прежнему не топили, и от печей несло гробовым вонючим холодом (вероятно, в дымоходах гнили дохлые крысы). По ночам под пикейными одеялами мы замерзали. С вечера пытались, обманув старшину, залезть в постель не раздеваясь. Если из взвода или роты кто-либо уходил в наряд, их одеяла разбирали соседи. На койках сначала оставались одни соломенные матрасы, но и они потом шли в ход. Матрасы мы наваливали на себя и привязывали к кроватям, чтобы не свалились ночью.

Однажды этот опыт мне пригодился на войне.

В конце ноября уже следующего, 1944-го года в Венгрии нас двоих с командиром стрелковой роты вызвали в политотдел штаба дивизии, чтобы вручить партийные билеты. Это километров за десять от передовой. К вечеру мы шли обратно. По дороге стемнело. Мы вошли в небольшое село. Пусто. На улице никого. На всякий случай вынули пистолеты. Я предложил здесь переночевать: неровен час, попадем к немцам. Все окна темные, лишь кое-где за плотными занавесками видны огоньки. Венгры — сыновья, мужья сидящих в домах людей — воюют против нас. Это наши враги. Мы подошли к ближайшему дому. Постучались. Тихо, но свет не гаснет. Постучались сильнее. За дверью зашевелились. Мы взвели курки. После третьего стука дверь приоткрылась и оттуда выглянуло испуганное лицо старухи. Я стоял впереди:

— Открывай! Шляфен будем. Немтудом? Тудом?

Как видит читатель, фраза построена правильно, с богатым иностранным акцентом, который очень ценился на захваченных (то есть освобожденных) территориях Венгрии, Австрии и других стран. Мы вошли в дом. Кроме старухи, никого. Сама она сидела в небольшой, хорошо натопленной комнате с керосиновой лампой. Мы прошли на другую совсем холодную половину. Там стояли две кровати и высокая чугунная буржуяка. Старуха довольно быстро приготовила нам кровати, затопила печку, поставила на стол молоко, яйца и ушла.

С утра мы не ели, поэтому, забыв обо всем, стали уничтожать съедобное. За это время погасла печка. Погас и свет у старухи, но в окно ярко светила луна. Я сунул пистолет под подушку, и... на кровати не оказалось одеяла. Одно лишь пикейное покрывало висело на ее спинке. Напарник пошел к старухе за спичками, чтобы затопить печь (ни он, ни я не курили). Сначала его долго не было. Потом за дверью послышались крики, плач. Я собрался идти, как вбегает напарник:

— Старуха сумасшедшая.

— А что?

— Да пойди, посмотри.

Я пошел. Она сидела в углу. Мой приход как будто добавил ей отчаянной отваги. Она ухватилась за стул и снова стала кричать. Я пытался ее убедить, что нам нужны только спички, чтобы разжечь печку, потому что холодно. При слове «спички» она упала на колени и плача, с явной мольбой поползла ко мне. Я выскочил в коридор.

— Да пошли ты ее подальше, и давай спать, — сказал мой напарник, и я послушался.

Часа через полтора я проснулся от холода. Ноги вылезли из-под шинели и закоченели. Все тело дрожало. До утра было еще далеко. Я одел кирзовые сапоги, отстегнул хлястик шинели (на передовой у офицеров были солдатские шинели), набросил покрывало и пытался согреться. Не получилось. Вот тогда и вспомнил Термез. Матрацев на старухиной кровати оказалось два, и верхний на удивление был легким и пушистым. Он как грелка обволок меня. Минут через десять я уже снял сапоги, отбросил шинель и высунул наружу нос. Было жарко: так я познакомился с настоящей периной, о которой не ведал даже понаслышке. Чуть забрезжил рассвет — мы ушли, не вспомнив о сумасшедшей старухе. Уже потом я сообразил, в чем было дело. Слово «спички» на западно-славянских языкахозвучно с названием женского полового органа (кажется, «пичка»). Старуха, ей было уже наверное лет 40, решила, что мы

хотим ее изнасиловать (о том dennio и noщно твердила немецкая пропаганда). Насиловать старуху! Откровенно говоря, нам такое даже не могло прийти в голову!

Кажется, меня снова заносит в сторону. Ведь до фронта еще далеко. Крепостные стены Термеза высоки, а хозвзводовские солдаты — люты. У одного курсанта (он шастал по бабам) при спуске с крепостной стены лопнула обмотка и он упал на камни, сломав ногу. Начальство выставило дополнительные посты вокруг крепости. Все делалось против нас... но!

31 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА. УТРО

В училище объявлена первая боевая тревога. Ворота на запоре. Вокруг дежурит вся хозрота. Команда: идем на боевое задание. Карабины, боевые патроны, НЗ, противогазов не брать. Боевой приказ:

«Большая группа басмачей проникла из Афганистана. В пограничном поселке они вырезали советскую власть, угнали скот, но обратно еще не ушли. Задача училища: закрыть все проходы к переправам через Аму-Дарью, не дать бандитам уйти назад.»

Одна за одной с интервалами 15—20 минут в крепость въезжают машины-фургоны, грузят курсантов и незаметно разъезжаются в разные стороны. Никто в городе не должен этого знать. Наш взвод вместе с Деушевым выезжает одним из последних. Мы не знаем, куда нас везут.

Поскольку ехали мы долго в полном неведении, у меня есть время немного рассказать вообще об узбеках того времени, естественно, в моем субъективном восприятии.

Долина Аму-Дарьи около Термеза довольно широкая — километров шесть, и почти вся принадлежит нам. Левый афганский берег крутой. Там горы вплотную подошли к реке. В горах таятся басмачи — сказочные «разбойники» из далекого детства. Сейчас эти разбойники входили в мою жизнь реальными образами отцов, мужей и детей окружавшего нас взрослого населения.

Ведь что такое 1943 год?

Прошло всего 20 лет советской власти и чуть больше десятка лет после рейда Буденного, конники которого в 1929 году по пути следования жгли среднеазиатские аулы, уничтожая все живое, вплоть до кошек и собак. Еще содрогались по этим аулам свидетели погромов, еще скрывались за дувалами живые басмачи, готовые вернуться к своим прежним занятиям. Все было живо.

Более того, в народе еще хранилась память о всей экспансии русского имперализма на юг в богатые северные предгорья Тянь-

Шаня — крупнейшего центра мусульманской религии, где находилась значительная часть святых реликвий мусульман — мечети и медресе Самарканда, Коканда, Хивы, Бухары... Русские цари не решались так кроваво и беспощадно включать в империю мусульманские земли, как это сделала Советская власть. Хивинское и Кокандское ханства, Бухарский эмират и другие вассалы русского императора еще долго жили по своим патриархальным законам, чуждым России. Советская же власть взялась не просто огнем и мечом выжечь эти законы, но и залезть в души чуждых нам по духу людей.

И вот на узбеков, еще только-только отходивших от шока «советизации», вдруг, как снег на голову, обрушилась тяжелейшая из всех войн — война чужая и непонятная.

В царскую армию узбеков не брали. В наше же время их сгнояли в вагоны и увозили в далекую голодную и ледянную Россию, откуда мало кто возвращался. На фронт попадали немногие. В основном же из «нацменов» создавались стройбаты (строительные батальоны). Где и как они работали, где и как умирали, я не знаю, так как видел среднеазиатские составы только в тупиках железнодорожных станций. Для нацменов там был сущий ад. Вырванные из привычной медлительной жизни, окруженные толпой бесцеремонных зевак, они, в пестрых ватных халатах, поначалу кажутся беспомощными. Но вокруг идет смертельная борьба за жизнь. Надо переступить строгие законы Корана. На это решался не каждый. Нацмены меняли полагавшееся им «поганое» сало на хлеб, чай, либо глотали его втайне от своих сородичей, проклиная русский конвой и солдат, которые не прочь были «подшутить», хрюкнув за спиной или бросив в похлебку кусочек сала. Говорят, что нацмены гибли массами, не знаю. Я видел другое: вокруг Термеза и вдоль всей границы с Афганистаном пограничные заставы вылавливали беглых дезертиров-узбеков, которые прятались в горах, камышах и поселках, часто пополняя отряды басмачей...

Вернемся в Термез. Наша машина, идущая на борьбу с басмачами, наконец вскарабкалась на перевал, постепенно спустилась вниз и остановилась чуть в стороне от дороги. Мы вылезли. Кругом сосредоточенно ходили офицеры, распределяя повзводно места охраны. Нашей роте достался большой овраг, круто спускающийся в долину Аму-Дарьи. Роша с командирами взводов несколько раз прошел всю линию охраны (обороны), отмечая, где нам надо копать окопы и дежурить всю ночь.

Мы без дела толпимся около машин и ждем. Машина с шанцевым инструментом где-то застряла. Офицеры нервничают. Кто-то

из соседнего взвода бегал «оправиться» в соседний распадок и принес оттуда миндаль. Меня это заинтересовало. Я сказал Володьке и исчез. Как назло, стоило мне уйти, прибежал запыхавшийся Роша и повел всех наверх. Володька остался ждать меня.

Нашему четвертому отделению достался участок уже ближе к дну оврага, и, поскольку меня не было, на последнюю точку поставили двух курсантов из взвода Сексота (прозвище командира соседнего взвода). Когда я вернулся, мы заняли место уже на другом берегу среди курсантов его взвода.

Начало смеркаться. Земля оказалась мягкой. Мы быстро выкопали неглубокий окоп на двоих. Впереди целая ночь. Подстелив старой травы, Володька свернулся калачиком на дне окопа, а я, зарядив карабин боевым патроном, встал «на часы». Постепенно спало дневное напряжение, и на смену ему шел естественный для детей всего мира сон... Но мне не спится. Я первый раз на настоящем боевом посту. Я начинаю представлять, как басмач появится вон из-за того куста, из-за того... «Кых-кых!», — это я стреляю про себя. Мне совсем не страшно и очень хочется басмача, живого и настоящего. Вообще все вокруг напоминает детскую игру в Чапаева. Потом игра наскучивает. Луны нет, но огромное среднеазиатское небо полно звезд. Оно наверное специально создано, чтобы заставить людей созерцать, ощущая при этом свое ничтожество в бесконечном мироздании.

Ночь холодная. Я жмусь к земле, нагретой за день и медленно отдающей тепло небу. Где-то позади Аму-Дарья, за ней Афганистан. Впереди горизонт упирается в волнистую гряду, которая ночью кажется цепью высоченных гор. Прямо над хребтом чуть мерцает Полярная звезда...

Посмотришь на небо — высокое, высокое,
С тоской найдешь на горизонте яркую звезду,
Там, где-то в стороне, далекое-далекое
Родное что-то спрятано во тьму.

И там над шпилями соборов
Сияют звезды, плещется луна,
Но только высоко, в зените небосвода
Горит Полярная звезда!...

Середина новогодней ночи. Тихо. Все живое исчезло с холодных и голых склонов каменистых холмов. Лишь под ногами беззаботно посапывает единственное живое существо — Володька. Ему жить еще целый год — бурный год фронтовых побед.

Ручка ковша Большой Медведицы давно скрылась за горизонт и высоко в небе поднялась Кассиопея. Над Афганистаном искрятся Стожары, посылая на землю мигающий серебристый свет. По другую сторону оврага, где позиции занимает наш взвод, ни звука. Все спит. Потом сзади из-за гребня Афганских гор начинает ползти туча. Ее не видно. Только одна за другой гаснут звезды, будто кто-то их тушит. Постепенно звездный свет меркнет, все вокруг окутывает темнота. Наверное, надо будить Володьку, мои два часа прошли.

Володька поднимается как-то сразу и безропотно. Сосредоточенно и серьезно осматривает карабин, а я пытаюсь скрючиться на дне окопа, чтобы втиснуться в его теплое место... сон....

— Борька, Борька, Труба! — Володька больно тычет меня каблуком под ребра, — там внизу кто-то ходит!

— Да кто там может ходить? С чего ты взял?

— Птицы полетели оттуда.

— Какие птицы? Тебе кажется. — Это я говорю уже совсем не уверенно.

— Нет, не кажется. Может, начальство проверяет.

Я приподнимаюсь. Холодно. Со сна все тело мелко дрожит. На земле иней. Хочется размяться, побегать, но Володькина тревога передается мне. Сидеть надо тихо, не выдавая себя никакими звуками. Мы молча смотрим вокруг, крепко сжимая карабины. Потом Володька вдруг кричит:

— Стой! Кто идет? Стрелять буду!

— Эй, курсант, что разорался?! — это голос Сексота откуда-то с горы. Володька замолкает. Время тянется страшно медленно. Вместо долгожданного рассвета с неба начинает сыпать не то снег, не то дождь. Мы жмемся друг к другу. Наконец, на востоке отчетливо обозначается кромка холмов — светает. Я безнадежно стараюсь уgnездиться на дне окопчика, согреться, чтобы как-то остановить противную мерзкую дрожь, вроде забываюсь. Володька снова пинает меня каблуком. На том берегу шум, крики. Туда бегут офицеры, потом собираются солдаты. Володька посыпает меня туда. Я иду. На бруствере окопа лежат два трупа — два курсанта.

Оказывается, басмачи, бросив захваченных колхозных барапов, прошли по левому склону оврага, по ходу прирезав обоих курсантов, то ли уснувших, то ли не успевших открыть огонь. Это позор училищу.

Нам обидно, и Володька зол. Ведь из-за меня мы не оказались в том окопе. Каждому из нас хотелось бы побывать на месте тех двоих (но, естественно, в другом качестве). Мне кажется, пред-

ложи добровольцам занять этот окоп, по крайней мере, половина нашего взвода, не задумываясь, сделала бы шаг вперед. Эти шаги, каждый по-своему, мы будем делать потом, а пока что основной позор ложится на командира второго взвода — Сексота. Ему будет офицерский суд чести и штрафбат. Командира роты (нашего Рошу Пистолетную) понизят в должности и он вскоре куда-то исчезнет. Мы отделяемся приказом и легким испугом. С тех двух «взятки гладки», их не накажешь!

С этой ночи пошел новый 1944 год.

Весь январь мы сдаем экзамены. К февралю обещанные нам двойки остались у преподавателей, и мы оказались успевающими, почти офицерами. Нам выдали зимнее обмундирование: ватные брюки, зимние шапки, теплые байковые портянки и толстые суконные обмотки. Казалось, нас собирают в поход на Северный полюс.

Но время тянулось. **Февраль в Термезе — весна.** Ярко светит уже совсем летнее солнце. Земля, набухшая зимними дождями, буйно зеленеет. Вовсю идет сев богарной пшеницы. Мы повзводно выходим за ворота крепости, рассаживаемся где-нибудь около арыка, и Деушев ставит перед нами навязшую в зубах «боевую задачу».

Тени нет. Мы преем в ватных брюках. Из-под зимних шапок капает пот. Никому не интересно, и каждый с тихой надеждой поглядывает на солнце, которое, как нарочно, еле-еле ползет по небу, залезая все выше и выше.

От подъема до отбоя мы живем слухами: «приказ подписан», «приказ уже в штабе училища». Бездесущие писари и прочие шестерки знают «куда места». Но, приходит новый день, и мы по-прежнему уныло плетемся на осточертевшие занятия. «Места» у писарей меняются в зависимости от положения на фронтах, а там...

После летнего Орловско-Курского разгрома немцам уже не оправиться. Близится их агония. Сотни тысяч советских людей все еще гибнут от немецких разномастных карателей. Это только раздувает огонь ненависти, ожесточает накал борьбы. Набирает силы партизанская война, ощутимее становятся действия подпольщиков, ширятся ряды югославской армии Тито, с которой я потом встречусь, и, наконец, самое главное — растут удары нашей армии. Наступает последний год войны.

1944 год, как в наше время говорили, был годом «10-ти сокрушительных сталинских ударов».

Первый удар начался 14 января под Ленинградом.

Я жадно глотаю каждую газетную строчку, а в них одно за другим появляются с детства знакомые названия: взята Ропша — туда отец возил меня на автобусе смотреть золотых рыбок в прудах царского дворца Петра III. Немцы выбиты из Дудергофа — я еще паняненком лазал по его трем Вороным горам, поросшим огромными соснами. Тайцы, Пудость, где на вершине старой березы вырезано имя моей первой «дамы сердца». Мариенбург... Гатчина! Как там?.. Что там?..

Еще не кончились бои под Ленинградом, на страницах газет замелькал «Второй Сталинград» — Корсунь-Шевченковский котел. Левитан не успевал перечислять взятые нашими войсками населенные пункты. Это становилось также обычно, как сейчас сообщения о полетах в космос.

А как же мы? Хватит ли нам?

— Не беспокойтесь, хватит.

И НАМ ХВАТИЛО С ЛИХВОЙ!

В середине февраля, наконец, пришел приказ. Мы, счастливые и радостные, примеряли свои полевые офицерские погоны с одной маленькой-маленькой, но такой приветливой и дорогой звездочкой. Из расплющенных гильз артиллерийских снарядов, винтовочных патронов, кто как мог мастерил большие со звездой бляхи на ремни, вытачивал артиллерийские эмблемы на погоны (пехотные минометчики не имели права их носить, так как минометные роты входили в состав пехотных батальонов, но кому хотелось быть пехотой?). Мы форсили друг перед другом. Теперь уже нас нельзя было посадить на гауптвахту. Офицерское наказание — домашний арест. Что это такое, я расскажу, когда получу (ждать недолго), а сейчас нам читает стихи Марина Цветаева:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.

О, как мне кажется, могли вы
Рукою, полную перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней!

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждали трое!
Лишь мертвый не вставал с земли!
Вы были дети и герои,
Вы все могли!

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие!

Прочти эти строчки оставшимся в живых моим курсантским друзьям, и не одна слеза выбьется если не из глаз, так из души.

НУ, И РАЗ Я УЖЕ ЗАГОВОРИЛ О СЛЕЗАХ...

Непривычная еще нам команда:
— Товарищи офицеры, на построение!

Наш старый-престарый плац, истоптанный солдатами многих поколений еще со времен царя Гороха. На плацу — трибуна. На

трибуне — полковник. Перед ним молодцевато подтянутые ровные квадраты офицерских рот. Это мы — боевые офицеры Советской Армии.

— Товарищи офицеры, — неестественно и натуженно звучит как-будто чужой голос полковника, — страна вручает вам жизни солдат... Вы должны повести их на смертный бой с проклятым фашизмом...

— Зачем мне этот старик? У нас впереди своя жизнь. Мы — офицеры!

Но что-то произошло на плацу. Искажились губы старого полковника, он начал глотать слова...

— Вам надо забыть о своей юности... стать взрослыми.

Кругом какое-то настороженное молчание, и его слова одно за другим проникают куда-то в глубь наших сердец, чтобы врезаться на всю жизнь.

Родина ждет от вас...!

Бейте извергов!

Чтобы никого из них не осталось в живых!

Я вижу, как огромные слезы катятся по его уже дряблому лицу. И мне как-то не по себе.

Что думал тогда полковник? Может быть, он видел перед собой озорных мальчишек — сверстников своего только что убитого на фронте сына? Мальчишек, которых он сейчас благославляет на смерть (по крайней мере, половину) во имя нашей Победы? Он как будто кончил говорить, но никто не расходится. Мы в нерешительности топчемся на плацу. Наши командиры тоже. Наконец, скомканно раздается команда:

— Товарищи офицеры, разойдись!

И мы расходимся по-особому притихшие.

Слезы полковника никого не оставили безучастными. Каждый по-своему расстается с беззаботным курсантским житьем и самостоятельно вступает в другую жизнь.

Рассеянно и стыдливо — как взрослые дети со своими родителями — мы прощаемся с нашими няньками — офицерами и старшинами. Они стоят отдельными кучками и смотрят нам вслед. У ворот толпится хозрота. Они тоже потеплели — ведь все мы люди. А кому, как не им, знать, куда нас посылают!

Вокруг все как будто буднично и серо, но терпкий дух нашей недавней близости, скрепленной общими тяжелыми походами, кроссами, ночными тревогами и всей нелегкой курсантской жизнью, плотно окутал крепость. И она сейчас — вся такая родная и домашняя — провожает своих питомцев на войну: **БЕЙТЕ ПРОКЛЯТЫХ НЕМЦЕВ!**

И только где-то в ее закоулках по нам плачут добрые тети Фани: «Мальчики, постарайтесь вернуться назад». Этих слез мы не слышим.

— Выходи строиться!

Когда мы переходили из крепости в городские казармы 15-го ОПРОСа (Особый полк резерва офицерского состава), то в наших вещмешках уже что-то было. К тому времени нам выдали по полотенцу, запасной паре белья и еще что-то, что мы будем менять у местного населения по дороге на фронт.

ОПРОС-15

Мы в ОПРОСе. Здесь уже нет нянек. Лениво вразвалочку разбредаемся по только что освободившимся казармам, каждый выбирает себе место. Все тут временные, пересыльные. Завтра—послезавтра мы получим направление на фронт, и он перестанет быть для нас газетой, политинформацией, громкоговорителем, за которыми все вокруг жадно следят. Упорные бои завязывались на южных направлениях. Перешли в наступление I, II и III Украинские фронты. Немцы отступают с правобережной «самостийной» Украины. Наши с ходу форсировали Буг и в самую распутицу гоняли фашистов по непролазной черноземной грязи.

Был бы Васька, он бы знал, где что. Среди нас нет хохлов с Украины. Они там — в мазанках и хатах: кто ждет нас, а кто дрожит перед приходом «руських».

Расположение нашей новой части хотя и было обнесено высокой колючей проволокой, но на воротах стояли мы сами («сегодня ты меня выпустишь, завтра я тебя»). Выйти на свободу нетрудно. Главное, не попасться на глаза военным патрулям.

15-й ОПРОС был «проходной казармой» и пополнялся, главным образом, выздоравливающими офицерами из расположенных в городе госпиталей и выпускниками военных училищ. Дисциплина в полку поддерживалась с большим трудом. Бывшие фронтовики — младшие офицеры с еще не совсем зажившими ранами смотрели на тыловое начальство полка с отчужденным презрением. Практически единственным действенным наказанием была внеочередная отправка на фронт. Но не все этого побаивались. Полуголодное тоскливо прозябание в тылу, когда твои сверстники и недавние друзья воюют ТАМ, накладывало на людей отпечаток ущербности. Мне кажется, мало кто стремился оставаться здесь (а может быть, я и не прав?). Мы — салажата, недавние курсанты не смешивались с фронтовыми офицерами, ходили отдельно, с

завистью поглядывая на ордена, медали и нашивки о ранениях. Бывший курсантский клан в ОПРОСе жил своей жизнью.

Несмотря на офицерское звание, нас продолжали посыпать в караул. Правда, объекты охраны поменялись. Мы несли караульную службу внутри расположения части: у продовольственных, вещевых складов, у оружейного парка и еще где-то. Мне хорошо запомнился большой, похожий на ангар склад, где засыпанная речным песком, хранилась морковка. Склад закрывался на большой контрольный замок (от охранявших его офицеров), и воровать морковку было сложно. Но зачем нас год учили преодолевать трудности?!

Разводящий ведет наряд. Я принимаю пост у Зайцева. Разводящий проверяет наличие контрольной бумажки, сверяет подписи. «Пост сдан!» — «Пост принят!». И караул уходит...

Будто из-под земли появляется Володька. Оказывается, у наглоухо закрытого склада под самым потолком есть дырка — не закрытое на ночь вентиляционное отверстие. Я «бдительно» несу службу, а за спиной Жорка помогает Володьке пролезть в эту дырку. Проходит еще немного времени и из-под крыши одна за другой летят первые морковки.

— Стой, кто идет! — ору я как резаный, вскидываю карабин и клацкаю затвором.

— Разводящий с командиром роты!

— Разводящий ко мне, остальные на месте!

Жорка от моего крика прыскает в кусты. Мы знаем, что если нас «зашухерят», то это грозит разжалованием в рядовые и, может быть, штрафбатом.

— Проверь замки! — командует комроты. Все на месте. Нач-прод-капитан прикладывает ухо — слушает, нет ли кого внутри. Потом обходит вокруг склада. На минуту его взгляд задерживается на открытом вентиляционном отверстии, но среди ночи оно кажется таким маленьким и далеким, что даже мне, видевшему, как туда пролез Володька, трудно в это поверить.

— А ну, открой дверь! — командует начпрод. Я не могу — нет ключа. Комроты с начпродом посыпают разводящего за ключом, а сами отходят к соседнему овощехранилищу. Но там «все в ажуре»: они слышали мой истошный крик.

— Володька, давай!

Володька, как ящерица, изнутри скользит по железной стенке и исчезает в кустах. Приносят ключи...

Потом, оставшись один, я брошу под вентиляционным отверстием и при лунном свете собираю разбросанные морковки. Они крепкие и сладкие...

Занятий у нас нет. То есть занятия идут, но ни зачетов, ни экзаменов не будет, и мы овладеваем искусством спать сидя и с открытыми глазами (оказывается и так можно!).

Начался март. Это уже совсем лето. Все расцветает и трепетно радуется жизни. Ей отведено всего один-два месяца. Надо зачать, отвести, дать потомство и замереть на долгие жаркое лето и холодную зиму. Идут черепашьи бои, змеиные свадьбы, в пойменных лужах и арыках все ночи напролет сочно и бесстыдно орут лягушки. Мы тоже хотим... чего-то...

Иногда нам все-таки давали увольнительные и мы уходили в город, разбиваясь на группки и пары. Мы с Володькой чаще просто бродили по Термезу, стыдливо косясь на встречных девчонок.

4 марта 1944 года. Мне уже девятнадцать. Вечером с Володькой мы пошли в город в чайхану. По дороге купили пару узбекских лепешек. Взяли два чайника жидкого и без того бесцветного кокчая, сели на старый-престарый затертый ковер и говорили, говорили... Точнее, говорил Володька. А может быть я запомнил только его рассказы. Мне ведь рассказывать было нечего. Это сейчас официальная печать превратила блокадников-ленинградцев в героев, а тогда нас только жалели. Ведь герой — это тот, кто сознательно жертвует собою: Данко — герой! А у нас не спрашивали, хотим ли мы умирать, как не спрашивают баранов, хотят ли они идти на жертвенный алтарь. Мы были жертвами — роль совсем незавидная и негеройская. Я стыдился блокадной жизни, да и всей последующей борьбы за свое существование — тоже совсем не геройской и не романтичной.

Володька ничего не скрывал. У него была младшая сестренка — Галка. Галкины письма Володька читал мне по многу раз, пока не выучивал наизусть. Я знал, что Галка с мамой вернулись в Калининград, потом Галка объявила, что самостоятельно ездила в Москву в баню («Подумай только, сама поехала!»). Отец Володьки был военным инженером. Была у Володьки девчонка, с которой он познакомился в пионерлагере, а потом целовался...

У меня не было девчонки, я не ездил в пионерлагерь, зато было огромное будущее, в которое я безгранично верил.

Но в тот вечер мы говорили о другом.

Накануне в полк пришла очередная разнарядка — готовился эшелон на III Украинский фронт. Из нашего выпуска в полном составе шла первая рота. Бывалые офицеры в один голос говорили про эшелон:

— Эти все ваньками-взводными поедут!

Как я уже говорил, из нас готовили командиров широкого профиля: от стрелкового взвода до взвода артиллерийской разведки среднего калибра (76 мм и даже 88 мм). Естественно, все мы меч-

тали попасть в артиллерию. Как сейчас бы сказали — это престижно. Ведь почти у каждого из нас на погонах красовались эмблемы артиллеристов (правда, кант на погонах оставался малиновым — пехотным, а эмблемы — вырезаны из консервных банок, но кому какое дело — мы артиллерия!).

Кроме местных узбеков и нас, в чайхане сидели и другие офицеры ОПРОСа. Вечерело. Мы давно просрочили дозволенное увольнение, но на воротах в тот день стояли наши, можно было не торопиться... И как всегда... в чайхану влетает взмыленный патрульный офицер:

— 15 ОПРОС — тревога!

Мы бросились на выход. До казарм было недалеко. Уже издали чувствовалось недобро: вокруг входных ворот плотной цепью стояли командиры ОПРОСа и скрупулезно проверяли увольнительные подбегавших со всех сторон офицеров — проверка!

Как Володька сумел прошмыгнуть через двойной заслон командиров — не знаю, но я «влип».

— Трое суток домашнего ареста, а пока что — в строй!

Нам зачитывается очередной приказ. Оказывается, офицеры-фронтовики на прощание решили устроить, как сейчас говорят, «отвальную». Для этого «предприимчивые и находчивые» поймали курдючного барана и отрезали у него курдюк. Бедный баран сдох, а зачинщиков разжаловали в рядовые с отправкой в штрафной батальон. История сама по себе была бы ординарной, если бы не коснулась меня.

Трое суток домашнего ареста — очень прозаично: кормят одинаково со всеми, просто не дают увольнительной и все вечера ты коротаешь в одиночестве, уныло поджиная своих «корешей», побывавших в кино или на танцах.

Осужденные офицеры выбыли из списков эшелона. Начальство рассудило мудро: заменить их разгильдяями, сидящими на домашнем аресте, то есть мною и мне подобными.

Я был включен в список отправляемых на фронт, и уже через неделю буднично рас прощался с друзьями. Так непутево, а как потом окажется, удачно, кончалась моя тыловая жизнь. Моя «сорочка» мудро и расторопно заботилась о своем подопечном.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не возвращайся в места своей юности! Но, «если нельзя, а очень хочется, то — можно».

Летом 1987 года в самое пекло второй половины июля, а точнее, в воскресенье 20-го, Горно-Бадахшанская геологическая партия на ГАЗ-66 спустилась с Гиссарских гор и въехала в Термез.

Я смотрю по сторонам — ничего знакомого! Асфальтированные улицы настоящи на бензиновом перегаре, забиты гражданскими и военными машинами. По обе стороны тянутся облупленные «хрущобы», неряшлиевые «стекляшки»-магазины. Грязь. Пыль. Липкая жара.

— Какая крепость? Вокруг Термеза никаких крепостей нет! — сходу ошарашил меня джинсовый акселерат-узбек. Я спрашиваю — мне отвечают: «Не знаю... Не слышал... Нездешний...»

— Как же так? В 3—4-х километрах от города в войну была царская крепость!

Солдат спрашивать бесполезно: они все временные — приезжие. Совсем рядом на том берегу Аму-Дарьи, куда уходят высокие фермы нового бетонного моста, идет война. Война позорная. За имперские амбиции генералов времен «застоя» бездарно воюет наша 100-тысячная армия. Вон в тех горах сейчас душманы («духи») убивают наших парней...

Но где же крепость? Да вот она! Почти в центре города! Перед ней сквер. В сквере страдают от сухой среднеазиатской жары помпезные кедры и широколиственные платаны, будто по чьей-то злой воле перенесенные сюда с морских побережий. Сквозь деревья желтеет аляповато отреставрированная (руки-ноги переломать бы этому реставратору!) парадная стена крепости. Вместо массивных и скрипучих дубовых ворот, на колесиках-роликах подвешена модерновая жестянка. Над ней — ни к селу, ни к городу — свешиваются два газосветных фонаря. Чуть в стороне — стандартный обелиск. На обелиске золотом выбиты пять узбекских фамилий — жителей Термеза, погибших на фронте. А где же мы? Где тысячи моих однокашников, убитых и покалеченных курсантов ТашПМУ?!

Около ворот томился воскресный наряд — мальчишки в среднеазиатских военных панамах. По крепости меня сопровождает солдат. Все чужое. Старые огромные тополя вырублены. Заселявшие их птицы загублены пестицидами и дефолиантами на соседних хлопковых полях. Вдоль аккуратных асфальтированных дорожек высажены «хвостики» платанов и кедров... Крепость обесчестили! Как турки византийскую Святую Софию. Ничто не напоминает те суровые времена, когда крепость гордо возвышалась над желто-зелеными полями кукурузы, разграниченными арыками и посадками шелковицы.

По возвращении в Ташкент мы с В. Я. Ильяшенко пошли в музей Туркестанского военного округа, создали при нем инициативную группу, которая добилась установки мемориальной доски, напоми-

нающей о находившемся в крепости Ташкентском пулеметно-минометном училище, начала искать разбросанных по всему бывшему СССР курсантов, надеясь собрать их в стенах нашей Alma Mater.

На запросы из музея в Ташкент вскоре стали поступать ответы. К 90-му году их пришло более сотни. На мой ленинградский адрес я получил семь писем. В них «ни убавить, ни прибавить» (орфография сохранена):

«**Я Божко Валерий Петрович**, по окочании училища в г. Термез был направлен в апреле 1943 г. на Северо-Кавказский фронт на должность командира минометного взвода, а 20 июня 1943 г. я был тяжело ранен в голову, живот и ногу. После чего более полгода находился на излечении по госпиталям, а затем в январе 1944 г. был комиссован и уволен в запас по инвалидности».

«**Я, Бучельников Виктор Егорович**, 1924 г. рождения был призван в Красную Армию в 1943 г. по прибытию в Алма-Ату был направлен в Ташкентское ПМУ и с 1сентября начал учебу в пулеметной роте в Термезской крепости. 7 ноября 1944 г. состоялся выпуск курсантов и в звании мл. лейтенанта меня направили на 1-ый Белорусский фронт, где в составе 151 гв сп, 52 гв сд, 3 ударной армии в качестве командира пулеметного взвода я прошел с боями от Варшавы до логова фашизма Берлина, и под Берлином получил ранение в правую ногу...»

«**Я, Важенин Борис Васильевич**, окончил училище в г. Термез. В звании мл. лейтенанта в марте 1944 года с товарищами направлен на фронт командиром минометного взвода. Был тяжело ранен. Затем демобилизован в запас».

«**Я, Ильяшенко Владимир Яковлевич**, 1925 года рождения, в 1943 г. был в пулеметной роте ТашПМУ в Термезе. В августе 1943 г. нас маршевыми ротами отправили рядовыми пулеметчиками на Днепр. Живых осталось мало, но мы захватили плацдарм. Там меня тяжело ранило...»

«**Я, Кухаренко Иван Петрович**, рож. 1925 г. В феврале 1943 г. нас из Северного Казахстана привезли в Чирчик в Ташкентское пулеметно-минометное училище, а потом в Термез в крепость. В июле нас одели с иголочки и маршевыми ротами на фронт. Привезли в Воронежскую область, оттуда через Харьков и Полтаву на Днепр, где 27 сентября ночью в 19—15 км от Кременчуга форсировали реку. Там очень много осталось наших курсантов. 29 сентября 1943 года я был тяжело ранен в грудь. Пробило легкие, правую руку. Потом в течение года госпиталя: Кобыляни, Челябинск и другие.»

«**Я, Лизун Виталий Дементьевич**, рожд. 1925 г., учился в Ташкентском стрелково-минометном училище в Термезской кре-

пости, а когда началась Курская дуга, нас послали на фронт. В армии был стрелком. Ранен в августе 1943 г.»

После раз渲ла СССР связи с музеем прервались, но я продолжал искать ближайших «однокашников» — курсантов 4-го отделения.

ВОТ ИХ СУДЬБЫ

Мой друг Володька Набатов

Набатов Владимир Васильевич, рожд. 1925 г., окончил Таш-ПМУ в феврале 1944 г. с присвоением звания младший лейтенант. В июне 1944 года прибыл на II Белорусский фронт на должность командира стрелкового взвода. В июле 1944 года был ранен. После выздоровления вновь направлен на фронт, командовал стрелковой ротой. Погиб при форсировании Одера 26 апреля 1945 года.

Отец, мать и сестренка жили в «закрытом» Калининграде Московской области. Там на плите памятника погибшим в войну выбита его фамилия. В 1989—1991 гг. я несколько раз навещал их.

Последнее письмо Володьки домой. Я держу его в руках (орфография сохранена):

«Московская обл. Калининград. Пр. Ударника, д. 1, кв. 15 Набатовой Анне Михайловне. Полевая почта 49865-К, Набатову В. В. Просмотрено военной цензурой. Штемпель 13445 полевой почты Калининграда.

23.4.45.

Здравствуй мама!

Самое главное не тревожься жив и здоров и выгляжу мужественно и солидно. Нахожусь сейчас далеко далеко от вас даже к Берлину ближе гораздо чем к вам. Стоим на большой немецкой реке мы по эту сторону, а «он» по ту сторону и на островках. Жизнь по сравнению с наступлением гораздо спокойнее но спокойствие это гораздо неспокойнее для невоенных людей. Вам наверное это было бы даже страшновато ну а нам военище «ещеб чутъ-чутъ и в самый раз». Теперь уже командую не только бойцами но и офицерами. Так что работенки хватает. От вас писем не получал давно. Даже не знаю как вы там живете. И что у вас там новенького. Ну что вам еще про себя писать. Больше пожалуй и нечего. Ну животом не болю. Связной Ковалычук достал сала и сидят с ординарцем жарят картошку. Я сижу за самодельным столиком и пишу письмо. А папе пишите что письма мол он пишет и пока жив здоров и в тыл слава богу не просится. А вобщем повоюем я дак еще не навоевался вот как выйду к Берлину тогда скажу конец давай комполка отпуск домой съезжу.



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

103100 г. Москва, К-100

4/И-И17086

апреля 1980 г.

Тов. НАБАТОВУ В.К.

г. Калининград Московской обл.
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5/16, кв. 107

Уважаемый Василий Кузьмич!

На Ваше письмо сообщаю, что по учетным документам Главного управления кадров командир стрелкового взвода 1866 стрелкового полка 385 стрелковой дивизии младший лейтенант НАБАТОВ Владимир Васильевич погиб 21 апреля 1945 г. при форсировании реки Одер. Труп утонул.

За боевые отличия младший лейтенант НАБАТОВ Владимир Васильевич награжден орденом Красной Звезды (приказ ПКО стрелковой дивизии № 56/1 от 6.9.44 г.).

При необходимости наградной лист следует запросить в Центральном архиве Министерства обороны СССР (г. Волгоград Московской обл.).

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ВОЙТЕНКО

Февраль 1944 года.
Терmez. Курсантский друг Володька Набатов, сразу после окончания училища.
Справка о его гибели,
полученная отцом в 1980 г.

Ну вот и все.

Владимир.

Пишите по адресу 49865 к»

Вслед за этим письмом Анна Михайловна получила другое:

«Дорогая Анна Михайловна. Мы получили сегодня поздравительное письмо по случаю нашей общей победы. Но к великому сожалению руки Вашего сына не смогли распечатать дорогое родное письмо. Я посчитал своим долгом распечатать и прочесть материнское письмо, которое бы очень Вашему сыну Володе было бы дорого. Но он уже прочесть его не может, хотя тяжело но я должен Вам сообщить, что Ваш сын Володя командовал подразделением в котором и я находусь в последних боях Ваш сын погиб. Геройски дорогая Анна Михайловна. Тяжело это пережить но война не жалеет нас и наших родных но Вы не сомневайтесь Ваш сын Володя погиб честно и дорого обошлась его жизнь Заклятому врагу немцу.

Пару слов подробно.

При форсировании р. Одер нашему подразделению было приказано высадиться на тот берег. Но Володе не пришлось оттуда вернуться он был убит немецким офицером.

Его вещи мы сдали в Склад части в вещи входили 1 пара сапог и 1 пара суконного обмундирования документы не было возможности вытащить. Вот у меня все про Володю он был мой командир и друг. Анна не обижайтесь Это ведь не от меня и много товарищей погибло. Только одно жалко что этот бой был последним. Но бой был жестоким и трудным который много товарищей отнял из наших рядов.

*Желаю получить ответа
с приветом Парторг Носков*

21 мая 1945 г»

Мой друг Жорка Павлик

Павлик Георгий Порфириевич, рожд. 1925 г., окончил ТашПМУ в феврале 1944 года. Присвоено звание младший лейтенант. В июне 1944 года прибыл на II Белорусский фронт на должность ком. стрелкового взвода. 26 июля был тяжело ранен на границе с Польшей. Инвалид I группы.

Еще в войну после первого ранения Володька написал мне из госпиталя, что Жорка убит.

Но в 1987 году мой школьный друг, а ныне главный конструктор в одном из петербургских институтов ВПК Ленька Вольфсон,



Май 1944 года.
Термез. Курсантский друг
Жорка Павликова перед отправкой
на фронт.

прочитав эти записки, сказал, что знает одного ветерана Павликова, работающего начальником отдела на военном «закрытом» заводе в Петропавловске. Слово за слово, звонок за звонком... Он! Жорка!! И вот 4 июня 1989 года огромный Жорка весом более 100 кг встречает меня в аэропорту Петропавловска на своих «Жигулях» с ручным управлением. Мы обнимаемся, целуемся, хлопаем друг друга... А промнишь... А помнишь... Жорка на пенсии. Мы едем к нему на дачу. Разговоры дальше училища не клеются. Мне приходится клещами вытаскивать из него войну.

Рассказ Жорки:

— Из Термеза нас отравили на фронт 2 мая. В начале июня мы прибыли под Рославль Смоленской области.

Оттуда нас группами отправляли по дивизиям II Белорусского фронта. Я попал в 110 сд 1289 сп. Дивизия была в наступлении и пополнялась на ходу захватываемыми хозяйственниками немецкой армии — здоровыми мужиками...

Я вынужден сразу прервать рассказ Жорки, чтобы пояснить читателю, кто такие эти «здоровые мужики». Не буду говорить сам, а просто приведу цитату из пространной статьи Е. Н. Андреевой «Генерал Власов и Русское освободительное движение» (Дружба народов, № 5, 1991):

«В 1944 году примерно миллион советских граждан служили в вермахте, а на принудительных работах в третьем Рейхе их было около трех миллионов... Русских военнопленных принимали в немецкую армию с самого начала военных действий... Эти бойцы, служившие на немецкой стороне, были известны как «хиви» (Hilfswilligen — добровольные помощники). Была еще «Остгруппен». Были легионы из тукмен, армян, северокавказцев, грузин, азербайджанцев и волжских татар.»

Так вот. В наступательных боях последнего года войны наша пехота несла огромные потери. Пополнять бескровленные пехотные части было некем (я еще об этом буду писать). Поэтому всех «здравых мужиков», попадавших к нам в плен, не расстреливали, а переобмундировывали и уже в качестве советских солдат под

надзором русских офицеров и заградотрядов гнали вперед, как бы заставляя кровью смыть позор измены.

Продолжаю рассказ Жорки:

— Мне дали взвод таких мужиков, вывели на берег речки под городом Замбров, уже в Польше, и приказали после артподготовки вести солдат вперед и следить за ними, чтобы не прятались и не разбежались. Я поднял солдат. Мы перебежали речку. Дальше кусты. Кругом стреляют. Снаряды рвутся со всех сторон. Бегу и вижу, как то здесь, то там солдаты подпрыгивают и падают. Не могу понять, в чем дело. Но вдруг сам подлетел и оказался на земле. Страшная боль в ногах. Вижу — одна ступня в стороне. От нее к ноге тянутся длинные белые сухожилия. Другая в голени повернута под прямым углом. Руки целые, голова целая. Подтянусь, снова руки вперед. Цепляюсь за траву и подтягиваюсь. Так добрался до речки. Там ко мне подошли санитар с солдатом. Я им говорю: «Перевяжите». Они посмотрели, а нога болтается, но они все вместе сложили и начали бинтовать. Вдруг один закричал: «Ранен, ранен!», схватился за живот и убежал. Потом еще разрыв. Снаряд попал в берег речки. Санитар, который перевязывал, упал на меня. Я гляжу: нет у него полчерепа и мозги кругом разбросаны, липкие такие. Я выбрался из-под санитара и пополз в гору. Тут еще кто-то подоспел. И дальше уже не помню. Одну-то ногу мне сразу отрезали ниже колена, а с другой я пролежал в госпитале целых десять месяцев. Сначала она не срасталась, а потом срослась не так. Образовался большой костный мозоль. Смотри.

Я смотрю. Щупаю обезображенную голень с большой шишкой-выступом на уже узловатой старческой ноге. Сколько же тебе, бедолаге, пришлось вынести! Какой мерзавец послал тебя во главе смертников на минное поле? Зачем? Чтобы сегодня, оставшись живым и до пупа обвешенным орденами, красоваться на телевизионных экранах, рассказывая о своих ратных подвигах и не чувствуя ни капли угрызений совести за бессмысленную гибель солдат? «Война все спишет».

И не мудрено было Володьке в этой преступной неразберихе услышать о смерти Жорки: кругом гибли десятки и сотни тысяч. Но Жорка выжил. И не только выжил, а окончил институт и, несмотря на инвалидность, работал до шестидесяти двух лет. Сегодня он не расстается с костылями. Тяжелый протез, весь в пружинках и резинках, латанный-перелатанный, начинается с бедра и полностью захватывает кость голени. Коленный сустав сгибается на 70°, и Жорка с трудом запихивает свое тело в инвалидные «Жигули».

Мой друг Вовка Лях



Ноябрь 1944 года.
Фронт. Курсантский друг Вовка
Лях. Незадолго до тяжелого
ранения в голову.

Лях Владилен окончил ТашПМУ в феврале 1944 г. с присвоением звания младший лейтенант. Прибыл на фронт в июне 1944 года на должность командира взвода батареи 45-мм противотанковых пушек («Гроза врагу и смерть расчету»). В ноябре 1944 года тяжело ранен в голову.

После ранения Вовка долго скитался по госпиталям. При трепанации черепа ему удалили не все осколки, и он страдал приступами эпилепсии. Женился, у него родился сын Иван. В 1958 году, не дожив до 33 лет, Лях умер во время очередной операции по удалению осколков. Мать Вовки, заслуженная учительница Казахстана, умерла в 1990 году. Я встретился с сыном — заведующим отделом газеты «Степной маяк» в Кокшетаве. Узнать удалось немного. Сын плохо помнит отца. После

войны Вовка много писал, но все его записи, а также документы военных лет пропали после его смерти при переезде семьи в другой город. На могилу к Ляху приходить некому.

Мой однокашник Стаська Янковский

Янковский Людвиг (по официальным документам) закончил ТашПМУ в феврале 1944 года с присвоением звания младший лейтенант. С июня по октябрь 1944 г. — командир минометного взвода (2 стрелковый корпус, II Белорусский фронт). С октября 1944 г. по май 1945 г. — 222 сд, 787 сп, I Белорусский фронт, комвзвода, где после ранения в феврале стал командиром минометной роты.

Апрель–май 1945 года.
«Однокашник» Стаська Янковский вскоре
после ранения.



После войны служил в Германии. Уволен в запас 19 июня 1946 года из Потсдама в звании ст. лейтенант. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. По возвращении домой Людвиг работал в органах МВД начальником колонии особого режима. Осенью 1947 года поступил в Казанский юридический институт. Проучившись два года, вернулся в Караганду (пошли дети), и остальную часть жизни работал в системе энергетики, пройдя путь от монтера до начальника подстанции. Умер в 1968 году на операционном столе.

Наш Вася Зайцев

Еще в 1947 году на Невском проспекте напротив улицы Марата я случайно встретил бывшего курсанта нашего взвода. Он торопился и в коротком разговоре лишь упромянул, что Зайцев был тяжело ранен и умер в госпитале.

О Ване Голивкине ничего не удалось узнать. Я убежден: останься он живым и здоровым, то каким-либо путем дал о себе знать.

В нашем курсантской отделении как в капле воды отразилась фронтовая судьба пехотных «ванек-взводных».

Много лет я пытался найти хотя бы одного солдата пехоты (до командира стрелковой роты включительно), прошедшего войну без ее кровавых отметин. Таких не нашел.

После всего виденного и пережитого, как я могу смотреть на разукрашенных орденами, медалями и различными значками «телевизионных ветеранов, прошедших от Сталинграда до Берлина» и не имевших ни одной царапины? Каждое их слово — кощунственная ложь по отношению к павшим и покалеченным моим фронтовым друзьям.

Ведь у солдата пехоты часто не было ни одной медали, только нашивки: красные и золотые — знаки ранений. ЭТО КРОВЬ, ОСТАЛЬНОЕ — МУРА!

Обрили голову наголо
И сказали «Воюй!»,
И смерть обнаженная, наглая,
Первая встретилась в бою.

Вместо невесты,
Которой еще не приискано,
Вместо мамы и вместо
Жизни от двадцати до восьмидесяти.

Елена Ильзен (Грин)

Часть IV. ФРОНТ

1. Дорога на войну.
 2. Заднестровские плацдармы.
 3. Седьмой Сталинский удар.
 4. Царство Болгарско.
 5. Бои в Югославии.
 6. Кровавая зима 1944—1945 годов (Венгрия).
 7. Весна Победы (Австрия).
-
-



Передо мной две фотографии. Между ними чуть больше двух лет, но тех лет, ради которых я взялся писать эту книгу.

На первой — совсем ещё ребенок, глазасто-открытый, с любопытством доверчиво смотрит на мир, хотя этот мир не очень баловал его. Он один из тех, кто в 44—45 годах своими телами устилали дороги Победы. Сейчас их можно увидеть лишь в кадрах военной кинохроники, да в святых реликвиях семейных альбомов.

Другая фотография уже совсем не то. Смотрите. Какой настороженный взгляд казалось бы тех же глаз, но почему-то глубоко спрятанных в глазницы. Ведь война кончилась. Ты победитель. Но еще жива ежеминутная опасность боёв. Эти глаза только что в упор смотрели на предсмертные муки друзей, на их гибель, видели горы тру-

Вверху:

Февраль 1944 года, Термез.
Я после окончания училища (еще нет 19-и лет).

Внизу:

Июль 1946 года.
Ленинград. Отпуск после войны (уже 21 год).

пов, сами жгли, разрушали, убивали. Целый год верно и честно сеяли вокруг себя смерть и горе врагам ради Победы, ради Жизни и Славы нашего народа!

Глава 1. ДОРОГА НА ВОЙНУ

Рано утром, где-то во второй половине марта 1944 года на железнодорожную станцию Термез был подан состав «телячих» вагонов (теплушки на 40 человек или 8 лошадей). Состав уходил на «Щиру Украину» — на Третий Украинский фронт. Из провожавших меня я почему-то запомнил только Володьку. Он, тощий и какой-то до боли близкий, долго стоял на путях и махал мне рукой. Адрес его родителей остался у меня в кармане. Вскоре я напишу туда и получу от Володьки с фронта несколько писем.

Пути Господни неисповедимы! Оказалось, оставленные в запасном полку «лучшие» вскоре были отправлены на I Белорусский фронт командирами стрелковых взводов. Из всех солдат Советской армии у пехотного «ваньки-взводного» самая короткая жизнь. Ему во время атаки не просто надо выскочить из окопа на стреляющих в тебя немцев, но идё и повести за собою взвод. Не оказался исключением и Володька. Уже в июне после первых боев он приспал мне письмо из госпиталя. Ранение было лёгким, и к концу 44-го Володька снова попал на фронт и снова «ванькой-взводным»...

Старенькие теплушки с выпускниками Термезских военных училищ и боевыми офицерами, комиссованными из госпиталей, двинулись в далекий путь через всю взбудораженную войной голодную страну. На полтора месяца мы обрели общее жилье на колесах.

Сухой паёк..., кипяток..., офицерский паёк..., Карши..., Самарканд..., Джизак..., наконец, — Ташкент. Здесь кормление, санпропускник и неожиданное переобмундирование. Мы переходим на «летнюю офицерскую форму одежды»; получаем большие иностранно-пахучие коверковые гимнастерки (подарок Черчилля советскому офицерскому корпусу), а также настоящие кирзовыесапоги.

В новеньком обмундировании, сшитом явно не для нас, мы кажемся ещё более нескладными и самоуверенными птенцами, только вылетевшими из родного гнезда Термезской крепости. Но мы горды своим нарядом. В вагоне некоторые выпускники аккуратно на палочках развесили свои гимнастерки, сняли погоны со вставленной в них проволокой, чтобы не мялись! Большинство же,

бросив кирзачи, сразу превратилось в обычную массу вагонных завсегдатаев — неряшливых и взлохмаченных.

Под неспешный перестук колес мы спим, либо заводим долгие разговоры о слышанных и уже не раз пересказанных фронтовых историях. На станциях мы пытаемся слушать сводки Совинформбюро, но там всё ещё мелькают неизвестные нам хохляцкие города и посёлки.

Наконец, уже в России на незнакомой мне заволжской станции в сводках информбюро сначала робко появилась, а потом гордо и крикливо зазвучала ОДЕССА. Наши войска победно шли по правобережной Украине. Как это было в «натуре», я скоро услышу от очевидцев.

Но репродукторы есть только на станциях. Наш состав плетется еле-еле: Арысь..., Туркестан..., Кызыл-Орда... Старинная царских времен однопутка. Мы долго стоим под семафорами: барахолки, базары, базарчики... Запасные пары офицерского белья, полотенца, новые портянки незаметно покидают теплушки, оседая на полустанках, затерянных в Приаральских пустынях.

За Джусалами по вагонам разнесся слух: скоро будет соль. Ее надо «брать». В России солью торгуют.

Действительно, на полустанках появились длинные составы открытых платформ с серой грязной противно-вонючей солью. Хозяйственные куркули выбирали наиболее чистые куски, мыли их и заворачивали в тряпки. Несколько дней наши теплушки запасались солью, пока с глаз не исчезли последние «соляные» платформы. Это было уже где-то за Соль-Илецкой (мы ехали через неё на Саратов).

В войну на железнодорожные станции, и так представляющие собою нерадостное зрелище, выплескивались людские отбросы суровой тыловой жизни. Нигде, как на железных дорогах, нельзя было увидеть столько слёз безутешных, горя горького, нужды беспросветной и вместе с тем радости бесшабашной и отчаянных надежд. Именно здесь, на дне народном, чувства людские оголялись в неистовой борьбе за существование.

В начале апреля мы миновали мост через Урал и въехали во всегда голодное Поволжье. Россия. На станциях полно народу. Везде «правят бал» бабы — старые на вид, но страшно крикливы, замотанные в платки, шали, обвесенные мешками, котомками, сумками, окружённые немощными стариками и детьми — постоянно хныкающими голодными детьми войны, пугливо цепляющимися за длинные подолы своих мамок. На этих баб трусливо

поглядывают редкие здоровенные детины, их боится вокзальная шантрапа. Под защитой баб находятся отвоевавшие и списанные «под чистую» солдаты — серые, изможденные калеки, с тощими вешмешками, часто на костылях. Одни из них временно попали сюда по пути домой, другие — бездомные: раз задержавшись, так и остались на станции. Эти, правда, быстро опускались на дно людское, и, спекулируя наувечьях, кто как мог, существовали в вокзальной круговерти войны. Им — бывшим солдатам, уже ничего не стоило стащить котомку у своего собрата, возвращавшегося из госпиталя на фронт, обмануть солдатку, разжалобить торговку, выставив напоказ еле зарубцевавшуюся культу, обезображенное шрамами лицо, либо просто выклянчить кусок хлеба, а на худой конец, портыся в урнах с надеждой выудить оттуда чинарик.

Сейчас, через много лет, я вспоминаю тех обездоленных, поруганных войною калек, которых давно уже нет в живых, а перед глазами безногий солдат, трясущийся в истерике, по-черному матерясь, бьет костылями испуганного дежурного по станции. За что? У солдата перекошенное злобой лицо, ненависть на весь мир, на тех, кто здоров, кто отнял у него молодость и сейчас загнал в беспрозвенный мрак станционной клоаки. Я вижу и дальше: собираются солдаты схватили его, бросили на землю, но калека без разбору хватает сильными руками ноги стоящих вокруг. Потом мат его утихает, становится безнадёжно-тоскливым. Люди расходятся. Оставшиеся дали солдату спирту, свернули «козью ножку». Злая махорка немного успокоила его, но еще долго из отверженного миром солдата выплескиваются наружу накипевшие проклятья сосущим кровь тыловым крысам, а заодно с ними и всем, кто ошибается здесь на «б-м фронте». Чаще так срываются не здешние, а те, чьи родные места под немцем. Живы ли семьи? Целы ли хаты? Что их ждет впереди? Ведь в те времена у них не было никаких льгот, ни надежд на будущее. Местные женщины таких жалели с опаской, на расстоянии.

Среди женщин в общей толпе по-особому выделяются солдатки с детьми, доведенные до отчаянья, потерявшие надежду дождаться мужа, вдовы с похоронками, матери, тоскующие по своим пропавшим без вести сыновьям. Здесь же слоняются чумазые, обтрепанные пацаны из моего будто давно минувшего «паровозного» детства... Но я уже совсем другой.

Наш состав появляется на такой станции. Мы — молодые, здоровые, с обязательными гармонями, баяном, всегда веселые, с неизменным подмигиванием невесть откуда взявшимся девчонкам. Несмотря на тяжелый труд, природа зовет их посмотреть на дру-

гую жизнь, на молодых мужиков, на своих сверстников-мальчишек, которых не осталось в деревнях. Девчонки в пёстреньких платьях обычно стеснительно жались вблизи наших вагонов, краснея от соленой шутки, вздыхая и убегая от слишком назойливого ухажёра, чтобы через минуту быть снова в кучке своих подруг.

Вся разношерстная людская толпа куда-то движется, мечется, собирается группками у кипятка, потом по станционным звонкам бросается прочь к вагонам, либо от них.

Диссонансом толпе выступают железнодорожники: путевые обходчики, мастера, кондукторы, паровозники, стрелочники, станционное начальство в фуражках с красными околышами. Неторопливо и всегда почему-то хмуро они идут туда, куда надо, убеждал в отсутствии общего хаоса.

В Ершов мы приехали поздно ночью. Санпропускник и кормление проходили в темноте при тусклых станционных фонарях и слеповатых лампочках. На улице прохладно. По дороге я заглянул в зал ожидания. Там спёртая духота (хоть топор вешай). Весь пол и скамейки устланы серой чуть шевелящейся массой. Люди спят, едят, просто копошатся. Тихо. Лишь иногда заплачет ребенок, захрапит старик или громко во сне заголосит баба — вокзал спит. Мы, сытые и довольные, растягиваемся в вагонах на своих нарах, законно блюда военную заповедь: «солдат спит — служба идёт».

Рано утром на соседний путь подали состав пассажирских вагонов с тяжелоранеными. Это составы особые. Мелкие станции они обычно идут «на проход», оставляя в воздухе терпкий запах карболки, застоявшейся мочи и гниющих бинтов — мертвчины. Бывшие фронтовики молча косятся на такие вагоны, как кони на трупы брошенных у дороги лошадей. Мы с тайным любопытством заглядываем за плотно закрытые окна и двери. Снаружи вроде все тихо, но внутри тяжелое горе войны... Вскоре двери вагонов стали открываться и оттуда появились издёрганные бессонницей медсёстры. Начались только им понятные визгливые перебранки. Несколько девчонок пробежало мимо, не обращая на нас никакого внимания. Потом к составу стали подходить местные здоровенные бабы с носилками, а из вагонов выволакивать завернутые в тряпки трупы: один, другой, третий... — ночной «урожай» Косой.

Все попытки заигрывать с сёстрами этих составов кончались ничем.

Тяжелораненые вяло идут на контакты. Они, жёлтые, изможденные, безучастно и тоскливо смотрят в окна на полупустынное и безрадостное Заволжье.

— Эй, братишки, откуда?

— З під Одеси.

(Это с нашего III Украинского).

— Ну, как там?

— Изжай, побачиш.

— Рязанские есть?

— Нема.

И разговор стихает.

Среди раненых много украинцев. Это они, войну отсидевшие в том тылу под немцем, сейчас освобождают свои земли. Рязанские уже давно лежат под Москвой, Сталинградом, либо скитаются по тыловыми госпиталям. Как шло освобождение Правобережной Украины, я узнаю потом, а сейчас только еле видимое отчуждение нет-нет, да и мелькнёт между нами, вскормленными советской агитацией, и ими, три года жившими под немецкой пропагандой.

Чуть погодя у состава появились солдатки. Одна, за ней другая... Женщины будто безразлично останавливаются у каждого вагона, повторяя одну и ту же свою фразу:

— Петрова Ивана с Каменки нет?

— Селиванова Семёна со Степного нет?..

Наверное, так они ходят не первый день, а то и месяц, веря ходячим рассказам военных времён о том, как мать таким образом нашла своего покалеченного сына, который, стыдясьувечий, не писал домой.

Иногда женщина задерживается, что-то говорит. К ней сразу же подходят другие — это может быть из вагона послышалась местная речь или объявился земляк с Поволжья. Для таких у неё за пазухой спрятан свёрточек с едой, которую она оторвала от себя, а может, и от детей.

Составы с тяжелоранеными долго не стояли, а всегда торопились увезти свой груз живым как можно дальше в тыл, в холодные и неуютные города Восточной Сибири, будто мало там своего горя и кладбищ.

...«Один длинный»... Машинист привычно тянет на себя реверс... несколько опоздавших торопливо бегут к составу. Хватаются снизу за поручни... Местные женщины понуро поплелись назад. Теперь они будут жить до следующего слуха о подходе другого санитарного состава. У каждого своё...

Вслед за санитарным по тому же пути без остановки мелькают вагоны настоящего пассажирского поезда с людьми из другого мира. За оконными стёклами стоят штатские с газетами в руках и, как на довоенных картинках, курят папиросы. Они подстрижены, выбриты, в галстуках. Рядом женщины какие-то особые —

«киноактрисные». Их волосы не прикрыты платками и вызывающе шевелятся на ходу поезда. Кто они? Куда едут? Что читают в своих газетах? В моем окружении никто не задавался такими вопросами. Я их не знал, и они меня не волновали.

При подъезде к Волге на какой-то небольшой, но распухшей в войну станции наш состав загнали в тупик на кормление. И здесь нас атаковали цыганки: настоящие красочные цыганки из моего детства, в тех же цветастых потрёпанных платках с голопузыми грязными цыганятами на руках.

— Офицер, посмотри в глаза. Какие они у тебя большие. Позолоти ручку — всю правду скажу...

И я «золочу». Цыганка проворно бросает карты:

— Ждёт тебя дальняя дорога, казённый дом, счастье тебе выпадет, долгая жизнь, ранен будешь, но не сильно, домой вернёшься, в червонном доме сердце твое успокоится... Хорошая тебе выпала карта... Только все равно погибнешь не своей смертью. Вот смотри: вода, вода над тобою.

Я смотрю. Цыганка в своей стихии. Она еще совсем молодая, но ворожит уверенно, дерзко, с гордостью за себя. Я верю и не верю. Ведь мало кому цыганка скажет с таинственной тревогой в глазах:

— Плохая тебе, солдатик, выпала карта.

— Брёт все цыганка, — вроде и безразлично бросит «солдатик», но на душе его ляжет камень.

Мужчин-цыган не видно. Может быть, где-то спрятаны, ведь цыганят-то много. Потом во фронтовой полосе цыган совсем не будет. Не увижу я их и на войне, хотя наша дивизия будет идти через исконно цыганские Бесарабию и Румынию.

Волгу мы переехали как-то буднично, вблизи Саратова, не заезжая в город. За рекой начиналось затмение. Здесь уже летали немцы.

Широко глазеют бывшие курсанты-сибиряки на разбитые бомбовыми ударами искореженные сожженные вагоны, на взрывные воронки, обгорелые остовы станционных построек. Им это в новинку.

Аткарск..., разрушенные авиацией Ртищев, Балашов... Война властно и зrimо входит в нашу жизнь. Здесь недавно стояли тылы действующих фронтов и армий. В городах «комендантский час», ходят военные патрули. Станционные пути забиты составами. Свежая краска блестит на стволах тяжелых гаубиц, на броне танков, чуть прикрытых маскировочными сетками. Со всех сторон к фронту идёт и идёт мощная стальная лавина. А навстречу нам

некончаемым потоком тянутся санитарные поезда. Здесь за Волгой их значительно больше. В поездах — легко раненые. Они полны радостью возвращения живыми и почти здоровыми в такую совсем недавно казавшуюся несбыточно далёкой тыловую жизнь. Молодые парни с аккуратно наложенными белыми повязками, не дав полностью остановиться составу, сыпятся как горох из пассажирских вагонов, бегут по перрону к кипятку, к базарчикам, кто придерживая перевязанную руку, кто прихрамывая на ногу и болтая в воздухе уже ненужным костылём. Медсёстры у таких составов уже не те, что у тяжелораненых — весёлые, задорные. Одна досада — слишком уж много изголодавшихся по женским улыбкам парней. Надо уметь вовремя прикрикнуть на не в меру настырных ухажоров. Делается это беззлобно, будто отмахиваются от надоедливых мух, но в тоже время девчонки и сами не прочь при первой возможности протиснуться в круг поближе к баянисту, сплясать, а то и запеть вместе со всеми... Плясали и пели много. Во весь голос, отдавая веселью всю свою молодость.

— А ну, пусти, была-не была! — солдат с гипсом на полноги толкает меня в бок, отдаёт костили и лезет в круг.

— Раненый, раненый, тебе нельзя! — кричит врач. Но её никто не слушает. Разве здесь устоишь, когда рядом под баян отплясывает задорная сестричка! Ее тяжелые кирзачи топчут станционную пыль, лихо отбивая такт...

— По ваго-о-о-нам!

И мы бежим вдоль путей к своим. Песни замолкают. Из толпы кричат:

— Давай, бей их там!

— Будем бить!

И нам уже не страшны покалеченные руки, ноги... Мы будем бить! И не хуже других!

На виду у этихнюхавших порох, узнавших почем фунт лиха фронтовиков, смеющихся сестричек, на глазах баяниста, заигравшего нам — именно нам! — марш, мы уже на ходу прыгаем на подножки телячьих теплушек:

Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас,
Из сотен тысяч батарей, за слёзы наших матерей,
За нашу Родину, огонь, огонь...

Состав идет «туда». На нас смотрят с уважением и радостной надеждой. На вагонах лозунги — «Вперёд на запад!», «Смерть немецким оккупантам!», «За Родину!», «За Сталина!».

Наверное именно эта, не побывавшая в оккупации прифронтовая зона, в то время являлась самой, если так можно сказать, весёлой, или точнее, жизнерадостной частью Советской земли. Здесь скапливалось больше всего не отягощенной заботами здоровой, более или менее сытой молодежи.

Многие полустанки состав идет «на проход». На полустанках надрываются репродукторы: «Взята Одесса!. Наши ворвались в Крым! Идут бои на подступах к Севастополю! I и II Украинские фронты выходят к Днестру!» Наш III Украинский немного запаздывает, но упорно в лоб гонит фашистов вон с Правобережной Украины.

Наконец, среди бела дня мы появились в Валуйках. Это наша первая встреча с крупным поселком (железнодорожным узлом), бывшим в оккупации. Фашисты провели там всего несколько месяцев во второй половине 42-го года. Но дело не в сроках: каждый житель Валуек получил положенную ему в то время «Каинову печать» — ярко-черное клеймо: «Был в оккупации». Сейчас эти клейма поблекли, посерели, а кое у кого, особенно в рассказах современных молодых писателей, приобрели мученический или даже геройский оттенок. Автобиографические анкеты уже не требуют ответа: «Был ли ты, твои ближайшие родственники в плену и оккупации?» А тогда, полвека назад, в 1941—1942 годах остаться на оккупированной территории, попасть в плен, расценивалось, как предательство:

— У нас нет военнопленных, есть только предатели Родины, — сказал Сталин.

Так нас воспитывали. Поэтому в эшелоне были свои — советские, русские, а там за окном в Валуйках — «те», в крайнем случае, «наши, бывшие в оккупации». «Их» должны проверять «органы». Среди «них» ходят полицаи, переодетые немецкие шпионы, предатели, в общем — враги. Говорят, их всех будут судить. Мы с любопытной настороженностью смотрим на «них». «Они» же все еще необычно сторонятся военных, заглядывая на погоны (ведь Советская армия уходила из Валуек без погон).

На станции сразу бросается в глаза большое количество беспомощно шатающихся «цивильных» мужчин. Именно цивильных, то есть гражданских из оккупации. Они не просто бродят, но что-то продают, покупают, меняют... Откуда они — эти мужики явно призывающего возраста? Как они сумели пережить описываемые нашей пропагандой ужасы оккупации? И не просто пережить, а еще торговаться с нами, покупая за наши деньги наши совсем нам не лишние офицерские пайки и вещи! Что они, также торговали при нем-

цах, покупали у них и продавали им? Это казалось кощунством и сначала трудно усваивалось, по крайне мере, многими из нас. Но когда за 90 рублей был кем-то продан первый солдатский котелок соли, громко взыграла таящаяся в человеческом теле коммерческая жилка. Остановить её было невозможно. В широко распахнутые двери нашей теплушки с улицы полилась частнособственническая зараза, быстро пожирая возникший было за год училища колLECTИ-ВИЗМ — это нежное и красивое творение классиков марксизма-ленинизма. Может быть, частная собственность при атаке на наши вагоны нашла здесь благоприятную почву, но «соляная лихорадка» охватила нас. Каждый в одиночку долбил железякой соль, ссыпал в котелок и взахлёб торговался на стихийных базарчиках: 100, 110, 120 рублей (!) котелок. Соль брали охотно.

Валуйки освободили сравнительно недавно. Радость освобождения (у кого она была) давно прошла, и её место занял тяжёлый изнуряющий труд по восстановлению хозяйства, разрушенного фронтом,войной, фашистами. Повседневные заботы о хлебе на-сущном, липкий страх за своё недавнее оккупационное прошлое, ещё большая, чем до войны, боязнь НКВД... Особенно радоваться было некому и нечему.

Вокруг обгорелого вокзала, на железнодорожных путях много военных, полувоенных. Местные с базарчиков сюда почти не выходит. Казалось бы, обычно лязгают буферами вагоны, неторопливо идут железнодорожники... но ведь они только что в том же депо служили немцам? «Ковали» их победу над нами?! Может быть поэтому приезжие держатся особняком.

На перроне надрывается гармонь. Безголосый гармонист в по-ношенней солдатской шинели без ремня поёт:

... молодая девушка
Парню поклялась,
Но в пору тяжелую
Сокола забыла ты
И за пайку хлеба ты
Немцу продалась!..

Я такие слова на мотив старой довоенной песни про парня-шахтера слышу впервые. Как это можно? Продаться немцу? Я подхожу к окружившим гармониста нашим офицерам. В песне какой-то другой мир, запрещённый для наших газет, но до боли реальный, вероятно, существовавший на этой поруганной немцами земле. Мы украдкой вслушиваемся в каждое слово: как это

может наша русская девушка взять и пойти с фашистом? Гармонист, не боясь патрулей, выводит:

Под немецких куколок
Ты прическу сделала,
Красками накрасилась
Вертишься юлой!

Но не нужны соколам
Краски твои, локоны,
И пройдет с презрением
Парень молодой!

Из Валуек состав пошёл на юго-запад по бывшим в оккупации областям к Харькову. У Днепропетровска по кое-как восстановленному мосту переехали Днепр. Около переправы окопы зенитных батарей. Вокруг копошаются солдаты: это что, уже «фронтовики»? Ведь до фронта полтысячи километров!

— То «бледные», — бросает язвительно офицер с желтыми полосками тяжёлых ранений.

За Днепром — правобережная «самостийная» Украина. Украинская речь набирает силу, а в селах, на бесчисленных полустанках полностью глушит русский язык.

Состав прибыл в Пятихатки. Это не просто узловая станция. Где-то здесь после захвата заднепровских плацдармов в конце сорок третьего года захлебнулось наше наступление. Отсюда же в январе сорок четвертого года начался «второй сталинский удар», который сейчас затихал в далёком Приднестровье.

Если в сорок третьем году немцы, отступая, верили в скорое возвращение, то в сорок четвертом у них уже не было надежд. Фашисты мстили за проигранную войну, мстили жестоко, поволчьи, сжигая и руша всё, что можно. Именно в 1944 году ими был изобретён «железнодорожный плуг»: паровоз мощными тросями впрягается в огромный стальной плуг и тащит его за собой, ломая шпалы, сдирая с полотна и коверкая рельсы. После такой «вспашки» на насыпи оставались скрюченные, иногда вздыбленные рельсы, с которых свисали обломки шпал. Путь надо было строить заново.

В Пятихатках кончалась «официальная» железная дорога. Здесь нас последний раз накормили на железнодорожном пункте, вымыли в санпропускнике и загрузили в какие-то немыслимые полуломанные вагоны, под стать железнодорожному полотну, составленному из кусочков рельсов длиною один-три метра. Поезда по такому пути тащились со скоростью не более 6 километров в час.

Уже на следующий день за вдрызг разбитым закопченным Кировоградом мы въехали в полосу нашего ещё продолжающегося зимне-весеннего наступления. Гражданским въезд запрещён. Мёртвая, молчаливая сейчас зона прорыва: пепелища до тла соожёных деревень тянут к ласковому весеннему солнцу чёрные обгорелые трубы; вдоль насыпи валяются спущенные под откос разбомбенные составы. Ещё не покрылись ржавым налетом битые танки. С замасленных моторов они пускают нам зайчики. А кругом лежит из земли нежная молодая поросль.

Двери наших теплушек широко распахнуты в мир, и из них торчат брызжащие молодостью и здоровьем физиономии моих сверстников. Мы орём песни на всю украинскую степь, которую в тот год будто забыли вспахать.

Следом за пехотой, месившей в феврале-марте черноземную грязь Побужья, насконо прошли погребальные команды. Трупов почти нет, но в свежих окопах чего только не валяется!

Однопутка. Состав часами простояивает на полустанках. В это время мы разбредаемся по окрестным деревням, полям, шарим по брошенным землянкам, траншеям... Теплушки превращаются в склады оружия, немецкой амуниции и всякого хлама, награбленного и потом брошенного немцами.

Вторая половина апреля в тот год на Украине выдалась тёплой, солнечной. Ходили мы по два-три человека, чтобы хозяйки не пугались большой оравы и выставляли на стол «что Бог послал». Опыт набирался постепенно, но быстро...

Мы с напарником идем по широкой улице села. Никого. Село будто вымерло. Выбираем дом «посправнее», побогаче в надежде, что там и еды побольше. Я подхожу к калитке. На меня настороженно и испуганно, по взрослому насупившись, смотрит голубоглазый карапуз.

— Эй, хозяйка!

Из сеней выскакивает молодая женщина, с какой-то странной злобой бросает на нас взгляд огромных черных, широко раскрытых глаз, хватает ребёнка, бросается в дом. Ребёнок молчит. Она молчит. Мы молчим. Только резко щёлкает засов. Из-за покосившегося плетня соседней облупленной, крытой соломой хаты любопытно и будто злорадно высовывается хохлушка:

— Ой, хлопці, ідіть сюди!

Мы идем.

— Куди ж вы пійшли. У нее німчинок. У нас в селі німці стояли. У неї комендант годував. Обіцав взять з собою в німетчину. Вона ходила як принцеса.

Мы идем в хату. Я подхожу к покосившемуся низкому окну и с детским любопытством смотрю «туда», где за закрытой дверью и зашторенными окнами сидит «вона с німчонком». Мне их совсем не жалко, как детям не жалко смотреть на дрессированных цирковых зверей. Я смотрю, а там в Валуйках безголосый гармонист тянет и тянет меха гармони:

Да вернутся соколы,
Смелые, отважные,
Как тогда ты, девушка,
Выйдешь их встречать?

Ведь торговлю чувствами
И торговлю ласками
Невозможно, девушка,
Будет оправдать...

Я не знаю, сколько бывших «німчонков» — сейчас уже совсем взрослых — ходят по Украине. Думаю, что слышанные мною рассказы сильно преувеличены, но они были и есть. В июне 1941 года на Украину пришли рослые голубоглазые арийцы, и уже через 9 месяцев в хохляцких хатах заверещали первые «німчонки». Никто не насиловал их матерей. Те хохлушки сами ложились в пуховые постели моих заклятых врагов — ненавистных фашистов. Впрочем, также потом под нас лягут многие их румынские, мадьярские, польские и прочие товарки. А сейчас мы — молоденькие лейтенантики, выпускники ТашПМУ — стеснительно жмемся к стенке и не знаем, как себя вести. На обмен у нас остались только полотенца и кальсоны...

— Да мені ничего не треба. Счас я що-нибудь зроблю!

Наша хозяйка суетится около печки. Потом на столе аппетитно дымится картошка в мундире. Она наша, эта хохлушка — своя. Муж её — политработник, ушёл с нашими на восток. Мать умерла. Отца повесили немцы. Детей отправила к родственникам, и сейчас не знает, живы ли они. Слыхала только, что старший подался к партизанам. Её саму пытали немцы. Староста жить не давал. Но вот, выжила. У неё все страшное позади. Остались только тревоги: кто жив? Наладится ли жизнь?

Мы хотим оставить ей что-нибудь, как-то отблагодарить, но она ничего не берёт. Потом подходят ещё солдатки. Нас окружают. Мягко по-женски гладят погоны:

— А німці больше не прийдуть?

И потом бесконечные вопросы:

— Не чуяли Стеценку Ивана? Не чуяли Горобца? — это всё те, у кого сыновья, мужья либо ушли с нашими, либо пропали безвести (может, и живы?).

Нам давно пора уходить. Время прошло. Но и они и мы стосковались друг по другу, по людской теплоте, по добрым словам. Никому не хочется расставаться. Потом мы возвращаемся, обвешанные разной снедью. Ближе к станции начинаем тревожиться: не видно нашего состава. Действительно, он ушёл минут сорок назад. До следующего полустанка километров десять. Это час с небольшим хорошего ходу (бегом-шагом). Уже к вечеру взмокшие, но довольные мы появляемся у вагонов. Там идёт вечерняя перекличка:

— Свириденко!

— Я!

— Михайлов!

— Я!

...На тюфяках лежат полученные на нас офицерские доппайки и ужин.

Но как ни радостны такие встречи, их на нашем пути по Правобережной Украине было до обидного мало. Богаты здесь сёла, выросшие на тучных черноземах, но лихие годы коллективизации и раскулачивания, а затем войны, тяжело сказалось не только на достатке, но главное, на психике бывших крестьян, ставших в массе своей раздражительными, недоверчивыми.

На Правобережной Украине немцы были почти три года. Их «новый порядок» здесь обустроился капитальнее, чем где-либо. Может быть, сыграли свою роль существовавшие на юге Украины с давних времен немецкие поселения — колонии? А может быть, почти полное отсутствие партизанского движения? Но сначала по селам, а потом и на станциях, мы из «наших» постепенно превращались в «руських». У здешних матерей сыновья в начале войны служили в «руськой армии», а потом... по-разному: кто ушёл с русскими, кто остался дома, кого немцы расстреляли, повесили, кто добровольно уехал, а кого угнали в «німетчину», кто подался к партизанам, кто смирно работал на заводах, на железных дорогах (имел документы от немцев). На разговорах о власовцах, бандеровцах лежало «табу». Эти строчки нашей истории времён войны и современная официальная пропаганда пытается выжечь. Ведь кроме РОА (Русская освободительная армия) у немцев были и Украинская армия, и «дикие» дивизии, состоявшие из наших советских мусульман, латышские и прочие соединения, отчаянно воевавшие против советской власти. Но об этом я и сейчас-то знаю понаплышике, а тогда вовсе не ведал.

Мы идем вдоль деревни. За хорошо поставленным плетнем возвится молодуха:

— Эй, хозяйка, войти можно?

— Заходьте.

— Мы с поезда. У кого здесь в деревне можно купить молока, или выменять хлеба?

— У мене нічого нема. Діти малі.

Заходим в хату. Внутри все довольно «справное». Чувствуется недавний достаток. Из угла на нас с любопытством зыркают две пары черных глаз. Им интересно, но по-детски боязно вылезти наружу. Мать безучастна к нам, ни радости, ни отчужденности: усталая опустошенность. Вяло начинается разговор:

— Німци прийшли — корову забрали, росіяни прийшли — чоловіка забрали...

Кто из них — русские или немцы — причинили ей больше горя, искалечили так хорошо начавшуюся жизнь? И вот сейчас она, лишившись коровы, потом мужа, сидит перед нами со своим горем и малолетними детьми. Хорошо, что еще хату не спалили! Мы сидим за столом и за обе щеки уплетаем аппетитную картошку из чугунка и слушаем её горестные рассказы о жизни «под німцем». Мы не спрашиваем, кем был ее «чоловік» — законным мужем или примаком. Всем ясно, что он — один из тех, кто сбросив с себя в 1941 году советское солдатское обмундирование, здесь в хате долгих три года отсиживался за спиной женщины. Кто он — дезертир, предатель, либо просто ловкач-приспособленец, способный одинаково безбедно жить и при советской власти и при немцах? Мы молча киваем головой и лепечем успокоительные слова о том, что письма от мужа она еще получит, просто почта плохо работает. Она верит и не верит. А что ещё делать?

— А из Німетчіны письма быстро прибували, — говорит женщина.

— Ну, так то же из Германии, а у нас война!

Её «чоловік» был призван нашим полевым военкоматом месяца два-три назад и ушёл «чернорубашечником». Женщина легко и привычно произносит это слово, изобретённое немецкой пропагандой и запрещённое советской цензурой, поэтому сейчас уже совсем позабытое. С чернорубашечниками я заочно уже познакомился, встретив на бруствере траншеи немецкую листовку-пропуск для сдачи в плен:

— Рідні братя, українці! Чорнорубашечники! Росіяни гонят вас як скіт на убий під дулами своїх автоматів. Вам не довіряють нової зброї, не обучають современної війні, а також не дають обмундирования — все рівно смерть! Повертайте зброю протів ненависніх жидів-комісарів! Переходьте до нас. Тут ви зустрінете своїх істи-

ных друзів — борців за самостийну Україну, незалежну от Радянської тиранії...»

Направление на передовую чернорубашечников, то есть не обмундированных в военную форму призванных полевыми военкоматами и «непроверенных» украинцев, было вызвано разными обстоятельствами и, в первую очередь, большими потерями наших пехотных частей в кровопролитных наступательных боях десяти сталинских ударов сорок четвертого года.

А сейчас, чтобы было все ясно, я всё-таки, не отходя от основной темы, сделаю

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Как-то мне случайно попалась на глаза одна фраза, которая заставила задуматься. Ее приводит Е. Долматовский в своей «Зелёной браме» со ссылкой на Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко: «...лишь на территории СССР, подвергшейся оккупации, фашистские захватчики истребили и замучили 3.912.283 советских военнопленных» («Правда», 24.03.69). То есть почти 4 миллиона! А сколько их, бедолаг, погибло за границами СССР в бесчисленных немецких лагерях смерти? Сколько их работало на шахтах Рура, на немецких подземных и наземных заводах? Сколько разбежалось по домам? Сколько примаками жило при солдатках на оккупированной территории? Сколько ушло в партизаны? Я не удивлюсь, если узнаю, что общее число оставшихся под немцем мужчин призывного возраста составляло не менее 10 миллионов! Это равно двойной численности нашей действовавшей во время войны армии (в течение всей войны, как писал Г. К. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях», единовременно советская армия состояла из 5—6 миллионов человек).

Когда, где и почему эти 10 миллионов человек остались у немцев? Как жили они долгие годы войны? Как гибли? Такого анализа в нашей литературе я не встречал. Но одно могу уверенно сказать, что видел: в 1944 году, когда наши войска освобождали Украину, в украинских селах процент мужского населения призывного возраста был достаточно высок. **Именно эти мужики явились большим подспорьем, в ряде случаев, основой пополнения наших наступающих пехотных дивизий.** Крамольный вопрос: **Зачем немцы оставляли их нам?**

Вслед за пехотой в села входили полевые военкоматы. Собирали жителей и тут же, как мне рассказывали, мужчин отделяли от женщин, выдавали им винтовки и, кто в чем был одет, направляли вперёд, в наступающие цепи пехоты. Учить не надо. Основная

масса чернорубашечников состояла из бывших довоенных красноармейцев, по разнообразным, обычно не совсем праведным причинам, оказавшихся по другую сторону от нас. Сам Бог давал им право кровью смыть свое трехлетнее отсиживание в собственных хатах. Это право они реализовывали на глазах односельчан (естественно, под надзором наших солдат). Многие из чернорубашечников не успевали дойти до следующей деревни. Их хоронили родные и близкие.

Прожить всю войну, сохранить хозяйство, семью и погибнуть вот так, вдруг, когда близится конец этой проклятой войне! Для матерей, жен, детей эти смерти были страшны, как бы они ни казались справедливыми окружающим. И конечно, гибель односельчан не могла не вызвать непрязни к нам — русским (точнее, советским), **ибо приход нас, а не немцев, погубил их сыновей, мужей, отцов.**

Я никоим образом не хочу (и не могу) осуждать или оправдывать эти 10 миллионов мужчин. «Пути Господни неисповедимы», отмечу только, что сегодня на рубеже XX—XXI веков набирает силу оценка, приведенная в пространной статье полковника в отставке, участника ВОВ Т. Ибатуллина «Военнопленные. Трагедия, о которой предпочитают молчать» (Невское время, № 46, 47, 48, 49, октябрь—ноябрь 1998). Автор приходит к заключению, что «Наши советские воины, оказавшиеся в плену и в разных полувиенных образованиях на стороне Германии, а также в Русском освободительном движении, были трижды преданы своим же государством». В откликах на статью некто А. Булах, продолжая эту мысль, пишет: «Не военнопленные предали Родину, а Родина бросила их».

Просто и легко: ВИНОВАТА РОДИНА! А все 10 миллионов чохом — невинные ангелы! **Кто же она — эта РОДИНА?..**

Из Кировограда наш путь лежал через Новоукраинку на Вознесенск к югу, в сторону уже освобожденной Одессы. Сначала все шло беззаботно и хорошо, но вскоре сытая военная смерть-судьба цепко ухватилась за наши вагоны. Лениво, но когтисто-больно, она, как кошка мышек, хватала жертвы. На вечерней поверке не оказалось двух офицеров — оба подорвались на мине. Потом исчез еще один — его нашли убитым в посадке недалеко от станции. Троє пропали без вести... Начальство провело собрание...

НаПравобережной Украине в Побужье бродят банды, отдельные недобитые полицаи, старосты и прочие оставшиеся от немцев прихвостни, люто, безоговорочно ненавидящие нас, всю советскую власть.

Озверевшие и опустившиеся, безо всякой надежды на будущее, они скитаются по рощам, посадкам, таятся в хлевах, погребах, вымешая свою злобу на солдатах, на тех, кто радостно встречает Победу. Чем дальше на запад к фронту, тем их будет больше и больше...

Начальство строго-настрого под угрозой штрафбата запретило нам удаляться от станций, ходить по окрестным селам, общаться с местным населением.

Но какая сила может удержать вчерашних мальчишек от соблазна полазить по окопам, покопаться в брошенных землянках, чтобы стать обладателем настоящего «валтера», «парабеллума», «ГТ», немецкого автомата, а на худой конец карабина или винтовки? Мы вооружаемся. Ходим группами, обязательно имея при себе оружие. У меня появился автомат и два рожка с патронами. Правда, у автомата разбито ложе и не работает «очередь», но одиночными патронами он стреляет (я уже пробовал). Под медленный перестук колес я любовно чищу его и мажу солидолом...

На каком-то полустанке мы вернулись из очередного похода. Скоро отправление. Не спеша делимся впечатлениями... Вдруг...

За станцией пулеметная очередь, затем сразу с двух сторон застрочили немецкие автоматы. Из перелеска бежит наш офицер:

— Наши попали в засаду!

Никто ничего не знает, но: «Наших бьют!!!» Этот клич молнией летит по вагонам, и уже сыпятся из них офицеры, на ходу заряжая трофейное оружие. Я бегу, пригибаясь к земле, петляя от кустика к кусту. От станции до рощицы метров 200—300. Там лихорадочная стрельба. Отдельные пули на излете шмякаются рядом. Опушка. Первые деревья. Я падаю в траву за куст. Справа, слева от меня также прижались к земле наши. Мы беспорядочно стреляем в лес, в кусты, за которыми затаился враг. От состава к нам бежит майор со старшими офицерами — нашими сопровождающими. Они расстягиваются. Как прекратить все это, за что им придется дорого расплачиваться? Ни нас, ни тех, кто ушел в обход и ведет бой за рощей, уже не повернешь. Майор оставляет с нами помощника, а сам по канаве бежит влево вперед. На станции гудит паровоз, но нас уже это не касается: бой в разгаре. Там за рощей автоматные очереди слились в сплошной гул. Перед нами стрельба стихла, и мы начинаем короткими перебежками продвигаться через лесок, все время стреляя перед собой. Потом нам никто не отвечает, и мы идем в полный рост, время от времени пуская вперед автоматные очереди.

Роща небольшая. Вскоре мы выходим на противоположную опушку. Там, в глубоком заросшем кустарником овраге, снуют

наши. Мы бежим туда. Стрельба почти везде кончилась. В центре около десятка угрюмых небритых мужиков в цивильной одежде хмуро жмутся друг к другу. Большинство из них ранены, кровью залиты грязные ватники, штаны. Один сидит рядом, зажимая окровавленную голову, двое лежат на земле. Я с интересом рассматриваю их.

Говорят, у нас тоже есть убитые и раненые. Один из них с перевязанной рукой стоит здесь же. Нас много. Азарт настоящего боя еще не прошел. Потом все идут к поезду.

Начальство задумалось: с одной стороны, за нелегальное хранение оружия нам полагается военно-полевой суд, но, с другой стороны, что-то будет и самому начальству... Не знаю, как оно выходило из положения.

«Один длинный, два коротких»...

— По ваго-о-о-нам!

«Один длинный. Вперед!»

Мы еще долго не можем угомониться, наперебой хвастаясь перед теми, кто остался в вагоне. Наконец, сон властно затыкает неугомонные рты и слипает веки...

Первое мая началось празднично. Утро выдалось светлое, умытое. Кто-то «пустил утку», что по дороге будет дополнительный обед с мясом. В ожидании его одни лениво млечи на свалывшихся уже ватных тюфяках, другие, свесив ноги, сидели у распахнутой вагонной двери и смотрели на плывущие мимо весенние солнечные степи, не спеша выбирали цели и стреляли по ним из трофейных карабинов и автоматов. Кругом ровно, пусто, покойно. Лишь вагонные колеса осторожно, с опаской перестукивают на частых стыках.

Общее внимание привлекли сваленные у телеграфных столбов какие-то железные коробки. Кучи их высотою метров до полутора с перерывами тянулись вдоль дороги. Заспорили:

— Это мины такие.

— Не может быть.

— Может. Я сам видел.

Не помню, где в этот момент находился, но стрелял точно не я, а может быть даже не из нашего вагона (но потом обвинили нас). В общем, рванул мощный взрыв! Наш вагон будто подскочил вверх. Еще не успел он приземлиться, как мы посыпались наружу. За нашим вагоном (он был в середине) двигался только один. Остальные остались стоять. Гам, неразбериха. В результате разбора оказалось: кто-то выстрелил в кучу противотанковых мин, и вся куча громыхнула.

В нашем вагоне оказался только один легко раненый.

Такое происшествие нашему начальству уже нельзя было скрыть, и оно, проклиная нас всех, грозя показать, «где раки зимуют», снова стало думать. А придумало оно вот что.

На следующий день состав остановили в чистом поле. Нам всем было приказано выйти с вещмешками. Сопровождающая команда, оставив около нас охранение, пошла шуровать по вагонам. Оттуда с осторожностью выбрасывали все, включая тюфяки, и складывали в большую кучу метрах в трехстах от состава. Потом нас отвели в сторону, и сам майор осторожно сбоку зажег костер. Боеприпасы, спрятанные в тюфяках, начали рваться почти сразу, и майору пришлось перейти на бег. Вскоре вся куча грохотала от разрывов гранат, патронов.

Мы были почти полностью разоружены. Лишь у некоторых в глубокой тайне где-то хранились пистолеты. Для своего автомата я заранее выбрал тайник под рессорой (зачем же я работал паровозником?). Но начальство и здесь сумело нас перехитрить: все мы были перемешаны, рассажены по разным вагонам и предупреждены, что за нами установлено наблюдение, то есть подсажены «осведомители», и у кого найдут оружие — трибунал.

Спать на жестких нарах товарного вагона не очень комфортабельно, но конец пути был уже близок: узловая станция Березовка. Дальше железнодорожный путь восстановлен только в сторону Одессы, «но нам туда не надо». Наша дорога — «вперед, на запад!»

В Березовке нас моют, прожаривают, кормят, и мы последнюю ночь проводим в родных вагонах.

С утра следующего дня всех офицеров снабжают сухим пайком на двое суток, сортируют и строят в колонны. Наша колонна направляется в Плоское — в штаб 57-й армии (а может быть, III Украинского фронта, ибо для меня всю войну штабы армии и фронта были одинаково далеки).

Часов в семь мы выступаем. Этот поход мне запомнился очень. 90 километров от Березовки до Плоского мы прошли за полутора суток: вышли утром, а к вечеру следующего дня первые группы уже были на месте. Шли без общих остановок, растянувшись на многие километры. Вместе с нами почти всю дорогу шел дождь. В этом походе я впервые почувствовал нелегкую судьбу пехотинцев — касты вечных армейских изгоев.

90 километров без отдыха — многовато даже для молодых отдохнувших парней. Мы, промокшие и уставшие, ночью плетемся по обочине, а по центру грейдера один за другим, обдавая нас грязью и бензиновым перегаром, идут и идут «студера», «форды», таща за

собой технику. Между ними юрко мелькают «виллисы». Все, что можно было мобилизовать, день и ночь тянутся к фронту. На машинах под брезентовым пологом уютно пристроившись кемарят артиллеристы, связисты, штабисты, медики, тыловая служба аэродромов и прочая фронтовая «белая кость»...

— А ну, слазь!
— Куда цепляешься!
— Иди отсюда к...
— Проваливай, а то щас!..

Все это относится к нам, то есть к тем из нас, кто пытается приступиться, хоть немного проехать, чтобы согреться, унять боль в кровь натертых ногах...

— Не положено! Давай, топай!..

Почему они так несправедливо злы к пехоте? Ведь она, эта пехота, жертвенным слоем месит украинский чернозем впереди них?

От этого пути запомнился мне еще небольшой придорожный карьерчик, забитый трупами расстрелянных деревенских жителей, в основном, мужчин. Немцы, похоже, стреляли, прямо стоя на дороге. Потом убитых чуть забросали землей. Сейчас весенние дожди смыли землю. Ватники, брюки, сапоги местами лопнули по швам, ноги противоестественно разошлись в стороны. На обезображеных лицах из распухших ртов вылезли языки, кое у кого раскрылись глаза. И вся эта серая земляная масса, будто по живому смотревшая на нас через противную сетку холодного дождя, смердила безобразной вонью глубоко разложившегося человеческого мяса. Никто здесь не задерживался, но и никого это зрелище не оставляло безучастным.

Фронт приближался...

Я пришел в Плоское не первым, но и не последним. Самых последних подбирали на дороге санитарные машины.

В Плоском нас распределили по боевым подразделениям. Не знаю, учитывались ли при этом наши характеристики (в частности мои «вынужденные» походы на гауптвахту). Может быть, ибо я получил направление в 113 стрелковую дивизию, которая в штабах имела «подмоченную репутацию».

113 сд. формировалась осенью 1941 года как 5-я ополченческая Фрунзенского района Москвы (музей дивизии сегодня находится в Москве при школе-интернате № 14, ул. Усачева 52, метро «Спортивная»). Боевой путь московских ополченцев был суров и трагичен, а для пехотинцев — в основном короток. Большинство из них осталось «в белоснежных полях под Москвой». В последствии остатки дивизии, переименованной в 113 сд., ока-

зались под Сталинградом, откуда и начался ее длинный тысяча-километровый путь в составе различных фронтов южного фланга Советской Армии.

Боевые удачи обходили дивизию стороной. В то время, как соседи получали ордена и почетные наименования, к 113 дивизии фронтовые остряки приклеивали различные неблагозвучные, но к сожалению, часто справедливые названия, с которыми она пришла к Днестру.

«Засеверодонецкая» — в 1943 году дивизия убежала с Северодонецкого плацдарма, большой кровью захваченного другими частями на исходе Сталинградской битвы.

«Недоходяхарьковская» — наступая на Харьков, оказалась настолько измотанной, что ее пришлось вывести в тыл. «Харьковскими» стали другие дивизии.

«Вдольполтавская» — прошла Полтаву вторым эшелоном.

«Околокриворожская» — наступала на Кривой Рог, но, не сумев его взять «в лоб», ушла в обход. Брали Кривой Рог другие дивизии, за что получили наименование «Криворожских».

«Трижды малярийная» — малярия свирепствовала в пехоте, особенно, когда части оставаливались в болотистых плавнях Северного Донца, Южного Буга, Днестра.

«Непромокаемая» — ну, это и так ясно: столько раз «уплы-ваться» с плацдармов и каждый раз выходить «сухой из воды»!

Я появился в дивизии в «эпоху третьей молярки». К этому времени москвичи, если и сохранились в дивизии, то в ее тыловых подразделениях. В тяжелых наступательных боях пехотные батальоны пополнялись местными мужиками, к тому времени не отличавшимися «канкетной чистотой». На юге Украины это были преимущественно оставшиеся в оккупации бывшие советские солдаты.

В последующем я увижу, как через строевые части дивизии, долго не задерживаясь, пройдут одесские белобилетники, молдаване, белорусские партизаны, нацмены (казахи, таджики, узбеки) и, наконец, лагерники южногерманских концлагерей Дахау, Маутхаузен. Рассказы о них впереди.

Если следовать «законам военного времени», то большую часть пехотинцев дивизии, вероятно, следовало бы за пригрешения направить в штрафные батальоны, но пехоты катастрофически не хватало.

Штрафные батальоны были ДНОМ ФРОНТА. На дне находились пехотные части дивизий типа нашей 113. Строевые батальоны этих дивизий, по крайней мере в последний год войны, представ-

ляли собой те «мясорубки», через которые прошла большая часть пяти миллионов советских солдат, погибших на фронтах Отечественной войны.

Глава 2. ЗАДНЕСТРОВСКИЕ ПЛАЦДАРМЫ

Штаб 113 дивизии находился километрах в десяти от Днестра в селе Малоешты. Оттуда одиннадцать младших лейтенантов, вышли в свой путь на фронт в 1288 стрелковый полк. **Было это 9 мая 1944 года.**

Мы пошли на запад в сторону сильной канонады. Там все небо закрывали огромные тучи дыма, сквозь которые иногда прорывались языки пламени. Это горели прибрежные села Шерпень и Бутор. До них было километров 10—12.

Сразу же за Малоешты начинаются кукурузные поля и виноградники, рассеченные оврагами, вдоль и поперек разгороженные лесными полосами. Все посадки напичканы солдатами тыловых служб.

Наши попытки узнать, где находится штаб 1288 полка, безрезультатны — никто не знает, либо показывают в разные стороны. Мы выбираем дорогу сами. Она ведет прямо туда, где полнеба закрыто дымом, а земля рвется и корежится от разрывов. Это дорога на фронт, то есть на передовую, ибо фронт уже давно вокруг нас, и все те обозники, штабисты, артиллеристы, связисты, медики, с тревогой взирающие на запад из своих уютных землянок, зовут себя фронтовиками. Там огненный ад, там передовая, там пехота.

Стрелковые батальоны полка занимали оборону на правом — противоположном берегу Днестра на плацдарме у Шерпени. Штаб полка уже переправился на наш — левый берег. Искать его надо было в Буторе.

Уже на окраине Малоешты навстречу прошла первая группа мокрых, измазанных тиной и илом солдат, возбужденных, кучно державшихся около станкового пулемета. Следом проехали несколько подвод с ранеными. Сухо. Тепло. Ноги по щиколотку вязнут в дорожной пыли. Чуть в стороне из-за деревьев бьет наша артиллерия. Немцы отвечают ей.

Несмотря на обстрел, движение на дороге довольно интенсивное. Нас обгоняют виллисы со штабными офицерами, полевые кухни, подводы, тяжело груженые снарядными ящиками, ковы-

ляют на ухабах пустые медицинские полуторки, а навстречу все идут и идут одиночки, а то и небольшие группки полуодетых, растерянных солдат. Это те, кто бросив своих товарищ, либо оставшись в одиночестве на том берегу, сумел переплыть еще холодный, почти ледяной, быстрый Днестр. Большинство несет какое-нибудь оружие, ибо приди без оружия — трибунал. Их не задерживают. Загядотрядам дано указание не стрелять, а пропускать всех в тыл на сборные пункты. Здесь в тылу, где все кругом спокойно, прочно и никто даже не помышляет об отступлении (это не сорок первый год!), они «отходят» и уже стыдятся проявленной там трусости.

Чем дальше, тем больше бегущих солдат. Мы останавливаем группы.

— Где 1288 полк?

Они тупо смотрят на нас, потом под ноги: «Не знаем».

Вспоминается красочная картинка.

По дороге семенит старшина босиком, без штанов, в одной гимнастерке с гвардейским значком (значит, бежала не только наша дивизия), и тащит минометный ствол. Других выюков (плиты и двуноги) нет. Около него плотно держатся несколько солдат. Кто в кальсонах, кто без. На лицах странное, непонятное нам выражение отрешенности и потусторонности — это паника. Я с ней еще встречусь на Задунайских плацдармах, когда нас будут давить танки Гудериана. А сейчас мне это в новинку: как будто бы человек, а в тоже время — нет. Солдаты невменяемы. С упившимся алкоголиком проще найти контакт, чем с ними.

Через полтора часа мы сошли с дороги и устроились в тени деревьев перекусить. Достали фляги с водой, сухие пайки... Сзади за деревьями что-то угробнорыкнуло. Сразу же шум быстро и резко охватил посадку. Земля затряслась, из-за деревьев с ревом вырвались клубы дыма, огня. Потом что-то заскрежетало, и над нами низко, чуть не задевая за головы, с громом и свистом понеслись огненные хвостатые чурбаки. Все бросились прочь из посадки. Дымный ветер рвал листья на деревьях, трепал кусты. Я прижался к земле и цепко ухватился за комель какого-то дерева. Это рядом с нами «сыграли катюши» (дала залп батарея реактивной артиллерии).

Еще не рассеялся дым, а любопытство погнало меня на край посадки — посмотреть, что же будет там, за Днестром. На моих глазах на плацдарме стеной вставали огромные клубы дыма и огненные протуберанцы. Почти сразу оттуда пришел гул частых разрывов, перекрытый свистом осколков.

Одновременно за деревьями заурчали моторы, одна за другой мимо нас на дорогу выскакивали «катюши» — трехосные тяжелые

«студера» (американские студебеккеры со смонтированными на них ракетными установками). На полной скорости, практически на глазах у немцев, они уносились назад в сторону Малоешты, оставляя за собой ломаные деревья и... нас.

Вероятно, это был смелый залп, за который не один гвардейский минометчик получит награду...

Первые немецкие снаряды стали рваться в посадке, когда машины еще выходили на дорогу, но основной беглый огонь немецких батарей обрушился уже на пустую позицию, около которой беззаботно сидели мы. Это было хуже, чем обстрел в Ленинграде. Там стояли дома, были стены, подворотни, где можно спрятаться. А здесь кругом визжала и дергалась смерть. Она была сверху, сбоку... Только внизу находилась спасительная земля, жесткая, бугристая, но в тоже время желанная. Хотелось провалиться в нее, залезть в нору, спрятаться от несущих смерть осколков.

Кончилось все вдруг. Еще не веря в это, я осторожно приподнялся на локтях, привстал. Вокруг деревья разметаны по сторонам, многие стволы срезаны осколками. Ветви жалобно свисают с изуродованных стволов...

Постепенно мы, исцарапанные, обсыпанные землей, начали вылезать из своих укрытий. Со стороны дороги пришел наш однокашник с перебитой рукой. Он не плачет, не кричит, а просто жалобно и беспомощно смотрит вокруг на товарищей — простых деревенских мальчишек, робко окруживших его и может быть впервые столкнувшихся с такой болью. У меня за спиною незримо стоит ленинградская блокада: нет испуга, робости, страха перед окровавленным человеческим мясом с торчащей оттуда раздробленной костью. Странное чувство появляется только при виде живого серовато-белого с розовыми прожилками мозга. Вероятно, живой мозг может неслышно кричать о своей боли. Мертвый мозг смотрится совсем иначе.

Кого-то мутит, другие со страхом смотрят на меня. А я прикладываю кость к кости, запихиваю мясо под ошметки кожи и плотно бинтую руку с приложенными к ней палками.

Так мы усвоили одну из первых пехотных заповедей: **держись подальше от всего, что стреляет, гремит и вообще демаскирует тебя.**

Было далеко за полдень, когда мы, наконец, нашли штаб полка. Он помещался в бункере разбитого дома на окраине Бутора. На противоположном берегу был наш Шерпенский плацдарм.

Уже после войны в 1986 году в музее Славы Бутора я узнаю историю того злополучного дня.

Наша 113 стрелковая дивизия в апреле сорок четвертого года около Бутора вышла к Днестру и с ходу захватила Шерпенский плацдарм. 9 мая дивизия уходила с плацдарма, передавая его 5-й гвардейской армии II Украинского фронта. 5-я гвардейская — это героиня Сталинградской битвы, бывшая легендарная 62-я армия генерала Чуйкова, до Днестра не знавшая поражений. Но, «и на старуху бывает проруха». В ночь на 9 мая гвардейцы меняли солдат 113 сд, которые уходили на переправы к Бутору. Вот этот-то момент немцы и выбрали для ликвидации Шерпенского плацдарма. На рассвете немецкие самолеты разбили переправу, а их танки ворвались в Шерпень. Еще не освоившиеся с плацдармом гвардейцы побежали. Около разбитой переправы они перемешались с не переправившимися частями нашей дивизии. По этой почти не управляемой, перепуганной толпе немцы вели прицельный минометный и артиллерийский огонь. Кричали раненые. Обезумевшие солдаты — недавние крестьяне украинских сел, не умея плавать, бросались в Днestr. Поднялась паника. Командирам с трудом удалось собрать солдат и удержать немцев у береговых обрывов и в крайних домах Шерпени.

113 сд ушла с плацдарма, оставив там и в бурных водах весенне-го Днестра большую часть своих и так уже сильно потрепанных трех полков, тем самым нараспашку раскрыв вакансии для нас.

После короткой беседы в штабе полка троих из нашей группы (Веньку Юшина, Юрку Нурка и меня), имевших на погонах артиллерийские эмблемы (помните, вырезанные в свое время из консервной банки), направили командирами минометных взводов, остальных — в стрелковые роты.

«Сорочка» взяла меня за руку, я взял руку Веньки, и мы двинулись искать нашу военную судьбу — второй стрелковый батальон 1288 сп 113 сд.

Вечерело. Стрельба на том берегу стихала. Солдаты обеих сторон выдохлись. Мы долго плутали по посадкам, пока случайно не наткнулись на небольшую кучку молчаливых солдат, усердно выгребавших кашу из котелков. Это и было то, что осталось от второго батальона. «Сорочка» отошла в сторону, а мы с Венькой подсели к единственному оставшемуся в живых офицеру-минометчику Николаю. Всего здесь было человек 20—25 солдат и офицеров. (Не густо, если иметь в виду, что стрелковый батальон в военное время обычно имел 200—250 «штыков»). Из них 8 минометчиков: старшина, двое ездовых и вернувшиеся с того берега командир взвода с четырьмя солдатами. Вся материальная часть (минометы, карабины, телефоны и пр.) остались там,

или, как официально значилось, утонули при переправе. Легко сосчитать: потери минометной роты по сравнению со средними по батальону минимальные. Минометная рота — это одно из самых «безопасных» (если такое слово вообще применимо к пехоте) подразделений пехотного батальона.

Фронтовой солдатский эпос не жаловал минометчиков: «В яме сидит и яму роет». И в этом была «сермяжная правда». Минометы по своей конструкции, как и древние мортиры, могут вести только навесной огонь. На прямую наводку миномет, если и захочешь, не поставишь. Ствол миномета (труба) при стрельбе должен быть поднят кверху не менее, чем на 45 градусов. В противном случае мина застрянет в нем. Минометчики не только прячутся в оврагах или за домами, но и роют там свои глубокие окопы. Минометная позиция, хорошо выбранная и выкопанная по всем правилам фортификации, мало уязвима для любых видов огня противника. Правда, не всегда и везде все делали так, как надо (как нас учили). Несмотря на справедливость очевидных истин, и солдаты, и офицеры слишком часто надеялись на «русский авось», что дорого обходилось многим из них. Но ведь все мы были молоды и легко теряли боевых товарищей, совершенно не думая о том, что следующим можешь быть ты.

И раз я заговорил на эту тему, то

КОРОТКИЙ ЛИКБЕЗ

Максимальная дальность стрельбы батальонного миномета 3 км 100 м, минимальная — любая, ибо можно ствол руками держать вертикально, и мина, теоретически, вернется назад в него (правда, никто не проверял). Обычно же мы стреляли на расстояние один-два километра, то есть минометы стояли непосредственно за боевыми порядками пехоты. Немцам ничего не стоило нанести на карту местоположение нашей боевой позиции, но точно попасть в минометный окоп, а особенно в щель для укрытия расчета не так-то просто.

Из этого ликбеза должно быть понятно, почему многие солдаты, возвращавшиеся из госпиталей, называли себя «минометчиками с утерянными документами». Иными словами, в минометных ротах подбирался контингент, состоящий из тех, у кого не хватило сноровки, а иногда и совести, осесть где-нибудь в тылу по дороге в пехоту, но все же сумел не попасть в стрелки.

Мы подошли к командиру взвода младшему лейтенанту Николаю, представились. Николай встретил нас как-то безразлично,

устало и хмуро. Оказалось, что верховодит в роте не он, а старшина — уже пожилой, но очень расторопный усатый хохол. Именно он поставил нас на довольствие и сказал, что старый командир роты убит на КП (командный пункт), а сейчас уже назначен новый — старший лейтенант Булганов, который вот-вот должен появиться.

Нас накормили. Мы залезли в кусты и из подсобного материала устроили себе там царские аппартаменты. Фронтовая жизнь поначалу складывалась совсем неплохо, по крайней мере, для нас.

Всю ночь плацдарм полыхал. Там никак не могли угомониться ни наши, ни немцы. Огненные сполохи зловеще отсвечивали от пришедших невесть откуда облаков. Испуганно строчили автоматы, чавкали бродячие минометы, изредка ухали тяжелые снаряды, в черном небе то там, то здесь стрекотали «ночные разбойники» — то ли наши «кукурузники», то ли немецкие «рамы» или «костыли». Над избитой окровавленной землей одна за другой зависали осветительные ракеты, распуская вокруг неровный мертвенно-бледный свет.

С вечера в роте назначили ночное дежурство, ибо до Днестра было рукой подать. Наряд состоял из двух человек: офицера и солдата. Не знаю, какой наряд уснул первым, но к утру вся рота спала безмятежным сном праведников.

Нас с Венькой свежее росистое солнце разбудило довольно поздно, с трудом протиснув лучи в наше дырявое жилье. Кругом стояла блаженная тишина. Ничто не напоминало о вчерашнем дне.

Оказывается, ночью спали не все. Сбежавшие с того берега солдаты уже где-то раздобыли (читай: украли) миномет. Прицела, правда, на нем не было. Потом появились карабины. Судя по тому, как солдаты прятали их, все оружие было добыто не совсем честным путем у беззаботных тыловиков: им это оружие было ни к чему.

В полдень появился Булганов. Я был назначен командиром первого взвода, Венька — второго, а Николай — третьего. Таким образом, офицерский состав оказался полностью укомплектованным. О нас с Венькой читатель уже знает, а Николай — «минометчик без образования», иначе, бывший пехотинец, пристроившийся когда-то к минометной роте. Он был тихий беззлобный крестьянин, но... неспособный овладеть даже минимумом артиллерийской науки, необходимым в минометах. Николай сторонился нас, салагжат, еще не нюхавших пороха, но исподтишка прислушивался и старался копировать уставные команды, отскакивавшие от наших зубов.

Началась фронтовая жизнь. Правда, еще не совсем фронтовая, так как мы находились во втором эшелоне на переформировке. Это

означало, что и кормили нас по «второй норме», ни спирта, ни водки не давали, но немецкие снаряды иногда к нам залетали. Мы с Венькой и Николаем приступили к занятиям по боевой подготовке с нашими взводами. А тем временем Булганов со старшиной целыми днями пропадали в штабе батальона, в полку, доставая материальную часть и пополнение.

ПОПОЛНЕНИЕ СОРОК ЧЕТВЁРТОГО

Все те, кто в сорок первом году добровольно рвались на фронт, получили каждый свое: кто лег в братские могилы, кто гнил в немецких концлагерях, кто слонялся по госпиталям, либо, познав, почём фунт лиха, тянул фронтовую лямку в других, уже прифронтовых частях за спиной у пехоты. За весь фронтовой год вокруг себя в пехоте я не встречал ни одного московского ветерана дивизии. Может быть, да и наверное, в дивизии они были, но не в пехотных частях. Я глубоко убежден, что те, кто сейчас в газетах, на радио и телевидении говорит, будто «прошел от Сталинграда до Берлина», или, тем более, «от довоенной границы...», лгут. «От Сталинграда до Берлина» можно было проехать в хозяйственных обозах, в войсках ПВО, штабах, обслуже аэродромов, наконец, в танковых, артиллерийских частях и пр. и пр., но не пройти в наступавших пехотных ротах.

Кто же попадал в пехоту сорок четвертого года?

Первая категория — уже шедший на фронт 26-й год. С высоты наших восемнадцати-девятнадцати лет эти юнцы нам казались желторотыми птенцами. Среди них можно было встретить смышленых ребят — комсомольцев, хорошо говоривших по-русски и способных быстро овладеть премудростями артиллерийской стрельбы. Особенно важно было подобрать наводчиков. Ведь в конечном счете, от того, как правильно наводчик выполнит команду стреляющего офицера, зависит куда полетит мина: к немцам или к своим.

Вторая категория — тоже не очень многочисленная, состояла из солдат, возвращавшихся из госпиталей. Здесь нам доставалось то, что прошло через тыловые сита штабов, разведчиков, хозрот и бесконечных тыловых прифронтовых служб. К нам могли попасть только те, кто не сумел правдами и неправдами зацепиться там, в широкой прифронтовой полосе: в тылах фронтов, корпусов, армий и дивизий.

Правда, уже в то время я слышал такую фронтовую присказку (не знаю, было ли так на самом деле, но сколько бы ее ни рассказывали в пехоте, она всегда вызывала одобрительный смех):

Командир дивизии, выросший в пехоте, принимает пополнение:

— Писаря есть? Два шага вперед!

— Сапожники есть? Два шага вперед!

— Повара есть? Два шага вперед!

— Нале-во! В пехоту — шагом марш! Остальным оставаться!

Основу нашего практических вновь формируемого батальона составляла **третья категория** — крестьяне и поселковые жители Одесской области, естественно, бывшие в оккупации, а потом тем или иным способом избежавшие полевых военкоматов, о которых я уже говорил раньше. Вероятно, полевые военкоматы довольно щедро раздавали «белые билеты» старикам (старше сорока лет), полубольным, калекам и прочим. Сейчас же подбирали все, что можно.

Одесская область, как мне кажется, в войну не очень страдала. В 1941 году немцы прошли ее «с ходу», практически не встречая сопротивления. Партизаны обходили область стороной. Сама Одесса как в прошлом была, так и оставалась в войну инородным интернациональным телом. Там жили одесситы — своеобразное племя, говорившее на своем языке и жившее по своим законам, по-своему реагирующее на войну, на немцев. Наши крестьяне в большинстве только пона слышке знали о лютых зверствах немцев. Вид крови, страданий, увечий приводил их в беспомощное замешательство.

В мой взвод попало несколько молодых сметливых пареньков. На должность помкомвзвода из госпиталя пришел толстый и кренастый бывший бухгалтер, бравый на вид старший сержант Воробьев. Прислали нам и троих русских «проверенных» бывших кадровых солдат-артиллеристов, войну прокантавшихся у полов солдатских вдовушек. Вообще-то таких в минометчики не брали — их прямой путь в стрелковые роты, но нам позарез нужны были наводчики. Все остальные номера минометных расчетов были те самые хитроватые, себе на уме хохлы Одесской области. Большинство из них годилось мне если не в деды, так в отцы (рождения прошлого века). Запрячь лошадь, починить телегу, заплатить ботинки, в общем, «хозяинувати» — это они могли. Но стрелять из карабина, встать у миномета и вести огонь — нет.

Я с любопытством смотрю на них, а будущие минометчики из кустов с опаской поглядывают на минометные вышки, осторожно по команде старшины переставляют ящики с минами...

О взаимоотношениях с солдатами, к сожалению, сейчас я ничего сказать не могу. Как они ко мне относились? Как я к ним? Помню только, как старички в нахлобученных шинелях рассажи-

вались кучками и о чем-то долго говорили на своем, еще непонятном мне языке. А потом пели тягучие и ласковые украинские песни. Да и что могло быть общего между городским русским мальчишкой-комсомольцем-командиром и украинскими старичками-крестьянами, три года бывшими в оккупации, а до того прошедшими суровые испытания продразверстки, коллективизации и пр.

Потянулись безликие, размытые в памяти дни учебы во втором эшелоне.

Утром после завтрака команда: «Выходи строиться на занятия!» Я вывожу взвод на край посадки. Солдаты устанавливают миномет в вырытый ранее окоп и начинается набившая оскомину «учебная стрельба»:

— По основному, выставить вехи!

Согласно древнему солдатскому принципу («лежи, три года одно и тоже, одним патроном, заряжай!»), я повторяю изо дня в день устройство прицела. Почему можно целиться назад, а стрелять вперед, снова (который раз!) делю горизонт на шесть тысяч малых артиллерийских делений... и вижу девственную чистоту прищуренных карих глаз стоящих вокруг крестьян. Мне 19 лет и я не знаю, что делать.

Перед обедом на голодный желудок — два часа тактики: «Действия бойца в наступлении». Я показываю, как надо делать перебежки, броски, падать на землю и сразу малой саперной лопаткой копать окопчик. Старички копают лениво, вяло: сколько их поплатится за это своими жизнями! Потом всем взводом мы «наступаем», врываемся во «вражеские» окопы, колем штыком, бьем прикладом. Я с отчаяньем смотрю, как неумело поворачиваются старички в окопах, и с крестьянским усердием тычут штыком в воображаемого противника — немцы только бы вас и дожидались!

Часов у нас еще нет, а солнце будто застрияло на небе. Мне все это надоело уже давно, а солдатам еще раньше. Наконец, радостный крик:

— Кухня едет!

— Строиться на обед! — и мы быстрым шагом идём домой.

— Подтянуться! Идти в ногу!

Я иду сбоку. Вдруг из колонны выскакивает солдат и бросается под куст. Я, не понимая в чем дело, бегу за ним.

— Сынок, сынок, не подходи к нему! У него падучая! — кричит мне солдат из строя. В нерешительности я останавливаюсь. Передо мной в судорогах корчится человек, неестественно выгибая ноги и шею. К нему подбегают два земляка:

— Мы догоним! — я веду взвод дальше.

ПРОШЛА НЕДЕЛЯ, А МОЖЕТ БЫТЬ И ДВЕ

Наконец, приказ: «Выступить на передовую». Наш полк сменял часть, занимавшую оборону по левому берегу Днестра в селе Спэя. В тот же день все старшие офицеры, включая командиров рот, побывали в селе, познакомились с обстановкой и детально оговорили порядок смены. Наша минометная рота должна была занять позиции за домами, расположеннымными на краю высокой террасы. С крыш домов хорошо просматривался противоположный низменный, поросший кустарником берег, где сидели немецкие снайперы. До них было метров 300—400.

Смена частей происходила ночью. На подходе к селу нас задержали штабные автоматчики. Приказ: «Дать связных из сменяемой нами роты». Булганов ушел в штаб полка.

Сначала мы ждали спокойно. Потом вдруг ни с того, ни с сего, в середине села раздались взрывы, над крышами поднялось зарево. Мимо пробежала группа штабных солдат. От них мы узнали, что при смене штабов немецкиеочные самолеты забросали штаб полка бомбами. Все убиты. Пока не поздно, надо смыться. Пехоты впереди нет, а немцы переправляются через Днестр. Солдаты скрылись...

Как назло, на небо выползли тучи. Кругом непролазная темень и в ней на фоне близких всполохов чернеют чужие молдавские дома с пустыми глазницами выбитых стекол. Вокруг никого. Я командир 1-го взвода. Если Булганов убит, то мне надо принимать командование и вести роту. Куда? Либо вперед, где уже нет пехоты, а в домах засели переправившиеся с того берега фашисты, то есть на верную смерть, либо уходить назад, где заседает военный трибунал: за оставление позиции без приказа — расстрел. («Налево пойдешь — голову потеряешь, направо пойдешь — ...»).

К тому же мой приказ должна беспрекословно выполнить вся рота, а какой старик-крестьянин вручит свою жизнь тощему несмышленому пацану, который испуганно и растерянно сидит здесь среди них? Венька и Николай топчутся рядом. Мимо нас за яблонями кучками размытых теней торопливо мелькают солдаты. Может, немцы? А если наши, то какого полка? Я беру солдата, мы заряжаем карабины и уходим искать штаб, начальство. Все должны нас ждать на этом месте.

Сначала я иду на горящий дом, держа карабин наготове. Потом забрасываю его за спину: кругом наши! Я кого-то встречаю, комуто докладываю, мне приказывают, меня посылают... и, наконец, в левой стороне села нахожу ту самую минометную роту, которую

мы должны сменять. Булганов уже там. Раскрасневшийся, он сидит на пуховых подушках, брошенных прямо на земляной пол, и взахлеб рассказывает, что было в штабе во время бомбейки. В руках у Булганова литровая кружка с вином. Он протягивает ее мне:

— На, пей!

Я неумело, двумя руками беру кружку... В жизни я еще никогда не пил вина. То есть, одно далекое воспоминание было. Еще задолго до войны мама принесла с Ситного рынка литр бочечного грузинского вина и по совету соседей кипятила его с сахаром на какой-то праздник. Бабушка говорила, что таким вином причащаются. Мне мама тогда дала попробовать из чайной ложечки. Было очень вкусно.

Предвкушая густой сладкий аромат маминого «церковного» вина, я храбро глотнул... Тьфу, мерзкая кислятина! С трудом давляя неприязнь, пытаюсь пить до конца... кашляю... надо мной смеются... «Давай, давай, еще нальем!...» Подходят солдаты роты с подводами, радуются винной бочке... Я незаметно скрываюсь в бункере. Солдаты сменяемой роты торопятся: надо затемно уйти, а майские ночи коротки и в Молдавии. Сзади за домами уже начинает сквозь тучи светиться восток.

Мы занимаем два дома. Минометные окопы вырыты рядом в огороде. Солдаты наскоро устанавливают минометы. Командиры уходящих взводов передают нам ориентиры. Я пытаюсь что-то нанести на карту, но противно кружится голова, меня мутит, хочется поскорее залезть в бункер... сон.

На следующий день мы проснулись, когда солнце уже вовсю сушило лужи ночного дождя. Голова трещала. Под злые окрики Булганова солдаты, почёсываясь, вылезали на свет Божий. Чесался и я. Кто-то довольно быстро ползal у меня в штанах, потом останавливался и зло кусал. Это определённо не вошь. Первое подозрение падало на муравья. Я принялся за охоту. Оказалась блоха! Бункер, заваленный ещё во время апрельских холодов пуховыми подушками и одеялами, буквально кишел блохами. Читатель, конечно, может улыбаться, но нам было не до смеха. Представьте себе, блоха более или мене свободно внутри галифе допрыгала до колена и упорно лезет ниже, затем кусает твою икру. Ты, естественно, зол и возмущен. Но ведь напрямую до блохи — кирза сапога, галифе и кальсоны. Двигаясь обходным путем, ты засовываешь руку в голенище сапога и шуруешь там. Но блоха крепкая и ей ни-почем твое чесание. Чтобы поймать блоху, путь только один: надо снять сапоги, спустить далеко ниже колен галифе, потом кальсоны и, оставшись на виду у солдат в чем мать родила, искать блоху: только она тебя и дожидалась!

От этой недолгой жизни в деревне на передовой (передке) в обороне у меня ярче всего в памяти сохранились эти блохи. От них не было никакого спасения, блошиный бункер был единственным надежным убежищем от немецких снайперов и дежурных батарей. Это мы познали уже на следующую ночь.

Весь первый день солдаты обживали новое место: чистили ходы сообщения, миномётные окопы, обновили щель-уборную. Я вместе с наводчиками возился около миномётов. Надо было по карте выверить цели, увидеть их «в натуре» с НП (наблюдательного пункта), оборудованного на крыше, установить ориентиры и пр. Но самое главное, на завтра был назначен мой «выход». Дело в том, что в обороне не рекомендуется стрелять с основной позиции. Её легко засечёт противник. Обычно создаются ложные, временные и другие позиции. Иногда в них устанавливаются деревянные муляжи-миномёты, которые самолёты-разведчики принимают за настоящие и корректируют на них огонь немецких батарей. Чтобы такие позиции считались «живыми», с них иногда ведётся огонь. Для этого боевое отделение (шесть солдат) забирает миномёт, бродит с ним по деревне вдоль передовой и из укромных ямок стреляет. С таким «блуждающим» миномётом, как правило, уходил один командир взвода. Я заранее присмотрел возможные места установки миномёта, скрытые подходы к ним, лазал по крышам: видны ли немцы? День пролетел быстро. Поскольку вставать надо было рано, то я лёг спать сразу после ужина. Остальные солдаты, подогретые остатками вина, еще вовсю колобродили, отнюдь не собираясь устраиваться на ночлег.

Проснулся я среди ночи непонятно от чего: то ли от блох, то ли от громкого оживления и смеха. В бункере никто не спал. На винной бочке коптила солидоловая плошка. От нее по стенам скакали причудливые тени солдат, старательно выскусрбавших что-то из ведер. Я, естественно, подошёл. Ведра уже были полупусты. По их стенкам, а то и просто по полу, ползали измазанные мёдом пчелы. Оказывается, старшина еще днем приметил где-то пасеку, и вот ночью грубо, по-медвежьи, разграбил ее.

— Лейтенант, давай!

И я «давал». Соты, оставшиеся на дне, хоть и плавали в мёде, но почему-то были кислыми и невкусными. Как мы потом поняли, это был не мед, а личинки, но все ели всё и подряд, пугая блох и разгоняя пчел. Вакханалия продолжалась далеко за полночь.

Когда вёдра были до конца вычищены, солдаты, хмельные и сытые, разбрелись кто куда. Многие ушли спать под навес, задымили на сон «козы ножки», не особенно заботясь о светомаски-

ровке. Может быть, это было причиной, а, может быть, и что-то другое (я потом расскажу), но вдруг во дворе рвануло так, что наш бункер будто подскочил кверху, а на землю посыпались остатки оконных стекол. Хмель выскочил из головы. Все затаились. И в этой предрассветной тишине на улице тонко и утробно завыл солдат. От его голоса стало жутко и по спине поползли мурашки.

Я нехотя выбрался наружу. Там уже стояли Булганов и Венька, рядом сидел раненый. Начинался рассвет. Солдат, тот, что выл, вскоре затих и умер. Пришла санитарная подвода. Покойника и раненого отправили в тыл, а мы, нагруженные миномётными выюками и связками мин, пошли «блуждать».

Моя первая цель — дом с трубой на другом берегу Днестра. Из-за дома изредка появляется дым — там люди (может быть, немецкая кухня). Стрельба прошла успешно. В бинокль, который на время дал мне Булганов, я видел дымки разрывов мин. Это позволило мне со спокойной совестью написать: цель поражена. Поставить цифру убитых при этом фашистов мне ещё не хватило наглости (то есть, совесть не позволила). Это за меня сделают тыловые писари, когда будут посыпать в штаб, а далее в газеты, сводки о потерях немцев.

Немцы на наш огонь не ответили. Мы оставили миномёт за сарапем, выставили часового и ушли в бункер. Время уже шло к обеду. Послали на кухню трёх солдат с котелками. При выходе за ограду дома их обстреляли немцы. Солдаты вернулись другой стороной, через огороды. Мы спокойно поели каши с мясом, достали воды.

После обеда все легли отдохнуть, а я с командиром отделения отправился на поиски новой позиции. Мне понравилось укромное местечко метрах в трехстах от старой позиции. Командир отделения вернулся назад за миномётом, а я полез на чердак, аккуратно вынул там одну черепицу и стал присматриваться к целям, обозначенным на карте.

Через некоторое время с нашей позиции дважды «чавкнул» миномёт, и вслед за этим минуты через три-четыре из-за Днестра завизжали мины. Немцы беглым огнем без пристрелки накрыли наш миномёт. Я бросился туда. Навстречу уже бежал командир отделения. Оказывается, солдаты вместе с ним, расхрабрившись, решили перед уходом дать немцам салют и... получили ответ!

Осторожно, прячась за укрытиями, мы подошли к дому. В бункере сидели два наших солдата, держа на коленях связки мин. Ещё двое с двуногой и плитой убежали в роту. Перед домом с отброшенной в сторону миномётной трубой весь в крови лежал уби-

тый — мой лучший наводчик! Мы уложили труп на плащпалатку и волоком, на коленях, а потом в полный рост за домами понесли его в роту.

До темноты труп лежал под кустом около уборной и вчерашние пчелы ползали по его мёртвому лицу, собирая остатки украшенного у них мёда.

Вечером офицеров собрал Булганов и увел в пустой сарай:

— Вы, что ж, ...?! За один день мы потеряли 10 % личного состава роты! Если так пойдет, то через 10 дней никого не останется! Это в легкой-то обороне, вдали от противника! А что будет в наступлении..

Хотя два солдата были не из моего взвода, а в смерти наводчика я как будто не был виновен, больше всех досталось мне:

— Запомни, младший лейтенант, еще один такой выход, и разжалую в рядовые!

Солдаты все слышали и косились на меня, как на виновника гибели своих земляков. На душе было так муторно и противно, как никогда в жизни.

На следующий день со своим отделением ушел Венька, забрав и moi оставшиеся шесть мин. Его долго не было. Булганов ходил злой и все время прислушивался к стрельбе. Но узнать по выстрелам наш миномет среди непрекращающейся с обеих сторон ленивой стрельбы было невозможно.

Смеркалось. Идти искать некуда. Звонить в батальон и сообщать о потере отделения — позорно. Наконец, появился Венькин солдат, а за ним и все отделение — целёхонькое и навеселе. Они просто заблудились в незнакомом селе. Попали сначала к артиллеристам, а потом к каким-то обозникам, которые «потчевали» наших «блуждателей» вином и курами. Булганов кипел и обещал донести на Веньку политику, на что Венька ему ответил... (до армии Венька окончил 10 классов и уже разбирался в марксизме-ленинизме). Кругом были солдаты, и скора ушла вглубь.

На третий день ушел Николай... Булганову явно не повезло с командирами взводов, ибо вскоре позвонил комбат и так матерился в трубку, что было слышно на весь бункер. Оказалось, Николай три мины пустил по своим. Правда, убитых не было. Так мы учились.

Постепенно наша жизнь выбивала свою колею и медленно, без особых треволнений, катилась по ней. В обороне на нашем берегу Днестра мыостояли дней пятнадцать-двадцать. Однажды, это было уже в начале июня, Булганов к обеду вернулся из штаба и сказал, что ночью нас сменят.

Собраться недолго. Наши бункеры были пусты (блошиные подушки мы давно выбросили и сожгли). Правда, вещмешки у многих солдат оказались весьма тяжелыми. Их долго и аккуратно грузили на подводы, перекладывая сеном, чтобы не побилось и не поломалось добро, собранное по брошенным домам.

Судя по тому, что всю следующую ночь немцы вели себя тихо, им никто не сумел сообщить о смене частей.

На наше место новые минометчики пришли только под утро. Их было в два раза меньше. Занимаемый нами участок обороны передавался II Украинскому фронту, который ранее начинался только где-то у Григорполя, то есть километрах в двадцати-тридцати от нас к северу.

Куда нас отвели с передовой, я уже не помню, но по тому, что было с нами, отвели довольно далеко в тыл, километров за десять-пятнадцать.

Перво-наперво всех послали в баню — настоящую, со стационарной вошебойкой. Потом разместили по палаткам, и, кажется, выдали одеяла. Часа через два по сигналу трубы, мы направились на обед и чинно, не корчась, сели за столы, а с обеда прямо на концерт, который здесь же на лужайке давала дивизионная агитбригада. Бригада состояла человек из восьми. Они пели, танцевали, разыгрывали маленькие агитсценки. Сидя на траве, мы все с азартом смеялись над незадачливыми фрицами, от пуль которых только вчера прятались, и веселыми солдатскими частушками, свежими и злободневными:

«...Антонеску дал приказ:
Всем румынам на Кавказ!
А румыны ласы - ласы,
На каруцу и акасы...»

Удивительно, но пришедшие в нашу часть молдаване сразу внесли во фронтовой язык (и в язык агитбригады) много своих слов, которые мы приняли как свои собственные: «каруца» — телега, «акасы» — домой.

После концерта — лавка военторга, около которой мы толпились, как туземцы XVI века у европейского корабля.

Я пытаюсь вспомнить, были ли у нас деньги? Что, как и сколько мы получали? Выдавали ли нам зарплату? Не ручаюсь за точность, но младший лейтенант в тылу получал 600 рублей. На фронте к ним добавлялись 50 % фронтовых. Были ещё 25 % гвардейских, 25 % противотанковых, и наверное, ещё какие-то другие

надбавки, но я их не получал. Это все плюс. Минусом были подоходный налог и заём. На заём добровольно («добровольно-принудительно») мы подписывались «на всю катушку», то есть на два месячных оклада. Сразу же, как я только поехал на фронт, оформил всю свою зарплату на маму. Это называлось: «мама получала за меня по аттестату» (идёт аттестат — сын жив).

На следующий тыловой день — построение всей дивизии. Полки плотно и кучно собраны на поляне вокруг трибуны (микрофонов ведь нет!). На трибуну неторопливо поднимается начальство. Начинаются речи. Я хорошо запомнил выступление какого-то политического руководителя. Очень темпераментно он стремился поднять дух солдат, возбудить их на ратные подвиги. Политрук призывал перечеркнуть все прошлое (как будто оно у нас, у пехоты, было) и начать новый отсчет времени, новую жизнь дивизии.

Одних речей и концерта для поднятия духа разношёрстных и разнонациональных пехотных батальонов нашей дивизии кому-то показалось мало. На следующий день в назидание на будущее перед строем дивизии был организован

«ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ» РАССТРЕЛ ДЕЗЕРТИРОВ

Сейчас в 75 лет, вспоминая прошлое, я смотрю на это «представление» другими глазами, невольно анализируя помыслы командования.

Посудите сами. Украинцы и молдаване, собранные по соседним сёлам, попали в руки русских командиров, за спиной у которых тяжёлая ноша трех лет жестокой войны, голода, лишений, смертей. Вряд ли можно было ожидать от них ласки, заботы и приветливого отношения к чуждым им по духу новобранцам. Суровая армейская дисциплина, непонятный чужой язык, постоянные укоры, издёвки, насмешки («Эй, мамалыга, куда пошел?») особенно травмировали молдаван. К этому добавлялась и активная, более гибкая, чем наша, немецко-румынская пропаганда, ведшаяся на их родном языке. Немцы не скучились на посулы и обещания, хвастливо кричали о неприступности «днестровского вала», о скорой гибели «жидовско-большевикской нечисти», а Антонеску всё ещё был «вечным другом Гитлера».

Дезертиры были, и, наверное, немало. Скороспелые новобранцы бежали в свои сёла, прятались в подвалах, на сеновалах. Их вылавливали, расстреливали, отправляли в штрафбаты, но искоренить дезертирство было также трудно, как сегодня наркоманию, прости-

туцию. Бежали не только назад. Некоторые, переплывая Днестр, уходили в Румынию. Для их отлова по Днестру стояли наши заградотряды. А ведь командование предполагало отправить нас за заградотряды, за Днестр, на плацдарм, где окопы обеих сторон почти соединялись друг с другом и перебежать из одного в другой каких-нибудь 20—30 метров ничего не стоило.

Расстрелять должны были двух совсем молоденьких, недавно мобилизованных пацанят. Они убежали из нашей части сразу, как только мы пришли в тыл. Первой же ночью пацанята решили переплыть Днестр, но заблудились в плавнях и наткнулись на боевое охранение. По глупости они приняли наших за немцев и предъявили им листовки-пропуска на румынском языке.

Жаркий июньский полдень. Полки дивизии построены в полукаре, широко открытое в степь. На выходе — маленький столик, покрытый красной скатертью. Вокруг толпятся офицеры. На многих из них узкие погонычики юристов, вероятно, членов военно-полевого суда. Команды: «Равняйсь! Смирно! Вольно!»

Выступает кто-то из политработников. Он говорит громко, почти кричит, но его голоса на всю дивизию не хватает. Мы стоим далеко, и порывы ветра доносят до нас только обрывки фраз. Потом военно-полевой суд как-то буднично занимает свои места. В окружении молодцеватых автоматчиков приводят дезертиров. Они нам еле видны — маленькие и тщедушные, с какой-то заискивающе-испуганной застывшей на лице улыбкой. А может, это просто губы самопроизвольно разошлись в разные стороны. Пилотки, ремни и обмотки с них уже сняты. Неподалеку от столика двое солдат в расстегнутых гимнастёрках копают яму — там их будут закапывать.

Издали мы только видим процедуру суда. Пацанам-дезертирам задают вопросы. Они заискивающе пригибаются, то ли плачут, то ли не понимают, чего от них хотят. Подходит толмач (переводчик). Потом оба начинают, перебивая друг друга, что-то быстро-быстро лепетать по-своему. Их никто не слушает, и не только потому, что не понимают молдавского языка, а просто всё заранее предрешено. Расстрел показательный, и если бы даже они были правы, то и тогда ничего изменить нельзя. Отделение проинструктированных автоматчиков толпится рядом. Уже обед — а это для солдат святое время.

Офицер зачитывает приговор. «...Приговор привести в исполнение». Кто-то срывает с пацанов погоны. Им завязывают глаза и ставят на край уже готовой ямы. Они вроде тихо скулят и не сопротивляются. Раздаётся команда: «По изменникам Родине, огонь!»

Короткие автоматные очереди, и оба падают на бурую еще влажную землю отвала. К трупам кто-то подходит, пинает их ногами — мертвые, можно закапывать. Командует самим расстрелом молодой офицерик с армейскими строевыми погонами — вероятно, дежурный по дивизии. Меня все это не очень волнует, ибо жизнь и поступки этих молдавских пацанов не укладываются в мои представления о морали. Уж кем-кем, а дезертиром и изменником Родине я не буду. Другое дело — старики-солдаты. Они ведут себя по-разному, но все иначе, чем я. Большинство жалеет расстрелянных пацанов. Ведь как-никак — земляки. Они испуганно жмутся друг к другу, отворачиваются и так стоят, пока яму не сравнивают с землей — о изменниках Родине не должно оставаться никакой памяти.

Нас разводят по палаткам. Что будет дальше никто не знает. Темнеет. Солдаты собираются кучками. Шепчутся между собой и сразу замолкают, когда подходим мы — русские офицеры те, кто расстрелял их земляков.

Только угомонились, уснули — боевая тревога!

Уж чего-чего, а её-то никто не ожидал. Ворча про себя, солдаты в темноте рассовывают по вещмешкам свой скарб, только-только аккуратно и по-хозяйски разложенный в разных углах палаток. Ди-визия кажется муравейником, в который неожиданно среди ночи воткнули палку. Кругом люди куда-то бегут, что-то ищут, зовут, торопятся в сплошной неразберихе ночи.

Мне собирать нечего. Я уже готов и смотрю кругом. Вся ночь там, наверху в небе — огромном, глубоком и молчаливом. Оно все чёрное и в звёздах. Только на западе далекими всполохами почти беззвучно дышит фронт...

И вот уже первые колонны выстраиваются рядом с дорогой. Бренчат солдатские котелки, недовольно и тревожно ржут кони, торопливо мелькают вдоль посадки командирские фонарики. Сначала мы ждем, а потом со своими двумя тяжело нагруженными каруцами вливаемся в общую колонну и идём молча, каждый навстречу своей судьбе.

Часа через три колонна спускается в пойму Днестра и растворяется в его плавнях. Приказ: «Рассредоточиться в камышах!» Впереди pontонная переправа. Немцы ведут методический беспокоящий обстрел нашего берега, примыкающего к плацдарму. Бьёт тяжёлая артиллерия. Болотистая пойма вздрагивает под ногами и глухо сотрясается от разрывов.

В уступы высокого берега врезаны окопы зениток. Вокруг них всё перепахано бомбами. Срезанные осколками деревья большей частью засохли. Кажется, нет живого места. Но везде люди. Пон-

тонная переправа наводится только ночью. Днем её нет, ибо плацдарм, на который мы идем, расположен в пойме Днестра и весь просматривается с немецких позиций. В тёмное время сапёрам надо навести мост, переправить туда-обратно людей, грузы, технику, а к рассвету запрятать понтоны в камыши..

Вокруг все спешат. Только мы тревожно сидим на болотистых кочках. Противно звенят комары. Их тучи, и они все малярийные. Мы этого ещё не знаем, а только беззаботно шлётпаем себя по голым местам, загоняя под кожу личинки плазмодия. С переправы доносятся крики, мат, храп лошадей...

Проходит часа два... Высоко в небе еле слышно загудел самолёт и сразу же рядом по-собачьи загавкали зенитки. В небе яркимиискрами рассыпались разрывы снарядов, но самолёта уже и след простыл. Точнее, след остался: над всем Днестром зажглись осветительные ракеты. В их фосфорно-мертвом свете вся переправа как на ладони. Прятаться некуда. Вокруг кочек болотная жижа. Нам с берега видны сгорбленные фигурки солдат, бегущих по парому в обе стороны. Быстрей! Быстрей! Наше командование нервничает: успеем ли проскочить? Немецкие артиллерийские батареи, стоящие километрах в трех-пяти от переправы, получив ориентиры, начинают пристрелку. Один, второй... Снаряды подымаются над водой рядом с понтонами водяные столбы. Немцам отвечает наша артиллерия. И вот уже не поймёшь, чьи снаряды летят над головой, когда надо падать за кочку, всем телом вжимаясь в вонючую грязь пойменного болота.

— Выходи строиться!

Это нам. Мы все, толкая друг друга, молчаливой толпой уже без команды, не кланяясь летящим в обе стороны снарядам, подговаря подводы, торопливо, бегом-шагом пробираемся к понтону. Около самого берега в наскооро выкопанных ямках с лопатами, верёвками, проволокой замерли сапёры. Они будут здесь сидеть и молить Бога, чтобы снаряд не разорвал понтон. Если да, то именно им в воде под прицельным огнём немецкой артиллерией восстанавливать мост — единственную ниточку, связывающую плацдарм с «Большой землей».

Мы, низко пригибаясь, бежим по мосту. Разрыв! Еще разрыв! Понтонные лодки пляшут на взрывной волне, конские подковы скользят по железному настилу — быстрей, быстрей! Разрыв! За нами лошади в страхе шарахаются в сторону. Рвется верёвочное ограждение. Тяжело груженая подвода дергается и вместе с лошадьми летит в воду, увлекая за собой ездовых. Кто-то кричит. Я лишь замечаю на мгновение появившийся над водой лошадиный

предсмертный оскал. Блеснул отсвет ракеты в белке лошадиного глаза и всё... Бегом! Бегом! На берегу я оглядываюсь назад. Понтон разорван почти посередине. Концы его в быстром течении Днестра расходятся по сторонам. Мы бежим к спасительному уступу террасы и прячемся там в вырытых кем-то траншеях — пронесло!!

Строевые части нашего батальона почти все здесь. На том берегу застяли только хозрота и еще какие-то тылы. Оставаться около понтона опасно, и весь батальон уходит от переправы налево, вниз по Днестру.

Разбитая телегами колея вплотную прижимается к надпойменной террасе. Ее уступ весь перекопан землянками, стрелковыми и артиллерийскими окопами. Осторожно и молча мы обходим глубоко врытые в землю «гробы на колесах» (76-ти миллиметровые открытые самоходки). Слева сплошной полосой тянется фруктовый сад. Километра через полтора нас останавливают. Уже где-то сзади в кровавой агонии гремит и задыхается переправа. Немцы ее нащупали и бьют не переставая. А у нас здесь за густыми деревьями непривычно тихо. Потери батальона невелики, и мы готовы выполнить боевую задачу: сменить стрелковую часть на самом отдаленном вклинившемся в немецкие позиции участке плацдарма.

Командиры рот ушли к комбату. Ждем полчаса. Час. Никто не возвращается. Постепенно солдаты разбредаются. И я вслед за ними выбираю себе укромную ямку, бросаю на дно ветки, и, несмотря на комариный надоедливый зуд, — что слыше всего? — засыпаю... Уже потом мы узнаем, что в ту ночь на плацдарм переправился (да и то частично) только наш 1288 полк. Два других, понеся потери, отошли.

ПЛАЦДАРМ

Была уже середина июня. Теперь долгих два месяца плацдарм будет нашим жильём, нашей «Малой землей». Большая земля осталась там — за Днестром.

К утру пошел дождь, заставив беззаботно уснувших с вечера солдат искать убежища. Входы в землянки завешаны плац-палатками. В тепле и сухости там спят плацдармовые тыловики: связисты, обозники, разведчики, писаря и еще Бог весть кто. У нашей пехоты одна плащ-палатка на троих. Как ни залезай под нее, все равно дождь тебя найдёт. В землянки не пускают: «Нема места!», а то и просто: «Пошёл к ...!» Редко какой тыловик-обозник пустит к себе в дом грязную и почти всегда завшивленную пехоту — самую низшую в армии касту «неприкасаемых».

Я прижался к стволу раскидистой яблони. Накрылся с головой плащ-палаткой. Всё равно холодные предрассветные капли попадают внутрь. Около рук и лица густо роятся комары. Хочется замереть, уснуть, чтобы быстрее бежало время. Но сон — не в сон, и мы, каждый как может, коротаем остаток ночи. Тихо. Лишь зудят нестерпимые комары, да где-то под Шерпенью глухо ухает тяжёлая артиллерия.

Чуть забрезжил рассвет, с передней линии окопов (с «передка») появились первые связные — тощие и мокрые, измазанные окопной грязью с жёлтыми осунувшимися лицами — малярики. Мне они напомнили ленинградских дистрофиков. Тот же опустившийся вид, потухший взгляд, сквозь который холерически болезненно искрится надежда. Почему-то пригнувшись, они перебегали от одной группы солдат к другой, каждый раз выспрашивая кто мы, какой части и кого должны сменять. Сначала мы по-доброму отзывались, стараясь войти в контакт с маляриками, узнать, что нас ждет впереди, но кроме: «Придешь — побачишь!», в ответ ничего не получали. То там, то здесь вспыхивали злые настороженные перебранки.

Только после того, как мы «побачили» и плюс к этому прошло пятьдесят с лишним лет, я могу более или менее реально представить себе тогдашнее нутро плацдарма и положение вокруг него.

К апрелю 1944 года весеннее наступление наших армий уже выдыхалось. Тылы растянулись по всей Правобережной Украине. Вязли в грязи машины, буксовали танки, артиллерия. Пехота, измотанная непрерывными боями, еле волочила ноги по раскисшему чернозему. Немцы уходили за Днестр, вдоль которого спешно создавался «неприступный Днестровский вал». Этот вал должен был преградить нашим армиям путь на Балканы. Что и какие силы помогли нашей вконец измученной пехоте с ходу в ледяной воде переправиться на другой берег Днестра и закрепиться там? Не знаю. Но плацдармы на правом берегу реки появились.

Потом, уже в пятидесятые годы, об этом лаконично скажет немецкий генерал Типпельскирх: «В ходе военного весеннего наступления русские захватили плацдармы у Тирасполя и Григорополя и сумели отразить все попытки немецких войск ликвидировать эти плацдармы» (История Второй мировой войны, 1956).

На Днестре в апреле сорок четвертого года было захвачено четыре плацдарма. Два южнее Григорополя: первый — под Шерпенью (я о нем уже писал) и второй — в районе Гура-Быкулуй (это тот, на который мы сейчас пришли). В моей памяти он сохранился, как «плацдарм у Красной Горки». Дальше третий, самый боль-

шой — Тираспольский плацдарм. В литературе он встречается под названием «Кицканский» или «Южнее Бендер». Я о нем еще напишу. И четвертый — южный, напротив села Незавертайловка.

Итак, мы на плацдарме у Красной Горки.

Как помню, плацдарм был не очень большим, длиною по фронту километров шесть. Он занимал низкую пойму в излучине Днестра. На коренной берег в апреле немцы наших солдат не пустили. Таким образом, мы были у них, как на ладони. Единственным, более или менее скрытым от всевидящих глаз снайперов и артиллерийских стереотруб местом был небольшой отрезок Днестровской поймы напротив села Красная Горка. Именно там и сосредотачивалась вся наземная жизнь плацдарма. Там сейчас сидели мы.

Нашим предшественникам, в апреле сорок четвёртого года переправившимся на правый берег, были обещаны награды и скорый отдых во втором эшелоне. На энтузиазме, родившемся от таких царских посолов, солдаты-гвардейцы (как мне рассказывали) за одну ночь выкопали вдоль всего плацдарма «главную траншею» — широкую и глубокую, длиною более четырёх километров, с «комнатами отдыха» (уборными). Но любой энтузиазм по своей природе короток, и остальная разветвлённая сеть ходов сообщений, окопов, блиндажей и прочей фортификационной премудрости создавалась без него по принципу «тяп-ляп».

Среди других функциональных сооружений тогда же появилась и «канава смерти». Она шла через заболоченный луг перпендикулярно немецким окопам, и поэтому на всю длину и глубину простиравшаяся немецкими снайперами. Днём в канаве нельзя было появляться.

Сначала гвардейцы надеялись, верили и жили обещаниями. Но время шло... Два месяца сидеть под носом у немцев под непрерывным огнем немецкой артиллерии и снайперов, спать в постоянном страхе в пятидесяти метрах от немецких окопов, откуда каждую минуту может появиться враг, схватить, связать, убить, в лучшем случае изувечить. Ощущение постоянной близости смерти усугублялось частыми атаками немцев, которые пытались любыми средствами выполнить приказ своего фюрера «вышвырнуть русских за Днестр». Всё это изо дня в день, как больная мозоль, натирало душу.

Я потом и сам увижу, как в окопах на передке дня не проходит, чтобы ты не соприкоснулся с кровавыми ранами, смертью,увечьями товарищей. Смерть здесь открыто ходит по брустверам, таится

в изгибах траншей, залезает в неохраняемые ходы сообщений, поджидает тебя в боевом охранении, все время напоминает о себе визгом пуль, воем снарядов, мин, рыканьем немецких шестистрельных реактивных минометов, глухими взрывами бомб в тылу на переправах.

Вот такие солдаты ждали нас на плацдарме, как манну небесную.

И мы пришли...

По ранее разработанным в штабах планам на следующий после переправы день мы должны были оставаться в тылу и ждать связных. Командиры частей вместе со связными днем опять таки должны были на местности ознакомиться с боевой обстановкой, принять от сменяемых частей позиции, ориентиры, цели, артиллерийские, минные, стрелковые боезапасы и пр., а в ночь на следующий день провести смену частей. Ни один солдат не имел права покинуть своё место, не передав его из рук в руки другому. Это было доведено до всех.

Если читатель смотрел предыдущие страницы, то легко поймёт, что началось вокруг нас с утра.

Весь детально разработанный начальством план полетел вверх тормашками ещё ночью, когда наша «полностью укомплектованная стрелковая дивизия» не сумела переправиться через Днестр. Командование дивизии само не могло разобраться в неожиданно возникшей неразберихе. Перепуталось все: хозрота батальона — там, командование полка — здесь, штаб полка — там, телефонисты — здесь... В этой общей сумятице будто не хватало ещё нервных обозлённых маляриков с передовой. И они появились.

На нашу минометную роту претендовали связные сразу трёх рот с разных участков плацдарма. Стало ясно: «всем не хватит!», «хватай, что можно!», «кто смел, тот и съел!» Невидимые нити-нервы, соединявшие передовую с тылами плацдарма, напряглись. По ним в разные стороны неслись команды, и уже кто-то получил подкрепление с задачей силой доставить нас для смены минометной роты, полностью состоящей из маляриков. Вскоре эти минометчики со своими «самоварами», желтые и злые, бросив позиции, появились около нас. Ругань, угрозы среди густого, чуть ли не зрячего тумана маты и малярии (ведь бросить позицию — это расстрел на месте!). Для них один выход: заставить нас как можно быстрее занять брошенные ими окопы.

Булганова нет. Чужой капитан передо мной хватается за кобуру:

— ...твою богамать! Если ты, паскуда, сейчас же не поведёшь за мной роту — застреляю!

У него трясутся руки, блестят глаза... Кто его знает — возьмет и застрелит. Солдаты почему-то отходят в сторону... Я с опаской смотрю на его пистолет.... Из главной траншеи появляются солдаты и исчезают среди яблонь. Это уже с плацдарма бежит пехота... А что делать мне? Низко над землей проносится тройка одномоторных «хенкелей». Та-та-та-та... У них одна скорострельная пушка, вмонтированная в вал пропеллера. Мы падаем друг на друга в окопы, в щели. А впрочем, уже поздно. «Хейнкели» далеко. Здесь же среди яблонь голосят раненые, дёргаются, ржут лошади, матерятся ездовые...

Внезапный налёт чуть успокоил капитана и не в меру ретивых солдат, сбежавших с передовой. К воде на плащ-палатках потащили раненых. С ними потянулись малярики. И вот уже правдами-неправдами где-то добытые лодки спущены на воду. В них лезут раненые, больные, и все те, кому уже невтерпёж оставаться в этом аду.

Всё это долго описывать и читать. В действительности события на плацдарме развивались стремительно и вот-вот могли перейти в панику, в бегство. В те минуты, знай это немцы, стоило чуть подтолкнуть начавшееся брожение, и...

Но тут как из-под земли около нас появились автоматчики, офицеры, какие-то солдаты в сапогах (вся пехота носила обмотки). Это был не сорок первый год. Капитан с миномётчиками бросились ко входу в главную траншею, но там уже стояла охрана и палками била пытавшихся высунуться оттуда маляриков:

— Все назад! В окопы! На свои места! ... ваших матерей и всю родню!

Пришел Булганов и сунул мне в руку раскрытую банку американской свиной тушенки. Солдат послали за сухим пайком, а мы с ним и со связными отправились на передовую. Охрана траншеи пропустила нас без проверки. На фоне плацдарменных солдат мы выглядели пижонами.

Всю главную траншею мы прошли молча. При подходе к канаве смерти связные сжались, сосредоточились, предупредили нас. Их внутренняя тревога передалась нам иным путём. Навстречу пронесли завернутый в плащ-палатку труп...

Канаву преодолевали поодиночке, то бегом, то на четвереньках проползая особо опасные места. Сейчас я помню только то радостное чувство, которое тогда и много раз потом невольно охватывало меня в конце канавы у посадки: «Пронесло!»

От общего хода сообщения на позицию минометной роты вела отдельная тринея, а сам ход продолжался в боевые порядки пехоты

(«в пехоту»). Нас давно ждали. Любопытные черные глаза с надеждой зиркали на нас из каждой землянки. Наконец-то!

Минометы вопреки приказу уже разобрали, и вся рота готова была исчезнуть сразу же с опостылевшего всем места. Так бы и произошло, не рассказали им связные о том, как у переправы автоматчики гоняют солдат, самовольно сбежавших с передовой.

Булганов сразу ушел в пехоту. Я «остался принимать позиции». В сущности, принимать было нечего. Минометные окопы соединены ходами сообщения полного профиля. Около минометов тесные землянки с выходами либо прямо в минометный окоп, либо в траншею. За последним окопом то ли просто тупик, то ли дневная уборная.

Я заглянул в землянку: прелое свалявшееся сено терпко пахло солдатским потом и махоркой. Привыкнув к темноте, начинаешь различать солдат, либо полуспящих, либо сидящих, прислонившихся к земляным стенкам. Огонь разводить нельзя. Курить можно только поодиночке, чтобы дым не поднимался над окопом. И так день за днем, месяц за месяцем.

Немцы точно знают наше местоположение, и будь то сорок первый год, они нашли бы путь, как выкурить минометчиков из земляных нор. Но для этого нужны снаряды. Летом сорок четвертого года немецкая армия уже сидела на жестком пайке, лимитировавшем расход боеприпасов.

В начале июня 1944 года на севере Франции был открыт настоящий Второй фронт, оттянувший на себя значительные силы немецких войск, способных противостоять четырём полнокровным союзническим армиям. Одновременно Германия должна была увеличить помочь Финляндии, оказавшейся в безнадёжном положении перед нашими северными начавшими наступление фронтами. А главное, Гитлеру предстояло готовиться к защите своего «логова» от лобового удара Белорусских фронтов.

В наши два месяца (с середины июня до середины августа) активность немцев на плацдарме всё время шла на убыль. Контратаки, которыми они донимали наших предшественников, постепенно затихали. Немцы стреляли только наверняка с точным расчетом и прицелом. Но нам от этого было не легче.

Вернулся Булганов, и я ушел за ротой к Днестру... Потом стемнело, и мы без особых происшествий заняли свой будущий дом. Навстречу к нам вышел один молчаливый Булганов. Старые хозяева исчезли в темноте. В той же темноте, без единого лучика света солдаты занимали землянки. Я залез в приглянувшуюся ещё за светло одиночную нору, довольно глубокую, с крышей в четыре наката, уже успевшую прорости молодой травой.

Ну вот. Впереди два длинных месяца плацдарменного существования. В моей памяти они выглядят серым бесформенным пятном, в котором плавают отдельные, хронологически не увязываемые между собой события.

Рассказы о событиях, которые скоро произойдут на плацдарме, я начну со страницы 395 книги «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая история», изданной Министерством обороны СССР в Москве в 1967 году:

«...Вторая особенность заключалась в том, что в Армиях обоих фронтов (11-й и 111-й Украинские — Б. М.) более трети личного состава, а в некоторых соединениях более половины, были воины, мобилизованные в недавно освобожденных областях Украины. Они находились в оккупации два с лишним года, и их надо было познакомить с политической обстановкой, передать им боевой опыт, накопленный за время войны. В подразделениях этих воинов окружили заботой и вниманием».

«Половину личного состава войск», очевидно, надо понимать «choхом», то есть, включая авиацию, артиллерию, танковые и хозяйствственные подразделения, штабы и пр., и пр., куда «бывшие в оккупации» если и зачислялись, то с большой осторожностью. «Мобилизованным в недавно освобожденных областях Украины», как я уже писал (ещё не читая цитируемой книги), был один путь — в пехоту. Там они составляли 90—95 % рядового состава. Окружать этих воинов «заботой и вниманием» могли только строевые офицеры и политработники. Пройдет немного времени и я упомяну о специальном распоряжении по нашей дивизии, строго-настрого запрещающим политработникам иметь при себе палки и тросточки, а при разговорах с солдатами пускать их в ход. Пока же первый день на плацдарме, то есть первый день моего настоящего «кондового» фронта (передовой), шёл более или менее спокойно.

Я выбег из землянки всё сено, сопревшее у моих предшественников за мокрые апрель и май. Оно кишело комарами и ещё какой-то живностью. Начал выбрасывать его из окопа. Но в ответ с немецкой стороны застручили пулемет. Пули прозикали надо мной. Подождал. Снова стал бросать. Снова пулеметная очередь. До немцев от нас метров 250—300. Моя игра с немецким пулемётчиком никому не понравилась, особенно Николаю: «Брось!». Я бросил. Потом по возможности раскрыл землянку для просушки. Подсыпал на пол сухого суглинка с бруствера... Часов в одиннадцать солдаты с термосами ушли за обедом. Ждали их долго и нетерпеливо. Наконец, где-то за полдень послышался глухой стук вёдер и

термосов о стенки траншеи. Потом мимо моей землянки, густо матерясь и бренча котелками, забегали солдаты...

Пока они бегают и, усевшись по углам каждый в отдельности, поглощают содержимое, я расскажу чем и как нас кормили в окопах все длинные два месяца.

Пищу носили два раза в день сами солдаты в 8-литровых военных термосах и в вёдрах. Обычно были каша и компот. Отдельно несли хлеб (кажется, 700 граммов). Сахар, «консерву», спирт (50 граммов «на нос»), раз в неделю махорку и офицерский доп-паек. Термосов часто не хватало, тогда всё несли в вёдрах. А по-пробуй, пронеси ведро по «канаве смерти» не зацепив за стенку! В таком случае каша скрипела на зубах. Пехоте, естественно, доставались термосы старые, битые, без резинок, поэтому каша в них, также, как и в вёдрах, остывала задолго до передовой, и вонючий жир, на котором её готовили, прилипал к стенкам. Колбы в термосах, вероятно, были из оцинкованного железа, ибо при контакте с ним мамалыга почему-то зеленела, а «шрапнель» синела.

Пища обычная, как и на других фронтах: «шрапнель (перловка), «конский рис» (овес), реже «блондинка» (пшено), пшеничка. Особенностью нашего фронта была «гвардии кукуруза» — мамалыга. Я видел, как её приготавливали прямо на плацдарме: лошадь впрягали в каменную волокушу и гоняли по каменной большой плите. Поскольку лошади не были приученыправлять свои надобности в определенном месте, то частенько приходилось вытаскивать из котелка пропущенные поварами остатки конского навоза.

Такого варева хватало. Оно даже оставалось. Правда, кашу не выбрасывали, а доедали чуть погодя. Хлеб сушили, а потом грызли вочных дежурствах, либо в тех довольно частых случаях, когда запаздывал обед.

В первую же неделю в «канаве смерти» был убит один из дежурных, нёсший махорку. Пуля попала в шею. Было много крови, которая залила мешок. Помню, как солдаты тщательно отделяли махорку от махорки с кровью, а потом... заядлые курильщики мешали то и другое вместе.

Так питались на передовой. Но уже начиная с самых ближайших тылов плацдарма на берегу Днестра, пища была совсем другой: аппетитно дымились вкопанные в уступы террасы солдатские кухни, в садах зрели яблоки, а по другому берегу гуляло «мясо». И если там иначе — громко, весело, с молодыми солдатскими шутками, вылавливая из полных котелков солдатского супа куски свежего мяса.

На передовой лишь мы — минометчики, да разве ещё батальонные связисты и медсанвзвод, находясь в 300—500 метрах от немцев, могли позволить себе громко говорить, спокойно «оправляться», не ожидая ежеминутной смерти. У стрелков жизнь шла молча, сторожко и нервно: «Чиво чавкаешь! Тише ты!» Даже матюкнуться было нельзя, ибо что за мат щёпотом?

Перед первой линией окопов располагаются боевые охранения. Это извилистые неглубокие траншеи длиною метров тридцать-пятьдесят. В конце каждой траншеи оборудованы огневые позиции для нескольких солдат. Окопы боевых охранений — немецких и наших — иногда не только вплотную подходят друг к другу, но и соединяются между собой, представляя все удобства разведчикам для захвата «языков». Боевые охранения — это как бы засада, где надо сидеть не шелохнувшись и следить за врагом. Поэтому никто никогда не знает, что делает наряд, ушедший туда: то ли бдительно несёт службу, то ли попал в ловушку, то ли сбежал, то ли спит (и такое бывало).

В начале траншеи боевого охранения, где она отходит от передовой линии, всегда дежурит охрана. И от каждого, кто появляется оттуда, требует пароль. Был у нас случай, когда солдат, возвращавшийся с наряда, решил покуряжиться, и ... получил пулю в живот.

Все траншеи боевого охранения копались по ночам в полной темноте на усмотрение самих солдат-землекопов без какого-нибудь специального плана, как Бог на душу положит. Уже через месяц нейтральная полоса на нашем участке была вся перерыта разными ходами, подкопами и прочими доморощеными «фортификациями», в которых вряд ли кто мог разобраться. Отдельные ходы минировали, заваливали колючей проволокой, устраивали различные головоломные ловушки, даже ставили волчьи капканы. Потом те, кто это делал, оказывались в госпиталях, санротах, в других частях. А то и вообще переходили «в мир иной».

Я все это пишу для того, чтобы читатель осознал: входить в траншеи боевого охранения, особенно по ночам (да и днем тоже), было опасно. Даже полковые разведчики предпочитали ползать за «языком» по верху через проходы в минных полях и колючей проволоке, подготовленные заранее сапёрами.

В передовой линии окопов любой звук улавливался врагом: присел солдат где-нибудь за поворотом по нужде и ждёт, как бы на случайный звук с другой стороны не прилетела граната, либо немецкая с деревянной ручкой — к нам, либо наша РГ — к ним (в зависимости от того, кто присел и кто сторожил). Поэтому наши пехотинцы предпочитали бегать «оправляться» в свой тыл, то есть

к нам, миномётчикам. Наши солдаты бывало караулили их и лупили по голым задницам.

Но караулить пехотинцев в миномётных окопах мы будем чуть погодя, а сейчас вернемся к описанию первых дней плацдарменной жизни нашей роты.

Пока я рассказывал, наши солдаты поели, залезли в норы и в благодушном состоянии под охраной часовых задымили в рукав. В окопах тихо. Солнце косо золотит суглинок бруствера... Вылезти бы наверх, да поглядеть вокруг... Лучше не надо... Кстати, за два месяца, которые мы проведем здесь, я ни разу днем не появлюсь на бруствере окопа. Весь мой кругозор, как и всех остальных оставшихся в живых, будет ограничен стенками землянок, траншей и ходов сообщения. Эти стенки я запомнил на всю жизнь: желтовато-серые и всегда терпко пахнувшие мочой. Лишь редкий дождик вносил некоторое разнообразие в общую ситуацию нашего земляного жилья. Минометная позиция, как и весь плацдарм, была в полуболоте, и поэтому даже от мелкого дождика на дне окопов образовывались лужи, которые солдатские ботинки быстро превращали в невообразимую чавкающую грязь. При сильном дожде со стенок частично смывалась моча, но никакой молдавский ливень не в силах был уничтожить букет терпкого зловония, исходившего от нашего жилья...

Утром Булганова вызвали в штаб. Вернулся он только к обеду и принёс малоутешительные новости: начальство недовольно. Никто не знает, какие немецкие части стоят против нас, что они замышляют. Более того, подтвердились опасения наших политорганов: в первую же ночь из боевого охранения исчезли двое солдат. То ли их украли немцы, то ли убежали сами. Оба местные. В дивизии принято решение: в боевое охранение направлять тройками. Третьим обязательно должен идти член партии, либо в крайнем случае комсомолец. Такое решение лишний раз показывало, что там, в тылах, на другом берегу Днестра слабо представляли себе нашу жизнь, хотя политотделы должны бы знать структуру и состав парторганизаций на передовой. О каких членах партии в пехоте могла идти речь? Откуда они могли взяться? Партигруппы пехотных рот (ещё раз подчеркиваю: в наше время, на нашем фронте) состояли из двух-трех офицеров и такого же числа солдат, часто обозников, вернувшихся из госпиталей.

В боевое охранение стали ходить все офицеры батальона, включая и нашу роту. Но и это не явилось панацеей от разных бед.

Во взводе у Николая служил худенький, небольшого роста паренёк-молдаванин. До этого он был активистом комсомольской

ячейки, возникшей у них в деревне где-то севернее Григорополя в тот небольшой промежуток времени, когда Бессарабия в 1940—1941 годах находилась в составе СССР после почти двадцатилетнего господства там румын. Если я не ошибаюсь, его тоже звали Николу. Фамилия было короткой. Что-то вроде Судец или такого типа. В армию он пришёл добровольцем (не было восемнадцати лет). Николу несколько раз ходил в боевое охранение третьим. Но однажды к нам принесли его труп. Николу зарезали ночью. Двух других солдат в окопе не оказалось. Как разворачивались ночные события? Может, это была работа немецких разведчиков, а может быть, бывшие с ним солдаты, не сумев склонить комсомольца к дезертирству, убили его и ушли к немцам? Могли быть и другие варианты. Один из солдат, бывших с Николу в боевом охранении, потом выступал по окопному радио. Но, опять-таки, это ничего не проясняет: может быть, солдата заставили.

Я тоже ходил в наряд, и каждый раз это чувство двойной опасности, исходившей от немцев и от молчаливо сидящих вплотную незнакомых чужих людей, не покидало меня.

Но я опять забегаю вперед.

Новости Булганова сводились к тому, что на нашем участке надо было «взять языка». За языком пойдут полковые разведчики, а наш батальон будет «участвовать в поиске». Это моё первое боевое задание.

Операция назначена в ночь на послезавтра. В нашем распоряжении два дня и одна ночь. В первую ночь саперы должны незаметно снять мины перед окопами, а на следующий день вечером сделать для разведчиков проходы в колючей проволоке.

Мы, миномётчики, в первый день пополняем боевой запас, а во второй готовим миномётный заградоны, чтобы отсечь во время ночной операции часть немецких окопов и, если будет команда, прикрывать отход разведчиков.

Как всегда, планы нарушились в самом начале. Уже в первый вечер Булганова свалила малярия. Он долго не хотел уходить и стучал зубами под кучей набросанных на него шинелей. Пришел партторг батальона и отправил его в тыл.

Ночь прошла тревожно. Немцы, вероятно, что-то почувствовали и беспрестанно светили ракетами, открывая огонь. Среди сапёров потерь не было.

Утром вместо Булганова в пехоту ушёл я, чтобы пристрелять цели по указаниям разведчиков и согласовать с ними команды огня. На позиции остался Венька. Николая ночью тоже тряслось. Он лежал весь мокрый и ничего не ел.

Передовая линия окопов. Всё то же, что и у нас, миномётчиков, но другой, какой-то гнетущий дух. Окопы, траншеи кажутся грязнее, запущеннее, землянки — меньше. Вдоль передовой линии с интервалом три-пять метров — боевые ячейки. В них молча и неподвижно дежурят солдаты с трёхлинейками образца 1898 года. Иногда мелькнёт тщательно замаскированный пулемёт «максим», из такого ещё стреляла чапаевская Анка-пулемётчица. Я иду за связным командира стрелковой роты, сзади мой связной с телефоном и куском кабеля. Заходим в землянку. Там телефон комроты, укутанный тряпками, чтобы не слышали «фрицы». До немцев не более 100 метров, а может быть, и ближе, ибо кто знает, где они копают свои ходы. Мне надо стрелять осторожно, чтобы не попасть по своим. В боевое охранение нести телефон нельзя — услышат фрицы. Команду подавать через связного, шёпотом...

С ученическим старанием я, как мог, подсчитал данные по угломеру и прицелу. Всё готово. Связной, согнувшись, побежал к телефону:

— Одна мина — огонь!

Я чуть высунулся над бруствером. Буквально в двух шагах от меня справа и сзади накопана свежая земля. Говорят, ночью оттуда пахло немецким эрзац-табаком. Именно в этом окопе наши и хотят брать языка. Прямо передо мной пригородок. По краю его немецкие окопы. До них рукой подать. Это моя цель... Сзади чавкнул миномёт.. Жду... Где-то за пригорком еле слышно бухнуло. Мина? Моя? Надо бы для проверки стрельнуть ещё раз. Может быть было что-то другое, а моя мина просто не разорвалась? Но я всё равно беру ближе: «Выстрел!» Мне кажется, что я слышу, по крайней мере, чувствую, что мина летит надо мной. Вижу! Справа из-за бугорка появилось небольшое облачко желтовато-серой пыли. Она! Я довожу угломер, даю ещё чуть ближе: «Огонь!» Связной убежал к телефону. Я в окопе один. Солдаты боевого охранения на всякий случай ушли (ведь пристрелка идет на границе эллипса рассеивания и своя мина может угодить в свой же окоп). В тот раз так оно и произошло. Кажется, я до сих пор помню этот резкий, яркий среди летнего дня разрыв. Перед глазами пыль, комья земли... Я падаю, и уже на дне окопа слышу животный скрипучий рык немецкого шестиствольного миномёта — «хрипача» — низкий и противно-утробный: зы-ы-ы-р, зы-ы-ы-р! Над тем местом, где стоят наши миномёты, поднялась туча пыли и дыма. Что там? Я стряхиваю землю с гимнастёрки, с волос... на руке кровь... немножко саднит правый глаз (наверное, от пыли), а под ним на скуле что-то царя-пает палец: маленький осколок моей мины ушел под кожу. Больно.

Связного нет. И я ползу к своим. В конце хода мне попадается командир стрелкового взвода:

— Ты откуда?
— Как откуда?!

Оказывается, пехотный связной видел, «как Михайлова своей же миной разорвало на куски». Я иду в землянку к командиру роты. Сейчас не до разбора стрельбы. Приходит санитар и обрабатывает юдом мою физиономию. Она вспухла и явно не для званого обеда. Вместе со скулой санитар завязывает и правый глаз, от чего я становлюсь похожим на доморощенного Биллли Бонса. Окружившие меня солдаты рассказывают разные страсти-мордасти — во что немцы превратили позиции нашей миномётной роты (солдаты всё знают). Я хочу скорее туда, домой, и мы с телефонистом уходим.

Нашу позицию не узнать — всё разворочено. У солдат ещё не прошёл шок от прицельного залпа «хрипача». Одна его мина угодила прямо в миномётный окоп, но там никого не было. Неповрежденной осталась только плита от миномёта. В землянке лежит и стонет толстый Воробьёв. Через равные промежутки он закатывает глаза и охает. Около ключицы небольшая красная дырочка, которая даже не кровоточит. Воробьёва готовят к эвакуации в тыл на носилках, и он между причитаниями даёт указания, что положить в вещмешок.

— Будут награждать, не забудьте меня, я кровь пролил, — бросает он чуть в сторону. Ещё двое раненых ушли в тыл сами. Убитых нет.

Меня больше всего беспокоит будущая ночь. Три мины, выпущенные мною для пристрелки, не дают права открывать прицельный огонь, особенно когда разведчики будут ползти по чистому полу. К тому же, Воробьёв уже на носилках сказал, что на последнюю мину заряжающий, кажется, забыл нацепить кольцо (дополнительный заряд), поэтому она и не долетела.

Я пошел к комбату.

— Ничего не откладывается, ночью разведчики пойдут за языком. Думай сам!

И я пошел в пехоту «думать»... Там по стрелковым ячейкам впереди меня уже бежала новость: «Пришли разведчики». Пехотинцы-стрелки с завистливым уважением открыто смотрят им вслед. А те тесной группой, одетые в чистое обмундирование, сапоги, с индивидуальными плащ-палатками, ни на кого не глядя, ходят по передовым траншеям. Ночью им ползти туда, где их ждут фрицы, ждёт вся немецкая армия, ждёт-не дождется, чтобы убить, уничтожить, взять в плен. Задача разведчиков — взять «языка».

И они пойдут за ним. Пехота же будет прикрывать, охранять, если надо — стрелять, сидя в ячейках и подставляя себя под огонь немецких миномётов и артиллерии...

Ничего не придумав, я пошёл спать...

Раннее-раннее утро. Заря ещё только угадывается. Я, перевязанный, с одним глазом, уже сижу в окопе у пехоты. Жду фиолетовую ракету — «отход разведчиков», чтобы всеми миномётами ударить по немцам, дать разведчикам уйти к своим...

Долго тянутся томительные минуты. То там, то здесь прошёл утренний туман пулемётная очередь. Гулко прозвучит ей в ответ винтовочный выстрел, взлетит в стороне ракета... Не то...

Вдруг там, где должны были идти разведчики, рванула мина. И сразу, как по команде, захлёбываясь и перебивая друг друга, с обеих сторон затрещали автоматы, пулемёты, кто-то громко закричал... Ко мне подскочили трое солдат:

— Давай, стреляй! Немцы идут!

А мне куда стрелять? Строго-настрого сказано открывать огонь только по фиолетовой ракете и только на отсечение, иначе побьёшь своих. Я жду... Мимо пробежали двое солдат. В другую сторону проскочил командир роты, бросив на ходу:

— Чего стоишь? Немцы!

Рядом командирская землянка. Там телефонист. Телефон молчит. Вокруг никого. У меня карабин. В нём пять патронов. У телефониста вообще нет оружия. Я дослал патрон в патронник и чегото жду... Ведь нельзя же кинуть телефониста, всё бросить и убежать к себе в роту? А оставаться одному, когда кругом стреляют немцы!.. Торопливый шорох! Я вскакиваю карабин... Согнувшись, по траншею бежит командир взвода. Останавливается около меня и грязно, по черному, во весь голос материт убежавших солдат. Остановился. Нас уже трое. Потом появляются ещё двое заросших стариков. Пять человек — это сила. Командир пехотного взвода совсем мальчишка, но уже с медалью «За отвагу». Он расставляет нас по ячейкам. Сам остаётся на левом, наиболее опасном, фланге. Меня посыпает на правый. В центре — телефонист с гранатой. Около него солдаты. Нас уже так просто не возмёшь! Потом стрельба стихает. Командир роты с пистолетом в руках приводит несколько солдат, другие приходят сами и занимают свои ячейки. Немцы и не думали наступать.

Я иду к землянке комвзвода. Говорят, там разведчики с «языком». Подхожу. На дне траншеи лежит что-то серое и бесформенное. Это «язык». Вокруг него толпятся разведчики. Один мрачно пихает немца ногой. Всем ясно — «язык» мёртв. Поиск не удался.

Разведчики боятся нагоняя. Они примериваются, как тащить труп. На шее у немца бинокль. Я кручусь около сержанта. Иметь бинокль — одно из моих вожделенных мечтаний. Мне очень нужен бинокль! Не говоря уже о его прямом назначении, бинокль мне был необходим и по другим, не менее важным соображениям: одних вырезанных из консервной банки артиллерийских эмблем на погонах маловато. Их часто не замечали и принимали меня за пехоту. А бинокль на шее — ты уже «непехота»! Я ещё не раз буду говорить о том, что почёт и уважение пехота, как и ленинградские блокадники, получила далеко после окончания войны, в 60-х—70-х годах. Но я опять отвлекаюсь.

Сейчас не помню в какой момент и почему это произошло, но помню только, что бинокль я сам не просил. Сержант-разведчик, посмотрев на меня, хмуро сказал:

— Бери, тебе пригодится!

Голова у немца была в крови. Пока снимал бинокль с трупа, немецкой кровью перепачкал и руки, и новенький бинокль с просветлённой цейсовской оптикой.

Бинокль мне действительно пригодился. Это единственное, что прошло со мной до конца войны. Бинокль я не снимал с шеи даже ночью. Чего он только не видел за свою бурную жизнь! В его голубой оптике зловеще светились горящие сёла Молдавии, залпы «катюш» в Крагуеваце, он бесстрастно смотрел на взорванные красавцы-мосты Будапешта, на бегущих немцев, на колонны танков Гудериана, шедшие в авантюрный Дунайский прорыв...

Сейчас бинокль на покое. У него катараクта. И только в моих руках он иногда оживает, старается тряхнуть стариной: «Разрыв вижу!»...

Но это «лирика».

Потом мне рассказывали, что те же разведчики в следующую ночь на соседнем участке приволокли двух до смерти перепуганных румын. Наш язык был немцем — артиллерийским наблюдателем. Пленные рассказывали, что на нашем участке фронта немцы заменены румынами. Осталась лишь немецкая артиллерийская поддержка.

Фронт затихал. Немцы отказались от мечты сбросить нас с плацдарма. Все ночи и румыны, и мы копали окопы, глубже и надёжнее зарываясь в землю. Были вырыты вторая и третья линии окопов, поставлены новые линии колючей проволоки, минные поля и пр. и пр.

Началось тоскливо плацдарменное прозябанье, наполненное мелкими дрязгами коммунального жилья, как бы сейчас учёно ска-

зали: «дискомфортного существования на грани психологической несовместимости». Солдаты обсуждали своих офицеров, иногда открыто выражая недовольство «недоливом», «разбавлением» спирта, воровством продуктов, дежежом табака...

Что же там было ещё?

Да, «женский вопрос». Меня на фронте женщины миновали. Всё, что я знаю — это понаслышике. Говорили о женщинах у нас в пехоте вечерами, в основном, грязно. Может быть, всё хорошее, связанное с домом, таили про себя, либо в доверительных беседах делились с земляками, друзьями. Этого я не слышал.

Однажды из штаба батальона пришел наш ротный писарь и сказал, что командир второй роты «достал себе бабу». Как? Где?! Это было событие. И даже чуть живые малярики с интересом шастали к землянке комроты «посмотреть бабу».

Дело в том, что, кажется, в начале 1944 года по действующей армии был издан приказ, которым то ли не рекомендовалось, то ли запрещалось направлять женщин на передовую, а служившие там постепенно убирались в тыл.

Я тоже бегал смотреть на «ней», и смотрел широко раскрытыми глазами, как в детстве в зоопарке на двугорбого верблюда — без жалости и сострадания, с одним любопытством. А «она» — не чёсанная, почему-то опухшая, вылезала из землянки комроты и, не глядя на десятки охочих любопытных глаз, пыталась пройти мимо незамеченной. Эта девушка-связист («баба») пробыла на передовой недели две. Потом вновь появился писарь и сообщил, что комроты «выгнал поблядушку, застав её со старшиной». А вообще прислали её к нам, в пехоту, за «блядство в тылу».

Наша дивизия официально «стояла на плацдарме, поэтому начальство, само жившее на том берегу («на материке»), чтобы оправдать положение, старалось как можно больше служб держать на плацдарме. Переправиться с материка через Днестр на плацдарм для тылов считалось «уйти на передовую». Для нас же их «передовая» — правобережная пойма была вожделенным тылом. Здесь в пойменных садах для поддержания боевого духа располагались политорганы полков, а может быть, и дивизии.

Моя привередливая избирательная память, к сожалению, ничего не сохранила о проводившихся в пойме общих комсомольских собраниях, инструктивных совещаниях и прочих мероприятиях, призванных повысить моральный и политический уровень наших войск, и в частности, наших старииков-крестьян Одесской области. Очевидно, я, выбранный комсоргом роты, бывал там, что-то слушал

(меня «накачивали»), а потом я всё это в меру своих сил и возможностей доносил до солдат во время обязательных политбесед.

Малаярия свирепствовала всё лето. Медсанбаты на том берегу Днестра были переполнены. В конце июня, заболев «маляркой», ушёл Венька. На его место к нам прислали Юрку Нурка — одного из тех, с кем я приехал на фронт из Термеза. Юрка — ленинградец, эвакуировался с родителями в Ташкент, и оттуда был призван в армию. Он будет тяжело ранен в голову при артналете на нашу позицию только в ноябре, в Венгрии. А пока что он, всегда улыбающийся, в нарушение всяких приказов о конспирации по ротной телефонной связи поет блатные и похабные песни. В начале августа популярность Юрки достигла апогея, с передка приходили солдаты и просили спеть ту или иную полюбившуюся песню. Юрка важно садился в командирской землянке, нажимал на клемму полевого телефона и...

Разве тебе, Мурка, плохо было с нами?

Разве не хватало барахла?

Что тебя заставило связаться с легашами

И пойти работать в Губчека?...

Как ни сторожились ротные телефонисты, в конце концов эти забавы дошли до батальонного партторга. От разжалования Юрку спас любитель песен — комбат.

Начало молдаванского августа. Тепло. Солнечно. Сухо. Румыны против нас будто воды в рот набрали. Молчат. И мы, как только заходит солнце, густыми августовскими вечерами вылезаем на брустверы и дышим свежим воздухом, изгоняя из лёгких набранную за дневное пекло окопную пыль. На траву выкладываются почему-то вечно сырье вонючие шинели, портянки и мы ведём неспешные разговоры о том, что было до войны, что будет после...

Казалось бы, живи да радуйся. Но пехота, а вместе с ней и мы, стали медленно загнивать, разлагаться не только морально, а и физически. Пошли разные болезни, вновь с особой силой навалилась «малярка», вши ползали открыто и на глазах плодились — их никто не трогал. Окопы погружались в глухую непролазную апатию. В отдельных подразделениях процент маляриков переваливал за 60...

А на других фронтах в это время творилось что-то невообразимое. Сталинские удары сорок четвёртого года один за другим «заколачивали в гроб надежду немцев на победу».

23 июня началась одна из наиболее крупных — Белорусская операция. За месяц была освобождена Белоруссия, большая часть

Литвы и значительные территории Польши. Наши войска вплотную подошли к границам Германии.

Временами отступление немцев переходило в неуправляемое бегство. Восточнее Минска оказались окружёнными 4-я и 9-я немецкие армии. При ликвидации этого «котла» 70 тысяч немцев было убито и 35 тысяч взято в плен. Конечно, справедливости ради следует заметить, что эти цифры на порядок меньше пленённых в сорок первом году почти в тех же местах советских солдат и офицеров, но с очевидностью свидетельствовали об упорном сопротивлении немцев и предполагали, соответственно, большие потери у наступающих.

Захваченные в Белоруссии немцы составили основной костяк, кажется, 50-тысячной колонны немецких военнопленных, которую в августе 1944 года прогнали по улицам Москвы. Мы смотрели на фотографии этого зрелица, помещенные в газетах, и с гордостью за наших «белорусов» злорадно посмеивались, глядя на брустверы немецких окопов, заросшие бурьяном и пожухлой травой. Когда же мы?.. Хоть к чёрту в пекло, но только прочь от этих ненавистных вонючих и загаженных окопов!..

Наконец, когда, казалось бы, уже совсем стало невмоготу, — приказ: «Ночью снимаемся и уходим на материк».

Глава 3. СЕДЬМОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР

«Седьмой сталинский удар 1944 был нанесён в августе войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с кораблями Черноморского флота и Дунайской флотилии в районе Кишинёв—Яссы по группе армий «Южная Украина». Наступление началось 20 августа. Прорвав оборону противника, советские войска 24 августа освободили столицу Молдавской ССР — Кишинёв и искусно осуществили окружение крупной вражеской группировки. К 27 августа они завершили разгром 22 немецких дивизий (не считая румынских) в районе Кишинёва и группировку у г. Аккермана (Белгород-Днестровский). Развивая наступление, советские войска 31 августа вступили в столицу Румынии — Бухарест. ... 24—25 августа Румыния вышла из состояния войны на стороне Германии и объявила войну последней.» (БСЭ, 2-е издание).

Уход с плацдарма совсем не походил на приход. Румыны, стоявшие против нас, были обречены. Они это знали, также как мы знали, что идём наступать — ВПЕРЁД НА ЗАПАД!

Переправа прошла спокойно и организованно. Следующий день мы провели в ближайшей посадке, а в ночь выступили на Тирасполь. Шли на юг всю ночь (километров двадцать). По дороге нас обгоняли танки, самоходки, «катюши», тяжёлая артиллерия на тягачах. В этой мощной механизированной колонне мы со своими каруцами, запряжёнными разномастными ворованными лошадьми, казались ненужным анахронизмом. Нам, пехоте, оставили лишь обочину, по которой плелись парами, кучками солдаты — завшивленные, в обмотках и грязных шинелях, с винтовками и карабинами — это была основа армии.

С вечера в дорогу всем выдали новенькие каски. Уже среди ночи на обочине после привала я увидел первую оставленную каску и... рядом с ней положил свою. На следующий день в роте осталась одна каска у сержанта Замурая — командира отделения. Замечу, что на новом Тираспольском плацдарме он будет убит первым.

С утра и весь день навстречу нам, загораживая дорогу, трактора тащили деревянные макеты пушек, танков, ещё какие-то творения дивизионных доморощенных художников. Вся эта вкрай-вкось намалёванная «техника» призвана была обмануть немецкие самолёты-наблюдатели, создать впечатление, будто мы уводим войска с Тираспольского плацдарма. Наше начальство было уверено, что перехитрило немцев. Недавно (Москва, 1984, № 9) я прочитал до-прос пленного командира немецкой дивизии: «В середине августа нам стало известно, что в районе Тирасполя накапливаются советские войска...». Песенка фашистов всё равно была спета. Мы имели многократное превосходство в живой силе и технике, и никакой «великий днестровский вал» уже не мог сдержать наши армии. Как писал Типельскирх, к этому времени против нас «по Днестру располагалась группа армий Димитреску (формально — 6-я немецкая и 3-я румынская армии), которая насчитывала 12 пехотных и 1 танковую дивизии немцев, а также 4 пехотные и 1 кавалерийскую румынские дивизии». Эта группировка входила в состав группы армий «Южная Украина», в которой насчитывалось 900 тысяч человек личного состава, 7600 орудий и миномётов, 404 танка и штурмовых орудий, 810 боевых самолётов. Группе противостояли 2-й и 3-й Украинские фронты. В их составе было 1250 тысяч человек, 16000 орудий и миномётов, 1870 танков и САУ (самоходок), 2200 боевых самолётов. Это не считая Черноморский флот и Дунайскую флотилию.

Пройдя Тирасполь, мы ещё где-то прятались целый день, ибо переправлялись через Днестр ночью. Ни о каких немцах, обстрелах не было и речи. **Шла — Сила!**

В ночь на 15 августа наш полк на переднем крае Тираспольского плацдарма менял какую-то гвардейскую часть. Её переводили в резерв прорыва. Прорывать будем мы. Это самое кровавое занятие. К тому же, мы не знаем главного. Наш 1288 полк обречен, принесён в жертву прорыву. Но об этом чуть позже.

Мы по-хозяйски, деловито рассматриваем то, что нам досталось. Кругом плотной стеной стоит тростник. Кое-где светятся небольшие болотца. Рядом островки, поросшие ивняком. Где посушке — деревья повыше. Хорошо бы туда. Но ведь каждое дерево — немецкий ориентир, пристрелянный за многие месяцы стояния в обороне.

Перед нами сильно заболоченная пойма, за ней косогор, на косогоре немцы.

В тростниках не спрячешься. Надо копать, и как можно глубже. Но уже с тридцати сантиметров выступает вода. Миномётный окоп должен быть глубиной метр двадцать. Гвардейцы вокруг своих окопов наворотили кучи грязи, кое-как спрятав за ними миномёты. Кроме этих окопов, в наследство от гвардейцев нам достались ещё три перекрытые тростниками землянки — единственное спасение от дождя и комариных полчищ, которые будут звенеть все оставшиеся дни и ночи, добавляя в нас порции малярийных бацилл. Малярия висела над всеми заднестровскими плацдармами также неотвратимо, как висит радиация над 30-километровой зоной Чернобыльской АЭС: зараза кругом, но — надо, и ... **кто сколько выдержит.**

«Избранный для прорыва участок фронта представлял большие неудобства, но зато давал крупнейшие оперативные выгоды.» (Р. Я. Малиновский. Ясско-Кишинёвские Канны. М.: Наука, 1964). Об оперативных выгодах мы в то время ничего не знали, поэтому дальше я буду говорить только о «неудобствах».

Итак, до прорыва остались считанные дни. Вот-вот взлетят ракеты. Мало кто взойдёт на этот косогор. По крайней мере, половина моих боевых товарищей будет похоронена здесь. Половина шансов за то, что и сам останешься лежать в болоте, либо на косогоре, а живые пройдут мимо, оставляя работу похоронным командам и медсанбатам. А пока...

Все ночи напролёт мы укрепляем и без того высокие брустверы, тем самым наращивая глубину окопов, строим землянки, рубим, пилим, маскируем. А утром солдаты, как убитые, валятся спать. Над всем передним краем тревожной мглой висит сознание близких грозных перемен. Кажется, весь воздух пропитан третьей...

— Командиры взводов, к командиру роты!

Спросонья я ничего не понимаю, но ноги сами бегут куда надо. Булганов, хмурый и напряжённый, только вернулся от командира батальона. Тревога моментально передаётся нам, заставляет быть до предела внимательным: наш полк вместе со штрафниками участвует в разведке боем!

Что это значит?

Для начала это значит, что большинство из нас не должно дожить до послезавтра. Но не об этом говорит Булганов. Он медленно рассказывает диспозицию:

— На рассвете 18 августа на участке 113 дивизии в первый ряд окопов придут штрафники. Пехота нашего 1288 полка отойдёт на вторую линию окопов. Два другие полка (1290 и 1292) уйдут во второй эшелон. Артиллерия всех полков нашей дивизии (включая и миномёты-«самовары») останется на месте и будет «имитировать артподготовку прорыва», то есть стрелять сорок минут, вызывая немецкий огонь на себя. После артподготовки штрафники поднимутся в атаку, а пехота 1288 полка займёт их места. Немцы, решив, что прорыв начался, откроют огонь. В это время наши наблюдатели всех родов и видов войск (которые ещё гуляют в приднестровских сёлах), будут наносить на свои планшеты обнаружившие себя огневые точки противника.

Задача пехоты: не вылезая из окопов, кричать «ура» и не пускать обратно штрафников.

Задача штрафников: своей смертью помочь выявить огневые точки противника.

Наша задача (в чём-то сходная с штрафниками): как-то держаться и буквально на глазах у немцев стрелять сорок минут под прицельным огнём артиллерии «неприступного днестровского вала».

Булганов уходит в пехоту на НП. Я остаюсь старшим на позиции. Связь по проводу.

Мы вернулись во взвода. Одно спасение, если оно есть, — копать. Пусть вода, пусть по колено, по пояс — только копать! Маскироваться бесполезно — всё на виду!

И мы копаем под неумолчный зуд августовских ещё более злых комаров в болотной духоте тростниковых зарослей. Вечер, ночь не приносят прохлады. Кухни где-то застягли. Посланные за ними солдаты заблудились и только к вечеру принесли сухой паёк. Мы безразлично жуём хлеб с американской свиной тушёнкой, запивая вонючей болотной водой...

Подводы, тяжело гружёные ящиками с минами, вязнут в непролазной грязи. Измученные, в кровь избитые ремнями и палками лошади, искусанные слепнями и некормленые, обессилено ложатся в болотную жижу. Их не поднять, и мы на себе таскаем мины связками через плечо.

17 августа из госпиталей, медсанбатов, санрот на передовую вернулись все малярики: «Болеть будете потом!»

К нам в роту пришло человек 10—15. Жёлтые от хины и акрихина, измождённые постоянными приступами, они были плохими помощниками, но всё же... Рота выглядела вполне солидно. Человек тридцать на довольствии (полтора литра спирта в день!)...

Первый приступ малярии у меня был сразу, как мы пришли в болото. Но я не придал этому большого значения, а точнее, не разобрался: в 19 лет здоровое тело легко переносит временный подъём температуры, озноб... Это не семьдесят, когда уже при 37° жуёт кости, ломит голову. Следующий приступ схватил меня через день, когда копали окопы — было не до малярии. По-настоящему она взялась за меня именно в ночь на 18 августа, когда после двух бессонных комариных ночей пришла третья, решающая.

Я пошёл встречать заблудившуюся в тростниках телегу с минами. Долго лазал, кричал, мне отзывались, но я каждый раз выходил на чужие позиции. Наконец понял, что заблудился и дорогу назад не найду. Голова кружилась, всё тело тряслось от озноба. Подкосились ноги. Я сел около какой-то телеги, стоявшей прямо на дороге. Началась рвота... Потом всё было в полудрёме. Ездовой солдат узнал меня, взвалил на повозку с минами, привёз на позицию, уложил на сухой тростник. Я забылся... И вот...

«Редеет мгла ненастной ночи,
И бледный день уж настаёт,
Ужасный день...»

Пока я лежал на тростнике, особых происшествий не произошло. Немцы вели беспорядочный обстрел переднего края. Мы стояли метрах в трехстах за пехотой, и к нам снаряды долетали редко. Лишь одна тяжёлая мина угодила в повозку, как раз в ту, которая поздним вечером привезла меня. Ездового закопали здесь же, в одной из болотных луж.

Приступ кончился ещё до артподготовки. Я чувствовал себя вполне сносно, хотяочные 40° ещё давали себя знать.

Все на местах... В небе три красных, три зелёных: начало!

Я у телефона. Голос Булганова:

— Цель номер один! Десять минут беглый огонь!

Расчётные данные выверены с вечера. Команда чётко передаётся по взводам. Немного вразнобой слышатся выкрики командиров отделений:

— Огонь! Огонь! Огонь!

Привычно чавкают миномёты. Может быть только чуть торопливее снуют подносчики мин и заряжающие. На роту отпущено 600 мин. Через наши головы с редкими интервалами, будто не спеша, летят снаряды полковой артиллерии: пушки-гаубицы 76 мм, звонко пулькают сорокопятки. Через 10 минут смена цели: заряжающие вставляют в стабилизаторы дополнительные заряды.

— Огонь!

...И тут завизжали первые немецкие мины и снаряды — беглый массированный налёт на нашу позицию. Солдаты трёх расчётов бросились в щели.

— Назад!

Я бегу к миномёту и одну за другойпускаю мины, уже не глядя на установку прицела. Вдали вижу Юрку. Он возится у миномёта: плиту засосало в болото, и труба никак не опускается до нужного прицела. У Николая как будто всё в порядке. Одна за другой с его миномётов летят мины. Я уже не командую. Связи с Булгановым нет. И Юрка, и Николай сами переносят огонь в сторону, в глубь обороны, обратно... Прошло двадцать минут. Осталось ещё двадцать. К миномётному обстрелу подключилась тяжёлая немецкая артиллерия. Первый снаряд ухнул слева... второй... третий... Земля заходила ходуном. Один Юркин солдат как-то странно задом влетел в наш окоп и закрутил обалделыми глазами. Он нёс мины. Снаряд попал в бруствер. Весь расчёт его убит, миномёт покалечен. Юрка был в другом окопе. Солдат контужен. Его затащили в землянку.

— Мины! Мины! Давай стреляй!

Новый налёт. Я пробегаю по окопам. В испуге, уже не подвластном разуму, солдаты бросаются в щель, дальше в землянку. Вижу, как командир отделения Замурай последним закрывает своим тщедушным телом вход. На позиции один заряжающий. Я уверяю прицел:

— Давай! Давай!

В проходе ещё несколько ящиков с минами. Часть их разбросано взрывной волной и встало на боевой взвод.

— Тащи мины!

Разрыв! Меня сильно ударяет о стенку хода сообщения. Весь ход засыпан. Мокрая пыль — пороховая или земляная — залепила лицо, гимнастёрку. Я на четвереньках лезу туда, где только что в

стенку хода сообщения ударили тяжёлый снаряд. Задом ко мне на приступке землянки, странно согнувшись, сидит Замурай. Низ гимнастёрки в крови.

— Эй, живы? Вылезай!

Оттуда никто не отзывается. Я тяну Замурая за плечо. Он молчит. В землянке шорох.

— Кто там есть? А ну, помоги вытащить!

Испуганно между Замураем и мной вылезает солдат, он пытается что-то сказать, но только мычит...

Артподготовка кончилась, и там, на передке, штрафники пошли в свою последнюю атаку. Немцы перенесли огонь на наступающие цепи. А у нас...

Подошёл старший сержант — командир соседнего отделения: они живы и расстреляли все мины. Мы втроём пытаемся вытащить Замурая, чтобы узнать судьбу других, сидящих в землянке. Замурай мёртв. Я залезаю на бруствер, старший сержант подаёт мне руки Замурая. Я ташу... легко... Оказывается, осколками его перерезало пополам. До сих пор в глазах стоит та картина: руки, голова, туловище..., а ноги остались там. От них по стенке хода сообщения потянулись разноцветные потроха. А дальше в темноте землянки застывшие в ужасе глаза одесских «земляков»... Над лесом ни с того, ни с сего завизжали снаряды немецкой дальнобойной артиллерии. Кто был рядом, попадали на дно окопа. Я знаю по звуку — перелёт, но знают ли это снаряды? На всякий случай присаживаюсь на корточки и прижимаюсь к своей половине трупа... Пронесло! «Давай ноги!» Замурая мы похоронили под ивами.

В тот день наша рота потеряла более трети своего состава и ещё один миномёт. Офицеры все остались живы. Ранен только Николай — побита рука. Он сидит забинтованный. Мы не знаем, уйдёт он или нет — решать ему самому. Николай остался и... совсем нелепо поплатился за это жизнью. Но иначе он не мог. Я думаю, так бы поступило большинство офицеров того времени.

Пришёл Булганов и долго ходил по разбитой позиции. Оставшиеся в живых молча сидели или лежали кто где. Ничего не хотелось. Я не помню никакой радости, удовлетворения, чувства выполненного долга... Нет!

У меня гимнастёрка вся заляпана неизвестно чем, на ней и на руках кровь Замурая, но нет сил помыться...

Малаярия, будто чувствуя безнаказанность, перешла в сплошной безостановочный приступ. Булганов обещал достать хину и спирт...

Следующие две ночи на 19 и 20 августа весь плацдарм гудел мощными тракторами, тягачами, машинами. На плацдарме соби-

рался кулак прорыва. Кажется, на этом куске земли не оставалось ни одного свободного места, а с того берега через переправы всё шли и шли танки, пехотные батальоны, «катюши», «андрюши» и пр., и пр. 240 стволов на километр фронта! Это значит один ствол на 4 метра. На позиции выходила вся артиллерия фронта. Огромные для нас 122 и 152 мм пушки, новые «катюши» и ещё какие-то чудовища, встречавшиеся нам только на тыловых дорогах, выползали на край нашего болота и подымали вверх свои стальные хоботы.

За последнюю ночь рядом с нами ствол в ствол встали миномётные роты двух других полков нашей дивизии, буквально за нашей спиной тяжёлые 120 мм миномёты, дальше — пушки-гаубицы.

В ночь на двадцатое был получен приказ о наступлении. Я плохо помню, как мы его восприняли, так как эти два дня для меня превратились в сплошной малярийный приступ. Я пожелтел и превратился в еле подвижную мумию.

Два дня к нам возили мины. Вместо двух разбитых миномётов из обоза принесли запасной. На место убитых и раненых пришли наши обозники. К роте временно прикомандировали полковых «шестёрок» — писарей, парикмахеров и пр. Опять собралось человек тридцать. В самых деталях мы договорились с Булгановым, что делать, если прервётся связь, куда идти, где назначается встреча, и т. д. Правда, завтра всё это окажется ни к чему, ибо искать Булганова можно будет уже только на том свете...

ПРОРЫВ

В ночь на двадцатое никто не спал. У нас уже часам к трём всё было готово, и солдаты томились у миномётов, как провожающие на перроне.

Перед артподготовкой я заглянул в землянку к Николаю. Он хрюпал дышал и был в каком-то забытьи. Я хотел уйти, но он открыл глаза — красные, воспалённые. От него несло нестерпимым болезненным жаром. Торчащие из-под бинтов пальцы в призрачном ночном свете были неестественно чёрными. Теперь-то я знаю, что у него началась гангрена и нужна была срочная операция, но тогда... «Потерпи немного. Сейчас отстреляемся и тебя увезут!»

Наконец, откуда-то сзади, буднично и лениво поднялись несколько ракет. Те или не те? Те!

Когда рядом с тобой стреляет пушка, то рекомендуется затыкать уши, чтобы не порвались барабанные перепонки. А как быть, когда одновременно начинают бить тысячи и десятки тысяч стволов?!

Я не знаю, что делалось у немцев, но у нас всё болото ходило ходуном. За два с половиной часа нам следовало выпустить все привезённые на позиции 2000 мин.

После первых массированных залпов «катюш» и тяжёлой артиллерии немцы открыли бешеный ответный огонь. Но и им, и нам было ясно: «Немцам капут!» Гремело и рвалось всё вокруг. Сквозь сплошной рёв еле-еле прорывались крики команд. Куда, какие и чьи снаряды летели?!

Это было не 18 августа! Немецкие пушки и миномёты, стоявшие на передовых позициях, уже минут через 15—20 одна за другой «приказывали долго жить». Косогор был весь в дыму, и из этого сплошного ада протуберанцами вверх вылетали столбы пыли и огня от разрывов снарядов тяжёлой артиллерии. Никакого прицельного огня уже нельзя было вести, и артиллерийские наблюдатели лишь смотрели на общий итог своей подготовительной работы.

Дольше действовала немецкая тяжёлая артиллерия, скрытая на дальних закрытых позициях. Её давили наши штурмовики, безраздельно господствовавшие в воздухе. Немецкие самолёты, по моему, и не появлялись над плацдармом.

Прошёл час. Мы первый раз переносим огонь на вторую линию обороны.

Телефон в моей землянке. Прибежал солдат:

— Миномёт разбит! Лейтенанта убило!

Я почему-то решил, что Юрку. Бросился в его сторону, но оба Юркиных миномёта стреляют нормально. Сам он рядом, торопливо черпает воду пилоткой и поливает стволы миномётов. До них уже нельзя дотронуться — вода кипит. Убит Николай. Снаряд попал в угол землянки. Там всё разворочено и бесполезно что-то откапывать... Немецкая тяжёлая артиллериya продолжает бить. Их снарядам не надо искать цели — они повсюду. Ещё час...

Наконец мы уже окончательно переносим огонь в глубь обороны, и в заложенных от стрельбы ушах неясным гулом впереди по окопам катится: «Ура-а-а-а-а-а!» Пехота пошла в атаку! Ожили невесть откуда взявшиеся огневые точки немцев. Пулемётные, автоматные очереди. Это обречённые остатки недобитых фрицев в упор расстреливают атакующих. Сейчас самый ответственный момент — добежит ли пехота до немецких окопов? Этого с замиранием сердца ждут все: танки, пушки, генералы и сам Сталин в Кремле. Она должна добежать, с любыми потерями! Пусть два, пусть один наш солдат будет в передней линии немецких окопов. Все мы ему поможем! Иначе вся артподготовка, все выпущенные миллионы снарядов — пустое дело.

Мы переносим огонь ещё дальше. Стрельба идёт на полных зарядах, то есть на три километра. При каждом выстреле миномёты вздрагивают, как ретивые кобылицы. Из-под плит, глубоко ушедших в болото, вылетают струи вонючей болотной воды и чёрная грязь. Солдаты все заляпаны ею, но уже радость торжества, радость победы, жизни светится сквозь грязные сморщеные малюрий лиц. Разбит ещё один миномёт с расчётом. Кто-то орёт, стонет, но всё равно — **Победа!** Её ничем нельзя запачкать, нельзя ни с чем спутать, она, как алмаз, будет сверкать в куче грязного гравия, поднятого с плотика.

Я ловлю ухом стрельбу оставшихся трех миномётов. Вдруг один (мой!) замолкает. Бегу по ходу сообщения. Там толпятся солдаты... окровавленные бинты, крики... Объясняют: в спешке заряжающий не успел убрать руку от ствола, и выплевавшая мина сорвала кожу с мясом до кости. У другого — его земляка — то же самое. В добавок к этому ещё и оторвало палец. В то время я не придал значения странному совпадению, а просто встал на его место: ведь артподготовка ещё продолжалась и мины были. Потом, уже на следующий день, а может быть и позже, ротный писарь мне «тайно шепнёт», что эти двое земляков — самострелы. Они давно таились вместе и думали, как бы сбежать. Кто знает, как всё это было на самом деле. Ведь измазать человека так просто, а отмыться — ой, как тяжело!

В суматохе с солдатами я не обратил внимания на наступившую вокруг тишину (уши у всех были заложены). Бежит штабной майор:

— Какого вы ... по своим бьёте! Пехота уже в третьей траншее! Вперёд!!

Телефон молчит. С трудом вытаскиваем из болотной жижки миномётные плиты, связываем оставшиеся мины... Почему-то солдат стало очень мало... Оказывается, все полковые «шестёрки» без разрешения смылись с позиции. Юрка пытался их остановить, но ему на ходу бросили: «Нас придали только на время артподготовки!». К этим «шестёркам» я ещё вернусь, когда меня заставят писать на них наградные листы. А сейчас не до этого. Нас только-только хватает на миномётные вышки. Юрка сам тащит ствол. Я навешиваю на себя две связки мин (32 кг!), и мы трогаемся вперёд, оставив телефонистов сматывать связь.

Окопы нашей пехоты на краю болотного кустарника пусты. На брустверах, в ходах сообщения валяются шинели, каски, сапёрные лопатки и даже вещмешки штрафников. Всё это уже не нужно их хозяевам. Мы тяжело перелезаем через окопы там, где они разрушены снарядами, и боязливо идём по полю, вчера ещё бывшему

ничейной землём — ведь поле минировано и нами, и немцами! Стрельба идёт спереди и с флангов. Мы, пригибаясь к земле, бегом-шагом преодолеваем поле. За нами охотятся немецкие пулемёты. Но они далеко и не могут вести прицельного огня. Всё же двое ранены. Мы им не можем даже дать сопровождающего — некому нести миномёты и мины.

Наконец, немецкие окопы, перепаханные нашей артиллерией так, что иногда трудно определить, где был окоп. Немецких трупов почти нет. Немцы в любых обстоятельствах делали всё, чтобы унести не только раненых, но и убитых. Но они были. Потом об этом скажет пленный командир 9-й пехотной дивизии немцев, которая стояла против нас: «Моя дивизия занимала выгодные для обороны позиции. Уже в начале наступления мои полки понесли огромные потери от артиллерийского и миномётного огня. Вскоре наша дивизия оказалась в окружении» (Москва, 1984, № 9). Надеюсь, что наши 2000 мин внесли в эти «огромные потери» свою лепту.

И раз уж я отвлёкся — две коротких цитаты из генеральских мемуаров, поясняющих наши действия:

«Ударом с плацдарма южнее Бендера (это наш Тираспольский плацдарм — Б. М.) в направлении Хуши окружить и уничтожить во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом 6-ю немецкую армию. Главный удар предстояло нанести 37-й и частью сил 57-й и 46-й армий на участке шириной 18 км. ...57-я армия получила задачу одним своим корпусом (это наш 68 корпус — Б. М.) прорвать оборону противника севернее оз. Ботно и наступать в направлении Золотнянка». (Р. Я. Малиновский. Ясско-Кишинёвские Канни. М.: Наука, 1964).

Что мы и делали.

Мне трудно удержаться, чтобы не прокомментировать следующее предложение из той же книги Р. Я. Малиновского и показать, насколько генералы были далеки от солдат:

«Ну, что же, придётся повторить то, что было на Волге, — говорили между собой солдаты, когда узнали, что перед ними обороняется 6-я армия».

О том, что против нас стояла 6-я немецкая армия, я узнал только в восьмидесятых годах, когда прочитал Малиновского, а «наши солдаты», призванные, в основном, из районов, ранее оккупированных немцами, не знали не только этого, но и того, что под Сталинградом попала в окружение тоже 6-я немецкая армия. Наша жизнь и наши помыслы были совсем другими!

День 20 августа был солнечный, жаркий. На тот самый немецкий косогор мы выбрались часам к десяти и остановились передохнуть около разбитой немецкой пушки, недавно стоявшей против нас на прямой наводке. Я отошёл к кусту... Под ним, плотно прижав

уши, сидел настоящий большой и живой заяц! Я такого видел впервые в жизни! Помню, как забыв зачем пошёл, схватил зайца за уши и поднял вверх. Он не сопротивлялся, а только хлопал глазами: вероятно, был сильно контужен. Я радостно понёс косого к солдатам. Там меня ждал партторг — приземистый хмурый старший лейтенант, уже в годах. Солдаты, несмотря на усталость, бросились к зайцу. Партторг не пошевелился. Я подошёл к нему.

— Ты оправдал доверие. На, пиши заявление в партию. Он протянул мне листок бумаги и огрызок карандаша.

Это была моя первая награда. Он диктовал, я писал: «...Хочу идти в бой коммунистом». **Я был горд наградой, ибо этим заявлением входил в когорту людей, которых больше всего ненавидели мои лютые враги — фашисты.** Фронтовые коммунисты, точнее, коммунисты пехоты, вступая в партию, получали только одну привилегию: **первыми подыматься в атаку и первыми гибнуть под немецкими пулями.** Я это видел сам, своими глазами.

На нашем участке немцы сопротивлялись свирепо. Оказывается, их линии окопов, расположенные по другую сторону возвышенности, остались почти нетронутыми.

Мы продвинулись на километр, потом ещё..., ещё... Всего километров на шесть до какой-то очередной линии глубоко эшелонированной обороны, и всё... Пехота выдохлась. Точнее, её не стало.

Перед нами ровное поле. Дальше небольшой лесок. По краю его то ли сараи, то ли амбары. Там немцы. Наши редкие пехотинцы сунулись было в поле, но тут же залегли под огнём немецких пулемётов. Мы подыскали укромное местечко для позиции. Установили миномёты. Мин уже не было. Связисты потянули провод в пехоту. Я пошёл с ними. Юрка остался на позиции. Связного послали за минами. Хотелось пить, а потом есть.

Слева, километрах в двух-трёх, по дороге, идущей по гребню длинного бугра, на запад нескончаемой вереницей медленно, с остановками тянулись машины, лошади, артиллерия... Они уходили в прорыв, оставляя нас одних без танков, без артиллерийской поддержки. Тогда, я помню, подумал: «Как же это так можно?» Сейчас, прочитав литературу о войне, понимаю, что основной прорыв с вводом в него танковых соединений был совершен в центре плацдарма. Там оборона была прорвана на всю глубину. Наши войска ушли на Прут, чтобы отрезать переправы, организовать внешнюю линию окружения Кишинёвской группировки. Мы же оставались на внутреннем обводе и должны были по мере возможности затягивать петлю, душить фанатиков-немцев, попавших в окружение. Нам опять доставалась не лучшая участь.

Двух солдат Юрка послал за едой. Они пришли только к вечеру, пьянецкие, с двумя вецимешками хлеба и несколькими банками тушонки. Божились, что спирту им не дали: спирт и еду в термосах забрал старшина и на подводе с минами поехал искать нас.

Налаживалась связь. Я нашёл КП батальона. Там был начальник штаба. Он принял командование после смерти комбата. Начштаба сказал, что Булганов убит вместе с комбатом. Потом мне рассказали подробности.

Булганов, потеряв связь, пошёл нас искать. В это время по нашему левому флангу в прорыв уже вводили танки. Тридцатьчетвёрки, ревя дизелями, шли через минные поля, по узким проходам, обозначенным флагами. Булганов, увидев танки, отскочил в сторону, и попал на противотанковую мину. То, что от него осталось, связной помог погрузить на оказавшуюся поблизости санитарную повозку.

Начштаба показал прямо на местности, где кто занимает оборону, куда будет наступать батальон. Завтра с утра мне надо быть готовым поддерживать наступление, вести огонь по указанным целям...

Старшины с едой и спиртом не было, и злые солдаты, не копая окопов, разбрелись по кустам. Сон...

На следующий день немцы сами ушли, и мы, преследуя их, днём в самый солнцепёк остановились километрах в полутора от большого села. Команда: «Окопаться!»

Что было дальше, мне кажется, я помню час в час с фотографической точностью, вплоть до деталей местности.

Небольшая плоская низина. На ней отдельные кусты и группы низкорослых деревьев. На ровном участке среди кустов мы сгруппировали миномёты. Два из них поставили (для проформы, ведь скоро пойдём дальше), а два других свалили в кустах. Впереди на узком длинном валу, идущем вдоль канала, копошилось несколько солдат — остатки нашей пехоты. Метрах в 600-х за каналом начиналось село. Оттуда стреляли немцы. Я дал команду окопаться, а сам сначала пошёл, а потом пополз к пехоте в надежде узнать обстановку. Строевых офицеров там не было. Командование стрелковой ротой принял парторг (тот, который принимал меня в партию). У него был приказ взять деревню. Батальон не выполнил своей задачи, полк не выполнил своей задачи... В мемуарах Р. Я. Малиновского я прочитал про те дни: «...не выполнила своей задачи лишь 57-я армия».

Мы с парторгом, единственные на передке офицеры, лежали на склоне вала. Говорили, что в соседней роте жив ещё один младший

лейтенант, но он не появлялся. Было ясно: ни один из оставшихся в живых солдат сейчас не войдёт в канал, ибо в поле за каналом только смерть. Поднять таких людей в атаку выше человеческих возможностей. Это понимал и партогр.

— Мины есть?

— Нет.

— Так чего же ты сюда приполз? Иди, доставай мины, готовь огонь по окопице. Будем наступать.

Юрка не был требовательным деловым командиром. Я — под стать ему. Уставшие солдаты, чувствуя нашу слабину, кое-как выкопали каждый себе маленькие ямки-окопчики и, угнездившись в них, спали. Миномёты беззащитно и ненужно стояли на лужайке. Двое солдат ушли искать старшину.

Через час старшина, наконец, нашёл нас. Голодные солдаты к холодной каše и тушёнке получили от провинившегося старшины табак и двойную порцию спирта. Мины должны были вот-вот подвезти. Старшина, разморённый жарой и лишним спиртом (за упокой убитых!), остался у нас. Я из крайнего окопчика выгнал недовольного солдата, взял с телеги лопату и стал копать окоп по росту — 181 см был у меня и тогда. Старшине его окопчик был мал. Он подложил под голову плиту разобранного миномёта, и минут через пять раздались густые рулады храпа...

Было уже далеко за полдень, когда высоко в небе появилась «рама» («Фокке-Вульф-110» — двухфюзеляжный немецкий самолёт-разведчик). Она как бы неподвижно парила в воздухе, посылая нам надрывный, иногда прерывающийся звук мотора. Рама, так рама... Хмельные разморённые солдаты сопели в своих ямках, выставив оттуда кто руки, кто ноги... Полная беспечность, разгильдяйство и безответственность, ну как на Чернобыльской АЭС в ночь перед аварией...

Первая тяжёлая мина разорвалась чуть в стороне, заставив лишь некоторых солдат поплотнее угнездиться в своих ямках. Потом разорвалась вторая, уже ближе. На другом конце позиции из окопчика испуганно высунулся Юрка и опять спрятался. Я кончил копать. На полянке тихо и пусто. Пьяно и громко храл старшина.

— Эй, старшина, убери голову!

Но он даже не пошевелился... Я бросил на дно окопа шинель и залёг. Делать нечего. Заставить солдат копать окопы? Да где там!

И тут в небе завыли мины. Вся поляна превратилась в укутаный пылью, дымом и пороховой гарью ад. Земля тряслась. Комья её летели во все стороны. Воздух гудел и рвался на куски. Я прижался ко дну окопа. Казалось, что каждая мина летит именно в

меня... Потом также внезапно наступила тишина. Отряхнув землю, я выглянул из окопчика. Земля на полянке была чёрная. Миномёты пропали. С Юркиной стороны благим матом орал солдат. Туда уже кто-то бежал. Я выбрался из окопа и, пригнувшись, побежал тоже. Старшина хрюпал в том же положении, лишь чуть больше запрокинув голову. Плита была в комьях земли и чего-то белого.

— Эй, старшина, за мной!

Но он не обратил никакого внимания. Ведь надо же так нализаться! Возле окопчика солдата валялась оторванная нога. Он громко голосил, выставив кверху культи с кусками окровавленного мяса. Я знал, что в таком случае надо остановить кровотечение, перетянув ногу в паху, но... кровь почему-то не шла, хотя кровеносные сосуды были очевидно порваны. ...Ещё мина. Я плюхаюсь прямо на солдата. Обломок кости утыкается мне в бок, истощный крик, пыль, земля, смешанная с человеческим мясом, я тоже в крови... И снова тихо. Потом с двумя солдатами накладываем тряпки, кое-как бинтуем всю ногу и укладываем солдата на дно окопа. Он уже только тихо стонет.

Немцы методично бьют по нашей позиции. Иногда перенося огонь на другие цели. Мне здесь нет места, и я бегу к себе. Мина! Я бросаюсь к старшине. Падаю. Рука скользит по миномётной плите. Плита забрызгана чем-то противно-скользким... Мозги! Мозги у старшины на виске, на лбу, на волосах. Но он живой и хрипит, глубоко заглатывая язык. «Перевязывать бесполезно. Сейчас умрёт» — убеждаю я себя, вскакиваю и бегу дальше.

Потом рама улетает. Протрезвевшие солдаты вылезают на полянку. Вскоре приходят обе наши подводы, тяжело груженые минами. Мы разгружаем их. На дно подводы стелем ветки, траву. Кладём безногого. Совещаемся, что делать со старшиной — он всё ещё жив. Кладём и его. На другую подводу пристраиваем покорёженный миномёт. Туда же садятся ещё трое раненых. В одноконной телеге запряжена моя любимица — караковая молодая кобылка, появившаяся у нас ещё на том берегу. Она не знает, что завтра я её убью, и доверчиво нежными, удивительно чувственными губами берёт с ладони специально для неё припасённый кусочек сахара. Удила мешают ей разгрызть. Сахар падает на землю. Я подымаю, быстро отстёгиваю удила и засовываю уже размокший кусок далеко в ее открытый рот... Подводы уходят в тыл.

Возвращается Юрка. Он ходил подыскивать новое место для позиции, подальше от канала. Вечереет. Мы торопимся перейти туда.

Всю ночь солдаты копали окопы для себя и оставшихся двух миномётов. Потом перетаскивали мины. Стемнело. Я сразу уснул,

и только сквозь сон слышал, как матерился парторг, принимая пополнение тыловых «шестёрок», как слева и в тылу у нас гудели моторы. Из тылов подтягивали артиллерию, выходили на боевые рубежи танки. А левее всё тем же нескончаемым потоком на запад шли тылы тех армий, которые, войдя в прорыв, завязали бои уже где-то на той стороне Прута, в Румынии...

Ранним-ранним утром меня кто-то больно толкнул в бок:

— Вставай, смотри!

Будь я художником, то и сейчас, через 50 лет, мог бы по памяти нарисовать ту картину. Чуть сзади и слева от нас плоская низина, поросшая ивняком. Она вся укутана плотным, чуть шевелящимся туманом. И в этом туманном молоке неясными неземными чудовищами скорее угадываются, чем различаются, танки. Их много. Мне кажется, что целое полчище. Пушки уже приведены в боевое положение и все неподвижно смотрят на деревню. Пощады не будет!

Пока я спал, вокруг на валу народу прибавилось. Нам придали полковой взвод автоматчиков, находившийся в резерве. Рядом встала сорокопятка. Артиллерийские наблюдатели протянули свои провода от дальних батарей. Появились ещё какие-то тыловые команды. Пехотинцы — те, которые должны будут идти в атаку, — теряются среди приданных пехоте частей.

Я иду к телефону. Юрка не спит. Мы выверяем данные по целям. Открытым текстом договариваемся о командах. Комбат слышит наши разговоры (как и мы его), но не материт нас. Ему не до этого. Деревня должна быть взята!

И вот: «Огонь!»

Мин у нас много. Их все надо расстрелять, чтобы легче было подводам. Первые дома деревни окутались дымом. Мы бьём по переднему краю немцев. Они не отвечают. Наблюдатели сначала чуть высываются над валом. Потом садятся, а некоторые встают в полный рост. Полчаса... Взвыли танковые моторы. Обдавая нас гарью, танки рванулись к каналу, чуть замешкались и один за другим стали выползать на тот берег, уже облепленные автоматчиками и пехотинцами. Мы все стояли и орали им вслед.

Пехотинец с танка протянул мне руку. Я вроде бы и не собирался лезть туда, но как-то сразу оказался около башни и уже сверху крикнул связному:

— Сворачивайте миномёты! В деревню!

Танки, лязгая и гремя гусеницами, дёргаясь на колдобинах, шли вперёд. При каждом толчке нас тряслось и больно было о раз-

ное железо. Но деваться некуда — вперёд! Танки, развернувшись по всему полю, казалось летели на деревню без потерь. Лишь когда мы, то есть танки, дошли до середины поля, разорвался первый немецкий снаряд. Потом второй, третий... и четвёртый — рядом. Меня сбросило, и больно ударившись коленкой о что-то железное, я упал в воронку от снаряда. Танки с солдатами ушли вперёд. На галифе выступила кровь. Я, прихрамывая, пошёл к деревне. Около ближнего сарая лежал наш убитый автоматчик. Я поменял свой карабин на его автомат (всё равно кто-нибудь возьмёт).

Первые дома были полностью либо разрушены, либо сожжены. Некоторые ещё горели. Стёкол не было нигде.

Около каждого дома сад. На некоторых персиковых деревьях завлекательно среди листвы краснели персики. Танки прошли через село, и бой идёт на другом конце. В селе слышатся автоматные очереди, разрывы гранат — это наши выкуривают последних немцев. Мне торопиться некуда. Юрка подъедет не скоро. Я выломал из забора несколько палок и занялся охотой на персики. Они уже спелые и, шмякаясь о землю, разбиваются в лепёшку — вкусно!

Главная улица села постепенно заполняется разными тылами. Едут подводы, артиллерийские обозы, санитарные повозки, машины. Разноголосые толпы тыловых солдат (их видимо-невидимо) растекаются в стороны по соседним улицам и домам. Стрельба затихает. Деревня наша. Мне пора выходить на дорогу искать своих... И вдруг... где-то в самом конце деревни крики, надсадный вой самолётов, резкая пушечная стрельба, разрывы снарядов...

Я прячусь за дом. Низко над деревенской улицей один за другим проносятся три наших краснозвёздных ИЛа. Они бьют из крупнокалиберных пулемётов в самую гущу улицы, набитой техникой и солдатами. Это было так молниеносно, неожиданно и несправедливо! Заходит другая тройка...

— Стой! Кого бёшь??!

Я выскакиваю из-за дома, вскидываю автомат... И-и-и-у, и-и-и-у... — это из-под широких разлапистых крыльев Илов огненными струями на дорогу летят реактивные снаряды. Пыль, огонь, проклятия накрывают колонну. Между мной и краснозвёздной «чёрной смертью» не более пятидесяти метров. Я бью в мотор, в пропеллер, мне так хочется убить эту падлу, но... мимо. А может, пули отлетают от бронированных боков. Второго, не осознавая, что делаю, я встречаю на дороге. Очередь! Но, вспарывая воздух, ревёт мощный мотор, и прямо надо мной ИЛ взмывает вверх, подставляя под автомат своё бронированное брюхо. Рожок пуст.

Я опускаю автомат. Рядом стоит солдат и то ли со страхом, то ли с испугом, но одобрительно смотрит на меня.

Может быть, сейчас жив этот солдат и вспоминает иногда явно ненормального, тощего младшего лейтенанта, стрелявшего по советским самолётам. Может быть, икнется и лётчикам тех Илов, на далёких тыловых аэродромах гордившихся перед друзьями вмятиками от моих пуль.

Я перескакиваю кювет. На дороге в предсмертной агонии хрипят кони, дымятся подводы, где-то в огне ещё рвутся патронные ящики, полуторка с красным крестом уткнулась в землю. Кабина пуста. Около неё лужа крови. На дороге, прижав руку к окровавленному животу, сидит солдат. Другая рука тоже в крови. В бессильной злобе он грозит ею в сторону улетевших Илов.

— У... к блядям полетели шоколад жрать!

Я с ним заодно. Разница лишь в том, что его распоротый живот — верная мучительная смерть, а я ещё увижу то, о чём кричал, а значит и знал солдат: уютные землянки полевых аэродромов, внутри аккуратно застеленные постели, столовые на открытом воздухе и порхающие около них «бабочки» — ППЖ и ППШ — другая, сказочная для пехоты жизнь.

Всё ещё прихрамывая, я иду вдоль колонны, ищу своих. Нет, нет... Никто не знает. И уже совсем отчаявшись, натыкаюсь на них. Небольшая группка растерянных солдат копошится около одноконной подводы. Моя караковая любовь недвижно стоит, низко до самой земли опустив голову. Сзади у неё кровавое месиво. Я смотрю в её огромные чёрные сливы. На них мухи. Отгоняю мух. Мне на ладонь капают крупные слёзы. Никогда ни до, ни после, я не видел, чтобы лошадь плакала. Солдаты осторожно, стоя на кровавой лужи, распрягают лошадь. До них, всю войну безбедно проживших в своей Одесской области, только сейчас доходит весь ужас, вся жестокость войны. Потом кобылу ведут к обочине. Она тяжело прыгает на трёх ногах. Я набиваю рожок. Наши взгляды на секунду сходятся. Мы оба знаем, что это конец. Я поднимаю автомат. Очередь... Моя любовь как-то неестественно вскидывает голову, падает передними ногами на колени и затем на бок в кювет. Ещё несколько раз в предсмертных судорогах вздрагивает тело. Всё. Я почему-то кричу на солдат. Они молчат.

Потом мы все вместе рассматриваем лошадей второй подводы. Они пугливо дрожат. На одном мерионе алая кровь запеклась на боках, но выше шлейки. Ноги целы. Перегружаем всё на одну подводу.

Вдоль колонны уже бегают незнакомые офицеры:

— 1288 полк, выходи строиться на дорогу!

Незнакомые офицеры — это из различных штабных служб, которые сейчас составляют основу полка. Сам полк, его стрелковые роты остались на косогоре и в немецких окопах. Что не успели сделать немцы, завершили «краснозвёздные соколы»... «Убитые сраму не имут», а виновные?..

Хоть мне и не нравится А. Зиновьев, но:

Скажи мне, почему фронтовики молчат,
Когда военный подвиг превозносят,
Или невнятно что-либо мычат,
Когда об этом их другие просят?

Я знаю, что война — не карнавал,
А голод, холод, тяжкие мученья...

Банальна суть. Убитые молчат,
Живой пройдоха подвиг превозносит,
Случайно уцелевшие ворчат,
Их вспоминать давно никто не просит.

Не чувствуя за прошлое вины,
Плетут начальники военную науку,
И врут писатели романтику войны,
Очередную одуряющую скуку.

Вот почему...

Потом приехали кухни. Нас накормили, но спирту и табака не дали: мы вовремя не подали сведений о списочном составе роты.

Мы, пехота, покорно сидим вдоль дорожной канавы, копя горечь и злобу на радостно снующих вокруг нас тыловых крыс, живущих и пьющих в три горла за тех, кто остался там. Чем больше убитых — тем больше достаётся им.

Ротный писарь жив. Я назначаю старшиной самого пожилого солдата. Мы как-то составляем «отчётные документы». В роте осталось два миномёта, два офицера и сколько-то солдат. Сейчас не помню, но совсем мало — человек восемь-десять. Это у нас — в миномётной роте! Что же осталось от пехоты?

Я иду к командиру за боевым заданием на завтра. Но боевого задания нет. Завтра с утра мы выступаем походным маршем на юг к Белгороду-Днестровскому.

Это было уже 26 августа.

На севере от нас гвардейцы остались добивать окружённую под Кишинёвом шестую немецкую армию. А на западе... На западе фронт ушёл вперёд километров на 200–300. Ни с того, ни с сего мы оказались в глубоком тылу. Ясеко-Кишинёвская операция — VII Сталинский удар для нас кончился.

На марше начальник штаба батальона передал мне для подписи несколько наградных листов, аккуратно заполненных каллиграфическим почерком штабных писарей. Незнакомые мне по фамилиям рядовые и сержанты представлялись к орденам и медалям за геройство, проявленное при прорыве.

— Кто это? — наивно спросил я.

— Это те, кто был придан вашей роте на время прорыва. На своих можешь написать сам. Тебя мы представили к «Отечественной», а Нурка — к «Звёздочке».

Я позвал нового писаря и старшину. Списки нашей роты куда-то пропали. Мы составили новые. В них, естественно, попали только оставшиеся в живых. Лишь кое-кто припомнил фамилии раненых земляков. Конечно, наши наградные, несмотря на все мои старания, не были столь сочны и виртуозны, как у набивших руку штабных писарей, но всё же, не в пример пехоте, солдаты нашей миномётной роты могли рассчитывать на награды.

Все наградные листы, насколько я понимаю, проходили через сито полкового начальства, поведение которого в вопросах награждения определялось многими, часто непредсказуемыми обстоятельствами: количеством «спущенных сверху» наград, более или менее пропорциональным распределением наград по крупным подразделениям, настырностью командиров этих подразделений, литературным и фантазийным талантом тех, кто писал наградные листы, явной очевидностью совершённого подвига и пр., и пр.

Забегая чуть вперёд, скажу, что в итоге за прорыв на Тираспольском плацдарме я был награждён орденом «Красной звезды», а Юрка — медалью «За отвагу». Многие солдаты остались без наград. Я уже не говорю о убитых и раненых — на тех даже не писались наградные листы.

23 августа 1944 года. Москва салютовала нашей победе. Мы все получили грамоты с благодарностью Сталина.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Во второй половине августа 1986 года я и мой добрый знакомый Владимир Маркианович Гаращук, тоже воевавший на Днестре, оба с женами, встретились в Тирасполе, чтобы через сорок два года вспомнить минувшее.



Вторая половина августа 1986 года. Днестр. На том берегу Шерпенский плацдарм.

С тех пор прошло 42 года.

Рассказывает участник боев Владимир Маркианович Гаращук.

В первый же день на пригородном автобусе мы проехали в центр Тираспольского плацдарма — большое село Кицканы. Там главный Днестровский музей Славы. Музей помещается в высокой колокольне церкви бывшего мужского монастыря, действовавшего здесь до 1964 года. Сейчас каменные монастырские дома занимает больница. В колокольне с сохранившимся большим золоченым крестом в то памятное августовское лето 1944 года помещался наблюдательный пункт (НП) 3-го Украинского фронта.

Залы музея производят гнетущее впечатление: стандартный, «полученный из центра» и жестко проверенный цензурой набор экспонатов: турникены с известными снимками минувшей войны, оружие. Пылятся на полках и в витринах мундиры героев войны, аккуратно уложены ордена, прострелянные пулями комсомольские и партийные билеты... Все, как везде.

Музейные солдаты, после войны бросавшиеся в атаку за партограмми с криками «За Сталина!», потом — «За партию!», «За родину!», сегодня молчат. Вероятно, Главлит с началом перестройки благоразумно решил временно закрыть им рты.

Музей выполняет план... Из зала в зал перемещаются группы школьников, по льготным путевкам автобусы подвозят ветеранов... Заученно ведут рассказы экскурсоводы...

Идет экскурсия ветеранов 5-й ударной армии, введенной в прорыв на Кицканском плацдарме 21—23 августа: группа человек 30 пожилых дородных, не смотря на жару одетых в тяжелые стромодные костюмы, разукрашенные бижутерией дешевых значков, среди которых теряются ордена и медали военных лет... Я смотрю на них: большинство устало маются от жары, по старииковски согнувшись, сидят на станинах музейной 76 мм пушки. Да они и сами сейчас тронутые патиной экспонаты, на которые с тревожным любопытством глядят школьники. Контакта нет. «Экспонатам» хочется рассказать о себе, «излить душу». Экскурсовод с застывшей улыбкой выслушивает рассказы сорокалетней давности: «...а он как жамахнет!... А я вот так упал на бруствер, чувствую — ранен... Кричу: а-а-а-а». Ветерану надо разрядиться и он кричит свое «а-а-а-а» немощным старииковским дискантом. Кто-то обращается на крик: что случилось? Подходит экскурсовод: «Давайте, расписывайтесь и поехали. Автобус ждет».

Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой.
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь в том их призванье

Н. Некрасов

Я не удержался: «Скажите, пожалуйста, а пехотинцы среди Вас есть?» «Конечно, у нас есть командир стрелкового батальона. Грицук! Грицук! Где Грицук?» Мне очередной раз не повезло в поисках пехотинцев.

«Слава Богу, уехали!» — не стесняясь меня, бросила им вслед девчонка, служащая музея.

Экскурсовод торопился на обед. Я пошел его провожать. Завязался разговор. «Да, я слышал о налете наших Илов на деревню, занятую 113 дивизией, но не помню ее названия. ...Да, 18 августа в разведке боем участвовали штрафники, они захватили первую траншею немцев, но никто назад не вернулся. Это стало известно после нашей артподготовки, когда в этой траншее нашли трупы штрафников. Погибли они от нашей артиллерии.»

На следующий день мы уезжали из Тирасполя с желанием вернуться и недельку пожить в соседней деревне, не спеша походить по памятным местам...

Владимир Маркианович вскоре умер... Добраться до тех мест практически невозможно...

Глава 4. ЦАРСТВО БОЛГАРСКО

«В Болгарии свирепствовал фашистский террор. Монархо-фашистские власти бросили в тюрьмы свыше 64 тыс. человек. 9057 из них приговорено к пожизненному тюремному заключению и 1590 расстреляно и повешено»
(Навеки вместе. М., 1969)

Глава хотя и посвящена Болгарии, но до нее еще далеко — не менее полумесяца. Там царство, трон. На троне сидит царь Симеон II. Точнее, Симеон пока сидит на руках матери. Вокруг трона суетится Регентский совет. Отец Симеона — царь Борис при неизвестных обстоятельствах умер по дороге из Германии в 1943 году. Говорят, Гитлер его «убрал». Но мы об этом ничего не знаем, как не знаем, куда идём и что нас ждёт впереди.

Шли долго. В памяти сохранились лишь бесконечные пологие увалы: спуск-подъём, спуск-подъём... Тёмные безлунные ночи. Самый конец августа. Хоть это и южная Молдавия, но в низинах между увалами собирается холодный сырой туман. Пот разъедает кожу под мышками, в паху; в густой росе намокают головки кирзовых сапог, хочется быстрее подняться наверх, там теплее.

Через каждые 50 минут привал. Вся обочина сразу покрывается едва различимыми в темноте телами спящих солдат. Лишь кто-то копошится с распустившейся обмоткой, развязавшимся шнурком, поправляет портянку, а чаще «колдует» над натёртой до крови ногой...

Через 10 минут: «Выходи строиться!» Никто не шевелится. По дороге пробегает политрук, выискивая в темноте офицеров — командиров рот и взводов. Подо мной чуть согрелась земля и сон настырно лезет во все поры тела... Оно чуть немеет от сладостного удовольствия... Я выхожу на дорогу... привычно выстраиваю роту... проверяю... солдаты подтянуты и все в сборе... докладываю Дешеву, и — «Шагом марш!» Сам легко и бодро иду впереди роты... Вдруг сильный удар в бок:

— Ты что, ...твою мать, лейтенант, команды не слышал? Марш на дорогу! Почему рота не построена?!

Сон пропал. Растилкиваю Юрку, старшину, мы вместе сгоняем на дорогу к нашей повозке полусонных солдат, затем вклиниваемся в уже идущую колонну батальона. Постепенно я успокаиваюсь, и сон снова сочится в поры. Тело спит... Лишь ноги механически меряют километры. Деревня. Нас разводят по домам на

ночёвку... Меня почему-то непускают в дом, ну и пусть, лягу здесь... Я чуть отхожу в сторону... И, хлоп! — больно ударяюсь об остановившуюся на дороге телегу. Двое солдат смеются. Остальные не видят: вероятно, тоже спят на ходу. Слышу, как впереди из пехоты кто-то кричит: «Ножик! Ножик!» Я не обращаю внимания. Это походный юмор: когда солдат засыпает на марше, то начинает медленно отклоняться вправо. В это время идущие в колонне уступают ему дорогу до тех пор, пока он не свалится в кювет. Солдат, только-только витавший в розовых облаках вожделенного сна, вдруг просыпается в пыльном кювете, да ещё с синяком или шишкой. Вокруг смеющиеся земляки орут: «Ножик! Ножик!», что значит: «Надо дорезать!» На некоторое время в колонне пропадает сон. Потом всё начинается снова.

Нас торопят. Ведь «земля освобождена или захвачена только после того, как по ней пройдёт пехота».

Говорят, немцы бомбят Бухарест, и наши танки ушли на помощь восставшим румынам. Антонеску арестован. Король Михай за нас! Чёрт те что!

Сейчас я смотрю на карту: от Кишинёва до Дуная чуть больше 200 километров. Значит, мы шли дней пять-шесть.

Полевые военкоматы уже приступили к работе по всей Бесарабии, и прямо на ходу к нам поступает пополнение. Бесарабия с 1918 года входила в состав Румынии. Более или менее сносно по-русски могли говорить только глубокие старики, помнившие Российскую империю. Молодёжь призывного возраста знала только молдавский (румынский) язык и кое-кто кое-как изъяснялся на украинском.

Чем ближе мы подходили к румынской границе, тем больше «омолдаванивалась» пехота дивизии. Шло притирание друг к другу. Обе стороны овладевали необходимыми основами чужих языков и привычек. Мой языковый багаж быстро пополнялся. Кроме: «друм», «апо», «пыня» (дорога, вода, хлеб), я уже знал: «домнул», «домна» и даже «домнишора» (господин, госпожа, девушка).

Днём пекло солнце, хотелось пить, но всё равно над колонной неугомонно верещали губные гармошки и звенел ещё незнакомый нам криклиwyй молдаванский говор.

Постепенно спадала тяжесть боёв. Мы были молоды. К Дунаю наша дивизия, точнее, её пехотные батальоны, подошла разношёрстным молдаванско-украинским табором. Русский язык звучал лишь в разговорах офицеров, но главным образом, в песнях, которые быстро и легко подхватили в своей основной массе музыкальные молдаване (под стать своим голосистым восточным соседям).

НАКОНЕЦ, ПАРОМ ЧЕРЕЗ ДУНАЙ. ЗА НИМ РУМЫНСКАЯ ДОБРУДЖА

Я впервые за границей и глазею во все стороны. Ничего особенного. Те же мазанки под соломенными крышами, реже — дома побогаче. Так же, как и в Молдавии, наглухо закрыты ставни, двери, калитки. Деревни кажутся вымершими. Общая настороженность усиливалась навалившейся в эти дни страшной жарой. Более-менее сносно было только ночью, а день даже маршал Малиновский описывает так:

«Нещадно палило ёщё по-летнему горячее южное солнце, густые облака пыли недвижно стояли над грохочущими танками, орудиями, автомашинами, над колоннами бойцов. Пыль оседала на гимнастёрках, в волосах, вместе с потом текла по лицу, разъедала глаза. Тяжело шагать с полной боевой выкладкой, да ёщё когда солнце, как огненный шар над головой. Тяжело. Но эта была победная дорога, и припудренные пылью лица лучились счастливыми улыбками» (Малиновский Р. Я. Ясско-Кишинёвские Канны. М., Наука, 1964).

Сусально-карамельный штамп концовки этой цитаты мало подходил к тому, что было. Я не помню счастливых улыбок. Наоборот. Помню, как солнце, пыль, пот, вместе с бензиновым перегаром отравляли наш путь. Порой, казалось, отключался мозг, и только ноги машинально в полузыбы мерили и мерили тягучие километры знойного ада:

День — ночь, день — ночь мы идём по Африке,
День — ночь, день — ночь всё по той же Африке,
И только пыль — пыль — пыль от шагающих сапог
И отдыха нет на войне солдату!

Днём — все — мы — тут и не так уж тяжело,
Но — чуть — лёг — мрак снова только каблуки,
И только пыль — пыль — пыль от шагающих сапог,
и отдыха нет на войне солдату!

Бог — мой — дай — сил обезуметь не совсем,
Чуть — сон — взял — верх задние тебя сомнут,
И только пыль — пыль — пыль от шагающих сапог,
И отдыха нет на войне солдату!

Друг — мой — друг — мой можешь ты меня не ждать,
Я — здесь — за — был как зовут родную мать,
И только пыль — пыль — пыль от шагающих сапог,
И отдыха нет на войне солдату!

Я — шёл — сквозь — ад шесть недель и я клянусь,
Там — нет — ни — ведьм — ни — жаровен — ни — чертей,
Там только пыль — пыль — пыль от шагающих сапог,
И отдыха нет на войне солдату!

Одев советскую военную форму, молдаванские парубки быстро освоились с ролью «солдата-победителя». У нас в роте появились две новенькие — одно загляденье — румынские пароконные ка-руцы, запряжённые гнедыми рослыми конями. Солдатские вещи-мешки пухли и даже не умещались на одной подводе — признак до-вольства и благополучия. «Оброк», который они накладывали на своих бывших сограждан — румынских селян, позволял нам частенько отказываться от солдатской еды, которую батальонные пова-ра продолжали готовить по прежним закладкам.

Румынские деревни казались вымершими. Напичканые пропа-гандой крестьяне смотрели на нас через щели нагло закрытых ставен. Единственно, кого мы довольно часто встречали на доро-гах, это румынских солдат. Они были на удивление разболтанны-ми, в обмотках, без ремней, с расстёгнутыми в жару гимнастёрка-ми: ни дать, ни взять, солдаты с гуалтвахты. Правда, некоторые тащили, как коромысло, тяжёлые немецкие винтовки. В одиночку, либо кучками они плелись вдоль обочин кто куда, заискивающе улыбаясь и при каждом удобном случае старались выразить свою лояльность: «Гитлер капут!» Многие из нас отвечали им улыбками, но молдаване почему-то не жаловали пленных и часто набрасы-вались на них с непонятной нам бранью. Вероятно, у румынских солдат «рыльце было в пушку».

Румынская армия разбегалась по домам. Её солдаты в те дни были полны радужных надежд и ещё не знали, что с королём Ми-хаем уже заключён договор о войне против Германии, все они вновь будут поставлены под ружьё и направлены на советско-германский фронт воевать против своих недавних союзников. Как румыны будут воевать — другое дело, но воевать будут, чтобы своей кровью заплатить за то, что они натворили в России. Королю же Михаю было обещано возвращение Трансильвании, которую Гитлер ещё в начале войны «подарили» Венгрии.

Такой в начале сентября 1944 года я видел Румынию. 31.08.44 газета «Романия либера», сообщая о вступлении наших войск в Бу-харест, писала:

«Тысячи флагов, море цветов. Машины с солдатами окружены. Солдат забра-сывают цветами, обнимают, целуют, благодарят. Многие забрались на советские танки» (цитирую по книге А. В. Антосяка «В боях за свободу Румынии»).

Наш путь идёт по самой середине Добруджи. Где-то далеко слева Черное море, Констанца. Там уже «наводят порядок» наши моряки. Справа — невидимый Дунай с Дунайской флотилией.

Вперёд и быстрее!

Привал на обед. Разморённые жарою солдаты ищут тень. Не тут-то было:

— Выходи строиться!

На самодельной трибуне генерал в золотых погонах, как я сейчас понимаю — генерал-лейтенант Гаген, командующий нашей 57-й армией. С ним ещё золотопогонники — есть на что посмотреть!

Я уже забыл, а может быть, и не слышал, что говорил генерал. Вероятно то, о чём сейчас пишут в мемуарах маршалы, ведь многие из них вели фронтовые дневники, но в память врезалась концовка речи:

— Солдаты, жалобы есть?

— Вши заедают, товарищ генерал!

Секунда генеральской растерянности, и:

— Ну, здесь я могу только рекомендовать физическое истребление! Вот придём на место...

Я, офицер, и мне негоже перед солдатами раздеваться догола. На привале я отхожу в сторону в кукурузу, вроде бы «оправиться», а сам быстро сбрасываю сапоги, рубашку, кальсоны и, спрятавшись в междуурядье, со злорадным упоением щелкаю гнид, которые противными белыми строчками усеивают все швы.

Солдатам проще. Они открыто разводят костёр и, оставаясь в чём мать родила, машут над огнём нижним бельём. Вши и гниды лопаются с особым треском, приправленным смачными шутками солдат.

Дни идут вместе с нами, и вот, наконец, 4 сентября мы останавливаемся на долгий привал с мытьём и прожаркой. Говорят, впереди Турция, и мы пойдём туда через горы. В роте (а может быть и в батальоне) я самый «образованный», и у меня спрашивают: «Какие горы? Далеко ли ещё до Германии?»

В школе по географии у меня были пятёрки и четвёрки, но к своему сегодняшнему стыду, где находятся Балканские горы, тогда я ещё не знал. Мои познания о европейских горах ограничивались Альпами и Карпатами, да где-то далеко на западе в Испании — Пиренеями (там воевали испанские республиканцы). Помню, как тогда решил, что Альпы должны быть очень далеко, там воевал Суворов, поэтому мы пойдём через Карпаты. Потом пронёсся слух (вероятно, исходивший от молдаван, что между Турцией и Румынией где-то должна быть Болгария. Болгары — фашисты, и мы сначала будем воевать с ними.

Болгарские фашисты оккупировали дружественную нам Югославию и там творят бесчинства почище немцев в России. Об этих бесчинствах почти из первых уст я услышу значительно позднее, в 1981 году.

В 1972 году в наш институт по линии научного обмена приехал из Титограда (столица Югославской Черногории) серб — Джокич Вукота. В один из вечеров мы сидели у меня дома и, медленно пропуская стопки югославского виньяка, говорили «за жизнь». Естественно, коснулись войны, когда наши народы были особенно близки друг к другу.

Джокич в войну жил в деревне в Македонии, оккупированной болгарами, и было ему лет 8—10. Он мало, что помнит, но при упоминании болгар его мягкое приветливое лицо резко и жестко преобразилось:

«Да, Вы не знаете, кто такие болгары на самом деле! Приезжайте сейчас к нам в Македонию и Вам каждый расскажет о них. Это изверги и садисты. В соседнем селе болгарские солдаты хватали из рук матерей грудных младенцев и на глазах у всех разбивали их головы о камни». «А Вы сами видели?» «Нет, но это все видели и каждый у нас знает!»

С тех пор прошло более четверти века. Было это на самом деле или не было, я не знаю, но верю, что в македонских и сербских селах, бывших в оккупации, подобные рассказы ходят и еще долго будут жить, ведь вражда на болгарско-македонской границе имеет глубокие корни. Например, в 1978 году в Софии около памятника Кириллу и Мефодию, создателям «кирилицы», уже болгары с глубокой обидой говорили мне, что родину этих болгарских, очень почитаемых старцев, «незаконно забрали себе сербы».

Но это все «к слову».

Не успели слухи «о походе на Турцию» как следует «овладеть массами», как на политинформации нам сказали, что мы пришли на румынско-болгарскую границу. Советский Союз объявил войну фашистской Болгарии. Наша дивизия будет прорывать оборону и пойдёт через горы в Турцию. Поэтому все повозки придётся бросить. Миномёты и боекомплект выложить на лошадей.

Начался переполох. Солдаты-крестьяне с жалостью перебирали трофеи, собранные по румынским деревням: ведь вещмешки придётся нести на себе, да ещё по горным тропам.

«Живой о живом и думает». Не знали мы, а точнее, не хотели знать, что всё равно никто не донесёт до дома свой вещмешок. Всех нас без исключения ждут либо госпиталь, либо святой Пётр у дверей рая. А набранное добро рано или поздно, так или иначе перейдёт в руки тыловых служак.

Мы подгоняем выюки, примеряем к ним миномётные стволы, двуноги, связки мин... На каждую лошадь 80 кг.

Кормят хорошо. Неподалёку румынская деревня, на которую уже нацеливаются помыслы ротных «дон-жуанов» и «цыганских баронов». Солдаты отдохнули, повеселели. Среди гор звонко ве-рещат губные гармошки, появились первые «трофейные» баяны...

И вот приказ: «8 сентября 1944 года дивизии занять боевые позиции вдоль границы. Артиллерийским и миномётным подразделениям подготовить огонь по укреплениям противника. Завтра утром — прорыв!»

Юрка остаётся на позиции, я ухожу к комбату на рекогносцировку.

Всё, казалось бы, обыденно и не предвещает никаких неприятностей, но... Последующие события я опять могу рисовать с фотографической точностью.

Мы — командиры рот второго батальона 1288 сильно потрёпленного стрелкового полка, подходим к краю обрывистого берега и, спрятившись за кустами, слушаем комбата. Солнечно. На нашей (то есть румынской) стороне небольшие холмы с довольно крутыми склонами, поросшими кустарником и деревьями. Внизу под нами, вероятно, текла речка, но я её не помню. Дальше за речкой — большой луг. На лугу, метрах в 300—400 от нас, дом. Это болгарская застава. Самых фашистов не видно. Лишь за домом мирно пасётся корова. Но мы всё равно сторожко, не высовываясь, глядим из-за кустов. Кто знает? Не таится ли в этом, таком покойном и благодушном, доме твоя смерть?

Диспозиция: наш батальон завтра с утра наступает на заставу. Задача миномётной роты (то есть двум оставшимся миномётам): подготовить огонь по заставе.

Всё ясно. Командиры пехотных и пулемётной рот уходят с комбатом. Я остаюсь здесь и посыпаю связного «тянуть провод» (связь). Никого. Жарко. Скидываю пилотку и, почёсываясь, на глазок прикидываю прицел, угломер, заряд...

Из-за бугра с катушкой по-утиному переваливается хозяйственый телефонист Иващенко. Он будет убит ещё не скоро — в Крагуеваце, то есть через месяц и десять дней. А пока Иващенко подключает клеммы, проверяет связь... Наконец, я слышу бодрый Юркин голос и передаю команду: «Первому, одна мина, огонь!» Слышу, как неподалёку чавкает миномёт, и жду...

Разрыв раньше меня увидела, а точнее почувствовала корова, которая вдруг, ни с того, ни с сего, высоко задрав хвост, галопом рванула в сторону. Было смешно мне, а не корове, в которую, вероятно, попали осколки.

Перелёт и чуть влево. Биноклем замеряю угол отклонения, беру трубку, но там никто не отзыается. Связи нет... И тут из-за

того же бугра вылетает на взмыленной кобыле адъютант командаира полка:

— Кто подавал команду открывать огонь?! Немедленно прекратить! **В Болгарии революция!**

Этот злополучный выстрел по Болгарии (возможно, единственная советская мина, попавшая на её территорию) мне аукнется задержкой в присвоении очередного звания и продвижении по службе. Но этого я ещё не знаю и бегу на позиции роты. Там новый переполох: «**Все на телеги! Пойдём не в Турцию и не в Грецию, а на помощь югославским партизанам!**»

Югославия где-то на Средиземном море, где Италия и Франция. Это здорово!

Наши молдаване, уже полностью освоившиеся с обстановкой, орудовали всю ночь, естественно, при активном участии всего интернационала. К утру в расположении роты стояла пароконная бричка (карзуа) и около неё, понуря головы, жевали сено маленький серый в яблоках пузатый мерин и костлявая буланая кобыла с белой гривой и явными следами былой красоты. Солдаты копошились около них, подгоняя сбrouю. Чуть позже подъехал молдаванский цыган — тоже из нашей роты — на одноконной телеге.

Днём на общем построении начштаба полка зачитал приказ «О вступлении в дружественную Болгию» и запоздалое распоряжение, запрещающее «экспроприировать» лошадей, амуницию и телеги у местного румынского населения. Награбленное предписывалось вернуть под угрозой военного трибунала.

В ночь, кажется, на девятое или десятое сентября мы выступили походным маршем.

Дорога причудливо петляла по холмам и непривычно для войны вся искрилась автомобильными фарами: светомаскировку отменили. На пути в сырых низинах встречались тёмные, будто вымершие деревни без указателей «Romania mare».

Когда же начнется эта самая фашистская Болгария?

Поздним утром (было уже жарко) нас, измученных ночным переходом по холмистой местности, остановили на окраине большого села в ожидании штабных подразделений.

Хотелось пить. Я подошёл к плетню ближайшего дома и крикнул на чистоиностранном языке:

— Эй, домнул!

На крыльце выскочила босоногая черноглазая девчонка лет четырёх-пяти, побежала ко мне, открыла калитку. Мне было не до неё. Я просто хотел пить:

— Апо!

В ответ она растерянно, но с огромным желанием завести со мной знакомство быстро-быстро заговорила. Я лишь понял, что девчонка «не разумит». Кругом из цивильных никого. Когда ты, воин-освободитель, разговариваешь с иностранцем на «чистоиностранных языке» и он тебя «не разумит» — значит, не хочет понимать. В таком случае необходимо для ускорения взаимопонимания прибавить к иностранным словам несколько интернационально-русских выражений, и всё встанет на свои места. Но передо мной был ребёнок... Я попал в глупейшее положение цепного пса, в будку которого лезет годовалый карапуз: не облаешь и не укусишь. Но пить хотелось, и надо было действовать. Я присел на корточки:

— Понимаешь, я хочу пить, воды.

— Ах, вбды, вбды!

Она открыто и громко засмеялась мне в лицо и стремглав бросилась домой. Не успела ещё девчонка скрыться в доме, как оттуда повалили все домочадцы. Ко мне с радостными криками шло и бежало человек десять. Моя «девойка», вероятно, семейная любимица, держалась за ушко ведра с водой и несла черпак. Никому не разрешая, она сама подала его мне, полный холодной и вкусной уже чисто болгарской воды...

— Выходи строиться!

Я повернул голову назад. На дороге на огромной рыжей немецкой кобыле сидел командир полка. Руки у него были заняты (непонятно, кто-то держал повод или кобыла шла сама собой). Одной рукой он держал огромный арбуз а под другой была столь же огромная буханка (или каравай, я уже не знаю, как его или её называть, ибо такого никогда не видел) белого хлеба (булки) весом килограммов пять! За командиром разевалось яркое красное знамя и играл полковой оркестр...

— Запевай!!

Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская страна.

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней,
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!

Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,
Страна моя Москва моя,
Ты самая любимая!..

Солдаты стараются идти в ногу. Вся деревня высыпала на главную улицу. Нарядные национальные одежды, цветы, смех, радость! Откуда-то взялись красные флаги...

Пусть читатель представит наш путь, наш вид: потрёпанные ботинки с верёвками вместо шнурков, грязные обмотки, давно не стиранные галифе и гимнастёрки б/у, х/б в разводах соли, часто в заплатках, выгоревшие на солнце пилотки, напоминающие... (не буду выражаться), но... Молодость! Музыка! Победа! И такая неожиданно-тёплая добрая встреча!

Не скрывая радостного любопытства, крестьяне смотрят на нас. Задние напирают и сдавливают колонну. Нам уже не пройти. Солдаты сбиваются с такта, охапки цветов мешают движению... Наконец, толпа не выдерживает, перегораживает путь, болгары оказываются в наших только что стройных рядах, и... всё кругом перемешивается... объятия, смех, слёзы старух, крики, солдат тащат из строя, качают, а те, отвыкшие от мирной человеческой доброты, теряются и, в конце концов, оказываются в плотном окружении радующихся счастливых людей...

Такого не ожидали ни мы, ни, главное, наше начальство.

— Сдать оружие на повозки! Организовать охрану повозок!

Куда там! Запоздалые команды рассерженных командиров тонут в безалаберной сумятице. Да и что значит «сдать оружие»? Ведь оружие — это то, что делает мужчину солдатом!

Я смотрю, как болгарские мальчишки сначала с завистью глязят а потом, осмелев, лезут на пушки, гладят автоматы, винтовки, как болгарские солдатки не спускают глаз с наших чубатых офицеров, как старушки обнимают молодых солдат... Каждому своё...

На главную улицу старик-болгарин вывез телегу арбузов: «На! На!» Солдаты, не обращая внимания на радущие хозяина, расхватывают арбузы и тащат их на свои подводы. Белый хлеб (булка), забытый мной с довоенного времени, да и тогда, перед войной, бывший в нашей семье лакомством, болгары раздают солдатам караваями — ешь от пуз!

Не знаю как (вероятно, кое-как), но в конце-концов полк добрался до главной площади села. Она вся украшена знамёнами и наспех написанными транспарантами: «Да живее великия братски руски народ!», «Да живее вождь на Червената армия маршъл Сталинъ!», «Смъртъ на фашизма!»

На площади мы застряли основательно и надолго, ибо там на столах громоздились корзины разной снеди и жбаны с вином и ракией...

К столам подтягивались полковые тылы и торопливо включались в стихийное неуправляемое празднество... Бахус постепенно пересе-

лялся на боковые улицы. Полк загулял. Это совсем не входило в планы высокого начальства: оно ждало свои войска под Русе.

ГАРЕМ

Нам с Мишкой Дмитриевым места за столами не хватило, и мы решили махнуть в нетронутые места соседних улиц. Деревенские хаты-мазанки, в основном, крытые соломой, за ними сады, дальше виноградники. Никого. Все на главной улице... Наконец, я вижу за забором на высоком крыльце группу женщин в черных одеждах с закрытыми черными косынками лицами, радостно окликаю их и пытаюсь уже на «чистоболгарском языке» объяснить: «Треба кушать». Женщины почему-то пугливо молчат. Я легко перемахиваю через забор (19 лет — это не 70) и направляюсь к ним. В это время из-за угла дома выскакивает настоящий турок: в феске, шароварах, задранных кверху чувяках и... с кривой саблей! У меня никакого оружия. Бросаться наутек?! Советскому офицеру... освободителю... победителю... спасителю Болгарии... на глазах у женщин?! События разворачивались с молниеносной быстротой и могли стать, как говорил Горбачев, непредсказуемыми. Турок несся на меня и угрожающе кричал. Мишка растерянно стоял за забором, а я совсем не хотел терять голову...

Положение спас хромой стариk-болгарин, который следил за нами из соседнего дома и решал про себя: зачем русские офицеры полезли к турку в гарем? Ведь турок должен кровью защищать честь своих жен... Под словесной защитой болгарина я «достойно» ретировался, и мы пошли в его дом пить за Победу.

В тот вечер, кажется, пила вся деревня, а вместе ней и наш полк. Так тепло и радостно нас ещё нигде не встречали, да и не встретят до конца войны. Правда, в Югославии на то будут другие причины.

Конечно, я должен с уважением относиться к капитальным трудам нашей Академии наук и её Институту истории СССР, но в сентябре 44-го года я не видел того, о чём сейчас пишут учёные, а именно:

«Летом 1944 года положение Болгарии характеризовалось наличием глубокого кризиса... и нарастанием экономических трудностей. Германские монополисты грабили национальные богатства Болгарии и её народное хозяйство было разорено. Жизненный уровень большинства населения страны неуклонно снижался». (А. М. Самсонов. «Крах фашистской агрессии». М., Наука, 1980).

Откровенно говоря, не видели мы и того, что написано в БСЭ:

«Хозйничание монархо-фашистской правящей клики, продавшейся гитлеровской Германии, привело к опустошению Болгарии, инфляции, финансовому банкротству и неслыханной нищете трудового народа. Советская Армия спасла Болгию...»

«Трудовой народ» в Болгарии до нашего прихода жил, в основном, в деревнях (79,8 % самодеятельного населения было занято в сельском и лесном хозяйстве и лишь 8,2 % в промышленности» — БСЭ). С этим народом мы и общались почти целый месяц, пока ехали через Болгарию.

Болгария 1944 года была глубокой окраиной Европы с плодородными, хорошо возделанными долинами, полными солнца. Ни один болгарин не мог представить себе ни нашего северного голода, ни нашей нищеты, обусловленной разными причинами, о которых болгары знать не знали и ведать не ведали.

Крестьяне в деревнях жили, в основном, натуральным хозяйством: деревенские кузницы, мельницы, домотканная одежда, в домах победнее — деревянная посуда, вплоть до ложек... Помню, как мне сразу бросились в глаза женщины с постоянным веретеном в руках. Куда бы ни шла, что бы ни делала болгарка, пальцы её с утра до вечера ловко и привычно крутили веретено, а из подмышки торчал клок шерсти. Непривычно было смотреть, как голопузые девчонки сидят кружком и старательно прядут шерсть на специально для них сделанных маленьких, но в то же время настоящих веретенах.

Лошади, телеги в деревнях были «справные». Чувствовался добротный деревенский достаток отсталой в промышленном отношении страны.

Запомнились мне вывески на официальных учреждениях — «Царство Болгарско», деревенские лавки с сохранившимися кое-где в витринах красочными портретами царской семьи: царь, царица и на руках у неё сусально-красивый карапуз — Семеон II; дороги, всегда мощеные щебнем и находившиеся в полном порядке; почему-то не помню церквей, но они должны были быть. Вероятно, церкви в Болгарии неказисты...

Наутро офицеры без опохмелки, с головной болью, не выспавшиеся и хмурые, построили полковые роты, и мы расстались с гостеприимным селом. До околицы нас провожали мальчишки. Родители их уже давно трудились — кто в поле, кто у дома, и только из-за забора приветливо махали нам вслед.

Ещё два-три дневных перехода, и наша дивизия останавливается на долгожданную переформировку где-то километрах в 17—20 к югу от Русе. Поселили нас в чистом поле. Твердела кукуруза, кругом наливался виноград и прочие лакомства.

Живи — не хочу!

Уже на следующий день я ушёл в штаб полка фотографироваться на кандидатскую партийную карточку (к тому времени меня

уже приняли в кандидаты). В селе, где был расквартирован штаб, дым стоял коромыслом. Все знали: переформировки не будет, нашу дивизию срочно перебрасывают на югославскую границу. Пополняться будем на ходу.

Предстоял поход порядка четырёхсот километров. Везти нас будут болгары, меняя лошадей каждый день.

Наутро в расположение стрелковых рот нашего полка вошёл обоз турок. Турки сумрачно и молчаливо сидели на добротных (не чета нашим!) пароконных подводах с запряжёнными в них как на подбор рослыми упитанными конями. На каждую подводу по шесть солдат и немного инвентаря (общего груза положено 400 кг). За день мы должны проехать, точнее, протястись на жёстких болгарских дорогах 40—60 км. К восьми часам утра следующего дня местные комитеты (кметы) новой Болгарии должны предоставить нам свежий транспорт для очередного перехода, и так через всю Северную Болгию.

Мы едем. А вокруг бурлит и преображается страна. Только вчера здесь было Царство, а теперь народная власть смело и боевито насаждает свои порядки. Мы — её защита. Пусть кто-нибудь тронет Народные комитеты!

Через три дня на четвёртый — отдых. Идут политбеседы, проверка списочного состава, матчасти, прожарка, стирка, латание рваного обмундирования... В тот же день полковые квартиры выезжают вперёд на место будущей стоянки, чтобы оговорить с местными властями наши потребности в продуктах, транспорте, жилье (для начальства)...

Однажды меня (как непьющего) командировали помощником главного квартира — штабного капитана на место следующей стоянки. Мы вдвоём сели в лёгкую пролётку и безмятежно покатали туда — в бывшую фашистскую Болгию, где ещё ни разу не ступала нога советского солдата.

Середина сентября. В Болгарии ещё совсем тепло, но лето уже устало. Всё вокруг готовится к осени. Кукурузные поля пусты. Урожай собран, и крестьянские амбары полны зерном. Виноградной лозе надоело держать тяжёлые жёлто-зелёные гроздья, и она никнет к земле...

Мы — первые русские, и в каждом селе — желанные гости. Нас встречают... От встреч капитан тяжелеет, и в передышках между сёлами его голова пьяно покачивается на ослабевшей шее. Но к следующей деревне он уже выглядит молодцом — рослый, улыбчивый, с выющимся чубом. Таких болгарская ракия не берёт!

Наконец, приехали. Здесь будет ночлег дивизии. Большое село с центральной площадью. На площади — местный оркестр и двухэтажное здание мэрии. Нас ждали, и женщины на полотенце преподносят большой каравай белого хлеба с солонкой. Хлеб я беру из рук капитана и пытаюсь спрятать в пролётку — пригодится. А что делать с солонкой, не знаю. Соли нам не надо. К своему сегодняшнему стыду в то время я ещё не знал о существовании на Руси обычая встречать хлебом-солью. В школе мы этого «не проходили».

Потом нас ведут в мэрию на второй этаж, где уже накрыт стол. Портвейн собственного производства...

Новый «мэр» — молодой энергичный болгарин, ещё не освоившийся со своим положением. Остальные члены народного комитета так же молоды и полны пафоса происходящих событий. Неказисто выглядит лишь переводчик — из наших «бывших». А он нам не нужен. Никаких документов никому не надо — все на виду.

Да, у них есть указание оказывать максимальную помощь проходящим советским войскам, но они не знают, что нам надо. Хотят сделать как можно лучше. Да, они все рады приходу русских — своих освободителей. У них в селе была подпольная организация... Все возбуждены. Мы едим — говорим, говорим — едим. Я стараюсь не пить вино, но оно сладкое, густое и вкусное. От него кружится голова...

На площади с новой силой грянул оркестр. Народ у мэрии не расходился. Мэр несколько раз вставал, садился. Потом вышел на балкон, вернулся, подошёл к капитану: не может ли господин, то есть, товарищ офицер, что-нибудь сказать людям? Капитан странно крякнул, сосредоточенно посмотрел на стенку... Да, он готов выступить. Мы все, чуть разгорячённые, вышли на балкон. Из всей речи капитана я запомнил слова:

— К вам сейчас едет Георгий Димитров. Вам нужно устраивать советскую власть и колхозы...

Я молча смотрел на капитана и будущих болгарских колхозников, а пока что собственников-крестьян, имеющих представление о Советской России только по рассказам белых эмигрантов, да убежавших от расплаты кулаков.

Не знаю, задумывался ли я в те годы над социальными и моральными проблемами мира — вряд ли, но только помню, что мне стало как-то неловко от назидательно-указательных слов молодого капитана, обращённых к пожилым крестьянам, так радостно и душевно встречавших нас.

Опять приходится говорить: к своему стыду... Но «слова из песни не выкинешь». К своему стыду я не знал о святом для каж-

дого болгарина событии: освобождении их Родины от турецкого ига русской армией в 1878 году. Вероятно, в школе мы это «не проходили», потому что в 30-х годах Болгария была нашим врагом — там правили «фашисты».

Мне должно было быть вдвойне стыдно, ибо мой прадед, похороненный на Смоленском кладбище, за бои на Шипке был награжден Георгиевским крестом. В памятный 37-й год отец, боясь обыска, уничтожил все его фотографии и награды.

Уже темнело. Мы ушли спать, оставив на площади крестьян с их нелёгкими думами о Димитрове, о колхозах...

На следующий день после завтрака на боковой улице меня окружила небольшая группа хмурых молчаливых людей. **Русские.**

— Что будет с нами?

— А вы кто такие?

— Жили в России, теперь здесь живём, пашем.

Я не знал, что сказать. Это они — те, кто убил Павлика Морозова, кто ещё недавно по ночам с обрезами караулил колхозников. С рождения меня воспитывали в лютой ненависти к ним. Наши школьные уроки обществоведения, истории, конституции, литературы, наконец, пения были до отказа наполнены отрицанием их жизни. Ведь смертельная война за коллективизацию началась совсем недавно — 15 лет тому назад и продолжалась все 30-е годы до самой войны. Этим людям, когда они бежали от нас, было по 20—40 лет. Сейчас передо мной стояли полные сил и злобы 30—50-летние мужики, до каждой травинки, каждого гвоздика помнящие то родное гнездо, откуда их выгнали.

В детских садах мы играли в будённовцев, в чапаевцев, в школе зачитывались подвигами революционеров, шедших в ссылки, на казнь, мы были пропитаны духом первых пятилеток, борьбы с врагами народа, с кулаками, которые вочных разбоях убивали коммунистов, жгли трактористов... Ещё недавно на школьном вечере я читал чьи-то стихи:

«...Замолчала робкая машина,
Тракториста с головы до ног
Кто-то облил едким керосином,
Спичку чиркнул, вспыхнул огонёк...»

Эти «кто-то» стояли передо мной. Вечером вблизи дома, где мы ночевали, под гармошку долго надрывались пьяные голоса:

«...На горе стоит часовня,
Там колхозники сидят,
Зубы длинные, кривые,
Кобылятину едят...»

Встреч с людьми, бежавшими из России на запад и восток в разное время и по разным причинам, у меня ещё будет много, но эта, первая, запомнилась навсегда.

Время шло к обеду. На нас уже насмотрелись, что могли, выспросили. Болгары всё чаще нетерпеливо поглядывали на восток: когда же появятся «братушки»?

Часа, наверное, в три-четыре капитана и меня руководство привлекло в ту же самую отдельную комнату на втором этаже. Дверь за нами закрылась, и шум с площади еле доносился. Деревенское руководство на этот раз, видимо, хотело получить от нас конфиденциальную информацию («как коммунист—коммунисту»). Стол был богаче, и напитки — покрепче. Капитан отказался пить. В моё отсутствие что-то произошло, и сидевшие против нас болгарские коммунисты, как потом сказал капитан, были «ненастоящие». Разговор не клеился... Наконец, неожиданно и будто совсем рядом грянули трубы — это наш оркестр. Его ни с чем не спутаешь! Руководство и капитан вышли на балкон. Мне там было не место, и я спустился вниз.

Все деревенские мальчишки давно убежали за окопицу встречать «русских братушек». Большинство же крестьян торжественно и нетерпеливо стояло здесь на площади. И вот за поворотом высоко в небо над всей деревней взметнулось красное-красное знамя! Это мое! Это мы! Это моя страна!..

Привал будет за деревней, и подводы одна за другой проходят мимо. Улыбки, смех, цветы... Болгары вынесли на улицу все щедроты труда и осени: виноград, помидоры, каравай хлеба, яйца, сыр... Я стою и смотрю, как вся эта снедь безоговорочно укладывается на повозки взвода автоматчиков, полковой разведки, каких-то штабных служб, выступающих в голове колонны. Внутри бьётся вопль: «Оставьте пехоте!» Но пехоте остаются только улыбки, радость встреч и то, что не уместились на больших повозках полковой «белой кости».

А нам и не надо! Не больно-то и хотелось! Я ищу глазами неразлучную пару: буланую и серого в яблоках. Их нет. Оказывается, был приказ отбраковать лошадей. Негодных свести в один табун и гнать за полком на случай перебоев в еде или в средствах передвижения. Старушку-красавицу списали в расход на питание, а серого в яблоках с натёртой холкой солдаты тайком привязали к нашей последней каруце.

Чтобы не было никаких эксцессов с местным населением, но чёвка в шести-семи километрах за селом — ещё час ходу. В селе остаются штаб и охрана.

На следующий день мы проходили Свиштов... До сих пор о Свиштове сохранились впечатления как о европейском городке с каменными домами, мощёными улицами, богатыми магазинами и нарядной гуляющей публикой...

Вечереет... Один за другим зажигаются электрические фонари. Полк идёт по центральной улице. В праздничной «иностранный» толпе снуют «нэпманы»-лоточники. Состоительные болгары покупают у них цветы, виноград, сигареты и степенно преподносят нам...

Впереди затор. Кучер-болгарин осаживает лошадей. Вокруг сразу собирается толпа:

— А немцы писали, что у вас одни старики остались!

Я смотрю на солдат. Никак нет! Они молодые, смеющиеся, прилично накормленные (правда, добрая половина из них ещё не нюхала пороха). Все они побывали в оккупации, но каждый своим путём сумел избежать тюрем, лагерей, отправок в Германию... Они остались живы, чего не скажешь о российских парнях, в большинстве своём сложивших головы на долгом пути от Сталинграда...

Из толпы высовывается небольшого роста жирненький восточного типа болгарин:

— Немцы от нас уезжали на машинах с тяжёлой артиллерией, а вы на наших повозках с одними винтовками идёте. Где же ваши танки?

Он мне неприятен, этот болгарин. Но я беспечно машу рукой куда-то в сторону:

— Там, — и отворачиваюсь.

— А евреи среди вас есть?

— Есть, есть! — кричит Юрка с соседней подводы, кубарем слетает вниз и бежит к кучке людей, обособленно стоявших поодаль.

Я запомнил этот случай в Свиштове только потому, что до тех пор (да и потом до конца войны) не задумывался над вопросом о Юркиной национальности. Мы были вместе.

Я тоже слезаю. Отхожу в сторону. Времени мало, и мы всей толпой говорим, понимаем, не понимаем, смеёмся, стараемся что-то объяснить, во все стороны мотаем головой (у болгар, оказывается, всё наоборот: что у нас — «да», у них — «нет»)... и вот уже: «На повозки! Шагом м-а-а-а-арш!»

— Напиши письмо! — кричит мне вслед мимолётный знакомый. Я записываю адрес: «Христо Георгиевъ Христовъ, село Петрокладенцы, Свиштовско околия, область Плевенска, Болгария».

Нам только ВПЕРЁД, НА ЗАПАД! Туда, где на югославской границе немцы уже готовятся к кровавой встрече.

Сейчас, когда я кое-что почитал и послушал, то представляю, каким сложным политическим клубком были в то время Балканы.

Союзники высадились в Греции, вооружили и подвели к болгарской границе турецкую армию, победно завершили бои в Италии, продолжали вести сепаратные переговоры с Тито, делали всё возможное, чтобы не пустить нас в Европу. Мы должны, мы обязаны были как можно быстрее войти в Югославию, Албанию, Северную Грецию, где уже под руководством «наших» греков-коммунистов создавалась партизанская армия ЭЛАС, противопоставившая себя проанглийской греческой королевской армии... Кроме всего прочего, мы были недалеко от... Босфора и Дарданелл — вожделенной мечты всех русских царей и полководцев: «Твой щит на воротах Цареграда...» Ведь до тех пор, пока ЭТОГО не будет, Чёрное море для нас останется озером, лужей, из которой нельзя выйти в мир... Сила была на нашей стороне. Мешала «политика».

Немцы бежали из Греции, итальянцы из Албании. Их надо было уничтожить, окружить, взять в плен, по крайней мере, перерезать пути и не пустить на север, не дать им соединиться с основными силами гитлеровского вермахта...

Но человек, хоть он и военных лет пехотинец, — не машина, и нам нужны остановки для еды, сна...

По пути нам несколько раз встречались болгарские военные городки. Оттуда из-за колючей проволоки на нас настороженно поглядывали дисциплинированные шеренги болгарских солдат, одетых в тяжёлые до пят коричневато-бурые шинели, обутых в добродушные яловые сапоги и полностью оснащенных немецким оружием. Две недели назад мы были врагами. Хватило бы одного слова, чтобы мы сцепились мёртвой хваткой. Этого слова не было сказано, но оно всё ещё висело в воздухе. Мы с болгарскими солдатами не общались и, тем более, не братались.

Разномастной многонациональной ордой рваные и вшивые победители рвались вперёд, оставляя за собой, за проволокой свою добычу.

Брегово, конец Болгарии. Там за маленькой, еле видной речкой — Югославия.

Уже октябрь. Ночи прохладные. Иногда моросят совсем осенние дожди. Весь полк распределяют на постой по болгарским дворам.

Нам с Юркой достаётся дом болгарского пограничника. Это обычный крестьянин с быками и коровами. Только в шкафу у него

пылится пропахший нафталином сержантский мундир, да в сенях над дверью висит винтовка. Вся «служба» сводится к возвращению назад домашнего скота. Болгарские коровы, чувствуя на себе защиту «добрейшей германской армии и самого фюрера», нахально переходят вброд речку и пасутся на заливных лугах Сербии, не признавая прав сербов на исконную землю.

Нам выделили отдельную комнату. Мы по цивильному раздеваемся и спим на кроватях. Приказа о наступлении нет, и начальство, как может, старается превратить нас в боеспособное подразделение. После месячной вольготной жизни это трудно. За время марша, несмотря на присылаемое пополнение, численность стрелковых батальонов почему-то не росла. Люди исчезали. Куда? Знал только Бог, да кое-кто из СМЕРШ.

Прошёл день, второй... Я выхожу на берег и с опаской смотрю на ту сторону. Никого. Почти сразу за поймой начинаются холмы, поросшие лиственным лесом. Там немцы. Туда каждую ночь уходят разведчики. Среди них уже есть убитые и раненые. Вчера под утро справа от нас была сильная стрельба: соседи проводили разведку боем...

Наконец, приказ: «Перейти границу, наступать в направлении...»

Наш последний вечер в Болгарии. Прощальный стол накрыт. Мы ждём запаздывающего хозяина-пограничника. Он приходит хмурый. С ним болгарский офицер и несколько наших солдат в сапогах (не пехота). Оказывается, час назад офицера остановили «русские братушки» и среди бела дня «конфисковали» часы и пистолет. Он не может вернуться в часть, ибо для болгарского офицера сдача оружия — позор и крах карьеры. Нам стыдно за своих младёров и хочется помочь болгарину. Уже к ночи ему достали «дефицит» — старенький советский «ТТ», который утром пообещали заменить на немецкий парабеллум. Офицер немного отошёл. Вино ракия и уже поздно ночью он больше жестами, чем словами, рассказал анекдот: «Покажи мне то государство, которое воюет со всем миром». Это была Болгария. Болгарские политики к осени 1944 года довели страну до того, что она действительно находилась в состоянии войны со всем миром. Сначала, как сателлит Германии, она объявила войну Англии, Франции, Америке и иже с ними, потом СССР объявил войну Болгарии, и сейчас правительство Народного фронта, не заключив ни с кем мира, пошло войной на всю германо-японскую коалицию.

Мы разошлись совсем под утро.
Болгарского пограничника ждало неубранное кукурузное поле,
а нас недобитые остатки эсэсовской дивизии «Мёртвая голова».
Начинались тяжёлые бои за Югославию.

Глава 5. БОИ В ЮГОСЛАВИИ

«28 сентября 57 армия генерала Н. А. Гагена начала наступление, нанося главный удар из района Видина в общем направлении на Белград. Бои сразу же приняли ожесточённый характер. Населённые пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. В районе Неготина была окружена и к 4 октября уничтожена часть сил Армейской группы «Сербия».

«Великая отечественная война». М.: Изд-во Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1970.

В то время, как мы беззаботно катились в неизвестность по Северной Болгарии, Генеральный штаб Советской армии во главе со Сталиным разрабатывал планы будущих наступательных операций. От этих планов захватывало дух у маршалов и генералов. От духа разгорался аппетит.

Немцами война была окончательно проиграна. Пред нашими армиями лежали несметные богатства Западной Европы. Наступал «делёж пирога». Всё зависело от скорости продвижения пехотных частей. Кто быстрее: союзники или мы?

Фашисты: немцы, мадьяры и многие их приспешники, — видя неминуемую гибель, дрались люто, с отчаянием смертников, продлевая тем самым, сколько можно, свою жизнь.

Стalin требовал наращивания темпов наступления: быстрей и больше! Орденские награды дождём сыпались на всех, кто только чем-либо способствовал проталкиванию вперёд наших пехотных частей.

Ведь нам нужна одна —
Одна Победа!
Одна на всех —
Мы за ценой
Не постоим!..

Сочиняли песни далеко за нашими спинами. Цену же сполна платила пехота.

Может быть, история ещё вернётся к вопросу о целесообразности огромных людских потерь, понесённых Советской армией в сорок четвёртом—сорок пятом годах, но пока что в нашей официальной печати это «табу». Официально — мы освобождали народы Европы от фашистского рабства, платя миллионами(!) жизней своих парней.

Конечно, не пойди наш Генеральный штаб на такие жертвы, не было бы ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, СПР, НРБ и даже СФРЮ, не смогли бы мы увезти с занятых территорий заводы, фабрики, угнать скот и пр. Нам, оставшимся в живых, это как будто бы и хорошо, но каково погибшим? Особенно, их материам, отцам, детям, жёнам?

Возникает и другой, не менее крамольный вопрос: а не могли бы эти миллионы молодых парней, что погибли в последний год войны, оставшись в живых, создать у себя дома больше материальных ценностей, чем в качестве reparаций мы получили с Германии, Венгрии, Румынии и других стран? А чем можно оценить горе народное?

Мы, и я в том числе, ругали союзников за медленное продвижение, за неравноценный вклад, за оттягивание дня окончательной победы. Действительно, английские и американские генералы не торопились, предоставляя нашим генералам сомнительное право посыпать пехотинцев в штыковые атаки. Ценя жизнь своих солдат, они предпочитали действовать «малой кровью, могучим ударом», и там, где это было возможно, а в конце войны это было возможно почти везде, впереди наступающей пехоты союзников шёл мощный всё уничтожающий вал огня и железа.

Да что об этом говорить?

Потери англичан за всю войну с 1939 по 1945 годы на всех фронтах остались 375 тысяч, американцев — 400 («Правда», 13.09.87). Наши же маршалы и генералы во главе со Сталиным только в боях за Балканы сумели положить более 300 тысяч солдат, за Польшу — 600 тысяч, за Берлин — 300 тысяч...

Правда, маршал Конев в своих мемуарах пишет, что при штурме Берлина солдаты сами рвались в бой, их было не удержать. У нас в 1288 сп, 113 сд я такого не видел. Конев, кстати, находясь в тылах, тоже не мог видеть и писал со слов «кочевидцев».

Если читатель не забыл, из трёх полков 113 стрелковой дивизии наш 1288 сп, участвуя вместе со штрафниками в прорыве на Тираспольском плацдарме, понёс самые тяжёлые потери. Несмотря на все старания командования укомплектовать полк на марше, к югославской границе мы подошли явно небоеспособными: роты

стрелковых батальонов были некомплектными, солдаты их плохо обученными, офицерский состав, собранный «с миру по нитке», с солдатами почти не общался и не только из-за незнания языка, но просто не имея времени для знакомства.

Чуть лучше было положение в других полках дивизии — 1290 и 1292. Полно солдат и офицеров оставалось только в полковых и дивизионных тылах. Но приказ — есть приказ: **сбить арьергарды противника, совместно с другими подразделениями 68 стрелкового корпуса 57-й армии захватить Неготин и далее наступать через Восточно-Сербские горы в направлении Краэугвац — Белград.**

На Белград от болгарской границы шло три дороги: две в обход гор, и одна — напрямик. Нашей 57-й армии был придан свежий, только что пришедший на Балканы 4-й гвардейский механизированный корпус. Как сейчас пишут в своих мемуарах генералы и маршалы (В. Ф. Толубко, С. С. Бирюзов и др.), в штабах фронта и армии были некоторые колебания, кого и как посыпать вперёд, но в результате решили: пусть пехота возьмёт горы «в лоб» без огневого сопровождения, а танковые подразделения с артиллерией 4-го мехкорпуса приберечь, «ввести в сражение на втором этапе операции, после преодоления стрелковыми войсками горного массива» (Толубко, Барышев. На южном фланге. М., Наука, 1973). Это решение современными историками названо «новаторским и единственно правильным». Я не историк. Не знаю. Но так оно потом и было.

Пехота свою задачу выполнила, горы взяла, а по её оставшимся в горах трупам гвардейские танки без потерь 12 октября ворвались в долину Моравы и, обогнав нас, с боями пошли на Младеновац—Белград.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО «В НАТУРЕ»

Югославскую границу мы переходили ранним утром. Сзади на востоке чуть занималась заря. На небе ни тучки. День обещал быть солнечным и мирно-ленивым. Пограничная речка текла небольшим ручейком, и в самом глубоком месте вода еле доходила до ступиц колёс. Сняв ботинки, солдаты неумело прыгали с камешка на камешек, стараясь не замочить завязки кальсон.

1290 и 1292 полки ушли раньше на штурм Неготина. Нашей задачей было прикрыть их левый фланг, перерезать коммуникации неготинской группировки немцев с юга и не дать прорваться немецкому подкреплению.

Полк, выдвинув боевое охранение, растянулся длинной колонной, где пешие солдатские роты и батальоны перемежались с конными обозами. Весь груз, кроме личного оружия, на подводах. Отдохнувшие сытые солдаты шли бодро, то там, то здесь звенели губные гармошки, песни. Только скрип немазанных старых телег, да понурые морды недовольных лошадей, тащивших тяжело нагруженные карузы, заботили обозников. Пыльная грязная дорога, извиваясь между холмами, упрямо тянулась вверх.

Уже после первых привалов на обочинах появились телеги то с отвалившимся колесом, то с порванной сбруей. Возившиеся около них солдаты нет-нет, да и поминали недобрый словом бывших хозяев телег — «болгарских братушек», передавших эти транспортные средства Советской армии по договору. Какой нормальный крестьянин отдаст из своего хозяйства лучшее? Или даже хорошее? У каждого народа есть свой эквивалент пословицы: «На, Боже, что мне не гоже».

К обеду небо затянуло. Стал наcrapывать мелкий дождик, а дорога резко пошла в гору. На ней чётко обозначилась выбитая в каменистом грунте колея. Лошади, спотыкаясь о мокрые камни, скользили стёртыми подковами. Всё чаще в воздухе посвистывали кнуты и пока ещё лениво зачинался мат.

Подошли походные кухни. Запахло сырной мясной зatiухой. Солдаты забренчали котелками, ложками, повеселели, потом, спрятавшись под огромными развесистыми орехами, задымили козьими ножками... можно жить, но:

— Выходи строиться на дорогу!

В ботинках уже хлюпает, шинель сырая, в ней, пока лежишь не шевелясь, тепло. Выходить на дождь, ой, как не хочется. Многим лошадям не досталось овса, а на одной траве далеко не уедешь... Нехотя, но полковая колонна все же выстроилась, и ещё часа два лошади карабкались по горной каменистой дороге, выкладывая свои последние силы. Настоящий осенний дождь разошёлся. Он нудный и холодный. С плащ-палаток (у кого они есть) вода затекает за обмотки, шинели тяжелеют на глазах. Вокруг сумерки. То ли из-за густого леса? Погоды? А может, вечерне? Всё чужое и неизвестное. Куда мы идём?

Небольшая поляна с кукурузой. Может быть там засада? Достаточно вон на той нависшей над дорогой скале поставить один пулемёт, и... совсем рядом заливисто застрочил автомат, другой — справа, у крутого склона ещё один. Обоз первого батальона остановился на подъёме. Мы кучно упёрлись в него. Справа в стороне

Неготина весь день глухо и далеко била артиллерия, отдельные автоматные очереди совсем рядом слились в беспрерывный треск.

— Стрелковые роты, в цепь! Пулемётчики, занять позиции! Миномёты, к бою!

Под сплошным дождём Юрка с солдатами достают миномёты, мины. Я ищу комбата — куда стрелять? Никто не знает. Говорят, немцы с соседней гряды обстреляли боевое охранение, но ни убитых, ни раненых нет. Разведчики ушли вперёд. Грейдер, который мы должны перерезать, где-то рядом. Вперёд!

Тяжёлые подводы нервно скользят по камням. Ездовые матом, кнутами понукают лошадей. Но те выдохлись. От них валит пар. Несмотря на дождь, на боках под постремками мыло, на губах из-под удил кровавая пена, храп из раздутых ноздрей. Ещё... ещё немного, но одна за другой подводы останавливаются на крутом подъёме. В настороженной тишине резко рассыпаются автоматные очереди. Это уже где-то впереди, куда мы идём. Лошади уткнули морды в землю. Похоже, что обозникам тоже не очень хочется лезть к немцам на гору, и уже никакими силами не заставишь обоз двинуться дальше. Но будто из леса на дороге появляется незнакомый капитан. Он пьяный.

— А ну, вашу мать! Чего встали! — он выхватывает у нашего ездового кнут, — распранатакие шлюхи! Фашистов возили, а нас не хотите!

Кнут со вистом режет воздух, бьёт по ногам, по вымени. Лошадь в испуге взвивается на дыбы, но дышло не даёт ей вырваться, валёк зажимает задние ноги. Капитан в пьяном экстазе забегает вперёд:

— Что, паскуда, зашевелилась!

Сыромятный ремень режет морду, глаза...

— Курва!.. А, пошла!

Обезумевшая лошадь, не разбиная дороги, рвётся вперёд. Из ящиков летят мины, патроны... Капитан уже лютует у другой подводы, а мы толпой бросаемся за телегой. Звериное чувство охватывает толпу:

— Бей! Бей!

Окровавленные, в мыльной пене лошади рвутся в гору. Впереди нас на пароконной повозке лопается постремка. Лошадь, потеряв равновесие, разворачивается, падает и вместе с телегой скользит вниз.

— Гальмуй! Гальмуй!

Но гальма нет, и телега, высоко задрав дышло, врезается в заднюю подводу. Храпят раненые кони, кровь, пена. Но всё это

уже сзади... ещё!.. ещё!.. И вот уже первые подводы выходят на гребень. Через полчаса дорога пуста. Лишь около поломавшейся подводы пьяный капитан неистово бьёт дрыном покалеченную, лежащую на дороге лошадь. Она уткнулась окровавленной мордой в дорожную грязь, и только открытые глаза да дёргающаяся от ударов кожа говорят, что лошадь жива.

К капитану подходит политрук:

— Брось, быков ведут!

Явно смеркается, но дождь не перестаёт. Впереди на грейдере идёт бой. Стрельба кажется совсем рядом. И сквозь неё где-то под горой еле улавливаются мерные шаги быков. Проходит может быть ещё полчаса, и из темноты одна за другой появляются их флегматичные морды, большие четырёхколёсные арбы и под стать быкам укрытые какими-то балахонами мрачные сербы.

До грейдера километра три-четыре. Наша пехота уже там. Нам же надо ещё перевалить лощину и вылезти на следующий гребень. Юрка, забрав оба миномёта и солдат, уходит вперёд. Связь тянуть не имеет смысла. Ему надо как можно ближе подойти к пехотным цепям и стрелять по их указанию. Я остаюсь с обозом. Мы перегружаем боеприпасы на быков. Молчаливые сербы стоят в стороне и с опаской прислушиваются к звукам ночного боя. Их мобилизовали в соседнем селе, и как окажется потом, не совсем добровольно.

Уже глубокой ночью обоз вылез на следующий гребень. Грейдер в лощине под ним. Нам хорошо слышна стрельба, видны ракеты, разрывы мин, следы трассирующих пуль. На вершине гряды лес более редкий. На небольшой полянке санвзвод уже орудует вовсю. От грейдера тянутся раненые. Они все в грязи, и лишь окровавленные бинты ярко и тревожно мелькают в ночи. Мы помогаем грузить на арбы тяжелораненых и убитых (попробуй, разберись в дождливой холодной темноте, кто мёртвый, а кто ещё живой — там уточнят). Кто может, уходит сам. Наконец, уже под утро, уходит последняя арба. Хочется сесть. Я выбираю себе местечко посуще, кладу под голову автомат, скрючиваюсь, с головой накрываюсь плащ-палаткой, и... сон...

— Лейтенант Михайлов, к командиру батальона!

Я затаился. Не хочется даже шевелиться. Всё тело интуитивно чувствует, что на улице плохо. Приоткрываю глаза. Здесь у меня под плащ-палаткой свой мир — сырьо, но тепло.

— Где Михайлов?

Чей-то голос совсем рядом. Надо выходить. Я приподнимаю кончик плащ-палатки: кругом белым-белом! На деревьях, ещё не

сбросивших листву, огромные купы снега. Листья и ветки съёжились и покорно клонятся к земле. Плац-палатка тоже покрыта снегом, и меня не видно.

— Михайлов, ...твою мать! — это уже явно кричит какой-то начальник. Ещё мгновение, я вскакиваю, сбрасываю с себя снег. Тело дрожит противной мокро-холодной дрожью. Пытаюсь согреться, прыгаю, скаку на одной ноге, потом бегу к командирской палатке.

Недовольный комбат что-то про себя бурчит, но я не слушаю. Оказывается, наш батальон в ночном бою потерял почти половину наличного состава. Командир полка принял решение расформировать его. Всю пехоту, включая миномётную и пулемётную роты, передать в первый батальон. Освободившихся при этом офицеров свести в группу, которая во главе с начштаба будет принимать пополнение, иначе — формировать новый батальон.

Приходит Юрка с одним миномётом. Солдаты грязные, мокрые, серые, высосанные боем и бессонной ночью.

— А где второй?

— Не знаю.

Обычно холёный, улыбающийся Юрка безразлично и тупо смотрит на меня.

— Иди поешь, там оставлено.

Некоторые солдаты больше по привычке глотают холодное варево, другие здесь же залезают кто под дерево, кто под телегу и засыпают.

Потом все они вместе с Юркой на время перейдут в миномётную роту первого батальона. Я остаюсь в офицерской группе. Нас человек десять-двенадцать. Мы собираемся у остатков обоза, где понуро стоят побитые кони. Большинство из них годится только на мыло, поэтому их не кормят.

Нехотя день вступает в свои права. Появляется кухня. Таёт снег. Косматые тучи, ещё недавно цеплявшиеся за верхушки чужих незнакомых деревьев, поднимаются кверху. Мокрые обозники, потеряв терпение, уходят подальше вдоль тылового склона и там пытаются разжечь костёр, но сырье дрова только дымят. Вскоре немецкие миномёты начинают пристрелку по дыму... Всё кончается тем, что одна из мин залетает в наше расположение вблизи санвзвода. Там раненые лежат на земле, прикрытые брезентом. Шум, гам...

С утра немцы несколько раз пытались вернуть грейдер, и дважды выходили на него, но закрепиться на смогли. Подошла наша артиллерия, с тыла привезли боеприпасы. Немцы же, как видно, сидели на голодном боевом пайке и стреляли мало.

Не успели мы ещё вдохнуть полной грудью аромат дымящейся кухни,

— ТРЕВОГА! «ПАРТИЗАНЫ»!

Мы бежим к палатке комбата. От неё хорошо видно, как позади нас по гребню противоположной гряды ходят люди с ружьями: партизаны!

— Братушки! — кричим мы им и радостно знаками, жестами пытаемся установить контакт, зовём к себе. Они будто не видят нас, но и не стреляют.

Кто-то из нашего начальства, вероятно из тех, кто добывал быков в сербском селе, уже смекнул, что здешние сербы — это не те, о которых писали в памятках и прокламациях тыловые политорганны, а другие, не очень ждавшие нашей помощи.

Мы получаем задание идти в гору и выяснить намерения «партизан». Если окажут сопротивление, занять оборону и ждать подкрепления. Как-никак, удар в спину по нашей пехоте многое может натворить.

Каждому автомат, запасной рожок, пара гранат, и мы во главе с начальником штаба расходимся в цепь... Стارаясь не терять друг друга из вида, не спеша, на глазах у «партизан», мы спускаемся вниз, переходим ручей. Дальше крутой склон, заросший огромными буками и густым подлеском. Я лезу, иногда цепляясь за корни и ветки кустов. Автомат на взводе...

— Братко!

Моя голова и автомат резко поворачиваются на голос. Из-за дерева в упор смотрит ствол охотниччьего ружья, а за ним тревожные чёрные глаза серба. Ни он, ни я не выпускаем оружия из рук... В таких случаях за одно мгновение в голове отчётливо проносятся тысячи мыслей. Будто теряется координата времени и одновременно проигрываются различные ситуации и варианты их решения: стрелять — не стрелять? кто первый?.. Указательный палец медленно поджимает спусковой крючок, а большой незаметно переводит переключатель на «очередь». Если он выстрелит, я всё-таки успею нажать. Наши услышат...

Серб, не опуская ружья, головой показывает, куда мне идти. Это как понимать? Он с ружьём пойдёт за мной? Иначе, поведёт меня, как пленного? Так не будет. Мы оба в нерешительности стоим, не двигаясь. Потом серб начинает быстро-быстро то ли говорить, то ли кричать. Я молчу. Наконец, не сговариваясь, опускаем оружие и лезем вверх на гребень. Вдали справа стоит группа юго-славских крестьян. Рядом несколько наших офицеров. Все, возбуждённо жестикулируя и явно не очень дружелюбно, пытаются что-то объяснить друг другу. Я бросаюсь к своим. Среди нас партогр.

Его попытки завести разговор о Тито, о славянской дружбе явно ни к селу, ни к городу. Наоборот, они будто подливают масла в огонь.

Нас совсем мало, раза в четыре меньше, чем сербов. Из деревни подходят ещё крестьянские парни. Все они с ружьями. Среди них толмач — древний стариk, побывавший в России в Первую мировую. Обстановка обостряется. Привели нашего офицера уже с отобранным автоматом. Автомат передали командиру-сербу. Я вижу, как начштаба что-то говорит своему ординарцу. За нами следят. Начштаба громко переключается на толмача, и в это время юркий ординарец, прошмыгнув у нас под ногами, прыскает в кусты.

— Стой! стой!

Сербы с ружьями бросаются за ним. Выстрелы. Дробь знакомо шелестит по листьям, но того уже и след простыл. Лишь где-то далеко внизу прошуршили ветки. Гнаться бесполезно, и командир-серб громко и зло ругает опростоволосившихся охранников. На нас офицерские погоны. Мы сбились в плотную кучу и пленными не будем! Сейчас уже не помню, сколько прошло времени, но вот вдали за деревьями, там — здесь, сзади — спереди замелькали наши солдаты. Сербы растерянно переговариваются, но... уже первые солдаты, улыбаясь во весь рот, радостно бегут:

— Партизаны! Братушки! Партизаны!

Им, принимавшим за чистую монету нашу пропаганду о всенародном партизанском движении в Югославии, об общем единстве всех наций, населяющих эту южнославянскую федерацию, о всенародной любви к Советской России, невдомёк, что происходит у них на глазах.

Я стою чуть в стороне и не слышу слов толмача. Наконец, там приходят к какому-то согласию: начштаба вынимает из кобуры «ТТ», отдаёт его кому-то из наших и вместе с Мишкой (комвзвода связи, о котором я уже упоминал и ещё не раз упомяну) и ординарцем уходит в село в сопровождении нескольких вооружённых сербов.

Это сразу разрядило обстановку. Наших солдат много. Они, побросав оружие, беспечно разлеглись на полянке, радуясь тому, что их сняли с передовой, задымили «козыми ножками». Сначала настороженно, а потом всё ближе и теплее к ним потянулись сербы. Кто-то из сербов сбежал в деревню... На траве появилось вино, слиновица, лепёшки... Ещё немного и всё перемешалось. Объяснялись через пень-колоду. Те и другие — крестьяне. И вот уже чокаются, закусывают, хлопают друг друга: «Смерт фашизма!» Наши солдаты не перестают удивляться (и я с ними): оказывается югославов, как таковых, нет. Здесь живут сербы, живут бедно, пашут в горах на

маленьких клочках земли. Потом разговоры снова возвращаются к войне. Война всем несёт горе.

Мне суют в руку кружку с вином. Но я не хочу, и чтобы не быть белой вороной, отхожу в сторону. Сажусь на пенёк. Но солнце властно спихивает меня на землю. Я не сопротивляюсь. Пристраиваю щёку к автоматному ложу и... Что слаще всего?..

— Борька, пошли!

Это Мишка. Он тычет мне в бок носком кирзового сапога. Мишка тёпленький-тёпленький. Рядом начштаба — такой же. Он, чуть заплетаясь, рассказывает о походе в деревню.

— В деревне создано организованное ополчение. В него вошло практически всё мужское население. Вокруг полей выкопаны окопы. В село никого не пускают: ни четников, ни пролетарцев, ни немцев... Нас тоже не приглашают, но обещают охранять наши тылы и в случае чего звать на помощь...

Солдаты крепко жмут руки, обнимаются с деревенскими ополченцами. «До вижденья!» — и мы уходим...

Только теперь, прочитав воспоминания некоторых югославских руководителей партизанского движения, мне становится более-менее ясной вся сложность политической ситуации в Югославии того времени.

В апреле 1941 года армия королевской Югославии после десятидневного сопротивления капитулировала. Король бежал из страны и государство перестало существовать.

Гитлер часть королевства раздал сателлитам, а часть объединил в разные буферные государства и «территории».

1. Было создано «Независимое государство Хорватия», включающее собственно Хорватию, а также Боснию и Герцеговину.

2. Часть Хорватского Приморья и прибрежную Далмацию Гитлер отдал непосредственно Муссолини.

3. Остальные прибрежные районы Югославии, а также вся Черногория и южная Словения были поставлены под военный итальянский контроль.

4. Северную Словению Гитлер присоединил к своему рейху.

5. Сербия попала под непосредственное управление Германии.

6. Воеводина отошла к Венгрии, Македония — к Болгарии.

Для защиты местнических интересов в различных районах появились собственные вооружённые формирования, среди которых наиболее крупные силы оказались в Хорватии — усташа и домобранцы. В Словении возникла профашистская «Белая армия». В горах Сербии господствовали чётники — не сложившие оружия остатки королевской армии под командованием Д. Михайловича. Формально

они были подчинены эмигрантскому правительству в Лондоне. В горных районах Боснии и Герцеговины в декабре 1941 года зародились партизаны (по мнению четников, а соответственно, лондонского правительства и наших союзников, — коммунистические авантюристы, которые

«провоцировали оккупантов и заставляли население нести излишние жертвы»
(М. Вуксанович. Первая пролетарская бригада. М., Воениздат, 1986)

День рождения 1-й Пролетарской бригады партизан Иосип Броз Тито, вернувшийся из СССР, приурочил к 62-летию Сталина — 21 декабря 1941 года.

Были ещё и более мелкие формирования. Все они в разной степени, но всегда люто ненавидели не столько немцев и итальянцев, сколько друг друга. Немцы по возможности разжигали национальную, религиозную и социальную рознь народов, всячески повторяя начавшейся гражданской войне.

Общие потери Югославии во Второй мировой войне — 1 миллион 700 тысяч человек из примерно пятнадцатимиллионного до-военного населения. Очень лестно для югославов отнести эти потери (самый большой процент среди народов мира) на счёт боёв с немецко-фашистскими оккупантами. Именно так поступает большинство советских историков (иностранных я не читал). Но, к сожалению, после прочтения книг, особенно югославских писателей, у меня сложилось твёрдое убеждение в том, что основные потери народы Югославии понесли в братоубийственной гражданской войне между усташами, чётниками, домобранцами, партизанами и другими разно национальными, разно социальными, разно верующими группировками, населявшими эту страну. До середины 1944 года итальянские и особенно немецкие фашисты при этой войне главным образом «присутствовали», охраняя Адриатическое побережье от возможного нападения. Поэтому, когда в литературе встречаешь высказывания о том, что

«повстанческая армия уже в 1941 году приковывала к себе: итальянских войск — 17 дивизий, немецких войск — 6 дивизий, болгарских войск — 4 дивизии, венгерских войск — 3 дивизии», то понимаешь, что это, мягко говоря, некоторое преувеличение.

Я так и не могу до сих пор понять, где и как погибли 1 млн. 700 тыс. югославских граждан. Читая книги очевидцев партизанских боёв и сравнивая эти бои с нашими, не перестаёшь удивляться: боевая терминология вроде бы наша, но всё миниатюризировано и выглядит иногда театрально несерьезно, хотя в принципе и трагично. Например, М. Вуксанович так описывает один из боёв «Группы Пролетарских бригад»:

«На правом фланге Первой пролетарской бригады наступали 6-й и 2-й батальоны. Объектом их атаки была только железнодорожная станция в Раштелице, где оборонялись 10 усташей, 8 жандармов и 3 милиционера... Главную задачу по разгрому противника выполнял 6-й батальон, а 2-й батальон атаковал частью сил с северной стороны...

Около 22.00, в момент, когда 6-й батальон атаковал блиндажи к станции, от Тарчина подошёл немецкий бронепоезд и остановился на станции. Создалась угроза срыва выполнения задачи... Командир Первой пролетарской бригады Коча Попович приказал немедленно доставить к станции 65-миллиметровую пушку, при которой имелось 16 снарядов. Огонь по бронепоезду вёл артиллерист-фронтовик, воевавший в Испании. Он израсходовал три снаряда, но ни разу не попал. Третий снаряд разорвался совсем рядом с бронепоездом и, по-видимому, сильно напугал немецкого офицера, начальника поезда. Немцы забрали с собой 11 усташей и жандармов и поспешили укатили в сторону Тарчина. 2-й батальон не смог воспрепятствовать движению бронепоезда, потому что не имел никаких средств для разрушения железнодорожного полотна. Бронепоезд прошел и через походные порядки 2-й и 4-й бригад, которым также не удалось заблаговременно разрушить железнодорожное полотно».

Только когда на югославскую землю пришла Советская армия и показала, как надо побеждать, поливая землю кровью и покрывая её братскими могилами, партизанские подразделения, превратившись в регулярную армию, начали воевать против немцев. Это уже была настоящая война с настоящими потерями. Но о ней я мало знаю. Помню, как мне долго и беспросветно рассказывал о ней безрукий югославский боец в апреле 45 года в госпитальном саду в Субботице. Техники и умения у югославов было маловато, и участие в освобождении своей земли им обошлось недёшево.

В первой половине октября 1944 года, когда Советская армия вошла в Восточную Сербию, естественно, мы ничего из написанного выше не знали. Нас если и воспитывали, то на «урапрокламациях».

Как я сейчас понимаю, партизан (титовцев) в Восточной Сербии никогда не было. Здесь господствовали четники, никакой любви не питавшие к Тито, а через него и к нам. С ними-то мы и встретились на дороге через Восточно-Сербские горы.

Сегодня, в октябре 2000 года, когда призрак братоубийственной войны, побродив по Югославии, пытается свить себе гнездо в Сербии, ее коренные жители мне представляются своеобразными христианскими (православными) чеченцами, безрассудно по зову души и сердца затевающие кровавые игрища на многострадальной южно-славянской земле.

На что в те далекие сороковые годы могли надеяться сербские партизаны, с дробовиками выступая против хорошо вооруженной пятимиллионной Советской армии, победно шедшей по Балканам?

В тот день после встречи с сербскими крестьянами-«братьушками» для нас более привлекательными были заветные дымки походных кухонь, приближавшиеся к нашей полянке. Мы торопливо лезем на гребень: не опоздать бы! Нет. Бренчат котелки, и уже слышен сытный гул солдатского обеда. В кармане галифе я с вожделением нащупываю привязанную к поясу алюминиевую ложку...

— Лейтенант Михайлов, к командиру батальона!

— Ещё чего, обед — святое время. — Я выскребаю из котелка остатки «шрапнели», жиденько заправленной американской свиной тушёнкой, и не спеша иду. У палатки комбата все офицеры уже в сборе. Комбат только что вернулся с передка и рассказывает:

— От пехоты почти ничего не осталось. Те, кто ещё есть, кое-как держат дорогу, но немцы всё время атакуют. Солдаты измучены.

Комбат обещал им прислать подкрепление, но никого нет... кроме нашей офицерской группы. Нам надо на ночь заменить солдат. Дать им обсохнуть, отоспаться, поесть горячего.

Нас десять человек, а фронт километра два... Против нас эсэсовская дивизия «Бранденбург». Вернее, её не менее потрёпанные остатки...

К вечеру с передка пришёл связной командира стрелковой роты, и мы ушли за ним, стараясь копировать его движения: где пригнувшись бегом, где в полный рост, где ползком по скользкой, перепачканной глиной траве, что растёт по обочине грейдера. Немцы рядом. А где рядом? Может быть, за тем деревом?.. За тем камнем?.. Наконец, связной сваливается в какую-то яму или лощину. Мы за ним. Там солдаты — человек десять-пятнадцать, заросшие щетиной, в мокрых, заляпанных грязью шинелях, тесно прижавшись друг к другу, с каким-то тупым безразличием смотрят на нас: что бы ни затеяло офицеръё, хуже не будет.

— А где остальные?

— Остальных нет, это всё. Где немцы?

— Там.

— Где там?

И как бы в ответ на наш вопрос совсем рядом в небо летит первая немецкая вечерняя ракета. Я чуть высываюсь из ямы и вижу, как она, шипя и извиваясь, догорает на грейдере за нашими спинами.

— Так что ж вы здесь сидите?

— А куда нам идти?

Мы, офицеры группы, плохо знаем друг друга и, может быть, поэтому расползаемся вдоль грейдера поодиночке, забрав с собой ракетницы, сумки с ракетами, автоматы, гранаты и сапёрные лопаты. Каждый остаётся наедине с немцами и кромешной октябрьской ночью.

Я выбираю себе открытую полянку чуть впереди грейдера. Посередине полянки гряда камней. Как можнотише на коленках я раздвигаю камни и устраиваю себе «логово». Его видно со всех сторон, зато и я вижу все подступы к себе... Готово... Лёжа на спине, пускаю ракету... и почти сразу над моей головой прошивается ночную темень очередь трассирующих пуль. Немец где-то рядом, метрах в 150—200. Я стреляю из ракетницы в его сторону. Ракета прыгает по траве и шипя замирает в кустах. Оттуда ещё некоторое время светится белый дымок. С другой стороны мне в упор раздаётся автоматная очередь... Из кустов справа пускает ракету мой сосед. Ещё дальше строчит наш автомат... Теперь мы всю ночь будем на ощупь охотиться друг за другом. Мы все повязаны самым дорогим — своими жизнями — и на каждого из нас из-за кустов, из-за камней, из невидимых окопчиков открыто смотрят сама смерть. Ей всё видно, и она с плотоядной улыбкой выбирает себе жертвы.

Ночи, кажется, нет конца. Глаза и уши ловят каждое движение, каждый шорох. К середине ночи передок вроде чуть затихает, но под утро, когда вот-вот на фоне неба должны обозначиться ветви деревьев, сзади нас, где-то в районе обоза, заливисто затрещали автоматы, послышались резкие хлопки гранат, заржали кони. Минута, две... и всё стихло. Потом пришли солдаты. Их совсем мало: двоих ранило, кого-то доняли чиряки, кого-то простуда, и они ушли в госпиталь. Рассказали: группа немецких разведчиков просочилась через нашу оборону (через нас!) и напала на обоз. Там под телегами и между лежавшими лошадьми беспечно спали обозники и солдаты с передка, принявшие перед этим «свои боевые сто грамм», да ещё в двойном размере, да на голодный желудок! К счастью, досталось главным образом лошадям, но они и так уже все были отбракованными.

Смерть в ту ночь, вероятно, была сытой или, побрезговав нами, уж слишком грязными и вонючими, предпочла поужинать немцами. У нас только пропали двое солдат (наверное, украли немцы), да одного офицера нашли зарезанным в кустах. Кстати, я не помню, чтобы нас в те дни донимали вши. Нельзя исключать, что в тех условиях даже они стали «самовырождаться», не сумев приспособиться к холоду, мокроте, грязи.

Подходившие из тыла солдаты расползались каждый по своим укрытиям, где им «везло» в предыдущие ночи. Мы — офицеры, отдежутившие ночь на передовой — идём к обозу. Обоз — наш тыл. Хочется только спать, и я, не глядя на котелок с холодной затиухой, лезу под телегу... сон...

Около полудня кто-то тянет меня. Из дивизии привели «пополнение» — человек тридцать «шестёрок». Это те, кто в войну беззаботно кантовался в дивизионных, армейских тылах, а сейчас за нашими спинами пожинал лавры «воина-освободителя» в богатых болгарских сёлах. По широким улицам этих сёл они, казалось, ходили толпами — рядовые, сержанты, офицеры в начищенных до блеска сапогах, в гимнастёрках с подворотничками, с портупеей и прочими армейскими атрибутами, призванными завлекать многочисленный армейский и цивильный женский пол. Это службы штабов, боепитания, продовольственного и вещевого снабжения, ремонтные бригады, многочисленные связисты, ординарцы, повара, сапожники, медперсонал, химвзводы, агитбригады, политорганды и ещё чёрт те кто, за всю войну в глаза не видевшие ни одного живого немца.

«Шестёрки» стояли под деревьями, пугливо прижимая к себе карабины. «Здесь вам не к бабам бегать!»

Вечером каждый из наших офицеров получил по отделению «шестёрок», и мы снова ушли в ночь сменить пехоту.

Я на своём участке решил создать видимость сплошной обороны, заставив рыть окопы полного профиля.

— А дэ німці? — спросил меня кругленький, лоснящийся от жира солдатик, похоже, личный повар одного из тыловых начальников.

— Рядом. Давай, копай!

Против нас, я, кажется, уже говорил, стояли остатки разбитой эсэсовской дивизии «Бранденбург» и 1-й горнострелковой дивизии. Их было мало, но не в пример нашим необученным разношёрстным солдатам немецкие горные стрелки и эсэсовцы знали, как надо воевать. Особенно ночами они наводили страх и ужас на украинских и молдаванских крестьян, одетых в нашу военную форму. Стреляли немцы мало, но виртуозно владели ножами, верёвками, железными палками, неслышно подкрадываясь и зверски убивая, либо воруя наших солдат. Потери росли. Пехотинцев уже перестали отпускать на ночь в тыл, и они, вконец измученные, по ночам спали рядом с нами.

Ходили к немцам и наши полковые разведчики, но чаще безрезультатно. Только однажды, я помню, приволокли «что-то», замо-

танное верёвками и с кляпом во рту. «Что-то» было всё в грязи, обросшее густыми чёрными волосами, из которых испуганно торчали большой мокрый нос и огромные глаза. Вынули кляп. «Оно» быстро-быстро затараторило на каком-то непонятном языке. «Еврей!» — сказал мой напарник. Доставили Юрку. Он — кондовый, с Малой Охты, и должен говорить по-еврейски. Юрка долго подыскивал слова и потом авторитетно заявил: «Нет!» Может быть то был итальянец из обоза.

Ещё одна ночь. Мы, резервные офицеры, мокрые и уставшие, растолкав уснувших под утро пехотинцев, уходим с передка... Руки как крюки. Пальцы еле держат ложку с остывшей кашей. С горных сербов ничего не выjmешь. Сами живут впроголодь. И мы опять переходим на «конский рис», «шрапнель», мамалыгу, заправленные американской тушёнкой, лярдом, колбасным фаршем.

Но всё равно, мы — не пехота! У нас есть дом в тылу, где можно ходить в полный рост, разговаривать, а спустившись по обратному склону хребта, разжечь бездымный костерок, чтобы унять утреннюю холодную дрожь. Здесь нам не надо, как на передке, ежесекундно оглядываться по сторонам, ожидая немца, смерти...

— Лейтенант Михайлов, к комбату!

— А когда же спать?

— На том свете отоспишься!

У батальонной землянки стоит незнакомый штабной офицер. Рядом с ним старший лейтенант из нашего батальона. Не помню ни его должности, ни фамилии, но звали его Григорий.

— Тебя ждали. Быстро собирайся. Вместе со старшим лейтенантом поедешь в Брягово принимать пополнение. Бричка готова.

Мне собирать нечего. Сходил на кухню за сухим пайком на двоих, бросил в бричку автомат, рожок — в карман, и мы поехали.

Редкие встречные сербы не выказывают братского радушия. Горы под стать им сурово и настороженно, исподлобья смотрят на нас. Здесь четвёртый год идёт война.

Судя по домам, одежде, местные и до войны жили небогато, а сейчас и подавно. Мужики — кто в четниках, кто в партизанах. А ведь есть-то хотят и те, и другие. Скота не видно. Может быть, спрятан в лесах?

Многие дома почему-то брошены, будто в спешке. По дороге остановились около одинокого хутора. Дверь открыта. Зашли. Никого. Стоит посуда. На гвоздях висят тряпки. Печь вроде чуть тёплая, а никого нет. Весь пол в двух комнатах устлан грецкими орехами — сущится урожай...

Неготин стоит в окружении гор. В городе на подъёме уже оформлена братская могила. Выбиты на ней 1290, 1292 полки. Нашего нет... Мы не воевали...

Еще немного и вот уже болгарское Брягово. Села не узнать. Вроде те же улицы, те же дома, но жизнь совсем другая. Бывшие полновластные хозяева села — болгары — смотрят из-за заборов, либо пугливо перебегают улицу перед носящимися во все стороны юркими виллисами, фордами, громоздкими студебеккерами. Куда ни глянь, снуют тыловые офицеры, солдаты, на завалинках лузгают семечки и млеют в заходящем солнце улыбчивые девчата в военной форме, лениво перебрасываясь скользкими словечками с такими же откомленными, украшенными новенькими медалями сержантами, ефрейторами... Им, кажется, нет числа... Тепло... Сухо... Райская сказка... И не верится, что всего километрах в двадцати-тридцати в холодных чужих горах на грейдере гибнут остатки пехоты 1288 стрелкового полка, что солдат там уже можно пересчитать по пальцам. Но именно там, где они сидят в своих норах — закопушках, проходит ЛИНИЯ ФРОНТА. И ещё не столкнувшись с новыми порядками в Брягово, мне хочется назад — туда, в горы, домой. Почему? Не знаю. Просто я — оттуда...

По улицам в разные стороны тянутся провода, по которым мы быстро и безошибочно находим штаб. Там «двуухпросветные начальники»:

— Наконец-то! Идите и живо принимайте пополнение, а то мы с ними вконец измучались. Они за селом у речки. И выметайтесь побыстрее, лучше сегодня в ночь. Сухой паёк они уже получили.

«За селом у речки» — это значит сразу за домом пограничника, где мы ещё недавно прощались с сытой и мирной Болгарией.

Проходя мимо, я было сунулся к калитке — договориться переночевать, но там стоял сержант в яловых сапогах:

— Куда? Никаких пограничников нет. Проходите, не останавливайтесь!

На крыльце дома сидела полураздетая «шестёрка» и чистила гуся: вероятно, наше бывшее жильё облюбовал какой-то «большой начальник». На всякий случай я послушался: мы не гордые, мы — пехота.

БЕЛОРУССКИЕ ПАРТИЗАНЫ

В пойме до самой реки кучками сидели люди, одетые в наше солдатское обмундирование. Но уже издали во всём облике было что-то неуловимо чужое, незнакомое. Я подошёл к ближайшей группе и спросил, где и кто здесь старший. Никто не встал. Моло-

дой круглолицый крепыш весело и довольно бойко заокал на непонятном мне языке. Конец его излияния потонул в общем одобрительном то ли смехе, то ли необычном возбуждении:

— Ницца! Було бы бараболи, та поболи!

Западники, что ли? Но те себя вроде так не ведут? Неподалёку тесно прижавшись друг к другу на корточках сидели «чичмеки» и колдовали около небольшого костерка. На мой вопрос они беспомощно захлопали узкими щёлками-глазами, что-то затараторили, показывая руками в сторону речки. Там я увидел Григория. Он был старше и по званию, и по годам.

Григорий сказал: «Пойдём завтра с утра».

Около копны стояла наша бричка. Мы с Григорием пожевали всухомятку. Небо то ли темнело, то ли хмурилось. Надо было думать о ночлеге. В стоге я выкопал нору, и... что слаше всего?..

Ночью с тяжёлым шорохом по копне катились холодные капли октябрьского дождя, где-то ниже шуршили мыши, больно кололось мокре сено. Нора оказалась маловатой, но раскапывать её вглубь не хотелось, и к утру я здорово подмок, поэтому вылез наружу только часам к девяти.

Григорий был уже на ногах и хлопотал о еде. Кормить нас никто не хотел (сняты с довольствия!). Мокрые и голодные новобранцы слонялись по сырому полю, пытались развести костры, но те только дымили, не давая заветного тепла. Из деревенских хат неслись аппетитные запахи жареного с луком мяса — там насыщались тыловые службы. Я пошёл к реке. В кустах несколько солдат воровски свежевали ягнёнка... Дело принимало нехороший оборот, ибо мародёрство имеет свойство расти в геометрической прогрессии.

Нашему полку отсчитано сто новобранцев. Основу этой сотни составляли бывшие белорусские партизаны, призванные в армию сразу после освобождения Белоруссии, то есть месяца два-три назад. Затем шли нацмены (узбеки, казахи, меньше — таджики), прошедшие обучение в запасных тыловых полках. Украинцев, а тем более русских, вернувшихся из госпиталей, было до обидного мало.

Ночной дождь не прошёл даром. Речка была неузнаваема. По руслу, заполняя всю низменную пойму, шёл бурный мутный вал воды. Плыли подмытые с корнями деревья, бревна. Ночью снесло мостики, и о переправе на тот берег не могло быть и речи. Григорий ушёл в штаб. Солдаты приуныли.

Часам к двенадцати чуть разъяснило. Потеплело. Григорий, грязно матюгаясь, пригнал походную кухню с баландой. Хоть эта

кухня и была, как слону дробина, но всё-таки вместе с провиантом, который солдаты «добыли» ночью в болгарских дворах, чуть подняла настроение. Вода начала спадать, и мы решили переправляться. Построили солдат, вывели на берег. Я разделся и, туже свернув обмундирование, вошёл в воду. Десятка полтора солдат двинулись за мной. Остальные стояли на берегу, с беспокойством следя за нашими действиями. Вода по колено..., по пояс..., по грудь... Я уже не смотрю назад. Вода сбивает с ног, и высоко держа над собой узел, я борюсь с быстрым течением. Наконец, ноги уточняют в иле, но мутная холодная вода с водоворотами и полуутопленными корягами ещё долго не пускает меня на берег. На югославскую сторону выбрались ещё двое. Остальные повернули назад. Оказывается, и нацмены, и белорусы в подавляющем большинстве не умеют плавать (я это узнал потом), и двоих из них вытащили на берег полуутопленниками.

Мы трое, посиневшие и все в мурашках, сбились в кучку, не зная, что делать. Небо опять нахмурилось, с гор подул слабый, но очень октябрьский ветерок. Было видно, что солдаты за нами не пойдут. С позором, под неодобрительные взгляды солдат и Григория, мы вернулись назад.

Весь день наша «сотня» провела на берегу реки, грязясь у костров и ожидая спада воды. Григорий воевал с интендантами. Он, не стесняясь, звал их «тыловыми крысами». Результатом этого были полковые кухни, приезжавшие к нам с обедом и ужином.

Ночью наши белорусы шастали по болгарским дворам, пугая хозяев и дворовых собак. На следующий день уже в сербских горах мне рассказывали, что «по ошибке» они попали на интенданский продовольственный склад, обезоружили часового и сколько могли прихватили тушёнки. (Хороший «закус» для болгарской ракии.)

Под утро в своей норе (в стоге сена) я сквозь сон слышал, как пьяные голоса выводили:

Дык бяры ж ты Станіславу,
Што садзіца на усу лаву!
Станіславу не хочу
Бо на лаву не всажу...

На следующее утро вода спала, партизаны опохмелились «найденной» ночью болгарской ракией, и мы на радость тыловой рати наконец-то двинулись в горы догонять фронт...

Бои с окружённой в Неготине группировкой кончались, и немцы, огрызаясь арьергардными боями, уходили из Восточно-Сербских гор.

Мы шли не торопясь, каждый час делая привал. Сухой паёк, полученный на дорогу, был съеден ещё в Болгарии, и нам предстояло переходить на «подножный корм». Партизанам к этому не привыкать. Остальные тоже не голодали.

В сербских поселениях (деревнях, хуторах) оставались, в основном, женщины. А какая женщина не испугается и не отдаст последнее появившемуся в воротах с карабином в руках «хану Мамаю»? Правда, начальство предусмотрительно не выдало нам в дорогу ни одного патрона, но когда на тебя направлено дуло карабина, разве думаешь, заряжен ли он?

В общем, никто не голодал, и ракия была...

Итак, мы догоняем наш полк...

К вечеру партизаны, нацмены, да и мы приустали от множества впечатлений. То ли солнце быстро провалилось «в дыру», то ли мы зашли в очередное ущелье.

Привал!

Кругом мрачные и почему-то чёрные безлюдные горы. Ни души. Солдатские карабины без патронов. Только у нас с Григорием по автомату и одному рожку на брата. А если немцы? Где мы? Место вроде то, и не то... Сербы говорили про монастырь, а его нет... Дорога раздваивается. Надо останавливаться. Неровен час — напоремся на немцев...

Я беру трёх солдат, и мы уходим разведать, что делается вокруг. Подымаемся в гору, потом опять вниз... Темнеет совсем. Уже видны первые звёзды. И как всегда случается, стоило только окончательно заблудиться, вдруг на фоне чёрного безлунного неба прямо над нами появился резкий силуэт средневекового замка с огромными коваными воротами. Полное безмолвие. Будто декорация в пустом театре при потушенном свете. Но всё настояще. Мне не по себе — жутковато. Но партизаны попались, видать, не из робкого десятка. Мы подходим. Ворота на запоре. Солдат бьёт прикладом:

— Гэй! Відчиняй!

Удары гулко отражаются от скал, от чёрных проёмов окон и, много раз повторившись, затихают. Молчание.

— Наверное, надо вернуться за нашими?

Но меня не слушают. Партизаны что-то говорят между собой. Потом один уходит назад, (как я понимаю, к нашим), а оставшиеся двое, поддерживающая друг друга, ловко лезут на ворота и исчезают в темноте двора. Через минуту один возвращается:

— Лейтенант, дай автомат.

Я отдаю и остаюсь один на один с пустым карабином и горами... Я никогда в жизни не был вочных горах. Каменным хаосом они

нависают надо мной. Каждая глыба кажется застывшим заколдованным истуканом, тяжим смерть. Всё мертвое, и живой я один... Вдруг в глубине двора выстрел!

— Ведь у них только автомат! — мелькнуло в голове, и вслед за этим — резкая автоматная очередь, женские криклиевые причитания, визг и снова мёртвая тишина... А мне что делать? Лезть через решётку под пули? Может быть, наши напоролись на засаду? Я, ничего не придумав, нерешительно стучу в ворота и сразу же прячусь за выступ скалы. С той стороны к воротам приближаются голоса: женские, мужские.

— Шнель, шнель!

В замке скрипит ключ. Надо бежать, но в проёме ворот появляется партизан с моим автоматом. Рядом с ним две сморщеные сгорбленные монашенки — точь-в-точь те, которых рисуют на картинах о средневековой инквизиции. Я выхожу из укрытия. Монахини быстро и крикливо лопочут. Похоже, что партизаны их понимают. Мы идём. Я и сейчас, через пятьдесят с лишним лет, свободно проделаю тот путь: чуть вперёд и направо торцом стоит двухэтажный баракчного типа дом. Наружная лестница ведёт прямо на второй этаж. Узкая дверь. Я захожу первым. На меня выскакивает ещё более древняя старушка со свечкой и с маньччной решимостью загораживает дорогу. Из-за моего плеча появляется солдат с автоматом, грубо отталкивает старуху, и мы втроём входим в комнату. На визг упавшей старухи из глубины дома сбегаются монахини с вонючими сальными свечками в руках:

— Где немцы?

— Нэма немочка! Нэма немочка! — и дальше длинные тирады, из которых я понимаю, что здесь женский монастырь и какое-то училище. Солдат открывает стол. Один ящик, другой... в ящиках бумаги. Монахиня настроена агрессивно. Она вырывается у него из рук бумаги, деньги, тащит солдата в сторону... Я перехожу в другую комнату. За мной бегут монашенки, загораживают путь дальше. Явно они растеряны и нас не ждали. В комнате стоит бюро. Я наугад открываю ящик... В сальном свете свечи тускло мелькнула воронёная сталь голого ствола парабеллума:

— Где немцы?... вашу мать!

Главная монахиня падает на колени, и, подымая вверх руки, ползёт в мою сторону. Я отшлёкиваю магазин — шесть патронов.

За дверью около ворот слышится шум — появляется наша «сотня». Я вижу Григория. Он быстро входит в курс дела. Монахини ведут нас к управляющему — «профессору».

Мы пересекаем двор. В левом углу стоит небольшой двухэтажный особняк. На крыльце нас уже дожидается, видно, только что

вставший с постели высокий и худощавый породистый старик — русский. Он чопорно представился профессором Стравинским (или Сикорским, или что-то в этом роде) — директором сельскохозяйственной высшей школы (или института, или колледжа?). В его школе немцы имели офицерский госпиталь и только вчера его спешно эвакуировали. Госпиталь обслуживали монахини из соседнего монастыря. Часть монахинь, боясь оставаться в монастыре, укрылась от «русских анархистов» здесь в надежде на защиту. Советские войска через школу не проходили. (Значит, мы действительно в потёмках отвернули от главной дороги.)

Не помню что, но что-то в его рассказе не увязывалось с объяснениями монахинь. Это сразу заметил Григорий и потребовал показать «всё». Мне пришлось идти, хотя с большим удовольствием я бы завалился спать. Мы долго ходили по каким-то катакомбам, где ещё стойко держался больничный дух. Многие кровати перевёрнуты, около них валяются брошенные в попыхах простыни, немецкая одежда... Операционная... перевязочная с грязными бинтами и окровавленной гнойной ватой и пр., и пр. — поделом им!

Может быть, Григорий что-нибудь и подозревал, но мне в голову не могло придти, что и услужливый профессор, и монахини нас дурачат. Вероятно, часть раненых немецких офицеров, не успевших эвакуироваться, вместе с врачами в это время, затаив дыхание, сидели в подвалах монашеских келий. И знали бы те фашисты, что у гуляющих по верху советских солдат нет ни одного патрона и достаточно заряженного автомата, чтобы нас всех перестрелять, как цуциков.

Согласитесь, что возникшая ситуация во многом была похожа на ту, что в «Живых и мёртвых» потом опишет К. Симонов. Там комбриг Серпилин вывел из окружения большую группу наших солдат. Солдаты по распоряжению СМЕРШ были разоружены и направлены в тыл для «проверки». По дороге они попали в засаду и метались по полю, как беззащитные овцы, пока не были почти полностью истреблены немцами.

Если эту сцену Симонов не выдумал, то можно допустить, что недоверие к солдатской массе кем-то специально культивировалось в нашей армии во время войны. Правда, что греха таить, иногда оно имело определённое основание. В частности, будь у наших солдат патроны, не знаю, как бы дальше разворачивались события в ту «вальпургиеву ночь» середины октября 1944 года в Восточно-Сербских горах...

Но патронов не оказалось, а раненые немецкие офицеры и представить не могли, что русское командование через ничьи горы отправило на передовую сто безоружных солдат. Поэтому пусть

читатель не волнуется. В отличие от художественной сцены у Симонова, всё было приземлено и, в связи с этим, не столь эффектно. К тому же я не исключаю, что определённую роль в этой истории опять сыграла моя «сорочка», которая (и читатель ещё не раз в этом убедится), чем дальше, тем нахальнее и безответственнее будет себя вести, загоняя своего подопечного в, казалось бы, самые безвыходные ситуации и затем, на удивление окружающим, вызывая из них живым и невредимым. Постоянные читатели уже начинают с недоверием относиться к моим рассказам о военных похождениях:

— Не может быть! Ты придумываешь!

Нет! нет! и нет! Я не барон Мюнхгаузен! Всё было так! И та ночь ещё только начиналась... Слушайте и соображайте, что сейчас будет происходить...

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

Сначала как будто ничего не предвещало бури. Инцидент с монахинями затих. Солдаты собирались во дворе и принялись готовить себе пищу, а мы с Григорием чинно-благородно вернулись на квартиру профессора. Стол уже был накрыт, а в соседней комнате подготовлены постели. В отличие от Григория, я почти не пил. Разговор не клеился, и мы с Григорием беспечно разлеглись на белоснежных накрахмаленных простынях, пугая своих доморощенных вшей первозданной чистотой профессорского белья...

— Господин офицер! Господин офицер! — это меня тормозит насмерть перепуганный профессор. В другой руке у него свечка. Тень от породистого профессорского носа беспорядочно бегает по стене, и мне кажется что это сон. На всякий случай я рукой лезу под подушку и там уже реально ощущаю шершавую рукоятку парабеллума. Григория нет. Под окнами крики, солдатский мат (он на всех языках одинаков), топот, в монашеских кельях истошные женские крики и визг.

— Господин офицер, пожалуйста, женщины Вас очень просят выйти во двор.

Профессор как-то неестественно кланяется, отходит в сторону, всем своим видом и жестами прося выйти.

«Господину офицеру» девятнадцать лет. Ему очень не хочется это делать, он представляет, что там творится. Может быть, в Содоме и Гоморре было хуже, но ведь «господин офицер» не Иисус Христос, чтобы в самый разгар гульбища навести порядок... Я нехотя и недовольно одеваюсь и выхожу на крыльце. Хорошо помню: звёзд не было. Чуть моросил мелкий дождик. Никто нигде

не зажигал огней. В чёрном колодце двора лихорадочно мелькали тени, гремели солдатские котелки, рядом громко кричали, хохотали...

Присмотревшись к темноте, я уловил направленное движение в сторону левого дальнего угла двора. Перекрывая общий шум, оттуда неслись мужские крики о помощи: «Ратуйте!», «Дапамагите!...» Там же, как мне показалось, гремел густой и пьяный мат Григория.

Я... — нет, рассказ о том, что я потом делал, не получается. И совсем не из-за того, что забыл или нет нужных слов. Слова есть, но они не выстраиваются в лаконичное повествование — нет таланта... Я помню, как побежал в тот угол двора, как стрелял в воздух из пистолета, какой-то палкой был солдат, лежавших либо стоявших на корточках около огромных деревянных кадок-бочек. В кадках (чанах) высотою, по-моему, три-четыре метра бродило вино. Солдаты в пьяном угаре, подсаживая друг друга, залезали на край и котелками черпали оттуда содержимое. На дне кадок благим матом орали свалившиеся туда и неспособные выбраться наружу. Кто-то пытался их вытащить, но большинство, не обращая внимания на попавших в беду товарищей, лихорадочно черпало колыхавшуюся на дне бурду...

Не знаю, что дало нам с Григорием силы собрать всю эту перевившуюся, потерявшую человеческий облик толпу в единый табун... Может быть, я сейчас в чём-то грешу перед правдой, и, кроме нас двоих, были ещё трезвые люди. Наверное — да. Вроде вспоминается мне сержант или рослый солдат, старавшийся устыдить сбратьев... Более того, кажется, у стенки на корточках сидело несколько групп нацменов и с тревогой наблюдало за всем происходящим. Не помню... Не буду врать. Только до сих пор осталось то чувство омерзения, которое я, девятнадцатилетний пацан (оголец, как сказали бы мои ленинградские приятели), испытывал к этой куче человекоподобных, еле стоящих на ногах существ, со страхом закрывающих головы от ударов палок...

— Р-р-расчитайся! — проревел Григорий. Но сосчитать, все ли на месте, в кромешной темноте двора было невозможно. Я вернулся к чанам. Залез на край. На дне было тихо. Вроде никто не шевелился, но в одном что-то валялось: то ли пустая бочка, то ли кто-то в шинели. Я сказал Григорию. «Проспится — догонит», — ответил он.

— Шагом м-а-а-арш! — закричал Григорий в тоне кавалерийской команды, ибо такая больше подходила к обстановке.

Мы ушли как английские джентльмены — без «спасибо» и «до свидания», оставив в профессорских владениях бедлам, не-

скольких в доску упившихся солдат и насмерть перепуганных монахинь. Им предстояло наводить порядок и выяснить отношения с немецкими офицерами, которые так и не высунулись из подвалов, предоставив сёстрам милосердия сомнительное право самим отбиваться от русских ухажёров.

К СВОИМ

Дождь усиливался. Партизаны, нацмены и прочие хмуро, молчаливо тащились извилистой горной дорогой. У Григория тоже с похмелья трещала голова... Куда мы идём?.. Где наши?.. Где немцы?.. Магазин парабеллума пуст, автомат исчез вместе с сопровождавшими разведчиками. Временами проскальзывала мысль: а вдруг немцы?..

Но немцы в это время, боясь полного окружения, ретиво бежали на запад, а наш полк догонял шедшую в первом эшелоне девяносто третью стрелковую дивизию...

Наконец, где-то к полудню, мы, мокрые и измученные, встретили на обочине хромую подводу со спящим солдатом: наш 1288 сп был рядом!

Штаб полка. От Григория ещё сильно несло ракией, поэтому он, отдав документы, ушёл строить солдат. Обо всех наших перипетиях рассказывал я. Начальство как будто осталось довольно... — пополнение прибыло.

Я вернулся в роту. Здесь всё по-новому. Пришёл новый комроты — старший лейтенант Грешнов. Он из госпиталя, чуть прихрамывает на правую ногу. Старый и сумрачный, среднего роста, с маленькими бегающими глазками, пахнет сивухой. Потом Грешнов проявит в полную меру своё изуверское нутро, а сейчас он хмуро, будто с похмелья (а вероятно, так и было), посмотрел на меня, что-то сказал, и я ушёл в свой первый взвод. Кроме Юрки, теперь в роте ещё один офицер — командир третьего взвода, а также старшина — очень шустрой молодой дядька лет тридцати-тридцати пяти.

Впрочем, мне Грешнов ничего плохого не сделал. Скорее наоборот, но на это были особые причины. Поведение же его... а впрочем, пусть читатель сам судит по его поступкам. Мы с Грешновым теперь будем вместе почти до самого конца войны.

С первого же дня у нас установились, точнее, Грешнов сам установил, отношения... даже не знаю, как их назвать, но суть в следующем.

По уставу командир миномётной роты должен лично иметь контакт с пехотными офицерами, для чего располагать свой НП в

боевых порядках пехоты и вести огонь по её требованию. Командир первого взвода (то есть я), старший на «огневой» (на миномётной позиции), принимает команды комроты и несёт полную ответственность за их выполнение, то есть за стрельбу.

Грешнов до ранения командовал батареей 45-миллиметровых пушек, миномётной стрельбы не знал. В миномётчики он проbralся, чтобы снова не «загреметь» в «прощай родину». Главное даже не в этом. Грешнов, был трус. Трус — это как алкоголик, кстати, он был и им, — больной человек. Больной неизлечимо.

Согласитесь, во время боя находиться в пехоте, торчать с биноклем на виду у немцев (стереотруб у нас никогда не было) значительно опаснее, чем сидеть на огневой в командирской землянке около телефона под накатами и командовать в обе стороны: на НП и на миномётную позицию. Короче, Грешнов во время боя менялся со мной местами, и я шёл в пехоту стрелять. Платой за это были определённая степень свободы и независимость.

Меня такое положение вполне устраивало. Да и любой девятнадцатилетний мальчишка, не обременённый семьёй, детьми, если у него нет какого-либо патологического сдвига, или как бы сейчас сказали «комплекса боязни смерти», на моём месте поступил бы так же. «Комплекса» у меня не было. К тому же выбирать мне не предлагали. А стрелял я (не буду хвастаться) неплохо, поэтому командование батальона к такой замене в миротроте отнеслось молчаливо-положительно.

Привал на обед затянулся. Полученное пополнение сразу же распределили по пехотным ротам. Пока меня не было, в нашу миномётную роту вернулись все оставшиеся в живых её прежние солдаты. Более того, молдаване, познав, что стоит фунт пехотного лиха, привели к нам своих земляков. Грешнов из пополнения сумел достать ещё несколько партизан-белорусов и двух казахов. Один из них — Инцыбаев — маленький, живой, со шрамом на лице, всегда улыбающийся и очень смешлённый, станет потом общим любимцем роты. А пока на первом построении все стоят молча и настороженно следят за офицерами. Ведь каждый второй новенький должен придумать собственную легенду о принадлежности к миномётному делу. Но мы всё равно знаем: половина из пришедших ни разу в жизни не дотрагивалась до миномётного ствола и учёбу надо начинать с нуля.

У старшины я стараюсь выяснить, где мой вещмешок. Он не знает. Ну и не надо, царство ему небесное. К этому времени старшина привёз со склада полную повозку нового обмундирования. Роюсь в повозке, примеряю, что подходит, и с грустью расстаюсь

со своей коверковой «черчиллевской» гимнастёркой. В новом вещмешке у меня пары зимних портнянок, котелок, банка тушёнки, фляга для спирта, пары автоматных рожков и... кажется всё.

Наконец, далеко за полдень:

— Батальон, выходи строиться на дорогу!..

«В дальнейшем 57-я армия свои основные усилия перенесла на центральное направление, к левому флангу 68-го стрелкового корпуса (в этот корпус входила наша 113 сд — Б. М.). Здесь предстояло ввести в сражение и 4-й гвардейский межкорпус.

Для развития наметившегося успеха командующий фронтом поставил задачу ускорить темпы наступления, возможно быстрее преодолеть горную полосу и выйти в Моравскую долину.

— Проталкивайте как можно быстрее на Жагубица—Петровац корпус Шкодуновича (наш 68-й — Б.М.) — указывал Толбухин генералу Гагену. И на этот раз 68-й корпус отлично справился о своей задачей» (Кузнецов П. Г. Маршал Толбухин. М., Воениздат, 1966).

НАС ПРОТАЛКИВАЛИ, МЫ ПРОТАЛКИВАЛИСЬ

Настоящие горы. Скалы нависают над узкой каменистой дорогой. С другой стороны — пропасть. Где-то далеко внизу глухо перекатывает камни небольшая речка. Оружие и вещмешки миномётчиков на повозках. Пехота всё тащит на себе. Небольшими группами идут белорусы-партизаны. Их легко узнать по манере кучно держаться друг возле друга и нести карабины дулом вниз. Семенят мелкими шажками узбеки... В ущелье пришло солнце. Тепло. Прямо как летом. Иногда нас обгоняют штабные машины. Стрельбы не слышно. Наша дивизия продолжает идти вторым эшелоном — тыл...

Сзади на дороге появляется «виллис» с крикливым офицером:

— Сторонись! Сторонись! Часть идёт!

Ездовые прижимают повозки вправо к скале, но настырный штабной офицер гонит их влево к краю пропасти, оставляя свободным проход вдоль скал. Я смотрю в пропасть: склон крутой и речку еле видно за утёсами. С непривычки кружится голова. За штабным «виллисом» идут вперемежку новенькие «додж три четверти», «шевроле», «студебеккеры» — будто парад американской автомобильной промышленности. Нарастает гул, лязг, и из-за поворота появляются новенькие, только что с завода, тридцатьчетвёрки с длинными 88-миллиметровыми пушками. Стволы высоко задраны вверх, краска блестит на солнце. Верхние люки распахнуты, и оттуда, широко улыбаясь,глядят на нас, на весь мир молодые парни. Один..., второй..., третий.., я уже сбиваюсь

со счёта — танков масса. Вот из открытого башенного люка задорно торчит совсем молоденький белобрысый младший лейтенант, наверное, как и я, комвзвода. Его распирает от гордости за своё место, за такую мощную красавицу-машину. На повороте его танк лихо разворачивается, обдавая нас тучей известковой пыли и солярного перегара. «Эй, пехота, не пыли!» — диксантом во всю силу своей молодости озорно и беззлобно кричит белобрысый, стараясь перекричать скрежет гусениц...

А мы не пылим. Мы уныло бредём вдоль обочины, каждый со своей нелёгкой думой о доме, о войне...

В мощный рёв танковых моторов, многократно повторенный горным ущельем, врывается еле уловимый комариный звук самолёта. Низко, чуть не задевая скалы, из-за горы выскакивает немецкий «костыль».

Воздух! Воздух! Но команда уже ни к чему. Хлоп! Хлоп! Хлоп! Это закрываются башенные люки машин. Танки по неслышной нам радиокоманде набирают скорость, увеличивают разрыв, и уже не глядя на нас, один за другим уходят вперёд. Бомбы рвут воздух. Я бросаюсь в расщелину скалы. Царапая об острые выступы колени, руки, лезу вверх. Оттуда сыплется щебень, песок, наконец, замираю под корнями огромного ореха. Та-та-та-та-та — бьёт самолётный крупнокалиберный пулемёт, ржут кони, ревут моторы... Танк, резко развернувшись на крутом повороте, бьёт гусеницей по задним колёсам телеги. Дышло бросает лошадей в сторону. Те вскidyваются на дыбы и, потеряв равновесие, вместе с телегой и ездовым летят в пропасть. Туда никто не смотрит. Бомбы, кажется, рвутся со всех сторон. Я скребу каменистый суглинок руками, стараясь как можно глубже залезть в землю. Храпят побитые кони, голосят раненые... Немец делает второй заход. Бомбы у него, вероятно, кончились, и в бессильной злобе на наши танки, без потерь ушедшие вперёд, мстит беззащитной пехоте, расстреливая солдат на бреющем полёте. У новоиспечённой пехоты нет даже патронов, чтобы попугать фашиста. Солдаты попрятались за камни, и лишь лошади, каждая в одиночку, понуро дожидается своей участи быть убитой или покалеченной, что для них одно и тоже.

Потом немец, расстреляв боезапас, улетает, а всё, что осталось целым и невредимым, продолжает двигаться, проклиная танковую колонну, так некстати оказавшуюся на пути.

Дней через десять я ещё вспомню того белобрысого младшего лейтенанта-танкиста. Наша встреча с танками 4-го гвардейского мхкорпуса (а это был он) произошла, вероятно, числа 13—14 октября, поскольку 16 октября наша дивизия уже вышла в долину Моравы и повернула к Краегувацу.

Горы — долины... Разная жизнь. Разные люди. В первом же селе, широко раскинувшемся по мягким увалам, нас встречают с красными флагами, транспарантами, с неподдельным радушием:

— Живела црвена армия! Смрт фашизма! Сталин—Тито! Сталин—Тито! Братко! Братко!..

Наши колонны, и так не отличавшиеся военной стройностью, разбиваются на группки и расползаются по деревне в древней святой надежде: «Хлеба и зрелиц!» В отличие от Болгарии, женщины в подгорных сёлах прячутся в домах, либо с любопытством глядят на нас из-за заборов, из-за мужских спин. Им «зрелица», а нам бы сначала «хлеба». Им невдомёк, что жизнь в горах несътная, и хлеб с салом, яйца, на худой конец, яблоки, нам совсем не противопоказаны. Улицы в основном забиты мужчинами и вездесущими пацанами. «Тёпленький» возбуждённый стариk-серб с трёхлитровой бутылью в руках в окружении наших солдат «колдует» на середине дороги. Сыновья старика в партизанах. Он разливает сливовицу и победно потрясает старой берданкой:

— У, швабы... матка...

Мы подходим, тоже «причащаемся»:

— На здраво!

— Будьте здоровы! — и, с ходу опорожнив игрушечные стопки с крепким пахучим самогоном, догоняя своих. Помните: «Как можно скорее проталкивайте корпус Шкодуновича!» — и мы торопимся, то есть нас торопят.

Чем дальше от гор, тем больше сёл, тем богаче, добнее и радостнее встречи. На деревенских улицах уже полно женщин, детей. Танцы, песни... Кажется, весь мир превратился в сплошной ликующий праздник!

Первые встречи с настоящими (титовскими) партизанами. Они дружески улыбаются

— На здраво, братко!

— На здраво!

Рюмки хоть и маленькие, но их много. Кружится голова, а у наиболее активных солдат уже заплетаются ноги. Для югославских партизан — это возвращение домой, победный конец тревожной бродячей жизни. Конец ежеминутных тревог, балансирования между жизнью и смертью. Немцы, каратели, голод, холод — всё позади. Впереди же — дом, семья, мир! Правда, ближайшая действительность окажется совсем не такой, ибо основные людские потери югославских партизан ещё впереди, когда им уже в составе регулярных частей придётся не прятаться от немцев в знакомых горах, а, как и нашей пехоте, идти в атаку с винтовками наперевес.

После войны, например, бывший югославский партизан в своей книге приведёт цифры потерь Первой пролетарской бригады: 1941 год — 33 бойца, 1942 год — 279 бойцов, 1943 год — 870 бойцов, 1944 год — около 1000 бойцов, 1945 год — 670 бойцов (М. Вуканович. Первая пролетарская бригада. М., Воениздат, 1986).

А пока что... ПРАЗДНИК!!!

Конец проклятой войне! Этого дня ждали сербы, ждала вся Югославия! Ждала и надеялась. Надеялась и ждала, когда кто-нибудь придёт и освободит её от ненавистных швабов, всю войну чувствовавших себя здесь полновластными хозяевами...

«Друже Тито
Катится в Россию,
Возьми, Тито,
Вино и ракию.

Цервена Армия
Сталинград бранила —
Триста тридцать хилядин
Немочеков убила...».

Мы тоже упиваемся сиюминутной радостью встречи. Но нам ещё рановато. Мало кто из шедших тогда со мною рядом солдат и офицеров вернётся домой, а кто и вернётся, то с кровавыми отметинами войны, мы — пехота.

Из песни слова не выкинешь, и уже в первом, а может быть, во втором селе, на руке у нового комвзвода нашей роты я увидел наручные часы:

— Откуда у тебя?

— Да там, у югославов достал! — и он, махнув рукой в сторону, ушёл...

Оказывается, пока я, разинув рот, смотрел по сторонам, со старшинской повозки пропало несколько пар новых ботинок, несколько автоматов, гранат, плащ-палаток и пр. С боем я ухватил последний ещё не стрелявший автомат, и вскоре... у меня на запястье сверкали новенькие маленькие часики. Они были первыми в моей жизни. Я сиял от счастья. Югославские партизаны — тоже.

...Привал с ночёвкой на окопице большого села. В село уже непускают. За оружием и имуществом установлено наблюдение. Контакты с населением запрещены... Кругом октябрь, и мы с звистью смотрим, как штабные повозки полка, минуя нас, уходят в село. Там их встречают квартирьеры и тёплые дома. Единственный сарай на нашей полянке занял штаб батальона. Пехоте не привыкать. Мы, миномётчики — пехотная элита, жмёмся к своим двум повозкам. Здесь и спать теплее и кормление сытнее...

РАССТРЕЛ НАСИЛЬНИКОВ

— Лейтенант Михайлов, к начальнику штаба!

— Ещё что?!

— Тебя от батальона в наряд по полку. Всё равно пить не будешь!

— А вот возьму и напьюсь!!!

— Давай, иди!

И я пошёл в село искать штаб полка...

Всё-таки, если говорить правду, то пили в те времена много, то есть пили всегда, когда появлялась хоть малейшая возможность, а возможности в богатых сёлах Моравской долины были.

Сейчас уже не помню, сколько человек назначалось в наряд, кем я был назначен и что входило в мои обязанности. Вполне возможно, что я просто должен был спать в доме, где стояла рация и дежурили радисты. Может быть и не так — это не меняет сути дела. А суть была такова.

Почему-то под утро, а точнее, совсем утром (я уже не спал), в штабе стало известно, что двое наших солдат залезли в дом партизана. В доме были старик, старуха и их сноха — жена сына-партизана с грудным ребёнком. Они заперли в чулане стариков с ребёнком, а молодую изнасиловали. Как всё происходило дальше в деталях, я не очень помню. (Желающие могут посмотреть в архивах 1288 сп, 113 сд за 15—17 октября 1944 года.) Выступление полка было задержано. Начались розыски, допросы... Уже к полудню старики опознали насильников, и они сознались. Их закрыли в подвале около штаба. Один — таджик, большой и чёрный, волосатый, с колючими злыми глазами, уже пожилой, лет, может быть, тридцати пяти-сорока. Другой — маленький хлипкий узбекенок, с узенькими, испуганно бегающими во все стороны косыми глазками.

Уже далеко за полдень за окопицей собрали всех жителей села, построили полк, и состоялся военно-полевой суд: таджики — расстрелять, узбеку — штрафбат. Ко мне подошёл... кто же ко мне подошёл?.. какой-то начальник, знавший меня:

— У тебя голос зычный, дашь команду, когда я тебе скажу: «По изменнику Родине, огонь!». Только смотри, громко, чтобы все слышали!

Дальше я уже и не слушал, что говорил капитан с узенькими погонами юриста, а только твердил про себя слова команды — как бы не опозориться перед полком! Не помню, чтобы у меня было какое-то чувство сострадания к человеку, которого сейчас убьют по моей команде — нет. Никаких переживаний!

Вывели обоих. Зачитали приговор. Поскольку ни тот, ни другой по-русски не понимали, они ещё некоторое время стояли в неведении, хотя и видели, что у них за спиной солдаты копают могилу. Построили отделение автоматчиков. Узбечонка отвели в сторону, а таджики поставили рядом с могилой...

«Приговор привести в исполнение!». Всикнуты автоматы. Таджик смотрит по сторонам..., назад..., затем пригибается, закрывает лицо полой шинели от прямо в него направленных стволов автоматов... пятится назад... но там могила... Меня толкают в бок:

— По изменнику Родине, огонь!

Короткие автоматные очереди... Конвульсивно несколько раз дёргается тело и затихает. Югославы не шелохнутся.

Мы все вместе подходим к таджику. Он мёртв.

— Чего стоишь? Иди. Ботинки снимай! — это кто-то кричит узбечонку. Тот упирается, трясётся. Но его за шиворот подводят к трупу.

— Не бойся, тебя стрелять не будем!

Узбечонок трясущимися руками расшнуровывает на покойнике ботинки.

КРАГУЕВАЦ

— Полк, выходи строиться на дорогу!

Впереди ночной марш. Там, на дальних подступах к Крагуевцу, наша дивизия уже завязала бои с немцами, прикрывающими отход ещё верных Гитлеру итальянских частей.

Через Крагуевац проходил основной путь, по которому немцы бежали с Балканского полуострова из Греции, Албании, Черногории. Терять Крагуевац им было нельзя. Соответственно, нам надо было взять его «любой ценой». Разменной монетой пехоты была только жизнь. **И мы платили...**

Попади сейчас в Югославию, и я безошибочно пройду тот кровавый путь 1288 стрелкового полка длиною в четыре дня.

Наш второй батальон наступал вдоль долины небольшой речки. Сама речка шириной метров пять-шесть еле проглядывалась через густые заросли тростника и ивовых кустов. Но нам она была не нужна. Воды хватало: с неба непрерывно что-то капало и лилось. Дополнительные пороховые заряды для мин, очень боявшиеся сырости, солдаты прятали за пазухой, но и там заряды умудрялись промокнуть, отчего мины иногда не долетали до немцев и рвались среди наших солдат, но... «любой ценой»!

Деревни, как назло, находились на коренном берегу в полосе наступления соседних частей. В пойме стояли лишь сараи да отдельные строения. Солдаты мокли, появились чиряки.

Хорошо помню большой дом с мансардой. Наступление застопорилось. На чердаке нас много. Сюда протянули свои провода полковые артиллеристы. Надрываются телефоны. Начальство нервничает, и поминутно из телефонных трубок доносятся обрывки команд: «Огонька, огонька, вашу мать...!» А куда стрелять? Впереди перед домом стеной стоят сухие шершавые стебли кукурузы. Кукуруза тянется вдоль по пойме с небольшими перерывами метров на пятьсот. Початки уже собраны, а стебли стоят. То здесь, то там вдруг запуршат засохшие листья, мелькнет солдат, раздается одиночный выстрел, и опять тихо. То ли наши, то ли немцы, — пойди, посмотри! Мы нервничаем. Каково сидеть на крыше? Немцы обойдут дом, забросают гранатами и... Но вот появляется майор из дивизионной гаубичной батареи. Он пришёл с отделением автоматчиков. Автоматчики залегли перед домом. Так спокойнее. Связной майора сказал, что рядом у дома держат оборону с десяток наших пехотинцев. Дальше в кукурузе — немцы. Наши миномёты стоят метрах в трёхстах в пойменном кустарнике. Грешнов экономит мины и не разрешает мне вволю стрелять по кукурузе. Артиллеристы стрелять боятся: пушки далеко и в эллипс рассеивания вместе с немцами попадут наш дом и пехота. Перед нами метрах в ста пятидесяти на прогалину в полный рост вышло несколько солдат. Сверху их хорошо видно — немцы! Кто-то хватает карабин моего телефониста.

— Не сметь! — крикливо осаживает его майор. Он здесь старший по званию. Демаскируешь НП! Потом майор кричит на меня: «Почему не стреляешь?!» Я нехотя беру трубку, говорю недовольному Грешнову о майоре. Тот думает. Потом: «Ладно, давай команду!» Я прикидываю данные: «Одна мина, огонь!» Через побитую черепицу крыши все смотрят на немцев, а те, как ни в чём не бывало, вразвалочку ходят по полянке. Присели. Закурили. ...Разрыва не видно и не слышно. Майор набрасывается на меня. Ему показалось, что мина упала где-то далеко слева. Он вырывает у меня трубку, кричит: «Старший лейтенант, слушай мою команду! Прицел 1-60! Правее 0-60! Заряд второй! Батарея, две мины беглый! Огонь!» Я сжался в комок и ищу место под стропилами. По моим расчётам, это должен быть наш дом! Огонь на себя! Завижали падающие мины. Резкий треск, огонь перед домом, в кукурузе, сбоку, справа. Все попадали на пол чердака, хотя это и бессмысленно. Ведь если мина ударит в черепицу, то...

Пыль рассеялась. Все живы.

Минуты через две из кукурузы потянулись солдаты: один с перебитой рукой, затем принесли на руках кричащего во всё горло автоматчика:

— Гады! Фашисты! Бьют какими-то фугасами прямо сверху и будто сзади!

Я спускаюсь. Автоматчика кладём на живот. Гимнастёрка в ключьях. Я её разрываю. Спина — сплошное месиво из ошмётков кожи и мяса. Осколки наших мин острыми заусенцами впились в спину, застряли в позвоночнике. Я пытаюсь перевязать, но каждый раз, когда лезу ему под живот, чтобы протянуть бинт, он орёт благим матом. Подошёл майор. Мы встретились глазами... День продолжался.

Майор с автоматчиками ушли. Пехотинцы — те, кто привёл раненых, не очень-то хотели из укрытия снова лезть в кукурузу. Появился командир стрелковой роты, новенький, мне не знакомый. Договорились, что он выведет всех солдат из кукурузы, а я её как следует прочешу минами. Грешнов почему-то стал «шёлковым». Потом я узнал, что на позицию пришёл политрук.

Так всё и было. После нашего беглого огня рота без потерь ушла вперёд. Я перенёс огонь на кирпичный завод, в карьерах и цехах которого скопились немцы. Получив возможность манёвра, туда же начала бить вся артиллерия. Пехота залегла перед заводом, готовясь к атаке. Вечер... Ночь... Я ушёл к своим поглотать мамалыги. До завода, о котором будет рассказ, чуть больше километра, и Грешнов решил позиции не менять. С моего НП цеха и карьерчики завода просматривались хорошо. Всю ночь по черепичной крыше стучал дождь. Утром телефониста, спавшего с привязанными к ушам наушниками, разбудил Грешнов: старшина где-то обнаружил склад итальянских мин, которые, говорят, годятся для наших миномётов. Действительно, итальянские, как и немецкие мины такого же класса, как и наши, имеют калибр 81 мм (наш батальонный миномёт — 82 мм). Если дать побольше заряд, то итальянская мина из нашего миномёта полетит. Внешне мины похожи, только у итальянских красный стабилизатор.

Чуть забрезжило: «Огонь!» Вся наша артиллерия часа полтора била по заводу. Вскоре винтовочная, автоматная и пулемётная стрельбы уже были слышны на заводе — пехота пошла! Командиру батальона сообщили — завод наш!

— Меняй НП на завод! — и я с командиром отделения связи, взяв двух телефонистов с катушками, потянул связь.

Завод-то он, может быть, и наш, но очковтирательство возникло в нашей стране задолго до «застоя».

На месте всё было не так просто.

Мы, пройдя пойменный кустарник, вышли на его край. Здесь редкой цепью лежали пехотинцы. Впереди проглядывали старые

заболоченные карьеры, откуда брали глину. За ними длинные на-весы со стеллажами для сушки кирпичей. Дальше, чуть справа, из-за стеллажей большое здание завода с мансардой.

— Кто там?

— Будто бы наши.

— А без «будто бы»?

— Сходи, посмотри.

— Почему вы не идёте? — спрашиваю я у лежащего рядом сержанта (офицеров нет — выбиты).

— Там справа немецкий пулемёт бьёт, наши пошли слева в обход.

Прикидываю: мансарда дома — НП лучше не придумаешь, тянуть связь в обход всех карьеров — не хватит провода, а здесь всего двадцать метров болота... На том берегу из-за стеллажа появляется солдат. Я кричу:

— Дом наш?

— Прайдзи, поглядзи!

Будь я один, то вряд ли бы полез через болото под дулом немецкого пулемёта, а здесь... Кругом солдаты... Я офицер... Скольких пацанов-офицеров, «ванек-взводных», да и постарше чином, солдатские подначки свели в могилу!.. Душа уходит в пятки, прижимаюсь к земле, вскакиваю и, сломя голову, бегу, подымая фонтаны брызг. Каждая клеточка на правом боку напряглась и ждёт боли, удара, но... последний прыжок, и я в кустах на том берегу. Пронесло! Смотрю назад. Иванченко, тот самый, о котором я упоминал, рассказывая о вступлении в Болгарию, как-то обречённо и нерешительно пристраивает на спину катушку, раскручивает метров двадцать провода и моим путём лезет через болото. Мы все, затаив дыхание, следим за ним. Вот он на середине болота, идёт дальше, ещё немного... Пулемётная очередь! Иванченко падает лицом вперёд, дёргается, пытается привстать... «Лежи, лежи, твою мать! Не шевелись!» Но он, охваченный паническим страхом, вдруг вскакивает в полный рост, сбрасывает ненавистную катушку и бросается назад... Очередь!.. Конец! Мы удручённо и растерянно сидим в кустах. Потом я кричу нашим, чтобы шли в обход (как будто кто-нибудь ещё ползет в болото!), а сам ползком между сушилками выбираюсь на задний крытый двор завода. Подходит командир отделения с солдатом. Мы втроём находим верёвку, привязываем к ней какую-то железяку: получается что-то вроде «кошки», и ползём в кусты к болоту. Здесь надо быть осторожным, чтобы не попасться на мушку немецкого пулемёта. Но на другом берегу наши пехотинцы притащили «максима» и прикрывают нас

огнём. Вторая, третья попытка... Наконец, мы зацепили катушку и вытаскиваем её на берег. Немцы злобствуют, но ничего поделать не могут: провод стальной, и перебить его пулей практически невозможно. Теперь — залезть на крышу! Как? Вход в здание завода с торца, обращенного к немцам. Правда, между домами, где сидят немцы, и заводом — невысокий побитый заборчик. Я ползу вдоль него, неожиданно вскакиваю и бросаюсь в дверь. Зик... зик... зик... пули проскаивают мимо головы и громко ударяются в кирпичную стену... Пронесло! На нижнем этаже здания большое помещение с земляным полом. Окон нет. Я привыкаю к полутьме. В углу сидит знакомый младший лейтенант — командир взвода, рядом — несколько солдат. Все раненые, но уходить не хотят — будут ждать темноты. Я отдаю им свои перевязочные пакеты и лезу по внутренней лестнице наверх. Там на чердаке две жилые комнаты с окнами на город. Как раз то, что надо! Протянули туда провод, подключили телефон: «Связь есть!» Я лежу на полу на матрасе и в просвет между подоконником и белой занавеской, как на ладони, вижу весь район. Передо мной в ста пятидесяти метрах дома, где засели немецкие снайперы, дальше тонут в тяжёлой осенней зелени черепично-красные крыши опрятных окраинных усадеб. За ними в километре каменное трёх-, а может быть, четырёхэтажное здание.

— Одна мина, огонь!

Пристрелка итальянскими минами идёт с трудом, но мин много и время есть. Когда мина попадает в черепицу, над домом подымается красивый фонтан брызг. Это меня увлекает. Я выстраиваю «веер», проверяю, даю «беглый!» по переднему краю домов. Но в общем-то стрельба бесполезна, потому что наших невредимых пехотинцев осталось человек пять-шесть, и наступать некому...

Мы сидим втроём: командир отделения связи — молодой симпатичный молдаванин Никулеску, я и телефонист Рухану. Никулеку из Измаила. На очень ломаном русском языке, точнее, украинском, он любопытствует о жизни в СССР: как это власть может принадлежать народу? А может ли он стать офицером? В голове и на словах он уже давно вынашивает план: после войны обязательно поступить в офицерское училище. Он будто примеряет на себя офицерский китель, улыбается... Рухану откуда-то приносит кукурузу, повидло... проглянуло солнце... Я развалился на матрасе и грызу уже крепкие кукурузные початки... Жить можно!

Дверь в комнату тихо приоткрывается, и на пороге появляется паренёк лет семи-восьми. Он нерешительно подходит ко мне, к окну и быстро-быстро непонятно лопочет, показывая в сторону

серого дома: «...немочка пушка, ...немочка пушка...». Постепенно я начиная разбираться в отдельных славянских корнях слов: там, сразу за кварталом деревенских домов, стрельбой по которым я только что забавлялся, на пустыре стоит немецкая батарея. Я брошаю еду и азартно начинаю пристрелку...

Когда кто-нибудь входит или выходит из комнаты, занавеска на окне колышется, мне это не нравится — демаскировка, увидит снайпер! Я придерживаю её рукой и плотно прижавшись щекой к косяку оконного проёма, слежу за разрывами...

...Яркая вспышка!.. Треск! За ними — боль... и я падаю на тюфяк..., хватаюсь за левый глаз... Нестерпимая боль в глазу, и первая мысль — нет глаза!! Подскакивает Никулеску. У него есть перевязочные пакеты. Вторым глазом я вижу, как он со страхом смотрит на моё окровавленное лицо, руки. Глаз не видит. Он весь залит кровью. Мы вдвоём отползаем к стенке, накладываем марлевую подушечку и неумело заматываем бинтом голову. Я слышу, как телефонист передаёт: «Лейтенанта сильно ранило в голову». С батареи вероятно спрашивают:

— А стрелять он может?

— Нет.

Я киваю Никулеску: «Стреляй ты!» Проходит минут двадцать. Боль успокаивается, и я снова подползаю, но уже к другому окну (битому не сидится). Оттуда хуже видно, и только нутром чувствую, что мины летят хорошо. Ещё несколько доворотов миномётов, и... Бах! Ба-бах!! На пол летят стёкла, черепица... Артналёт!! Снаряды рвутся вокруг, перед домом, на болоте, заstellажами. Я прижимаюсь к печке, стараюсь залезть за неё... Снаряд рвётся на чердаке. С треском распахивается дверь, через проём в комнату врывается столб красной пыли и пороховой гари. ... «Живы?!» — «Живы!!»

— Алё! Алё! Пчела?! Я — олень! — надрываются Рухану, но... связи нет. Я посылаю Никулеску. Чердак весь светится насквозь. В дальнем углу, где разорвался снаряд, черепица слетела вся. Около нас ещё кое-где держится. Никулеску ползёт вдоль провода на четвереньках. Потом вдруг вскакивает и, схватившись за живот, опрометью бежит назад, падает на тюфяк. Корчится и кричит. Вдвоём с телефонистом мы кое-как урезониваем Никулеску, стягиваем с него шинель, гимнастёрку. Весь живот в крови. Справа, ниже рёбер — дыра, и оттуда тонкой струйкой выливается чёрно-красная кровь. Пакетов нет. Я стаскиваю с кровати простыню, рву её. Мы пытаемся как-то перетянуть живот, но все тряпки сразу намокают кровью. Никулеску прямо на глазах слабеет. Скорчив-

вшись в три погибели, он бессильно вырываются из наших рук и чуть слышно причитает на родном языке. Рухану — его земляк... Я оставляю их вдвоём и спускаюсь вниз за помощью. На полу нижнего этажа то ли бредят во сне, то ли стонут наяву двое тяжелораненых. Все, кто может держать оружие, дежурят у проломов в стенах, у разбитых окон. На большинстве солдат ярко алеют бинты. Стреляют отовсюду. Говорят, немцы обошли завод и бьют загигательными пулями. Нам хана! Двое уже пытались прорваться к своим, но...

Я вернулся наверх. То ли начало медленно смеркаться, то ли снова посыпал мелкий дождик. Рухану взялся пробраться к своим — привести санитара. Мы остались вдвоём с Никулеску. Сначала его губы словно беззвучно шептали: «Апо-апо-апо», — но воды нигде не было. Я опять ушёл вниз. Когда вернулся с водой, Никулеску уже ничего не хотел, а весь трясясь. Я набросил на него два одеяла, потом вышел на чердак, нашёл разрыв провода, связал, но связи не было. Никулеску тряслось так, что дрожали одеяла. Я лёг рядом и прижался к нему, стараясь согреть остывающее тело. Сильно ломило глаз. Рухану не возвращался. Внизу перестали стрелять...

Сколько мы так лежали — не знаю. Я всё ждал телефонного звонка и время от времени подавал голос: «Я — олень... Я — олень...» Уже где-то к полуночи к нам опять пробрался сербский паренёк. Он принёс хлеба и много радостно тараторил. Я только понял: «Швабы вэк, швабам — капут!» Никулеску был без памяти. Я поел, запил водою, решил ждать своих. Глаз успокоился. Под ватными одеялами я плотно обнял Никулеску, и... сон...

Сегодня 30 октября 1987 года. Я сижу в двухместной палате сочинского санатория «Золотой колос». За окном глухо рокочет Чёрное море — октябрьский шторм и ветер... Пишу и самому не верится: ну как же можно было быть таким беспардонно беспечным! Ведь немцы заблокировали завод. Вот-вот внизу застучат их сапоги — *Hände hoch!*... Очередь... и конец!.. Не знаю... Но я уснул.

И это было именно так, хотя бы потому, что ясно помню, как вдруг очумело проснулся от грохота и воя снарядов. Дом дрожал. Чёрное небо в оконном проёме ярко чертили мощные струи огня. Почти сразу впереди, метрах в пятистах, с грохотом поднялась завеса огня. Там всё рвалось, корёжились, пенилось в море жара и грома. Животный страх скжал меня в бесплотный комок. То был предутренний залп «катюш» — сигнал к наступлению.

Никулеску не шевельнулся. Спина, прижатая к моей груди и животу, казалась живой, тёплой, а торчавшие из-под одеяла руки и ноги уже закоченели. Он был мёртв. Тишина...

Ещё кругом ночная мгла,
Ещё так рано в мире..
Б. Пастернак.

Последняя минута тишины и... правее завода сквозь начавшуюся беспорядочную стрельбу еле слышно прокатилось хилое разноголосое «Ура-а-а-а!» Я приподнялся. Нащупал трубку: «Пчела... Пчела... Я — олень... Я — олень... Молчание. Я встал, подошёл к окну. Ночью повязка съехала с головы, глаз... видел! Моргать было больно, он весь затёк, но был целый! По крутой лестнице спустился вниз — никого. Только двое вчерашних тяжелораненых недвижно лежат на соломе. Подошёл к ним. Сунул руку за шинель к груди. Один был холодный — явно покойник. Другой — будто бы живой или недавно «отдал концы». Начало светать. Стрельба быстро уходила в город. Только я поднялся наверх, как внизу затопали живые солдаты, послышалась крикливая молдаванская речь, и вот уже Рухану с перевязанной рукой тащит наверх носилки... Поздно...

Везде пятна запёкшейся крови: на лице, на гимнастёрке, на руках... Оказывается, ночью, когда Никулеску был ещё жив, кровь продолжала вытекать. К утру мы оба лежали в кровяной луже.

Рядом с матрасом я нашёл помятую немецкую пулью — ту самую, которая предназначалась мне. Я хранил её до сих пор.

Подошли рабочие кирпичного завода и буднично принялись готовиться к похоронам. Рухану оставался с земляком... Мы попрощались. Он поправится, месяца через два догонит нас в Венгрии и подарит мне фотографию девять на двенадцать: в гробу будет лежать Никулеску. К сожалению, я потерял фотокарточку, но верю, что такая же висит в одном из домов Измаила.

В рассказанной истории я ничего не мог спутать. Разве что время исказило фамилии, но не столь велик был довоенный Измаил, что нельзя найти родственников Никулеску и Рухану.

Что же было дальше?

Я, как мог, поправил повязку и с единственным оставшимся в миномётной роте телефонистом пошёл искать батальонный санвзвод, чтобы эвакуироваться в госпиталь.

Впрочем, бой за Краегувац ещё продолжался, и найти санвзвод не оставило большого труда. К нему тянулись покалеченные солдаты сами, либо в сопровождении земляков. Санвзвод помещался

как раз в том доме, откуда в меня стрелял немецкий снайпер. Большой чуть заросший травой двор. Кругом сидят, лежат, стонут, молчат, просто ждут перевязки или эвакуации раненые. Очередь большая. Я жду. Наконец, старичок-командир нашего санвзвода срывает повязку, трогает глаз и небрежно бросает: «Ася, зашей его и пусть отправляется в роту!». Это я-то! Тяжело раненый в голову и симулянт! А как же госпиталь? Но уставшая Ася уже отводит меня в сторону. Кажется, я лёг, а может вся процедура зашивания (два шва) происходила сидя. Ася красиво завязала мне полголовы и выпроводила со двора. На улице меня с язвительной улыбкой уже встречала «сорочка», чтобы повести дальше. По дороге она рассказала, что произошло со мной.

Оказывается произошло, как бы сейчас сказал Капица, «очевидное — невероятное». Немецкий снайпер стрелял почти наверняка с расстояния 150 метров в тот момент, когда я, прислонившись к косяку оштукатуренного проёма окна, корректировал стрельбу. Пуля прошла между кожей и штукатуркой. Извёстка косо брызнула по глазу, виску, щеке. Кожа была вся иссечена, покрвана, белок налился кровью, а раны... не было.

Закончить рассказ о моём «тяжёлом ранении» я хочу обращением к читателю, предложив ему на самом реальном примере дать оценку засечкам, которые в войну любили делать снайперы (наши и немецкие) на своих винтовках: засечка — убитый вражеский солдат. В тот день я, безусловно, стал засечкой на немецкой снайперской винтовке. Ведь откуда мог знать фашист о моей «сорочке»? Лишь по её «вине» к концу апреля 1945 года я остался единственным солдатом во всём нашем втором батальоне 1288 сп, пришедшем в него на Днестре, то есть пробывшем на передовой во время кровопролитных наступательных боёв целый год.

Ну и чтобы двинуться дальше, скажу, что столь небрежное отношение командира санвзвода к моему ранению не помешало появлению в будущем наградном листе записи: «Младший лейтенант Михайлов, несмотря на ранение, не покинул поля боя...». Хм! Попробовал бы кто-нибудь его покинуть, когда мы сидели за толстыми стенами кирпичного завода в окружении немцев! Всё-таки сорочка — сорочкой (не будь её, снайпер, находясь в 150 метрах от меня, не промахнулся бы), но я сам по возможности «шурупил» и не лез на рожон.

Дорога в город пересекала небольшую речку. За мостом меня обступили женщины. Слёзы, радость, причитания... Со стороны подбежала «девойка» с большим букетом цветов. Она схватила меня за руку и властно потащила в сторону, показывая на свою

шью. Идти было недалеко. Во дворе под рассыпавшимся черепичным навесом из земли торчал красный стабилизатор итальянской (моей!) мины. Шея девойки была поцарапана осколком. Мина не взорвалась.

Справа от дома на пустыре разбросаны побитые патронные ящики, стреляные гильзы, и кровь... кровь! «Много нэмочеков побито здесь!» — сказала девойка. На другой стороне пустыря стоял серый трёхэтажный дом. Сомнений не было! На этом месте была та батарея, на которую показывал югославский паренёк. Душа ликовала. «Это я, я придумала!» — кричала «сорочка». Я впервые воочию видел результаты своей работы! Никаких чувств сострадания или удовлетворённой мести, как пишут в иных книгах, нет. Просто радость удачи, победы. Уходить не хотелось. Я побродил среди разбитых ящиков, нашёл там запачканную кровью немецкую полевую сумку из красноватой кожи, набитую какими-то бумагами, и два красных стабилизатора от итальянских мин. Чуть забегая вперёд, скажу, что среди бумаг убитого оказался немецкий журнал с идиллическими фотографиями гатчинских прудов: на лодках катаются немецкие офицеры, а с берега им, улыбаясь, машут наши советские девушки. Кстати, сегодня гачинские девушки из моих рассказов могут узнать о судьбе своих приятелей.

В доме, куда меня привела девойка, за столом сидел старик, на столе было сало, хлеб, была ракия. Я торопился, и благоразумно отказавшись даже дотрагиваться до неразорвавшейся мины, ушёл, оставив дом на попечение сапёров.

Город ликовал. На улицы высыпали празднично одетые жители Крагуеваца. Кругом радость освобождения, конца мучениям перехлестывает через край, и никому нет дела до нашего санвзвода, наших санрот и медсанбатов, где мучатся, изнемогают от боли сотни раненых, до неубранных трупов пехотинцев, атаковавших город... Впрочем, нет...

Вскоре я сидел на паперти городской церкви и с наслаждением жевал итальянские галеты, только что принесённые из разбитого итальянского шарабана. Сам шарабан-лавка стоял рядом, а вокруг него в грязи валялась какая-то галантерея, раздавленные пачки печенья, конфеты... В ограде церкви одни солдаты рыли могилы, другие подносили и складывали трупы. Из церкви вышел высокий чёрный худощавый священник — выпускник Одесской духовной семинарии с толмачом (впрочем, переводчики были не нужны) и спросил у меня, христиане ли они (наши солдаты) и можно ли отпевать их по православному обычаю.

— Конечно, христиане, конечно, можно!

В руках я ещё держал плитку итальянского шоколада и не обратил особого внимания на некоторое замешательство в стане священнослужителей. Оказалось, что плечом к плечу с христианами — белорусами, молдаванами, украинцами, русскими — лежали их скучные, с косым разрезом глаз среднеазиатские братья по оружию...

Прибежал старшина:

— Вы здесь обжираетесь, а там коней разбирают!

Мы бросились за старшиной. «Там» было метрах в трёхстах, недалеко от рынка, и представляло собой довольно большое поле, вдоль которого ровными рядами тянулись коновязи. Виденный мною залп «катюш» пришёлся по краю поля. Там стояли мулы. Десятки мулов, нет, сотни мулов. Зрелице было пострашнее двора санвзвода. Брошенные на произвол судьбы, побитые снарядами, итальянские мулы умирали молча. С перебитыми ногами, вспоротыми животами, вывороченными кишками, обожжённые, с вытекшими глазами, без глотка воды и капли сострадания. Большинство их было ещё живо. А мы ходили вдоль коновязей и деловито выбирали пригодных для упряжки. Найти было не так-то просто, так как мы пришли на коновязь не первыми...

Да, забыл сказать главное: когда я сидел на паперти, мимо церкви быстрым шагом прошла большая седая женщина в окружении толпы местных жителей. Они хором кричали: «Белград освобождён! Белград освобождён!» и раздавали листовки: **20 октября советскими и югославскими частями освобождён Белград!**

Наконец подошли долгожданные кухни. А где мы спали? Может быть, прямо на паперти церкви...

НА БЕЛГРАД!

Приказ: «В городе не задерживаться, на Белград!»

И вот уже мы на итальянских повозках, запряжённых ушастыми мулами, трясёмся по заполненным жидкостью колдобинам.

Запомнилось: на выезде из города под заднее колесо телеги что-то попало. Я глянул вниз: железная шина колеса проехала по лицу трупа немца, содрав с него кожу... Мы снова оказались в глубоком тылу. До освобождённого Белграда было около ста километров — два дневных перехода.

Из этого пути в памяти осталась лишь середина первого дня. Мы подходили к Младеновацу. Грейдер медленно поднимался на пересекающую его гряду и там упирался в небо. По обе стороны от него вдоль гребня чернели 18 исковерканных трупов тридцатьчетвёрок... Вся картина прошедшего недавно боя была перед глазами:

Танковая колонна 4-го гвардейского корпуса встретила немцев. Танки, не проводя разведки, развернулись в широкий строй и с ходу атаковали немцев. Там их встретили немецкие пушки...

Я подошёл к одному из танков. Залез наверх. Посмотрел внутрь: он уже был разграблен: танковые часы выломаны, тыловые мародёры рылись под сиденьями, в снарядном ящике, где танкисты припрятывали разное барахло... Стоящий на задних лапах медведь, трафаретом нарисованный на башне, поблёк. Пушка неестественно клонула вниз — мёртво. Рядом сгоревший танк. Копоть на его боках уже чуть прибита дождём. Где теперь ты, задиристый младший белобрысый лейтенант-танкист? Вот тебе и «Эй, пехота!». Дай Бог, чтобы ты выбрался отсюда живым, а нет — так пусть тебе югославская земля будет пухом.

В Белград мы вошли поздним вечером. Помню широкую улицу, празднично-нарядные толпы горожан, непривычно высокие дома, балконы, настежь распахнутые окна. Оттуда нам машут платочками женщины, улыбаются мужчины. Иногда сверху летят осенние цветы...

Ночёвка была в центре города в отеле «Терезия». После многочасового утомительного марша, не дожидаясь кормления, солдаты начали устраиваться на ночлег в большом пустом зале. Наверху что-то гремело и кричало. Потом широко распахнулись двери, и в проёме появилась группа тёпленьких-тёпленьких настоящих титовских партизан — наши! По-настоящему свои! «Всё смешалось в доме Облонских!» На втором этаже пир стоял горой. На середину выкатили ещё одну бочку с вином, выбили дно, и пей — не хочу! Братушки! Братко! Смрт фашизму!

Пламя гнева — горит в груди,
Пламя гнева — в поход нас веди,
Час расплаты готовь
Смерть — за смерть,
Кровь — за кровь,
Гей, славяне,
Заря впереди!

Никто не успел заметить, как забрезжил рассвет — тревога!!!
На другом берегу Савы в районе аэропорта Земун прорвались немцы. Нашим полком командование затыкает брешь в окружении немцев.

Смутно, даже очень смутно помню переправу через Саву.
— Пехота, в цепь! Миномётам быть готовым к поддержке наступления стрелковых рот!

Вероятно, мы что-то делали, может быть, и наверное, стреляли... Дальше — небольшой провал в памяти, и мы уже в каком-то

очень мирном хорватском селе. Говорят, здесь мы будем принимать пополнение — давно пора! Остатки нашего батальона разводят на постой по деревенским домам. Мне достаётся маленькая очень домашняя и чистенькая комната с низким потолком, вся увешенная салфеточками и ковриками, на которых аппликациями набраны незатейливые деревенские пословицы и поговорки. Прямо на меня смотрела:

Добре дошли, мили гости,
У храта нейма пости...

Прошёл день... может быть, два... «Выходи строиться!»... Мы вышли, построились и ушли в неизвестном направлении. Говорят, где-то опять прорвались немцы...

И снова ночь. На фоне звёздного неба стройные ряды пирамидальных тополей. Вокруг шелестящие убранные поля кукурузы... «Привал!»... «Выходи строиться!»... «Подтянись!»... «Шире шаг!»... Мозг отключён за ненадобностью. Все команды тело воспринимает и выполняет самостоятельно.

Утром — Петровац. Он мне запомнился встречей с уже немолодыми возбуждёнными язвительными женщинами — русскими эмигрантками двадцатых годов. Их колкие занозистые фразы с плохо скрываемой ностальгией выдавали затаённые в душе страдания. Непрощаемая обида, неподдельная радость встречи с земляками «оттуда», из родного дома-гнезда. Всё это прорывается нескончаемыми восклицаниями по поводу нашего говора, нашей одежды, еды. Нам бы поспать после ночного марша, но охваченные кровной близостью к этим людям, мы без конца рассказываем о доме, о России, не вникая, кто они: жёны ли офицеров Белой армии, либо просто заброшенные сюда ветром революции растерявшиеся интеллигенты...

— Выходи строиться!!!

Ещё переход — и «сэло Вердин», Банат, северная Югославия.

Здесь мы стояли долго, дней десять, до самых ноябрьских праздников. Полк принимал пополнение. В нашу миномётную роту пришло немного, ибо её потери в боях за Краегувац ограничились, главным образом, отделением связи, от которого в строю никого не осталось. Кто был у миномётов — почти все уцелели: «в яме сидит и яму роет».

Нас с Юркой определили на постой в семью зажиточного крестьянина со «справным хозяйством».

Приближались ноябрьские праздники. Вся деревня знала об этом. В ночь на 7-е в домах топились печи, пеклись пироги, а в

салях курились самогонные аппараты. Поперёк улиц вешались транспаранты: «Живело маршал Тито! Смрт фашизму! Слобода народу! Сталин—Тито!».

Деревня собиралась гулять. И только высокое начальство, а вместе с ним хорошо информированные писаря, да их деревенские возлюбленные знали...

5 часов утра. В ноябре это ещё глубокая ночь. Боевая тревога!! В ружьё!!

Ещё горячие пироги, ещё не остывшая сливовица торопливо укладывались заботливыми женскими руками в наши подводы: «На здоровье! На здоровье!..»

И вот уже боевое охранение, а за ним и первые пехотные роты в полной темноте выходят за окопицу. Начальство «задерживается», оно знает, что тревога не боевая, торопиться не обязательно, но «как бы чего не вышло», и во избежание всеобщей попойки и вероятных инцидентов лучше выпроводить полк из деревни.

Наша рота всё длинное село проходила уже засветло, а вслед неслись улыбки, добрые пожелания победы, здоровья, возвращения домой. В толпе нет-нет, да и проскальзывали прощальные слезинки на девичьих лицах. Шли долго. По богатым сёлам Баната. В каждом селе встреча—проводы, встреча—проводы... К вечеру уже многие не могли держаться на ногах. Их штабелями укладывали в повозки. Мишка много раз подходил ко мне, я подходил к нему, ещё к кому-то... Сербская ракия крепкая, и несмотря на хорошую закуску, брала своё.

Уже поздним вечером полки 113 стрелковой дивизии явно не в боевом состоянии стягивались к забитой людьми и техникой перевправе через Тису.

Вскоре мы прощались с гостеприимной Югославией. Впереди далёкой глухой канонадой нас встречали задунайские плацдармы. Над ними белыми похоронными снежинками уже летали немецкие листовки:

«Жукова в Берлин пущу, — Толбухина в Дунае утоплю. Гитлер».

Последние югославские сёла. Богатые, добрые, радостные. Для многих из нас они будут последними на земле. Тепло. Солнечно. А где-то там, в сырых землянках в глухих, уже глубоко осенних лесах Белоруссии юятся, голодают, ждут своих сыновей белорусские матери. Их сыновья гибнут здесь за то, чтобы сёла Баната, Бачки, всей Западной Европы жили ещё богаче? Чтобы горе ещё шире расползалось по многострадальной российской земле? **Зачем?**

Крамольных вопросов много. Мне и сейчас, по прошествии полувека, не ясна значимость наших побед под Краевицем. Итальянцы со своими мулами без нашей «помощи» бежали домой. Полное поражение немцев было предрешено. За что сложили головы советские солдаты в Краевице? Чтобы ускорить победу? Не дорого ли? Спроси у любой матери, жены, ребёнка, чьи сыновья, мужья, отцы остались лежать в югославской земле... Не надо.

Неуёмные амбиции Сталина, наших генералов, маршалов в последний год войны вели к огромным людским потерям советского народа...

Но я уже повторяюсь...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошедшие полвека резко сократили число живых свидетелей битвы за Белград. Мои записки читали только два её непосредственных участника: Ненад Степанович Малич и Борис Nikolaevich Одокий.

Ненад Степанович — партизан армии Тито. Сегодня он — главный научный сотрудник Всероссийского геологического института (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург).

Ненад Степанович вернул записки с многочисленными эмоционально-категоричными замечаниями.

— Это ложь! Наши партизаны себя так не вели! У нас был суход закон! Вы не видели партизан Тито! И вообще в Сербии партизан-титовцев не было, а советские солдаты встречались с нашими лютыми врагами — четниками, недичами и пр. Титовцы сами освобождали свою страну. Откуда ты взял, что потери Красной армии в боях за Балканы составили десятки тысяч солдат? Вот почитай, что было на самом деле, — и Ненад Степанович протянул мне вырезку из «Известий» за 16 марта 1988 года..

«В боях за Белград погибло 976 советских солдат и многие тысячи бойцов народно-освободительной армии Тито!»

Он — человек непосредственно причастный к событиям тех дней, был искренен, и от этого горечь искажения истины, правды о тысячах солдат, оставшихся в безвестных могилах на югославской земле, была ещё горше.

7 мая 1988 года в актовом зале нашего института проводился «круглый стол» — встреча ветеранов войны с сотрудниками ВСЕГЕИ. В духе начавшейся «перестройки» мы сняли со сцены стол президиума, поставили его в центре зала, на стол водрузили профкомовские цветы («Только смотрите, цветы не трогайте, они куплены на «возложение» — с тревогой напутствовал нас предсе-

датель профкома). За стол сели ветераны. Их окружили сотрудники. Народу собралось порядочно. Вёл «стол» наш старейший ветеран, член-корреспондент АН СССР Лев Исаакович Красный. Я рассказывал о боях в Югославии, одновременно отвечая Н. С. Маличу:

— Дорогие друзья, товарищи! Стол, за которым мы собирались, как видите, не круглый. Его углы должны напоминать нам об оставшихся с войны острых, часто искажённых в печати проблемах.

Нас — участников войны, становиться всё меньше и меньше. Печальная статистика ежегодно отправляет «в мир иной» 300—400 тысяч наших братьев по оружию. Недалеко то время, когда о войне можно будет узнать только из учебников да мемуаров времён «застойной лакировки». Наша с Вами задача, пока не поздно, внести посильную лепту в восстановление исторических истин. Надо торопиться.

Я остановлюсь на одном из таких «острых углов».

На днях Ненад Степанович Малич показал мне вырезку из газеты «Известия» за 16 марта этого года — репортаж корреспондентов Н. Ермолова и Л. Колесова «Радущие сербской земли». Корреспонденты восторженно описывают процесс возложения М. С. Горбачёвым венка на Мемориальном кладбище освободителей Белграда:

«На внутренней стене мемориала читаем надписи. С одной стороны: «В боях за освобождение Белграда в октябре 1944 года принимали участие 1-я Пролетарская, 6-ая Пролетарская, 21-я и 23-я Сербские, 11-я Боснийская, 5-я Краинская, 16-я и 36-я Воеводинские, 29-я Славонская дивизии Народно-освободительной Армии и 4-й механизированный корпус Красной Армии». С другой: «За освобождение Белграда от фашистских оккупантов отдали свои жизни 2953 бойца Народно-освободительной Армии Югославии и 976 бойцов Красной армии».

Это кто же мог сочинить столь кощунственную по отношению к моим павшим друзьям надпись? Неужели М. С. Горбачёв не знал, что перед ним фальсификация истории, предпринятая югославскими политиками и историками? Или память о десятках тысяч советских воинов, покалеченных и погибших в боях за Белград, он решил принести в жертву «хорошим отношениям»? Это непростительно ни Горбачёву, ни корреспондентам! Смотрите, как иезуитски ловко сочинена сегодняшняя надпись на мемориале в Белграде! Как будто всё правильно, но. В первую очередь, Белград освобождали многочисленные югославские дивизии, а уж потом, между прочим, один советский корпус!

А где же мы?

Истина выглядит совсем совсем иначе.

«Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 июня 1945 года была учреждена медаль «За освобождение Белграда», которой награждались все участники Белградской операции. Их было многие десятки тысяч. 30 частей и соединений, отличившихся в боях за освобождение Белграда, удостоились боевых орденов, а 20 получили почётное наименование «Белградских» (Белградская операция. М., 1990). Полный список частей и подразделений, освобождавших Белград, приведён в книге «От Видина до Белграда» (М., 1988).

Вспоминает маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, бывший в то время начальником штаба III Украинского фронта:

«Утром 5 октября я прилетел в Крайову... Иосип Броз-Тито был очень приветлив... Изложенный мною план операции (по освобождению Белграда — Б. М.) не встретил никаких возражений... для осуществления Белградской наступательной операции советское Верховное Главнокомандование выделило основные силы III-го украинского и войска левого крыла II-го Украинского фронтов, всю авиацию 17-й воздушной армии, часть сил 5-й воздушной армии, а также Дунайскую военную флотилию...» (От Видина до Белграда. М., 1968).

Бои за освобождение Белграда в нашей литературе обычно называются «Белградской операцией», которая является, в свою очередь, частью «Битвы за Балканы». Эта битва началась в Молдавии VII Сталинским ударом, который вечевым колоколом гремел над Балканским полуостровом и всей Восточной Европой долгих три месяца. Весь август—сентябрь—октябрь советские войска, не считаясь с потерями, громили фашистов и их сателлитов в Румынии, Югославии, Венгрии. Только в ноябре 1944 года II и III Украинские фронты вышли на венгерский отрезок Дуная, захватили правобережные плацдармы и завязали бои на подступах к Будапешту.

В книге югославского историка Владо Стругара, бывшего югославского партизана, правда, в подстрочном примечании советского редактора, сказано:

«В операции по освобождению Белграда погибло, было ранено и пропало без вести более 30 тыс. советских воинов» (Югославия в огне войны 1944—1945, 1985 г.).

Это потери за 22 дня — с 22.09 по 20.10.44! Сравните, например: за всю нашу восьмилетнюю войну в Афганистане потери Советской армии составили 13310 человек убитыми, 35478 — ранеными и 311 — пропавшими без вести (АиФ, № 22, 1988).

Первый этап Белградской операции — штурм Неготина и разгром немцев в Восточно-Сербских горах. Этот этап, предрешивший скорое освобождение Белграда, как соглашается Н. С. Малич, проводился без участия югославских партизан. Они в это время жили в горах Боснии и Герцеговины, где, как мне говорил Н. С. Малич, «была тёплая солнечная погода». У нас же шли проливные холодные дожди. Об этом пишут очевидцы боёв. Отсут-

ствие «титовцев» на кровавом пути советских солдат от болгарской границы до Белграда отнюдь не мешает югославским авторам всех прочитанных мною книг-воспоминаний рисовать стрелки с лаконичной надписью: «Части Народно-освободительных войск, Красной Армии и войск Отечественного фронта Болгарии». Как говорится: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». А если ещё точнее: «Мы пахали — сказала муха, сидя на носу у быка».

Советские войска, разгромив немецкую армейскую группировку «Сербия», уже к 14 октября вышли на подступы к столице Югославии. Оставались считанные дни до её падения (точнее — штурма советскими войсками). И в это время:

«Маршал Тито попросил командование III-го Украинского фронта дать возможность югославам первыми вступить в столицу своей страны. Глубоко уважая патриотические чувства наших братьев по оружию, мы решили посадить бойцов НОАЮ на танки 4-го гвардейского механизированного корпуса». (С. С. Бирюзов. Советский солдат на Балканах. М., 1963).

Толбухин согласился. Югославы попробовали... но на окраинах Белграда немцы их встретили так, что партизанские части оказались далеко позади за нашей передовой линией, оголив её левый фланг. Положение осложнилось. Наши войсками был потерян «элемент внезапности», но, как я уже цитировал: «Мы за ценой не постоим!»

Советский генералитет решил взять Белград танковым штурмом. На танки посадили югославских партизан и привезли их в Белград: нате вам вашу столицу! Берите её!

Танков было 170. Что значило пустить их в узкие улочки Белграда в конце сорок четвёртого года, когда под руководством немецких инженеров на заводе под Прагой уже был наложен выпуск фаустпатронов? О танковых кострах и обгорелых трупах советских танкистов пишут практически все авторы воспоминаний. «Танки мало пригодны к ведению боя в населённых пунктах и совершенно непригодны к уличным боям в больших городах» (Г. Гудериан. Танки, вперёд! 1957). В этом ещё раз в декабре 1991 года убедились и наши сегодняшние горе-генералы, пославшие танкистов на штурм Грозного. Досталось в Белграде и югославским партизанам, с ружьями и винтовками наперевес штурмовавшими забаррикадированные дома.

А что говорят очевидцы?

РАССКАЗ МОЕГО ДРУГА —
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ОДОКИЯ,

участника штурма Белграда, в то время гвардии рядового 13-й гв. механизированной бригады 4 гв. механизированного Сталинградского корпуса, а ныне ведущего научного сотрудника Всероссийского института минерального сырья (Москва, ноябрь, 1990 год):

— Танки нашего корпуса с партизанами на броне ворвались в город. На узких улочках города их встретили фаустпатроны засевших по подвалам немецких гранатомётчиков. Югославские женщины, одетые в чёрное, подползали к обгоревшим трупам танкистов, переворачивали их лицом вверх, скрещивали руки на груди и вкладывали в них горящую свечку, отдавая последнюю дань освободителям. Оставшиеся не подбитыми танки развернулись на восток, откуда к Белграду подходили отступающие из Румынии немецкие части. В семнадцати километрах от города гвардейцы встретили немцев. Завязался тяжёлый бой. Танки медленно отходили назад, пока не подошла наша пехота. Фашистов остановили только в трёх километрах от города. В Белграде к тому времени оставались отдельные очаги сопротивления, которые ликвидировались советскими солдатами вместе с югославскими партизанами.

Если в столице Югославии не нашлось места, чтобы увековечить память советских солдат, отдавших жизни за ее освобождение, то не следует ли нам самим, в своей стране создать АЛЛЕЮ ПАВШИХ в крупнейших сражениях на полях Европы (да и других материках Земли)?

Или наши солдаты не заслужили этого?

Глава 6. КРОВАВАЯ ЗИМА 1944—1945 ГОДОВ (ВЕНГРИЯ)

Зимою 1944—1945 годов наш 1288 стрелковый полк трижды выводили с передовой «на переформировку». Иначе говоря, трижды наши стрелковые роты теряли боеспособность из-за людских потерь. В стрелковых взводах оставались кучки солдат и как правило ни одного офицера. И это, несмотря на постоянно сочившийся на передовую ручеек пополнения!

Три команды сниматься с передовой для оставшихся в живых пехотинцев — три возвращения с того света. Вряд ли кому-либо из солдат стрелковых рот удалось продержаться всю зиму на передовой: либо «НАРКОМЗДРАВ» (госпиталь), либо «НАРКОМЗЕМ» (могила).

Три команды — три этапа наших зимних боев. 1. На Батинском плацдарме (ноябрь—декабрь 1944 г.). 2. Будапешт и вокруг него (январь—февраль 1945 г.). 3. На самом южном фланге (март—апрель 1945 г.).

НА БАТИНСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

Мы еще не знали куда идем, но всполохи огня и артиллерийская канонада, не смолкающая всю ночь впереди, говорили за себя. Там начинались лютые бои за правобережные дунайские плацдармы.

«Ночью 8 ноября одна рота 708 полка 233 стрелковой дивизии пыталась форсировать Дунай, но не имела успеха. Ни одному солдату не удалось преодолеть водную преграду... Бои за плацдармы всегда отличаются особой жестокостью и упорством. Наши солдаты, побывавшие во многих трудных сражениях, говорили потом, что редко где враг оказывал такое яростное сопротивление, как на правом берегу Дуная. Наиболее ожесточенные бои шли на Батинском плацдарме. Ломая сопротивление неприятеля, советские воины шаг за шагом продвигались вперед. Эсэсовцы дивизии «Бранденбург», переброшенной из Югославии, по несколько раз в день переходили в яростные контратаки...»

До 15 ноября 19 и 113 сд оставались во втором эшелоне корпуса в районе Сомбора и Бездана. 18.11 они были переброшены на Батинский плацдарм. 113 сд (это мы — Б. М), сменившая 223 сд (сразу скажу: сменять было некого), медленно и настойчиво расширяла плацдарм.» (Шарохин, Петрухин. Путь к Балатону. 1966).

Из воспоминаний Миленко Пурача, ветерана Народно-освободительной армии Югославии:

«Недавно вновь побывал в Батине... Здесь, на крутизне, стоит памятник воинам Советской Армии. Высокая граненая, как штык, стелла, на ее широком подстаменте сцены разыгравшегося здесь в ноябре 1944 года сражения...»

Мы победили тогда. 19 ноября 1944 года в честь победы под Батиной в Советском Союзе был произведен салют. Но дорогой ценой досталась победа. В братской могиле в Батине спят вечным сном 1249 солдат и офицеров Советской армии» (Правда, 1.02.89).

А сколько моих однополчан закопано в безвестных могилах? Сколько осталось лежать в засыпанных разрывами окопах, в воронках от бомб, снарядов, а то и просто в потаенных местах лесных чащоб?

На Батинский плацдарм мы переправлялись под утро. За нашими спинами уже занималась холодная ноябрьская заря. Трава под тяжестью инея болезненно клонилась к земле. Правый (западный) берег Дуная здесь холмист и весь порос лиственным лесом. Полк неторопливо сосредотачивался в небольшой луговой долине уже километрах в полутора от переправы. Долго и зябко чего-то ждали. Наконец, подошли кухни, а следом за ними в небо с трудом вскарабкалось хоть и ноябрьское, но все же южное солнце. Земля высохла и... «отчего солдат гладок? — поел, да и на бок». Где-то к полудню над нами завис «костыль» — немецкий одномоторный моноплан-разведчик с загнутым к верху стабилизатором, что придавало ему сходство с железнодорожным костылем.

Будто вчера лежу я на мягкой траве, лениво загоняю в патронник карабина патроны и стреляю в чистое бескрайнее небо: по уставу — в самолет («в белый свет, как в копейку, всегда попадешь»).

Потом «костыль» улетел, оставил нас млечь на мягком осеннем солнце. Вероятно, по наводке «костыля» над переправой появились немецкие бомбардировщики. Там рвались бомбы, взлетали комья земли, надсадно хлопали зенитки. Мы же для немецких самолетов были слишком мелкой сошкой.

Сладострастное чувство собственной сиюминутной безопасности, ничего неделания, теплого солнца и скорого появления заветных кухонь в девятнадцать лет делает человека вполне счастливым. Где-то под кустами заиграла гармошка, рядом забасил доморощеный Василий Теркин...

Наш 1288 полк должен был сменять тех, кто захватил плацдарм. Полковые разведчики с утра ушли искать кого-нибудь из «тех». Но вокруг тишина. Лишь слева по крутым склонам холмов молчаливо и опасно темнеет побитый снарядами и бомбами лес.

На ночь глядя, никто не хотел куда-то идти, чтобы смотреть на задубевшие уже трупы предшественников, и тем более разделить с ними судьбу. «Утро вечера мудренее», и, выставив боевое охранение, стрелковые роты расползлись по кустам. Мы же — минометчики — тесно прижались к своим подводам с косоглазыми итальянскими мулами...

Запомнились мне еще два ущастых ослика — черный и белый, «займствованные» нашими хозяйственными партизанами у местного населения по дороге на плацдарм. Скорее, запомнились не они, а их смерть.

Буквально на следующий день в первом же бою старшина решил доставить мины на осликах прямо к минометам и тем самым доказать начальству необходимость постановки ослов на довольствие. То ли немцы увидели их, то ли просто ослики оказались невезучими, но надо же было именно в этот момент немцам произвести артналет на боевые позиции роты. Как только в воздухе загудел первый снаряд, мы все попрыгали в окопы. Ослики беззащитно и растеряно, как маленькие дети, прижалвшись друг к другу, остались стоять на поляне. Помню, как пытался из окопа комьями земли отогнать их в лес, но ослы упрямые, а артналет был точным... Черного убило наповал, белый же молча сорвался с места и убежал в лес, волоча за собой длинные красновато-серые кишки. Среди нас в тот день потерь не было.

Я чуть забежал вперед. Эта история произойдет на плацдарме в конце второго дня, т. е. 19 ноября. Начало же его было беззаботно-

спокойным. Правда, солнце решило с утра не всходить, а пустить вместо себя какую-то хмару.

После плотного завтрака пехотные роты были развернуты в цепь и направлены «на сближение с противником». Мы же, держась за подводы, вместе с осликами потянулись вслед. Шли может час, а может два по дороге, петлявшей между холмов и виноградников. Урожай собран. Лишь изредка у самой земли среди пожухлых листьев темнели забытые сморщеные виноградины с терпко-сладким мускатным привкусом. Никого.

Около полудня лес расступился. Впереди за разбитыми домами обозначились неестественно молчаливые контуры каменных строений Белого Монастыря. Пехотные цепи ушли вперед. Мы отстали... Минут через десять, а может быть через полчаса внезапно и торопливо, как испуганная шавка, на окраине села застучал немецкий пулемет. Этого только и ждали! С обеих сторон поднялась стрельбы.

«Минометы, к бою!» С того часа вся вторая половина ноября и начало декабря для меня слились в один сплошной беспросветный бой. Ни конца ему, ни передышки. Живыми и невредимыми из боя вышли единицы. Я попробую как-то слепить сохранившиеся в памяти картинки тех тяжелых холодных и дождливых дней, без гарантии временной последовательности. Есть только одна точная дата: 11 декабря 1944 года — последняя атака с попыткой прорваться к Надьканаже — центру единственного, оставшегося у немцев нефтедобывающего района. После той атаки 2-й батальон 1288 ст как боеспособная единица прекратил свое существование.

АТАКА

Немцы отходили медленно, стараясь зацепиться за каждый окоп, спрятаться за каждый бугорок, не давая нашим генералам ни малейшей возможности прорваться, обойти, окружить... **Только в люб, только кровью!**

Обычно немцы оставляли позиции ночью, когда мы, измученные дневными атаками, приглушенные смертями друзей, мертвяцки спали. С утра наши атаки встречались шквальным огнем хорошо окопавшегося боевого прикрытия. К полудню, а то и позже удавалось сбить немецкие арьергарды и продвинуться вперед километров на пять-шесть до подготовленной местным населением (и нашими пленными) новой линии обороны.

Хорошо помню 22 ноября 1944 года. Промозглый осенний дождь. Выданное нам зимнее обмундирование набухло водой. Ватная шапка-ушанка размокла и согревающим компрессом облепила голову. В сапогах хлюпает осенняя мразь. Холодно. Костра не разожжешь, не высушишься. Пехота залегла на опушке редкого леса. Перед нами долина небольшого ручья. На другом его берегу горой возвышается круглая, поросшая низким кустарником высота 206. Там немцы. Изредка они злобно огрызаются короткими пулеметными очередями — ВОЙНА.

Я раскопал себе лунку между корнями развесистого бука и пытаюсь согреться. Рядом пристроился телефонист. Полой шинели он прикрыл аппарат, закоченевшими мокрыми пальцами крутит ручку телефона и надоедливо повторяет: «Я — орел... Я — орел...» (какой ты ... орел). Наконец, связь есть! Юрка говорит: «Есть приказ штурмом взять высоту». Я знаю, для доброй половины солдат, лежащих рядом со мной, это будет последним боем: кого захоронят, а кого отправят скитаться по бесчисленным медсанбатам и госпиталям...

Пока не началась первая атака, расскажу о некоторых фронтовых хитростях, которые объяснят читателю мою постоянно повышенную осведомленность о ходе боя в различных инстанциях и тем самым в какой-то мере подтвердят правдивость дальнейшего рассказа (кто верит на слово, может мелкий шрифт не читать).

Управление боевыми действиями пехоты в то время осуществлялось главным образом по телефонам, в меньшей мере по радио и связными. Корректировка стрельбы артиллерии (вплоть до полковой) и минометов — практически, только по телефонам. Каждое подразделение тянуло свой провод на НП, КП. Поэтому стоило только остановиться фронту, как телефонные провода опутывали всю передовую. Телефонный кабель (или просто «провод») был, естественно «в дефиците». Его воровали, подменяли. Бывали случаи, когда не в меру ретивых связистов-воров подстреливали, отправляли в штрафбаты, ибо украсть провод в ряде случаев означало вывести из строя целое подразделение, что могло определить судьбу боя, повлечь многочисленные жертвы.

Связисту положено сразу после выбора минометной ротой огневой позиции вешать за спину одну катушку кабеля длиной 200—300 метров. Дело это муторное, особенно в наступлении, когда всё вокруг переменчиво и не знаешь, понадобиться ли твоя работа. Бывало, рискуя жизнью, протянет связист провод, всё наладит, можно стрелять, а... немцы ушли. Надо «мотать обратно» и догонять своих, таша на себе тяжелые катушки, которые обычно везут на подводах.

Частенько же мы поступали так.

Минометные позиции, как правило, находились где-то между штабом батальона и КП стрелковых рот. Мимо нас (или поблизости) проходил их провод. В этот провод «врубались» наши телефонисты с позиции и с НП. Поступать так «некрасиво, но можно». Таким образом я, взяв трубку на НП, слушал не только указа-

ния своего командира роты, но и все переговоры, которые вел командир стрелкового батальона с ротами. Одновременно с этим, находясь непосредственно в боевых порядках пехоты и зная коды переговоров, я отлично понимал неумело зашифрованные команды и видел, как они выполняются.

Сейчас я попробую всего один раз подробно (хотя и несколько нудно) описать рядовую атаку тех времен и больше не буду. Это надо для того, чтобы читатель мог сравнить атаки, в которых «участвовали» члены Союза писателей и рядовые пехотинцы (на примере нашего полка и нашего времени — конец 1944 г.).

Итак.

Разговор двух телефонистов.

— Командир полка приказал взять высоту любой ценой. Говорит, мы задерживаем наступление дивизии...

— Так вона ж гола. Як на неі лізти?

— А я почём знаю.

Я слышу этот разговор и беру трубку у телефониста. Командир стрелковой роты ст. лейтенанту Аничкину звонит комбат. У телефона сидит дежурный телефонист:

— Где Аничкин?

— Командир роты ушел в цепь.

— Посылайте к нему связного, пусть подымает роту.

КП комроты метрах в полутораста за мной. Я вижу: ст. лейтенант Аничкин никуда не уходил. Он сидит рядом с телефоном и, как маленький ребенок, хочет оттянуть время бессмысленной атаки. У него в роте осталось человек 20—30 и посыпать их на штурм голой укрепленной высоты бесполезно. Минут через десять снова звонок:

— Где Аничкин?

— Аничкин слушает!

— Что слушаешь... твою мать! Подымай людей! Атакуй!

— Так может быть, товарищ капитан, наши артиллеристы помогут?

— Какие тебе артиллеристы?! Из-за этого вшивого пупа снаряды изводить! — Комбат замолкает, потом бросает:

— Ладно, сейчас помогут.

Артиллеристы — это мы, минометчики, да недавно появившиеся в батальоне две противотанковые пушки, «сорокопятки».

Дальше по тому же проводу комбат дает команду Гречинову, тот мне. Я передаю координаты Юрке. Он — старший на позиции.

Все, кроме полкового и более высокого начальства, «тянут резину».

Метрах в десяти от меня в маленькой ямке-окопчике лежит недавно появившийся у нас командир стрелкового взвода — младший лейтенант. Ему еще нет девятнадцати. Это его первая атака...

...Треск кустов... Над головой пулеметная очередь... и рядом со мной падает связной Аничкина. Спрятавшись за куст, он кричит мл. лейтенанту: «Командир приказал подымать взвод, как только кончится артподготовка». Он добавляет ещё что-то и исчезает в кустах, чтобы, играя со смертью, разыскать других взводных и передать им приказ.

Артподготовка, как понимает читатель, это огонь нашей минометной роты. «Шесть мин, беглый огонь!» — кричит на позиции Юрка. Я смотрю в бинокль. Хоть бы увидеть, услышать! Ведь разрыв 82-миллиметровой мины хорошо виден на голом месте и в сухую погоду (на такырах под Термезом). А когда всё мокро и сильно заросло мелким кустарником!.. Будто совсем рядом за спиной чавкают минометы. Даже слышно, как летят мины... разрывы... Но солдаты не подымаются. Никто не хочет верить, что это и есть «артподготовка».

Опять появляется связной.

Ближе всего к мл. лейтенанту лежит Гречко — обстоятельный уже пожилой украинец, попавший на передовую из обоза за какую-то провинность.

— Гречко, короткими перебежками, вперёд!

— А що мені, нехай сержант піде першим. Він позаду, — огрызається Гречко.

— Я тебе приказываю! — Взрываетялся мл. лейтенант. Но Гречко просто молчит.

Мл. лейтенант чуть приподымается, пытаясь достать Гречко стволом автомата. ... Пулеметная очередь от немцев... Гречко пугливо поджимает под себя ноги. Мл. лейтенант переключается на других солдат, но те, видя беспомощность командира, не торопятся выполнять его команды... Наконец, кто-то перебегает за соседний куст. За ним второй... третий... Немцы не стреляют. Мл. лейтенант вскакивает в полный рост: «За мной! Вперед!... Ура-а-а!!» За ним устремляются некоторые солдаты... Метров через двадцать мл. лейтенант падает на голом месте. Пытается приподняться. Кричит. Потом зовет на помощь и сам того не ведая, перед смертью служит для немецких снайперов подсадной уткой. Но... селезней среди нас нет. Немцы с высоты открывают огонь. Все прижались к земле. И я тоже, хотя вижу, как быстро кровенеет гимнастерка мл. лейтенанта: надо как можно быстрее зажать рану... Атака захлебнулась и вырвавшиеся вперед живые солдаты отползают за кусты.

Через какое-то время сзади в кустах появляется тот самый сумрачный парторг, который на Днестре принимал меня в кандидаты в ВКП(б). У него в руках «ТТ».

— Офицеры есть?! Коммунисты, ко мне!

Офицеров нет. Двое сержантов-коммунистов ползут к нему в кусты.

Там, в пехотной цепи, к парторгу и сержантам присоединились ком. роты, комсорг батальона.

Мат... Телефонный провод раскаляется, дергается и искрится от мата... в кустах замелькали связисты-разведчики артиллерийских батарей... И вот на вершине высоты размашистым, заранее победным фонтаном взметнулся разрыв первого тяжелого снаряда.

«Огонь! Пощады не будет! Вперед ... вашу мать!» Парторг с размаху бьет палкой солдата — «пошел!!» Один за другим, уже не подгоняемые офицерами и не хоронясь за кустами, не прислушиваясь к цоканию пули, бегут, падают, снова бегут солдаты. Там за высотой слышны частые автоматные очереди. Это полковая рота автоматчиков зашла в тыл немцам.

«Ура-а-а-а...» Без бинокля видно, как серые, набухшие водой шинели мелькают в кустах на берегу ручья, пытаясь найти брод... Вот они лезут по склону... Я переношу огонь на самую вершину. Мимо на плац-палатках волокут в тыл забинтованных то ли живых, то ли уже Богу душу отдавших пехотинцев... Бой медленно затихает. Высота наша...

Помню, еще в 50-х годах я рассказал этот случай своему тестю — кадровому военному, всю войну преподававшему в далеком тыловом училище.

— Нет, Боря, ты не прав. На фронте всё было не так! Ты почтай, что говорят и пишут фронтовики. И я читал рассказы участников боев, писателей-фронтовиков: «За Сталина!», «За партию!», «Умрем за Родину»...

Я молчал, ибо в нашем полку, в нашем батальоне за целый год кровопролитных наступательных боев ничего подобного не слышал, хотя всё время находился на переднем крае.

И не я один. Сейчас Главлит разрешил публиковать, например, стихи Б. Слуцкого. Поэт Б. Слуцкий в 1942 году пришел на фронт следователем дивизионной прокуратуры, какое-то время побывал политруком батальона, а уже в 1943 году перешел в политотдел дивизии на должность инструктора (П. Горелик. Звезда, 1997, № 5). Кому, как не политруку, следователю прокуратуры Слуцкому знать, что было на линии фронта — на передовой.

Стих встает, как солдат.

Нет, он политрук,

Что обязан возглавить бросок,

Отрывая от двух обмороженных рук
Землю всю. Глину всю. Весь песок.
Стих встает,
А слова, как солдаты лежат,
Как славяне и как елдаши,
Вспоминая про избы, про жен, про лошат,
Он-то встал, а кругом ни души!
И тогда политрук...
Впрочем, что же я вам говорю,
Стих хватает наган,
Бьет слова рукояткой по головам,
Сапогами бьет слова по ногам,
И слова из словесных окопов встают,
Выползают из-под словаря,
И бегут за стихом и при этом орут,
Мироздание все матеря.
И хватаясь (зачеркнутые) за живот,
Умирают, смирины и тихи...
Вот как роту подъемлют в атаку и вот
Как слагают стихи.

Б. Слуцкий

Не похоже ли, читатель, мое описание «рядовой» атаки на рассказ моего друга — Жорки Павликова, а он сам на собрата — пехотного «ваньку-взводного»?

Я профан в военном деле. Но даже тогда было, а сейчас особенно, непонятно, зачем надо лезть на высоту, где кучка немцев закопалась в землю. Им, как улиткам, вылезти наружу — самоубийство. Неужели нельзя обойти такую высоту и — «Вперед на запад!». В конце войны у нас была Сила! Численное превосходство, масса техники, полное господство в воздухе. Могли же немцы в 41 году идти вперед, оставляя у себя в тылу целые советские армии с комиссарами, техникой? Наши же доблестные генералы и маршалы трусливо дрожали перед каждой горсткой застрявших в тылах фашистов. Как бы чего не вышло! Пусть гибнет пехота, зато генералам будет спокойнее! Цвела крылатая фраза Жукова: «На войне без потерь не бывает!»

Допустим, я не прав.

Но почитайте, например, мемуары немецкого генерала Г. Фриснера (Проигранные сражения. М., Воениздат, 1966), командовавшего в сорок четвертом году группой немецких армий «Юг». Он удивляется, почему русское командование после разгрома фронта на Днестре не развивало свой успех и не двигалось в глубь

Европы по направлениям, где практически не было никаких немецких войск. Г. Фриснер пишет: «На отдельных направлениях русским был открыт путь на Вену еще осенью 1944 г.». А ведь мы взяли столицу Австрии с тяжелыми боями только в апреле 1945 года (но это «к слову»).

ХОЧУ ЖИТЬ!

Я сижу на дне только что отбитой у немцев глубокой траншеи. Минометы в километре сзади от меня. Местность холмистая и вся заросла мелким лиственным уже почти голым лесом. Телефонисты протянули провод и из трубы слышен Юркин голос: «Грешнов ушел к комбату». Мы переговариваемся о минах, об обеде... Наконец, появляется Грешнов: «Немцы прорвались справа и выбили наших из села. Через час будет контратака. Подготовить огонь».

Село километрах в двух с половиной от минометной позиции, расположенной за одиноким хутором, да и от меня не многим ближе. Оно все в деревьях и вести пристрелку трудно. Я лезу на дерево. Оно голое, и немцы скоро засекают меня. Откуда-то начинает бить пулемет. Я не могу понять, где он, и боязливо жмусь к стволу. Наконец, отчетливо в бинокль вижу два наших разрыва на поле перед селом. Дальше «дело техники»: пытаюсь следить за разрывами, вношу поправки... наконец: «Батарей, две мины — беглый огонь!» И — вниз с дерева. Но немцы уже нащупали наши минометы. Слышу, как их мины шурша летят надо мной и все ближе ложатся к позициям роты.

Проходит часа два. Несколько раз комбат требует «огонька». Мы послушно стреляем, пытаясь хоть как-то помочь атакующей пехоте. Все буднично. Вдруг связь прерывается и одновременно в районе хутора грохочут разрывы тяжелых снарядов, захлебываясь начинают бить пулеметы, ...глухие крики... Я посылаю телефониста выяснить обстановку, найти разрыв провода, и остаюсь один. На хуторе горят дома. Красные отблески прыгают надо мной по вершинам деревьев. Временами я «пробую связь», но трубка упорно молчит. Стрельба, как лесной пожар, от хутора вдруг перебрасывается резко влево. Автоматные очереди, разрывы гранат слышны у меня сзади, будто в районе наших минометов... Опять тихо... Мне становится не по себе. Может быть, наши отступили? А может быть, как раз сейчас потребуется огонь? Я еще раз безнадежно в полный голос кричу в трубку, потом чуть высываюсь над бруствером... Цик!.. Винтовочная пуля подымает фонтанчик пыли около моего глаза. Я падаю на дно траншеи, потом надеваю только что, перед выходом на плацдарм, выданную зимнюю шапку на ложе

карабина, чуть отползаю в сторону и медленно приподнимаю над бруствером... Шмяк! Приклад вдребезги, а пробитая шапка отлетает в сторону. Я быстро на коленках ползу прочь. Метрах в двадцати в конце траншеи валяется немецкая винтовка, отползаю еще и из-за куста чуть-чуть приподымаю голову. Уже явно вечереет. Напротив зашевелился куст. От него отделяется немец и согнувшись бежит к моей шапке. Он совсем рядом. Так близко немца я вижу впервые. Он меня не видит... Может быть я, действительно, человек «не от мира сего», ибо не было, абсолютно точно не было в тот момент у меня никакого помысла воскликнуть: «За Сталина! За мать родную!». Вместо этого — хорошо знакомое любому охотнику сладострастное чувство добычи, появившейся на мушке ружья: только бы не промахнуться! И я не промахнулся. Немец споткнулся. Упал. Несколько раз конвульсивно дернулись его ноги и тело замерло.

По траншее я подполз к телефону, отключил клеммы и был таков. Помню, хотелось вылезти и потормошить труп немца (может быть часы?), но благоразумие возобладало. Уже совсем смеркалось. За траншееей в кустах я разыскал наш провод и, не теряя его из виду, побежал домой, волоча телефонный аппарат и тяжелую немецкую винтовку. Бежал я довольно резво: кустики — пригород, кустики — пригород... На третьем пригороде около провода лежит наш мертвый солдат. Около него еще один — тоже убитый. Кругом голо. Я упал около трупов. Ловушка! Немец специально рассек провод, зная, что кто-нибудь побежит искать разрыв. Я поднимаю и поворачиваю голову. Передо мной в вечерних сумерках куст. Рядом камень. Из-за камня торчит вороненый ствол немецкой винтовки. Дуло смотрит прямо мне в лоб, в глаза. Все тело до самой маленькой молекулы сжалось в комок: «Не хочу! Хочу жить!!» Как мышка от кошки, я пытаюсь безнадежно подлезть под трупы только что убитых связистов, потом прыгаю в сторону. ...Ствол остается в прежнем положении... Я смотрю сбоку: это просто сучок, упавший с куста! Немец ушел, не дождавшись меня. Не разбирая дороги, царапаясь о ветки, я, сломя голову, бегу на позицию. Около наших окопов в темноте спотыкаюсь о ноги в коротких немецких сапогах — немец! На позиции никого. Разбросаны пустые ящики, тряпки.

Мелко заморосил ночной ноябрьский дождик. Я залез в щель около минометного окопа, надеясь переждать дождь, но он не унимался. Тогда, уже в полной темноте, я вылез из щели, нашел убитого немца, кое-как стащил с него длиннополую сизую шинель и с помощью винтовки соорудил над щелью нечто похожее на шатер. Хотелось есть, но что слаще всего?..

Все было именно так, хотя сейчас, когда мне уже далеко за семьдесят, я не представляю себе, как можно быть столь легко-мысленным. Ведь надо же хоть чуточку соображать, где ты находишься? Бой отошел вправо. Наши ушли. Значит здесь немцы. Пока ночь, надо пытаться выбраться к своим...

Утром я проснулся рано. Выглянул из окопа. Дождь перестал и небо было чистое. Звезды уже погасли. Тишина. Все кругом покрыто инеем. Трава и редкие листья на деревьях подернулись ледяной коркой. Я вылез. Испугав меня, с трупа немца слетела ворона. Медленно пошел на восток. Не могу сейчас сказать, сколько времени блуждал по низкорослому голому лесу, но наконец услышал явные звуки обоза. Вскоре сквозь деревья увидел и дорогу. Из-за поворота появилась пароконная каруза, а на ней — сомнений не было — наш спящий солдат. Я вышел из кустов. Растикал его. Спросонья он было схватился за карабин, но все обошлось. В тот день мне оставалось догнать своих и узнать, что **мой спирт выпит за упокой раба Божьего Бориса.**

ЮРКА РАНЕН

Весь день шел бой за небольшое село, разбросанное по холмам где-то к западу от Шаркиеша. Стрельба вспыхивала внезапно и отовсюду. Было непонятно, где немцы, где наши. Связь с минометной позицией часто прерывалась, поэтому огонь вели вяло и неэффективно. Наши атаки начались еще до рассвета. Только к вечеру немцы ушли из села и закрепились на гребне низкого хребта километрах в двух-трех к западу. Поздняя атака на хребет захлебнулась. Вконец уставшие пехотинцы еле держались на ногах...

Команда: «Отойти к селу!» Выставив боевое охранение, стрелковые роты провалились в сон. Всю ночь за их спинами не могли угомонится обозы, штабы, какие-то тыловые службы, медленно тянувшиеся вслед за жертвенным слоем пехоты...

Упорные кровопролитные бои за расширение задунайских плацдармов продолжались: «Мы протягивали братскую руку помощи стонущему под фашистским игом венгерскому народу». Сон...

И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
Не потревожит сны.
Седая ночь,
И дремлющие птицы
Качаются от синей тишины.

И. Бродский

Переполох начался под утро. Откуда-то в село на машинах ворвались дивизионные автоматчики во главе с лихим золотопогонным офицером: «Распрона!.. бога!.. мать!.. Дрыхнете ... Девяносто третья уже в Австрии! ... Немцев впереди нет! ... Стройте солдат!.. Вперед походным маршем!»

Наш батальон выступал одним из первых. Хорошо помню ту предутреннюю ноябрьскую мразь. Мы в сырых шинелях и с мокрыми ногами, не отдохнувшие и не выспавшиеся долго дрогли на обочине разбитой сельской дороги, вдоль которой не спеша выстраивался конный обоз. Потом всей колонной вышли из села, по взорванному мосту перешли канал и повернули направо. По левую руку километрах в полуторах в утренних сумерках темнел хребет. Когда все батальоны полка с обозами вытянулись вдоль канала, на еще не проснувшихся солдат с неба обрушился шквал огня.

Голое поле. Кругом грохот. Яркие вспышки разрывов. Визжат осколки. Летят комья земли. Шарахаются по сторонам кони... Я упал в стерню и ногтями царапаю землю, стараясь выкопать ямку для головы. Слева прижался ординарец и пытается засунуть голову под меня. До края канала метров тридцать. Их надо пробежать... Но и там нет спасенья. Из-за хребта бьют минометы. Мины летят сверху и от них нет защиты. Хочется посмотреть... Я чуть приподнимаю голову, и тут же перед глазами яркая беззвучная вспышка. Голова плашмя падает в грязь. Визгливо кричит ординарец. Я поворачиваюсь: «Товарищ лейтенант, Вас ранило?!» Я не чувствую боли: «Да вроде нет!» «А у меня ноги!» Осколки по какой-то немыслимой траектории, перелетев меня, впились в ногу ординарца. Пытаюсь стереть грязь с лица: вся ладонь в крови. Кровь театрально течет по правой щеке. Я провожу рукой по виску: больно и что-то царапает кожу...

Стремительный и злой налет немецких минометов по бездумно посланной в ловушку беззащитной колонне закончился также внезапно, как начался. Еще не совсем рассвело, и солдаты в полутьме расползлись кто куда, волоча с собой раненых и убитых.

Во что обошелся нашему батальону, полку тот «вояж» дивизионного золотопогонника, не могу сказать. Но от того дня в памяти сильнее всего засел солдат с оторванными ногами. И не сам солдат (таких я видел немало), а его истошный крик: «Мишка! Пристрели!!» Я много раз слышал, читал о солдатах, которые просили себя пристрелить, но видел впервые... Да и не только впервые, а вообще единственный раз в жизни.

Ординарца санитары уволокли на плащ-палатке. Я уполз сам на берег канала. Там уже орудовал санвзвод. Бессменная Ася вымыла

лицо, пинцетом выдернула застрявший в коже у виска маленький осколочек, перевязала. Я посидел немного и, поняв, что больше мне «ничего не светит», ползком через канал вернулся к своим. Помню только, что кровь долго сочилась через бинты. Вероятно, на виске был перебит сосуд.

Моего появления никто не заметил. Минометная рота разворачивала позиции на крайней улице села за уютными сухими и теплыми домами. Грешнов сидел в доме и «сосал».

Потом мы стреляли. Пехота еще дважды подымалась в атаку, но оба раза отходила, оставляя под хребтом убитых...

И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули, разучившиеся петь,
Кричали нам,
Что есть еще бессмертие...
...А мы хотели просто уцелеть.
Простите нас.
Мы до конца кипели.
Мы падали на низенький бруствер.
Сердца рвались, метались и хрюпели,
Как лошади, попав под артобстрел.
...Скажите там...
Чтоб больше не будили...
Пускай ничто
Не потревожит сны...
...Что из того,
Что мы не победили.
Что из того,
Что не вернулись мы.

(И. Бродский)

Наконец, долгожданный приказ: «Окопаться!» Стрелковые роты залегли вдоль края канала. Берег канала глинистый и довольно крутой. Саперной лопаткой до сухой земли не докопаться (да и есть ли она вообще?). Глина липкая и очень грязная. Клеммы, трубка, весь аппарат в грязи... И вот: «Связь есть!» Юрка передает: «Грешнов лыка не вяжет!» Мы вдвоем готовим огни.

Но «где тонко, там и рвется». Неожиданно за нашими спинами где-то в районе минометной позиции на окраине села будто взорвалась торопливая оружейная и пулеметная стрельба, потом разрывы гранат и... связь прервалась. Пехотинцы один за другим убегают в село. Мы, еще ничего не понимая, продолжаем сидеть около телефона. Появляется солдат: «Немцы прорвались в село, напали

на штаб батальона и на минометчиков!» Бросив телефон, мы бежим за солдатами. Около деревни рассыпаемся в цепь и, стреляя на ходу, добегаем до первых домов. Стрельба идет по всему селу. Я заворачиваю на позицию. Там переполох. Минометчики по соседним домам заняли оборону и ведут оружейный огонь в сторону центра села. Протрезвевший Грешнов возится в амбаре, пытаясь запрячь лошадей. На бруствере окопа, согнувшись, сидит Нурок. Его голова и шея перевязаны. Юрка только открывает и закрывает рот. Наконец, лошадей запрягли, и мы осторожно укладываем Юрку на сено. Подвода с ездовым и еще одним тяжелораненым минометчиком трогается в неизвестность. Стрельба прекращается.

Оставшиеся солдаты сбивчиво объясняют: мина тяжелого немецкого миномета угодила в крышу сарая, за которым стояли минометы. У Нурка сильная контузия и ранение в голову.

Это было 28 ноября 1944 года.

МАНЬКА РОТНАЯ

Я ушла из дома
В блиндажи сырье
От Прекрасной Дамы
В мать и перемать..

Герм

После нескольких дневных атак наша пехота к вечеру ворвалась в немецкие окопы. Не было ни сил, ни боеприпасов преследовать бросивших свои окопы фашистов. Спали вповалку на еще «тепленых» немецких подстилках.

С утра пришел приказ приспособить немецкую «фортификацию» для себя и ждать пополнения.

Погода — хуже не придумаешь. Дождь со снегом зависли в воздухе будто специально для того, чтобы облепить солдата и добраться до самых его костей, застудить душу. В большой землянке командира первой роты сбор старших офицеров батальона. Грешнов с перепоя еле ворочает языком и посыпает меня. Землянка в потном сыром пару. Табачный дым и самогон, растворенные в этом пару, привычно едят глаза. У задней стенки в мигающем ракитичном свете коптилки еле различим телефонист. Нач. штаба и замполит батальона пристроились на пороге. Оба хмурые и злые. Очевидно, что-то случилось. Замполит очередной раз «накачивает» нас дисциплинарными приказами о мародерстве, самовольном оставлении позиций, связях с местными жителями (точнее с женщинами)..., но всё это навязло в зубах...

— Вопросы есть?

— Когда будет пополнение? Когда подвезут патроны, мины?
Когда солдатам дадут обувь, плащ-палатки?

У солдат, да и у некоторых офицеров ботинки с обмотками. В венгерскую зиму, когда то подморозит, то развезет, ноги не просыхают... Замполит тянет и чего-то ждет... Наконец, в землянку двое солдат вталкивают пьяненькую ротную санитарку Маньку, недавно за что-то сосланную к нам на передовую. Манька притащила в батальон хвост разных легенд о своем распутстве и главное вседозволенности. Это подхлестывает многих офицеров, сержантов, и они роятся около Маньки, как кобели вокруг загулявшей сучки. Манька мстит мужикам особым презрением и издевательским панибратством с офицерами.

Я, помню, сидел около входа и то ли что-то пропустил в разговоре, то ли уже подзабыл, как разворачивались события, но сейчас хорошо вижу осунувшееся серое после бессонных ночей лицо замполита и его злобный грубый допрос: «Ты с кем сейчас спишь? С кем еще спала?» Мне это запомнилось, ибо впервые в жизни присутствовал при разговоре, когда мужчина разговаривает с женщиной и все называет своими именами. Манька, нагло и зло глядя ему в лицо, что-то отвечала, а в конце, ничуть не стесняясь, послала его туда же, куда посыпала надоедливых «ухажеров» и, пользуясь возникшим замешательством, выскочила из землянки. «Ефрейтор, вернитесь!» — закричал ей вслед замполит. Но Маньки и след простыл. Послали солдат. Когда уже все начали расходиться, солдаты приволокли всю в грязи зареванную Маньку. Замполит по телефону вызвал из батальона автоматчиков. Те долго не появлялись. Наша минометная рота стояла неподалеку от штаба батальона, и, когда я уходил, замполит бросил: «Михайлов, доведи ефреятора до штаба, но смотри...» (А что смотреть?) Мы пошли молча. Лишь шедшая впереди Манька иногда пьяно всхлипывала.

Ход сообщения сначала шел вдоль первой линии окопов. Манькина спина то ярко освещалась светом взлетающих ракет, то будто проваливалась в сплошную темень. В эти моменты я старался держаться ближе, чтобы не упустить ее из виду. Вот-вот должен быть поворот в тыл. Я окликнул Маньку, и тут же в кромешной тьме уперся в ее распахнутую шинель и мягкие объемистые груди. Манька, широко раскинув руки, бесстыдно улыбалась. Она обхватила меня и потянулась целоваться...

Не знаю сколько прошло времени. Может быть минута, может быть две. Помню только, как ее губы, язык лихорадочно и обдуманно проникали мне в рот, в тело, вызывая закодированные природой ответы...

Рядом в тыловом ходе послышались шаги: «Это ты, Манька?» Из темноты вышли два автоматчика. «А ну, пошли домой!» И я, еще не остывший ни от ее пьяных поцелуев, ни от ротного самогона, с досадой на так не вовремя появившихся автоматчиков вернулся в роту.

Дня через два-три, когда мы уже снялись с этой линии обороны, на марше в батальоне появились незнакомые врачи и офицеры. Допрашивали и проверяли всех офицеров и солдат: «Кто спал с Манькой?!» У нее обнаружили сифилис.

Я, забравшись в дальний конец окопа, куском немецкого мыла усердно тер губы, дёсны, зубы, кончик языка, а затем полоскал водой, собранной из дождевых луж...

«Сорочка» и тут крепко держала поводок, будительно следя за каждым моим шагом.

ЕЩЕ НЕМНОГО! ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ!!

В начале декабря полковым артиллеристам и даже нам, батальонным минометчикам, выдали новенькие хрустящие «сотки» — топографические карты масштаба 1 : 100 000 (километровки), по которым, в основном, мы ориентировались при стрельбе. На картах появилась Надьканижа — центр нефтяной промышленности Венгрии и последний источник натуральной нефти Германии.

Во что бы то ни стало! Любой ценой!!

К нам в пехоту, собирая с миру по нитке, списывали, направляли, посыпали, откомандировывали всех, кого только можно было угрозами и силой оторвать от фронтовых тылов. Но стрелковые взводы, гонимые вперед приказами, матом, наконец, палками, таяли быстрее, чем подходило пополнение. Наступление выыхалось...

В книге «Путь к Балатону» (М. Н. Шарохин, В. С. Петрухин. М., Изд-во Минобороны СССР. 1966) об этих днях сказано так:

«Упорной обороной рубежа Керестур—Марциалик—Надьбайом—Визвар в середине декабря противнику удалось задержать продвижение 57 армии. Особенно ожесточенные бои велись в районе Надьканижи».

Это как раз там, где были мы. Даже врагу не пожелаю оказаться в том положении. Сколько солдат полегло в боях за Надьбайом — не знаю, но много. Не зря пехота его нелестно переименовала в «Насебом».

Все те дни стоят перед глазами. Чтобы не оказаться нудным и, не дай Бог, вызвать жалость к себе читателей, расскажу только о последнем дне наших боев — 11 декабря.

После нескольких погожих дней 10 декабря резко изменилась погода. К вечеру подул сырой порывистый ветер, бросая в лица и без того промокших солдат колючий зимний дождь. Ночь провели в сарае. Костры не разжигать! С утра — снова вперед! После полудня километрах в двух-трех появились дома и высокая белая колокольня. Вероятно, это были уже предместья Надьбайома? Разведчики донесли: в домах немцы.

Перед домами поле. На его краю болотистый кустарник, в котором начали собираться остатки пехоты. Команда: «Окопаться!» Атака будет завтра под утро без артподготовки. Замысел командования: застать немцев врасплох, спящими в теплых кроватях крайних домов.

Копать в кустарнике нельзя — сразу вода. Кое-как прикрытые ветками минометы на глазок, без огневой пристрелки, направили на дома. Я наломал себе побольше ивовых прутьев, подстелил плац-палатку и пытаюсь как-то прикрыться от противно падающих на лицо мелких и очень мокрых капель. Зуб на зуб не попадает, а впереди еще вся ночь!

Чуть-чуть забрезжил восток, и жидккая пехотная цепь молча пошла по полю. Мы с замиранием сердца следили за движением солдат. Немцы молчали. И только когда до первых домов оставались буквально считанные метры, одна за другой на пути солдат начали рваться пехотные мины — минное поле! Вслед за разрывами передний край немецкой обороны взорвался пулеметным и автоматным огнем. Цепь залегла. Атака сорвалась. Ни один пехотинец не вернулся назад.

Оставив у минометов несколько человек, вся наша рота расредоточилась вдоль кустарника. Между минометами и немцами никого. Нам предстояло держать свой кусочек бесконечного советско-германского фронта. Из тыла старшина с ездовым приволокли термос баланды, хлеб и две фляжки спирта. Правда, немцы в тот день и не собирались выходить из теплых сухих домов, ибо в такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит. Другое дело — наше командование. Оно решило держать нас в болоте, посыпая грозные приказы о наступлении. Выполнять приказы было некому.

В декабре и в Венгрии день короткий. К вечеру дождь перешел в мокрый снег. Всё поле заболело. Лишь черными осипинами на нем выделялись воронки от разрывов мин, да замерзшие тела солдат. Немцы не стреляли. Мы — тоже.

«Колосья пехоты взошли
в рукопашной,
Сцепив обнаженные криками губы,
И падали комья контуженной пашни.

И падали скошенные однолюбы.
Седыми дождями коса расплеталась,
Снегами просторное ложе остыло.
Родная, зачем ты меня отпустила?!
Родная, зачем ты меня дожидалась?!

Пришел я с гранитными орденами,
Меня ты умыла колодезным взором
И вышила поле полтавским узором,
Вишневую кровь добавляя в узоры!»

Михаил Гаврюшин

В тот день 11 декабря, когда совсем стемнело, и в кустах, не боясь немецких снайперов, можно было вставать в полный рост, с минного поля из-под немцев приполз солдат и сказал, что там лежат раненые. Между собой решили: парами, тройками ползти к минному полю вытаскивать раненых.

Разве я могу забыть: ползешь по мокрому снегу, оставляя за собой след промозглой зимней грязи. Каждое мгновение можешь зацепиться за оттяжку немецкой «лягушки» — прыгающей противопехотной мины. Впереди что-то темнеет. Немцы рядом. Шепотом кричишь: «Эй, солдат, жив?!» Молчание. Что там? Подползаешь ближе. Полуоткрытые мертвые глаза. Снег застыл на лице. Не тает. Ползешь дальше. Если на лице нет снега, значит еще живой...

За ночь мы втроем нашли и приволокли на плащ-палатке двух тяжелораненых, у других «урожай» был больше. Большинство раненых оказались с обмороженными руками, ногами, и их сразу же отправляли в тыл.

Уже после войны я рассказывал, что при 0° можно обморозить руки-ноги. Мне не верили. Пусть, кто не верит, попробует, не шелохнувшись, пролежать в мерзлой грязи весь декабрьский день! У пехотинцев был один выход: лежи и не двигайся. Пошевелился — немецкая пуля.

Следующий день мы провели в кустах на виду у поселка, где в дальних домах мирно и в то же время нахально вились дымки. Еще через день пришла долгожданная команда: «Сняться с позиции».

По дороге в тыл к нам присоединились взвод связи, санвзвод, еще какие-то батальонные службы. Пехотинцев — основы стрелкового батальона — не было.

Кстати, именно там, под Надьбайом остались последние белорусские партизаны. Те из них, кто обмороженным или раненым (или и то и другое вместе) был отправлен в тыл — единственные свидетели агонии нашего батальона.

На всю зиму Надьканижа осталась у немцев и снабжала их нефтью.

НОВЫЙ ГОД

В середине декабря остатки стрелковых батальонов нашего 1288 сп, 113 сд кучками устало брели по заснеженным дорогам Южной Венгрии в тыл. Мы уже ничего не можем. Мы небоеспособны, и нас отправляют на переформировку... Полк будет принимать пополнение. О нём я расскажу позже.

А пока что — праздник: Новый год! Праздник — он везде праздник. И на фронте тоже.

Нашей минометной роте отвели несколько землянок, добротно открытых немцами на опушке небольшого соснячка. До передовой километра три-четыре. Этого достаточно, чтобы не забывать о ней и в то же время чувствовать себя в полной безопасности не только от немецких снайперов, но и от их разведчиков. Можно ходить в полный рост, а по ночам беспробудно и беззаботно спать. Во всех землянках сохранились печки-буржуйки и сухие лежанки: живи — не хочу!

Сейчас сам удивляюсь почему, но почему-то именно меня «командировали» в тыл за продуктами к праздничному столу. (Что-то не верится, чтобы я сам вызвался на такое мероприятие, хотя... кто знает, каким я был тогда?). Пусть все-таки со мною, кроме ездового, поедет еще и старшина... Да, конечно, старшина был. Он сидел рядом с ездовым. Я полулежал на сене за ними.

Хорошо помню тот день. Уже во всю подмораживало. На черных пустых полях кое-где лежал снежок. Застоявшиеся кони бежали легко. Привычно шелестели шлейки, а железные шины параконной мадьярской каруцы гулко таращели по замерзшему гравию. Я пел и смотрел в небо. Оно было синее-синее:

По широким мадьярским дорогам
Лишь темнеют верхи тополей,
Еду я бобылем одиноким,
Эй, хлестни, ездовой, лошадей!...

Мое песнетворчество прервалось уже на краю ближайшего господского дома (где-то под Капошфе или Капошмере). Предстояло «реквизизировать» у местного населения необходимое для праздника количество палинки (мадьярского самогона), сала, кур, гусей и прочего. Не возвращаться же с пустыми руками! Ведь поездка в тыл с передовой теоретически являлась дезертирством, что каралось «по законам военного времени». А если дезертирство сопровождалось еще и мародерством?! Поэтому совершать поездку-набег надо было стремительно и бескомпромиссно. Цель: быстрее нагрузить подводу «чем Бог пошлет». А Бог в тот

день оказался крайне милостив и послал нам, кроме всего прочего, огромного борова...

Заметил группу мадьяров на окраине очередного двора не я. Более того, я их увидел тогда только, когда наша каруца прямиком через огороды повернула к домам. Мадьяры были заняты бритьем заколотого борова. Хотите верьте, хотите нет, но в Венгрии водятся какие-то черноволосые свиньи. Их щетину не палят, а бреют обычными опасными бритвами. У меня был автомат, ездовой и старшина тоже имели оружие. Поэтому мадьяры молча уложили недобритую тушу в телегу, и мы были таковы.

Снятие оброка прошло без всяких эксцессов. Уже после двух-трех господских дворов телега оказалась набитой доверху. На обратном пути ездовой и старшина прилично «насосались». Но им это можно простить, ибо не пройдет и месяца, как весь конный обоз нашего полка будет раздавлен танками Гудериана.

Сейчас, через пол века, в памяти размытыми пятнами маячат пред- и посленовогодние дни...

Утром я просыпаюсь весь в соломенной трухе. Возле печки уже колдует ординарец. Из соседних землянок, будто нехотя, вылезают на мороз заспанные с похмелья солдаты и протоптанной дорожкой добираются до мерзлой свиной туши. Топором или ножом каждый отхватывает себе «шмат» и жарит его на железе раскаленной буржуйки, заполняя землянку чадом горящего сала. После такой заправки мы снова залезаем на полати: «Отчего солдат гладок? — Поех да и набок»... Тридцатого декабря привезли еще самогона, и в новогоднюю ночь мы, пьяные и разопревшие, палили в небо ракетами, автоматными очередями, иногда прямо с лежанок, а потом здесь же засыпали в обнимку с друзьями...

Что же было потом? Да, как раз в это время, сразу после Нового года, произошел у нас такой грустный эпизод, который в конечной счете привел к изгнанию всей роты из полюбившегося нам сосновчика и отправке на передовую.

Новость из штаба полка принес ротный писарь: в полк доставили приказ о награждении за бои на плацдарме и в штабе полка уже многие получили ордена и медали.

Мы тоже подавали списки, упорно трудясь над составлением наградных листов, подсчитывая количество уничтоженных нами пулеметных гнезд противника, убитых фашистов, разгромленных НП, КП и пр. Но до нас награды не дошли. Почему?! Что, мы хуже полковых б...? И полные благородного возмущения за своих убитых, покалеченных, замороженных собратьев (и за себя тоже) приняв для храбрости «свои боевые сто грамм», мы отпра-

вились в штаб дивизии. Мы — это я (кажется уже парторг роты), ст. сержант — комсорг и двое солдат. Не помню, куда мы пришли, но туда, куда надо. Нас встретила завитая девица в форме ст. сержанта с вызывающе новенькими наградами на обильных грудях: орденом «Красной Звезды» и медалью «За боевые заслуги» (в пехотном эпосе — «за половые натуги»). Я сказал: «Мы хотим видеть майора».

— Товарищ майор заняты. А по какому вопросу?

Мы наперебой стали что-то сбивчиво объяснять, распаляя друг друга слухами о том, что все награды попадают в руки тыловых «шестерок», «ППШ» и пр. Нагловатая девица отвечала... Все это кончилось тем, что наш ст. сержант, подстать ей, бросил фронтовую присказку:

За...

— Красную звезду,

За атаку

— ...в сраку!

Похоже, что это была правда, ибо девица, как ошпаренная, выскочила из комнаты и тут же перед нами предстал политотдельский подполковник... Опять-таки я не помню о чем и как он кричал, но довольно быстро сумел выбить из нас хмель и значительно поубавить спеси.

Как нашкодившие псы, мы вернулись в роту. Последствия нашего похода не заставили себя долго ждать. У подполковника явно «рыльце было в пушку», и он не стал афишировать наши высказывания в адрес его секретарши, но... никто, в том числе и тяжелораненый Нурук, наград не дождался. Более того, на следующий день около наших берлог появились офицеры из политотдела (или СМЕРШ?) и долго говорили с «лыко не вязавшим» Гречновым. Еще через день был зачитан приказ об отправке нашей роты на передовую.

Первой же ночью мы сменили какую-то чужую (чуть ли не штрафную) роту, минометы которой стояли сразу за линией пехотных окопов. Немцы были совсем близко.

Грязь и темнота непролазные. Завшивевшие, покрытые коростой солдаты, которых мы сменяли, были на пределе всяких сил. Они скорее убегали с передовой, чем передавали позиции. Правда, один из штрафников (?) показал нам землянку, где осталось мясо убитого оленя. Наши хозяйствственные солдаты сразу «оприходовали» его. К утру мы закусывали жареной олениной остатки новогоднего самогона. Как только рассвело, пошли искать рога и копыта (из них умельцы делали красивые ручки на финские ножи). Не нашли. Нашли лапы с когтями — волк оказался!

БУДАПЕШТ И ВОКРУГ НЕГО

В то время, когда мы встречали Новый 1945 год, страдали за Правду и ели волка, вокруг продолжалась война. Севернее нас войска 2-го и 3-го Украинских фронтов обошли Будапешт и срочно укрепляли внешнее кольцо окружения. Немцы тоже не сидели сложа руки. Конечно втайне от советских генералов Гитлер снял с Западного фронта 4-й танковый корпус СС в составе пяти танковых и трех пехотных дивизий; естественно, тоже втайне от наших генералов привез их в Венгрию и 18 января мощным ударом рассек советские войска на две неравные части в межозерье Балатона и Веленце. Сечение шло по живому и глубоко внутрь, о чем читатели узнают чуть погодя.

ACHTUNG, PANZERWAGEN!

Немецкие танковые колонны шли на Дунай, сея панику и громя тылы победоносно наступавших до сих пор армий 3-го Украинского фронта. Гитлер выполнял обещание утопить Толбухина в Дунае.

П. Г. Кузнецов в монографии «Маршал Толбухин» (Воениздат, 1966), описывая события тех времен, отмечает: «Немцы превосходили наши войска в людях в 5 раз, в артиллерии в 4,5, в танках в 17 раз». Пусть методика подсчета останется на совести автора, но, что было, то было:

«На следующий день Толбухину (командующий нашим 3-м Украинским фронтом — Б. М.) позвонил Верховный Главнокомандующий. Он разрешил отвести войска фронта на левый берег Дуная. «Будем стоять на правом берегу», — решил Толбухин. Тем более, что на следующий день образовавшийся на Дунае ледяной затор снес все переправы и мост в Байе».

Как я понимаю, в тот же день **18 января** нас ни свет ни заря по тревоге сняли с передовой и бегом-шагом направили в расположение полка. Стрелковые роты нашего батальона уже выступили походным маршем на север. Вскоре мы их догнали и влились в общую нервозную и безалаберную куда-то спешащую колонну. Всполохи далеких разрывов, сигнальных ракет появлялись то впереди, то слева, а иногда и сзади. Мы часто останавливались, но прилечь было негде — шел дождь. Солдаты еле тащились, держась за минометные повозки. Я был в седле. ...Хм...м...м..., почему я оказался в седле и где достал коня?.. Но точно так. Более того, подо мной была молоденькая кобылка, и именно в эту ночь произошел такой случай (в другую ночь такого произойти не могло).

Я гарцевал на кобылке, то отставая от батальона, то пуская ее в галоп. Колонна батальона с обозом растянулась метров на триста-четыреста. Помню, отстал, чтобы покрасоваться перед Мишкой (его взвод связи шел в обозе одним из последних) и тут в голове колонны послышались крики, злой мат... подводы остановились. Я рысью подался вперед: батальон по команде полкового начальства сворачивал с дороги в лес. Вероятно, мы куда-то опаздывали. Начальство, все на верховых лошадях с плетками и палками, матом торопило солдат. Тяжело груженые подводы с трудом перебирались через кювет и сразу попадали в разбитую колесами зимнюю грязь. Образовался затор. Я остановился сбоку и ждал, когда подойдут наши две подводы. Одной из них правил настоящий чапаевец. Он был нашей реликвией, нашей гордостью. Ездовой на самом деле в гражданскую войну служил в Чапаевской 25-й дивизии, очень гордился этим и на торжественных митингах рассказывал о гражданской войне. Чапаевца все звали дедом и считали глубоким стариком (было ему уже за сорок). Чапаевец, как обычно, спал. Лошади сами свернули в кювет и... застряли. Подскочивший замполит полка (или дивизии) с ходу врезал ему палкой по физиономии. Чапаевец весь сжался, закрывшись шинелью от ударов...

— Где командир!!

Ситуация для меня изменилась в одно мгновение. Рука сама потянула: «Повод вправо!» — и я трусливо сначала шагом, потом рысью и в галоп поскакал назад («сообщить командиру»). Конечно, сейчас меня можно упрекать в том, что я не вступился за ротного ездового и не получил своей порции палки или плетки, но...

Недавно появились воспоминания Хрущева:

«Сам Сталин, когда ему докладывал какой-нибудь командир, часто спрашивал: «Вы ему морду набили? Морду ему набить, морду!». Одним словом, набить морду тогда считалась геройством... Давал в морду Буденный. Бил Захаров. Я его ценил и уважал как человека, понимающего военное дело. Он преданный Советскому государству и партии человек, но очень невыдержаный на руку.» (Огонек. 1989, № 33).

Наше дивизионное и полковое начальство было под стать своим командинарам.

Вдоль обочины был рыхлый песок. Моя молоденькая кобылка, перейдя на галоп, неожиданно уткнулась обеими ногами в песок, и я через ее голову вылетел из седла под общий смех проходивших солдат. Кобылка же остановилась как вкопанная, покорно ожидая заслуженного наказания.



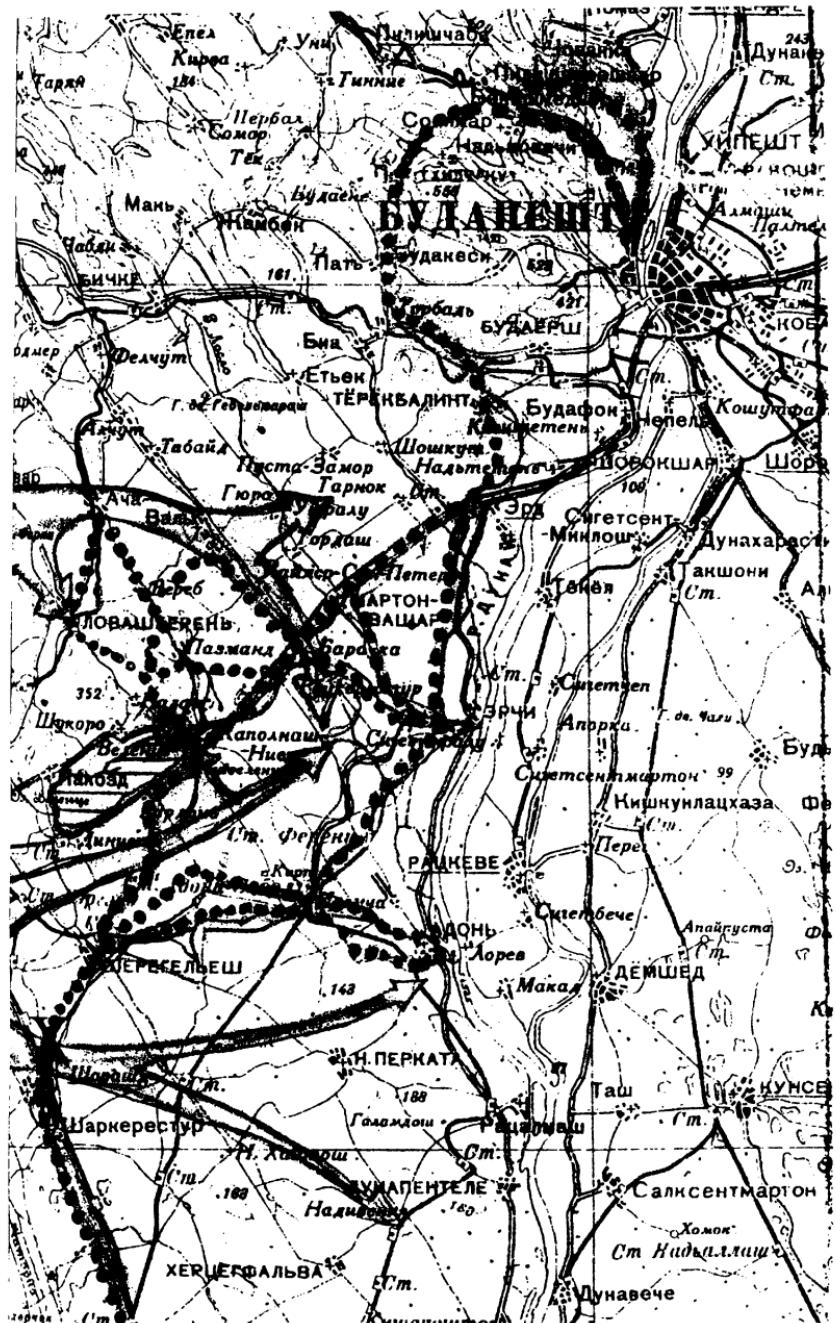
Январь—февраль 1945 года.
Ксерокопия карты района прорыва
немцев в январе 1945 года
на правобережье Дуная. М-б 1 : 500 000.

1 — передвижения 1288 сп по Задунайскому плацдарму в январе—феврале 1945 г.;
 2 — танковые рейды немцев;
 3 — место гибели конного обоза 2-го батальона 1288 сп под гусеницами немецких танков.

«Никогда я не забуду
Сколько буду на войне
Взбудороженную Буду,
Утонувшую в огне.

И обломки переправы,
И февральский переход,
И Дуная берег правый,
Превращенный немцем в ДОТ»

Неизвестный поэт



До утра мы стояли в лесу, тревожно прислушиваясь к артиллерийской канонаде. Потом была команда: «Выходи стройтесь на дорогу!» И мы, круто повернув на восток, двинулись к какой-то довольно большой деревне (а может быть городку). Там, на центральной площади, стояли крытые брезентом «шевроле». Команда: «Строевым ротам пехотных батальонов грузиться в машины! С собой взять только оружие, боеприпасы, минометы и боевой запас мин. Все остальное уложить на повозки. Обоз пойдет своим ходом».

БУДАПЕШТ В ЯНВАРЕ 1945 ГОДА

У меня все с собой: полевая сумка, бинокль, автомат...

Дороги в Венгрии хорошие. Машины идут на приличной скорости. Мы под брезентом тесно жмемся друг к другу, стараясь укрыться от леденящего тела сырого январского ветра. Но он заползает всюду. Коченеют пальцы рук, ног, затекают коленки, но... — вперед! Минуя Шаркерестур, Аба, к полудню мы уже выгрузились где-то в районе Каполнашниек (см. карту). Оттуда ночным марш-броском были отправлены в Будапешт и на рассвете появились на северных окраинах Буды.

Хорошо помню полукруг трамвайных рельсов вокруг какого-то сквера, улицы, чугунные решетки, а за ними коттеджи, прикрытые высокими деревьями...

Ко времени появления в столице Венгрии ее левобережная равнинная часть — Пешт — была уже наша. Немцы и венгры метались в холмистой Буде и примыкающих к ней лесных массивах. Рота получила приказ: окопаться и подготовить НЗО (неподвижный заградогонь) по предмостному укреплению, которое находилось в километре от нас.

Мы обосновались около симпатичного двухэтажного особняка. В его саду на клумбах, срубив для очистки сектора стрельбы несколько деревьев выкопали окопы, установили минометы и я ушел с телефонистом искать НП.

По пустынным разбитым снарядами улицам, прячась за столбами, мы прошли метров 300—400. На развилке в полуразрушенном и обгоревшем трехэтажном доме услышали голоса наших солдат. Дальше были немцы. Я залез на крышу. Чуть правее впереди метрах в пятистах еле проглядывались фермы моста через Дунай. Перед ним небольшая площадь. Без каких-либо происшествий мы протянули на крышу провод, и... «Первому, одна мина, огонь!» Пристреляв НЗО, я вернулся в роту.

К этому времени все обитатели дома вылезли из бункера и радостно наперебой пытались что-то объяснить, спрашивать — очень

доброжелательно и доверчиво. Хозяин принес венгерско-русский словарь и с его помощью пытался объяснить, что он по профессии «огоподник» (огородник), занимался плаваньем и на международных соревнованиях в Голландии перед войной встречался с русским пловцом Бойченко. Хозяева голодали. Мы поделились с ними съедобными запасами, а затем беззаботно разлеглись в хозяйской спальне на втором этаже на застланных нам постелях с белыми крахмальными простынями и пуховыми перинами. (Наверное, мы с себя что-нибудь сняли... Конечно сняли. Не залезли же мы под перины в заляпанных зимней грязью кирзовых сапогах?) Немцы были где-то рядом. Семья ушла спать в сырой бункер в страхе быть убитой заблудившимся немецким или нашим снарядом.

Утром ни свет, ни заря: «Подъем! Выходи строиться!» И мы ушли из Будапешта в неизвестность.

Где и как блуждал наш полк следующие трое-четверо суток (а может быть и больше?) я не помню. Точнее не знаю. Да уже и никто не знает. Мы где-то окапывались, стреляли, потом с минометами (а иногда без них) убегали от немецких танков, снова окапывались... Стыдно, но даже не представляю, сколько при этом «мы теряли друзей боевых». Сейчас такое впечатление, что все чувства в те промозглые январские дни притупились. Как бы сейчас сказали, «все было до фени». А может быть и нет?

С тех дней у меня сохранилась «пятисотка» (карта масштаба 1 : 500 000) листа L-34-А, изданная Генштабом РКК в 1939 году. Тогда же на этой карте я отмечал все наши перемещения. Сейчас смотрю и... ничего не помню! Оказывается, мы побывали в Секешфехерваре, который, судя по литературе, несколько раз переходил из рук в руки. Выходили на Дунай... несколько раз пересекали железную дорогу. Названия и внешний вид поселков и городов совсем стерлись в памяти, но осталось другое...

В монографии «Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 1944—1945 гг.» (М., Наука, 1970, 675 с.), написанной маршалами С. С. Бирюзовым, И. В. Захаровым, Р. Я. Малиновским и др., о тех событиях лаконично сказано:

«19.01.45 в коридор между Веленце и Дунаем был выдвинут 5-й Гвардейский кавкорпус. Сюда же введена 113 стрелковая дивизия. Последняя заняла оборону за боевыми порядками 5-го Гвардейского кавкорпуса.

21.01 решительными контратаками 5-го Гвардейского кавкорпуса и 113 стрелковой дивизии прорвавшиеся группы вражеских бронемашин были уничтожены» (стр. 372).

Как и следовало ожидать, пять эсэсовских танковых дивизий появились в Венгрии и прорвали фронт неожиданно для наших

генералов. Это был один из последних бессмысленных и поэтому беспощадно-жестоких приступов агонии фашистского вермахта.

Советское командование, потеряв контроль над обстановкой, судя по движению нашего полка (см. рисунок-карту), лихорадочно бросало войска из стороны в сторону, затыкая наиболее болезненные дырки танкового прорыва. Складывается впечатление, что в те дни никто не знал, где находятся немецкие танки, сколько их и куда они держат путь?

Посмотрите еще раз на карту. Не правда ли, наши блуждания скорее напоминают броуновское движение, нежели «решительные контратаки с целью ликвидации прорыва». Мы в те дни просто болтались под ногами (точнее под гусеницами) немецких танков, огрызаясь, как бродячие собаки, и тем самым создавая определенный дискомфорт эсэсовским генералам.

В коридоре между оз. Веленце и Дунаем в конце января просто не существовало фронта. Здесь одновременно находились мы — пехота 113 стрелковой дивизии, гвардейские конники генерала Плиева, еще какие-то части и немецкие танки Гудериана, практически лишенные пехотного сопровождения. Немецким танкам было не до нас. Их целью являлось освобождение окруженной в Будапеште группировки немецко-мадьярских войск. Только это, вероятно, и спасло нашу дивизию от полного разгрома.

Как станет нам известно значительно позже, фронтовое начальство вслед за дивизионным гужевым обозом 113 стрелковой дивизии, погибшим под танковыми гусеницами где-то на перегоне между Шаркерестуром и Шерегельешом, в те дни «списало в расход» и всех нас. Мы же тем временем, знать не зная и ведать не ведая о «снятии с учета», продолжали бегать от немцев и упорно месить зимнюю грязь на венгерских дорогах, разбитых гусеницами «тигров», «пантер» и «фердинандов».

Почему все было именно так, почему я прав, читателю станет понятно из следующих более связных рассказов про бои под Будапештом.

ВСТРЕЧА С ТАНКАМИ ГУДЕРИАНА

Промозглая зимняя ночь. Мы куда-то идем. Темень. По обе стороны дороги молча и неожиданно появляются дома, голые деревья, сараи, но чаще темнота теряется в рядом затянувшейся бесконечности. По-моему, нет солдата того времени, у которого не остались в памяти эти полные усталого безразличия и тревоги ночи. Война. Куда ни глянь полыхают похожие на зарницы молчаливые отсветы далеких пожаров. Там, где фронт ближе, лениво

взлетают ракеты, еле слышна дробная перебранка пулеметов, автоматов, разрывы мин...

Как всегда внезапно, впереди около боевого охранения ярко сверкнули красные ракеты. Колонна остановилась... Тревожное ожидание... Вместо немцев вдоль обочины навстречу нам один за другим из темноты появляются и пропадают красноламповые конники гвардейской армии генерала Плиева. Усталые и измученные, они еле тащатся на некормленых лошадях: «Пехота, куда лезешь! Там немцы!» А мы не лезем. Нас туда гонят, и мы идем. Этих чубатых казаков мы не любим: «А вы куда драпаете?! Это вам не по бабам шастать». Но все же ночное предупреждение казаков, вероятно, подействовало на штабное начальство. Приказ: «Окопаться! Занять круговую оборону!»

Приказ может быть и хороший, но что это за круг в бездонном мраке чистого поля? Каков его диаметр? Кто по окружности? Если пехота, то где ее столько набрать.

Но об этом думает начальство. Наши «самовары» не могут стрелять прямой наводкой. Мы — только из ямы и подальше от передовой (нам в центр круга).

Мудрое решение плиевских казаков вовремя смыться мы оценили только на рассвете, когда в утреннем тумане справа от нас метрах в пятистах обозначились контуры большого села. Разведка доложила: «Там немцы!» Все, что мы накопали за ночь, оказалось расположенным на голом поле перед селом. Мы были у немцев на ладони! Минометная рота только попыталась начать пристрелку, как из-за близких деревенских домов по нашим позициям прямой наводкой ударили танковые пушки. Помню, как я бегал от окопа к окопу, пытаясь заставить солдат развернуть минометы в сторону села, как в отчаянии бил прикладом по торчащим из мелких окопов задницам и спинам, но «никто не хотел умирать» и вести безнадежную дуэль с немецкими танками. Рота зарылась в землю и не подавала признаков жизни.

Наверное, будь то 1941 или 1942 года, танкам ничего не стоило гусеницами растереть в порошок наши окопчики со всем их содержимым. Но в то утро немцы не удостоили нас своим вниманием, а перенесли огонь на более строптивых соседей.

Как только завечерело, оставшиеся в живых забрали раненых и, кто как мог, в одиночку или небольшими группами ушли. Немцы не трогали нас, мы — их...

В ту же ночь на марше среди нашей колонны появился корреспондент дивизионной (а может быть и фронтовой) газеты. Некоторое время он ехал на минометной повозке и разговаривал с ездо-

вым («брал интервью»), а потом пристроился к группе солдат. Через день-два в роту прибежал запыхавшийся писарь: «Читайте! Про нас написано!». Газета переходила из рук в руки. Никто не посмел пустить ее на козы ножки. Поскольку обо мне в газете писалось впервые, то я кое-что помню до сих пор почти дословно: «Минометная рота, где парторгом мл. лейтенант Михайлов, грудью встретила немецкую броню... «Умрем, но не отступим!» — воскликнул боец Инцибаев. И минометчики с именем Сталина на устах стояли насмерть. Фашисты не прошли!.. Массированным огнем минометов было уничтожено до роты солдат противника, два пулеметных гнезда и подожжен один танк...».

Некоторое несоответствие этого репортажа действительности, как я помню, ни у кого не вызвало негодования. Скорее наоборот. Более того, вырезки из той газеты по моему предложению были аккуратно процитированы в наградных листах и ... уже через месяц чуть ли не все оставшиеся в живых солдаты оказались награжденными орденами и медалями.

Спасибо тебе, дорогой корреспондент.
Не знаю ни твоего имени, ни фамилии,
жив ли ты сейчас, но не в этом дело:
слова твои дошли до Господа Бога и наградная
справедливость восторжествовала!

Помню, в тот раз меня представили к какому-то только появившемуся красивому ордену: то ли Александра Невского, то ли Суворова, но получил я, в конечном счете, орден Отечественной войны 2-й степени.

И на том спасибо!

В ОКРУЖЕНИИ

Да, для нас — молодых парней 1925—1926 годов рождения — война была совсем не та, что для старших братьев. Хотя крови, смертей было не меньше (по крайней мере), но все же 1944—1945 года — это год Победы!

У моего ровесника — Н. Кисляка про это сказано так:

Ведь 25-й
Тоже битый, мятый,
И он познал стальных клещей захваты,
Но их ломая, чуял:
Мы сильны.

И не хлебнул того, что звали драпом,
Пред первом их, пред броневым нахрапом, —
Он сам держал клещами ось войны.
Того, как слово «плен» кромешной птицей
Над головою стриженою кружится,
И знать не знали эти пацаны

Такою страшной разностью цены
Живые, павшие
От тех живых и павших,
Пропавших без вести,
По лагерям сдыхавших,
От старших,
Из небытия восставших
Мы все в своей судьбе отделены.

«Сколько веревочка не вейся, а кончик найдется». Конец нашим задунайским мытарствам сам нашел нас в конце января 1945 года на берегу озера Веленце в селе Калполнаш-Ниек, т. е. там, откуда начался наш путь на Будапешт.

К озеру мы подходили уже в сумерках. Высланная вперед разведка донесла: «Немцев в селе нет». Обессиленные, измученные солдаты, не подчиняясь никаким приказам, расползались по домам и... что слаше всего?.. Казалось нет силы, способной поднять с полу заснувшего пехотинца и заставить его выйти из сухого теплого дома в мокрую мразь венгерской зимы, но...

«Танки!.. Танки!!» За железной дорогой, с юга опоясывающей центральную часть села, разведчики разглядели силуэты немецких танков. Поскольку наша рота заняла позиции на другом, дальнем конце села, метрах в трехстах от железной дороги, то на меня эта тревожная весть мало подействовала. Тело и мозг уже отключились («перегорели предохранители») и я уснул...

А что было дальше?

К счастью, не у всех существовала столь совершенная предохранительная система. Кто-то и как-то сумел организовать оборону (или ее видимость), разместив полуживых пехотинцев в домах вдоль железнодорожного полотна. Немцы не собирались нападать на нас. Более того, можно предполагать, что они, по крайней мере до утра, и не знали о нашем появлении в селе...

Я проснулся ни свет, ни заря от топота бегущих солдат и криков: «Немцы! Немцы!.. Танки!..» Сразу выскоцил во двор. Многие солдаты роты были уже на ногах. Ездовые торопливо запрягали лошадей. Несколько минометчиков с карабинами стояло за воротами. Я вышел к ним. На улице никого... Минут через пять от

железной дороги в тыл прошли связисты, аккуратно навешивая на заборы провод. Потом, громко матерясь и ругая убежавших солдат, появился знакомый ком.роты: действительно, за полотном железной дороги стоит один или два танка. С утра немцы прогревали моторы, не обращая на нас никакого внимания.

Между нами и немецкими танками опять никого нет. Что делать? Устанавливать минометы? А если придут немцы? Уходить за деревню? Но мы только вкусили прелести теплого сухого дома и чуть-чуть отогрели свои души... Авось... Пока в тяжелых раздумьях мы толкались около запряженных подвод, командир стрелковой роты с пистолетом в руках прогнал назад к железной дороге десяток солдат. Это несколько подняло наше настроение. А когда вскоре заскрипели немазанные колёса батальонных кухонь, то жизнь, не смотря на близость немецких танков, вошла в нормальную колею. Забренчали котелки, кое-где из домов потянулись мирные дымки. Началось братание с местными жителями, прятавшимися в бункерах и подвалах.

После обеда вновь повторилась утренняя история с немецкими танками. Не ограничиваясь прогревом моторов, немцы пустили в нашу сторону несколько пулеметных очередей. Командиру стрелковой роты вместе со взводными вновь пришлось собирать солдат и возвращать их к железной дороге.

Присутствие в 300 метрах от нас хотя и не агрессивных, но всё же немецких танков не располагало к спокойному отдыху. На следующее утро Грешнов послал меня на разведку с тайной миссией найти подходящую позицию километрах в полутора от деревни. Я блестяще справился с поставленной задачей, и наступившей ночью мы, незаметно от расположенного неподалеку от нас штаба батальона, снялись с позиции и передислоцировались в господский двор Бадьом, расположенный в километре к северу по направлению к Пазманду. В Пазманде, Веребе и далее в Ловашберени (см. карту) стояли тыловые службы нескольких полков и дивизий.

В первый день на новом месте все было спокойно. Но уже к вечеру в районе Ловашбереня сильно громыхала артиллерия, и кое-кто не радовался, что ушел из спокойного Каполнаш-Ниека.

Утром кухни из Вереба не пришли. Мы остались без хлеба. Поползли слухи, что немцы прорвались западнее нас и захватили тылы, хлебопекарня разбита. К обеду слухи подтвердились. Мы, будучи прижатыми к берегу замершего озера Веленце, оказались в полном окружении.

К счастью, наше окружение оказалось не «Зеленою Брамой» Е. Долматовского, а скорее наоборот. Жизнь на господском дворе Бадьом по тем временам была сказкой. Жаль, что сказка быстро кончилась и дней через пять-шесть нас освободили советские танки.

СКАЗКА БАДЬОМА

Господский двор — это довольно обширное хозяйство с различными жилыми и производственными постройками. Хозяин его (господин), захватив семью и кое-какие вещи, бежал с немцами. Мужчины-работники исчезли. Но все остальное (включая кур, гусей, улыбчивых молодых девушек-батрачек, коров и пр.) осталось в полном нашем распоряжении.

Как только мы степенно поселились, девушки где-то раздобыли старый хрипящий патефон и, несмотря на артиллерийскую стрельбу, весь вечер и ночь танцы продолжались «до упада». Сейчас, на восьмом десятке лет думаю: как же так можно? Ведь мы только что еле-еле волочили ноги... Но абсолютно точно, именно в Бадьоме с приветливыми венгерскими партнершами я овладел фокстротом и танго. Эти танцы, как езда на велосипеде: один раз научился — и на всю жизнь. До сих пор, стоит лишь услышать фокстротный ритм, как в голове начинают крутится мотив и даже отдельные строчки песенки:

О Пазманды вашер-тырен,
Хере тю-тю-тю,
Ла червашен хопца ширен,
Хере тю-тю-тю,
Хере тю-тю, рю-тю-тю-тю, тю!

Господские девушки были милы и общительны. Вино и палинка не уходили со столов, запеченные куры и пороссята приготовлялись со вкусом. Настойчивые старания наших танцоров вывести партнершу в темный коридор («модяр кишлянд, чоколо ма сад!») кое у кого, вероятно, были не напрасны...

Такими последние дни января в районе озера Веленце видел я.

Но недавно мне в руки попалась изданная ротапринтом в 1982 году книга «Боевой путь 93 стрелковой Миргородской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (материал для ветеранов дивизии)». 93 сд вместе с нашей 113 сд и 223 сд составляли 68 стрелковый корпус, поэтому мы обычно воевали неподалеку друг от друга. Книга, как книга. Написана, как сказано в предисловии, со слов ветеранов, для ветеранов. Бои в районе оз. Веленце описаны подробно.

Я не буду утомлять читателя цитатами о «кровопролитных боях», в которых «отважные советские воины упорно сражались, уничтожая десятки и сотни вражеских солдат, пулеметы, орудия, подрывая фашисткие танки». Не буду «со слов очевидцев» описывать геройские

подвиги солдат соседней 93 дивизии, которая «21—26 января вела бои на рубеже Пазманд—Каполнаш-Ниек». У меня нет конкретных оснований сомневаться в написанном. Скажу только, что ничего подобного своими глазами не видел, хотя Бадьом и находится как раз на «рубеже Пазманд—Каполнаш-Ниек». Объяснения тут могут быть разные.

Может быть, наша дивизия, точнее наш полк, в то время был укомплектован другим континентом солдат? Может быть, я интуитивно старался держаться в стороне от свершения геройских подвигов? Может быть 93 сд воевала в районе Бадьома только по штабным планам и корреспондентским очеркам, а на самом деле ее там не было? Наконец, есть у меня некоторые основания грешить и на корреспондентов... Ведь в свое время кто-то в пылу полемики сказал, что если сложить все потери фашистского вермахта на восточном фронте, о которых было сообщено в советских газетах (а оттуда подчерпнуты сведения, помещенные в книге), то немецкая армия должна была быть «трижды убитой». Но дело не в этом. Все-таки одну длинную цитату из упомянутой книги я должен привести, ибо она непосредственно касается меня, точнее той обстановки, которая царила вокруг «танцевального зала» в господском дворе Бадьом, находящегося на полпути от Каполнаш-Ниека до Пазманда.

«Здесь уместно рассказать о трагедии в с. Вереб (в 7 км от Бадьома — Б. М.). Когда дивизия 21—26 января вела тяжелые кровопролитные бои с превосходящими силами противника на рубеже Пазманд—Каполнаш-Ниек, часть тыловых подразделений, в том числе медсанбат и полковая хлебопекарня, тыловые службы 51 полка были размещены в с. Вереб. Прорыв противника через Петенд в направлении Вереба создал угрозу Веребу. В Веребе немцы из дивизии «Мертвая голова» захватили 39 раненых и учинили зверскую расправу. Они затаскили советских людей в кузнец и на наковальне разбивали им головы кувачным молотом, некоторым воинам выкололи глаза, отрезали носы, уши, вырезали пятиконечные звезды... Примерно половина замученных в Веребе советских людей были воины нашей дивизии.».

От себя добавлю, что в Веребе погибли и раненые солдаты 113 сд. Среди них был и наш писарь, ушедший в медсанбат из Каполнаш-Ниека «по причине поноса», который у него начался «по причине обжорства» (Знай, где упадешь — соломки бы подстелил!).

В другой книге Н. И. Бирюкова «Трудная наука побеждать» (Второе изд., Воениздат, 1975 г) приведён акт:

«Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт 26.01.45 г. о факте зверского уничтожения группы раненых бойцов и офицеров Красной Армии немецкими варварами.

После бегства немцев из с. Вереб нами обнаружено в местной кузнице и около нее 26 трупов бойцов и офицеров Красной Армии, носивших на себе следы самых

нечеловеческих пыток и издевательств. Немцы разбивали головы своих жертв молотком на кузнечной наковальне. Головы нескольких замученных бойцов были совершенно раздавлены плоским орудием. Весь пол в кузнице и снег вокруг нее покрыты лужами крови и сгустками человеческого мозга.

Комиссии удалось установить только некоторые имена погибших. Присутствовавшие при осмотре трупов старшина Марфин и рядовой Каверин опознали среди замученных рядового Сталбун Якова, рядового роты связи Мунтян Наскаля — из трофеейной команды и рядового Сузя Германа — шофера. Кроме того, опознаны еще рядовые Даниловский Василий, Душкин, Дубина, Иванченко, Красильников, Кныш...»

Как сказано в той же книге, немцы прорвались в Вереб через господский двор Петтенд. Петтенд расположен в 4—5 км от Бадьома на запад.

Позднее пленный немецкий офицер расскажет, что по поводу нашего полка, застрявшего в Каполнаш-Ниске и не проявлявшего агрессивности, у них были такие планы: после завершения наступательной операции всех нас согнать на лед Веленце и там утопить. Иначе, должны были сбыться веющие слова цыганки из Ершова о моей гибели в воде. Но «сорочка» во время спутала все цыганские карты и танцы в Бадьоме продолжались.

Более того, сейчас расскажу такое, что достойно занять место среди фантазий барона Мюнхаузена, хотя и является истиной правдой. Убежден, что стоит только мои записки издать большим тиражом и обязательно откликнутся еще живые свидетели того, вероятно, единственного за все войны случая, когда мл. лейтенант (т. е. я) с одним пистолетом в руках остановил идущий в атаку танковый корпус.

Для того, чтобы начать рассказ, снова вернемся в Бадьом.

Сказка Бадьома продолжалась 6 дней (с 21 по 26 января 1945 г.). Как и положено сказке, она должна была кончиться (и кончилась) счастливым концом.

Наши минометы стояли за большим сараем, набитым сеном. Мин не было, и мы не стреляли, а целыми днями валялись на сене, ели, пили и болтались по хутору, заигрывая с девушками и неторопливо дожидаясь вечерних танцев. Больше делать было нечего.

Наш покой лишь изредка прерывался стрельбой, возникавшей у железнодорожного полотна. Обычно вслед за стрельбой на покрытом жиidenьким снежком поле, отделявшем нас от села, появлялись бегущие в нашу сторону пехотинцы. Сначала мы с тревогой наблюдали: не появятся ли за ними немецкие танки. Но немцы вели себя на удивление мирно, за железную дорогу не заходили и не стреляли. Около нашего хутора пехотинцев встречали штабные офицеры и прогоняли обратно в брошенные окопы, где их поджидали ротные и взводные командиры...

И был вечер, и было утро. День шестой...

Сном праведника я сладко спал в сене послеочных танцев.

Сарай затрясся от разрыва снаряда. По нашему хутору, стоявшему на небольшом пригорке, прямой наводкой били танки! Солдаты, кто в чём, выскакивали наружу и разбегались, кто куда. Схватив «валтер» я выпрыгнул следом, еще ничего не соображая. Из-за гряды пологих холмов, расположенной к северу от хутора, широким развернутым строем один за другим вываливались танки. Сразу же набирая скорость и непрерывно стреляя с ходу, они шли на деревню... Наши танки!.. На нашу пехоту!.. На нас!.. Солдаты-миномётчики, прячась за сарай, кричат, стреляют трассирующими пулями в воздух, в танки. Но это, вероятно, только раззадоривает танкистов, идущих в лобовую атаку по чистому полю. Деревенские домишкы пугливо замерли и только иногда будто вскрикивали разрывами танковых снарядов... Не знаю что, может быть снаряд, попавший прямо в расположение минометной роты нашего первого батальона, где были мои друзья, может быть что другое вытолкнуло меня из-за укрытия и я с пистолетом побежал к шедшему мимо хутора танку. Кричал ли я, стрелял ли я? Не знаю. Наверное да. Только танк остановился. Открылся башенный люк и оттуда показался небольшого роста майор, весь в кожаном. Остальные танки по невидимой команде один за другим черными пятнами замирали на большом белом поле. «Ты кто такой? Я ж... твою мать дал команду пристрелить тебя!» Майор сначала с опаской, а потом, увидя радостных, бегущих к танку наших солдат, смелее вылез из танка и пошел к нам.

Мы ушли в сарай. Разложили карты. У майора был приказ атаковать противника в селе Каполнаш-Ниек, перерезать железную дорогу и держаться до прихода пехотных частей. Нашего 1288 полка в активе советских генералов уже давно не существовало. Неделю назад он, по словам майора, «был полностью уничтожен немцами». Справедливость этих слов следует из той же книги ветеранов 93 дивизии, где лаконично в хронологическом порядке о начавшемся наступлении сказано следующее:

«26.01 — Вновь освобожден Вереб.

27.01 — 104 стрелковый, 23 танковый и 5 гвардейский кавалерийский кор-пуса нанесли первый удар. Наша 93 дивизия также перешла в наступление и за 5 дней изгнала противника из с. Каполнаш-Ниек».

Дорогие писатели-ветераны 93 сд.! В Каполнаш-Ниеке противника не было! Там находились мы. Противник (два немецких танка) все 6 дней пугал нас из-за железнодорожного полотна, с

юга огибающего Каполнаш-Ниек. Кто изгнал эти два танка? Не «изгнались» ли они сами?

Приводимая в книге «хронология», очевидно, списана с поступавшего в штабы писарского вранья, что лишний раз дает основания для сомнений в подлинности «воспоминаний очевидцев-ветеранов».

Сразу после освобождения возник вопрос о постановке нас на довольствие. Сложность решения этого вопроса, состояла не только в том, что тыловым бюрократам надо было признать несвоевременность наших похорон, но полным отсутствием каких-либо документов и с нашей стороны. Ведь, как я уже упоминал, наш конный обоз, вышедший «свои ходом» вслед за нами из Капошвара, попал под гусеницы немецких танков еще в середине января. Вместе с обозом пропали старшина и вся ротная документация.

Но, в конце концов, это оказалось «злом не так большой руки». Нашли писаря, составили списки и довольно быстро получили спирт, а что касается старшины, то о нём надо рассказать особо, ибо сам старшина до конца войны старался умалчивать о своих похождениях.

Старшина отсутствовал около месяца. За это время он сумел выбраться из-под танковых гусениц и пешком добраться до Дуная. Но это полдела. Вдоль всего противоположного (левого) берега Дуная «на смерть» стояли наши доблестные заградотряды СМЕРШ, имевшие приказ расстреливать любого солдата, пытавшегося переправится через реку, чтобы спастись от немцев. Наш старшина сумел усыпить бдительность заградотрядов, оказаться на другом берегу, там где-то спрятаться, не попасть в штрафбат и, выйдя «сухим из воды», как ни в чем не бывало, с двумя флягами спирта оказаться в роте! После этого случая старшина получил прозвище «задунайский».

А что же было после Бадьома?.. Во первых, мы проходили через Вереб. Про ту кузницу нам уже все рассказали (правда, не так красочно, как это сделано у ветеранов 93 сд.). Кузница стояла чуть на отшибе. Я, естественно, не мог не заглянуть туда. Все заходили («хлеба и зрелиц!»). Не помню ни крови, ни мозгов. Все это, если и было, то к нашему приходу уже покрылось грязью и снегом. А главное, не помню потому, что в углу кузницы за какими-то ящиками я нашел настоящий эсэсовский ремень с медной пряжкой и вытесненной на ней надписью «Gott mit uns».

Сейчас можно бы сказать: если этим ремнем немецкие изувверы избивали наших раненых солдат и если в то время Бог был

с ними, то мне с таким Богом не по пути. Но тогда... Ремень был большой, тяжелый и очень фашистский. Я его помыл, почистил и долго еще хвастался.

А во-вторых... «Во-вторых» не будет, ибо рассказ и так затянулся, пора кончать.

Или нет, не могу все-таки на последок не лягнуть танкистов (хотя они нас и освободили).

Когда среди фронтовиков заходят разговоры о военной пехоте, всегда найдется кто-нибудь, кто скажет: «А что пехота, не она одна воевала. Сколько гибло летчиков, сколько сгорело танкистов...» Да, все это было.

Но, что такое война для танкистов?

Сразу после Бадьома мне рассказывали про освободивших нас танкистов 23-го танкового корпуса (что слышал, то и пишу, не проверял):

10 месяцев назад, весной 1944 года в боях за Правобережную Украину танковый корпус потерял почти все танки. Фронт ушел за границу, а корпус отправили в Полтаву получать пополнение и технику.

В то время, когда пехота мерзла, мокла и гибла в тяжелейших наступательных боях за Балканы, личный состав корпуса более полугода (до отправки в Венгрию), как сыр в масле, катался по Полтаве. Правда, полтавские девчата наградили многих корпусных донжуанов триппером и сифилисом, в свою очередь подаренными им немцами, но это уже не в счет.

Так кому же было лучше?

В заключение попробую разобраться с датами.

Итак, нас освободили в самом конце января. До марта, когда начнутся бои на юге, еще целый месяц. Где мы в это время побывали и что делали?..

Из-под Будапешта снова на юг нас увозили не сразу, ибо опасность прорыва немцев к окруженней в Будапеште группировке сохранялась до 13 февраля когда Будапешт был наконец-то взят! Именно взят, и именно 13 февраля, поскольку на полученной мною медали выбито: «За взятие Будапешта», и на обороте — 13 февраля.

По всей вероятности, несмотря на почти полную небоеспособность, наш полк всю первую половину февраля наперекор всему продолжал воевать. Ведь кем-то надо было латать дырявую линию фронта.

БЛУЖДАЮЩИЙ МИНОМЕТ

Мы бредем по дороге час, другой, третий. Слякоть. Солдатские обмотки в грязи по самые завязки. Да и в офицерских кирзачах можно выжимать портнянки, выпуская из них коричневый настой вонючего пота на ледяной воде. Со вчерашнего дня ничего не ели. Батальонные кухни заблудились и застряли на проселках...

Входим в село. Голова колонны остановилась. Слева за домом что-то хрюкнуло. Солдаты оживились. Один из них исчез и почти сразу за домом послышались выстрелы, свинячий визг, приглушенная автоматная очередь. И вот уже тяжело кряхтя, под общее улюлюканье и смех (куда пропало уныние!) солдаты выволакивают на дорогу здорового кабана: налетай, кто хочет! А в голове колонны уже слышится: «Шагом м-а-а-арш!» Около свиной туши торопливо работают солдаты, отрезая ножами и заворачивая в тряпки куски свежего мяса и сала... «Подтянись!» «Догоняй!» ...Добрая половина кабана брошена, втоптана в грязь.

К вечеру вместо долгожданного отдыха колонна напоролась на немцев.

«Стрелковые роты, в цепь!»

А стрелковых рот нету! Заросшие щетиной, замызганные, промокшие до мозга костей и донельзя усталые небольшими группками стоят изгои войны — пехотинцы. Это им — «Вперед!» — окопаться перед деревней в холодной зимней грязи и всю ночь, не смыкая глаз, охранять тех, кто поселился в деревенских домах: связистов, артиллеристов, штабных работников и пр. и пр. Нам до них вроде и дела нет. Мы занимаем большой богатый дом. Во дворе ставим минометы, готовим мины. Наиболее проворные номера уходят на поиски еды. Тихо без искр затапливается плита. И вот уже над ней парят портнянки, обмотки, по комнатам расползается привычный терпкий дух махорки, сырых шинелей и давно не мытых солдатских тел. Наша поредевшая в последних боях рота уместилась в одном доме. Тепло. Сыро. Душно. Скоро можно будет «вешать топор»... Клонит ко сну...

— Лейтенант Михайлов, к командиру роты!

Явно не к добру. Грешнов только что вернулся из штаба батальона. Не глядя на меня, он зло бросает: «Бери первый миномет, двадцать мин и уходи на ночь. Вот тебе карта». Спорить бесполезно. За меня уже все решили.

Это значит, минометный расчет (6 человек) всю ночь будет блуждать вдоль передовой линии, выпуская с разных мест по 2—3 мины и создавая тем самым видимость крепкой обороны. На

самом деле никакой обороны нет. На наших (батальонных) двух-трех километрах советско-германского фронта кучками по три-четыре человека расставлены солдаты «на расстояние голосовой связи». Но какой дурак ночью будет орать, навлекая на себя немецких разведчиков, заранее ознакомленных с местностью.

Злые и голодные, мы ушли. Моросивший весь день мелкий дождик перешел в изморозь, а затем в снег.

Слабо ориентируясь на местности, мы отошли от деревни метров восемьсот и на глазок пустили в сторону немцев три мины. Отшли в сторону. Притаились. Еще три мины, и... прямо над головами лихорадочно замелькали трассирующие пули немецкого пулемета. Легли. Двоих послали на разведку. Вскоре они вернулись: впереди слева — канал метра три ширины и вдоль него блиндажи, соединенные траншеями. Никого. Мы туда. Выставили охранение, не торопясь оборудовали минометный окоп и, почувствовав безопасность, пустили следующую очередь мин. Снег перестал. Тихо. Уже середина ночи. Все забились в тесную полу развалившуюся землянку, оставив у миномета Петрова — надежного уже пожилого москвича, появившегося недавно у нас после госпиталя. Солдаты задымили козы ножки, сразу разомлели.

Я сидел ближе всех к выходу и первый услышал резкий и глухой, будто испуганный выстрел. Сразу выскочил в траншею: «Петров!.. Петров!..» Тишина. «Петров!!» Совсем рядом метров с 15—20 на мой крик ударила автоматная очередь. Я упал. Ползком добрался до землянки. Схватил автомат, и не вылезая, как из «кривого ружья», в разные стороны выпустил весь рожок. Вставил другой. Солдаты один за другим высакивали из землянки, стреляя на ходу. Я выполз тоже и затаился, держа палец на спусковом крючке. От минометного окопа к каналу мелькнула тень. Я прижался к стенке и дал длинную очередь. В ответ на нее уже из-за канала полетели гранаты. Одна... другая... третья. Я упал на дно. Одновременно боль резко ожгла и царапнула по правой икре, повернула голову: кирзовое голенище разрезано будто ножом и оттуда торчит клок белой портянки. Опять повалил мокрый снег.

Солдаты рассредоточились по траншее и вразнобой стреляют в противоположный еле видимый сквозь снежную пелену берег. Я достал из кармана лимонку. Зажал в руке. Выдернул чеку. Прислушался. За каналом что-то зашевелилось. Бросил туда гранату. Разрыв, и я быстро на корточках пополз к миномету. Там уже толпились солдаты. Петров сидел, прислонившись к стенке окопа. Карабин был зажат между колен, а голова чуть откинута назад. Нигде ни одной кровинки, лишь во лбу над переносицей еле чер-

нела маленькая дырочка. На берегу канала, уткнувшись головой в воду, кто-то лежал. Я посчитал — наши все, значит немец. У нас двое раненых. Один легко в руку, другой — лежит и стонет. Его кладут на плащ-палатку. Я беру минометную трубу (19 кг 600 г!) и, оставив в окопе Петрова, плиту, двуногу, сначала ползком по траншее, а потом бегом-шагом мы уходим в деревню. Светает...

Днем, когда мы спали, другие солдаты роты принесли труп Петрова и остатки миномета. Немца в канаве не оказалось...

Проснулись мы далеко за полдень. Я еле стащил с себя сапог. Нога сильно распухла. Галифе и портнянка густо пропитались кровью, которая местами уже присохла. Посередине икры шла глубокая царапина. Солдаты помогли промыть и перевязать рану. В сан-роту я не пошел.

Уже вечером меня вызвал пьяный Гречнов. Он жил отдельно. Шестерки привели к нему трех мадьярок.

— Вот, выбирай любую. Это тебе награда за прошлую ночь.

Мне почти двадцать лет. Сейчас я в самых-самых деталях прекрасно помню, что делал. Но вот пытаюсь воспроизвести «психологию» своих поступков... Нет... Прямо скажу: никаких угрызений совести у меня не было. Это абсолютно точно. Была задача — достойно, как взрослый мужчина, выбрать и увести «ее». Все трое женщин стояли тихо, чуть потупив глаза. Видя мою нерешительность, Гречнов сказал: «Бери эту». «Эта» была хоть и старая (наверное, лет тридцати), но довольно худощавая, небольшого роста брюнетка. Хорошо сказать — бери, а как? Я вынул «валтер» и показал ей на дверь. Женщина, уже моя, спокойно и покорно пошла к выходу.

Дом был пустой и холодный. Мы вошли в большую комнату. Я снял шинель и бросил на пол. Женщина легла на шинель и высоко подняла длинную до пят юбку. Под юбкой — ничего. Сейчас я вспоминаю дальнейший ход событий, а вместо этого в голове назойливо крутится

СЛУЧАЙНАЯ ПОХОДНАЯ СЦЕНКА ТОГО ВРЕМЕНИ

Не скажу точно, где это было, но было еще тепло. Походный марш только начался. Первый привал на обед. Полдень. Мягко греет солнце. Солдаты уткнулись в котелки, лошади — в торбы. Все усердно жуют. Поели. Задымили козы ножки... И тут одному молодому жеребцу взбрело в голову приставать к игривой кобылке. Солдаты сначала с интересом, а потом с азартом, сочувствуя жеребцу, наблюдали за ходом действия. Кобылка не лягалась, но в то же время ее большой лохматый хвост мешал жеребцу. Страсти накаля-

лись. Жеребец хоть и в кровь исцарапал себе член, но никак не унимался. Тогда один из пожилых солдат маленького роста, юркий доморощенный дед Щукарь, подлез под коня, умело отодвинул хвост, все наладил, потом выскочил оттуда, уперся плечом в круп жеребца и в такт ему под общий хохот «помог» завершить акт...

У меня не было деда Щукаря, а женщина неподвижно лежала на шинели... Потом я встал. Подошел к окну. На улице резко менялась погода. После многих сумеречных дней небо прояснилось. Не в силах прикрыть огромную нахально голую луну с него торопливо и молча убегали рваные клочки облаков. Сильно морозило и мне стало холодно. По всему телу бежала противная дрожь. Тихо. Только где-то далеко на севере ухает тяжелая артиллерия, да совсем рядом в ярком лунном свете предательски чернеет бесстыдный треугольник...

Женщине, вероятно, тоже стало холодно. Она поднялась, одернула длинную до пят юбку и, увидя на ней кровь, испуганно повернулась ко мне. Повязка на моей правой ноге пропиталась липкой кровью и болталась около щиколотки. Рана сильно кровоточила. Вокруг все было в крови. Женщина подняла валявшийся около шинели вальтер, подошла ко мне, отдала пистолет, присела на корточки, что-то быстро-быстро заговорила и взялась было разматывать бинты, но я отказался и ушел.

В тот же день поздним вечером у меня поднялась температура, но я сидел и по заданию Грешнова сочинял письмо жене Петрова. В Москве у него осталось четверо детей. Я старался. То письмо-треугольник со штампом полевой почты с февраля 1945 г., возможно, до сих пор, как семейная реликвия, хранится в одной из московских квартир.

На всякий случай (чем черт не шутит): из всего здесь сказанного я мог напутать только фамилию солдата. Хорошо помню, что она была простая, русская. Служил он в то время в 113 сд, 1288 сп, в минроте 2-го стрелкового батальона.

ВИКТОР ИКОННИКОВ

Немцы очередной раз отошли на «заранее подготовленные позиции» и крепко засели в кирпичных домах безвестной нам мадьярской деревушки. После неудачной утренней атаки пехота, уйдя с голого поля, окопалась метрах в пятистах от деревни на опушке молодого соснячка. Впереди, ближе к немцам, в канаве осталось лишь боевое охранение да два пулемета взвода Иконникова. Немцы кинжалным огнем простреливают поле со всех сторон и охранение

с пулеметами сидит в ловушке. Сам Виктор с остальными пулеметами своего пулеметного взвода здесь, на опушке.

Виктор — москвич, высокий плечистый с большой чубатой шевелюрой. Он появился у нас из госпиталя недавно и сразу стал любимцем батальона за свою открытую ухарскую простоту. Таких обычно недолюбливает начальство и поэтому Виктор хоть и старше нас (наверное 23 или 24 года рождения), но все еще ходит «ванькой-взводным». Мы — несколько строевых офицеров пехотного батальона — сидим в большой бомбовой воронке, где расположился КП командира стрелковой роты. Я пришел (точнее приполз) сюда, чтобы освоиться с обстановкой, пока минометчики копают окопы. Командир стрелковой роты, оторвавшись от телефонной трубки, бросает мне: «О самоварах заговорили». Я слушаю (получается подслушиваю) телефонный разговор комбата с Грешновым. Комбат ставит боевую задачу. Грешнов в усердии кричит так, чтобы слышал комбат: «Минометы, к бою!» Нурок орудует на позиции... Или нет, Юрки уже не было, потому что сейчас у меня в ушах слышаться украинские: «Перший! Другий!...» Значит, это было в декабре, а может быть в феврале... Нет, в феврале не могло быть, ибо в феврале мы либо оборонялись, либо отступали. С другой стороны, Виктор был без шинели... Ну, да это не важно, когда было. Главное, что было.

Сейчас Грешнов начнет искать меня. Телефонист врубает наш провод в батальонную связь, и мы вместе из воронки ползем на опушку. Место открытое. Хотя до немцев и далеко, но шальная пуля за полкилометра вполне может убить.

На самой опушке накопаны мелкие одиночные окопчики в полроста. Многие из них пусты. Я заползаю в один из них. Телефонист пристроился метрах в десяти сзади. Мой окопчик за сосной. Она мешает обзору. Впереди есть еще один, но там кто-то ворочается.

— Эй, солдат, давай поменяемся!

Сначала облюбованный мною окоп молчит, но потом оттуда появляется небритая недовольная физиономия: «А наві я туді пиду, мени и тут гарно». После препирательств солдат недовольно вылезает и ползет назад ко мне. Я готовлюсь выскочить и броском перебежать в освободившийся окоп. В это время прямо над нами вой мины. Я, сколько могу, расплющаюсь на дне окопа. Разрыв. Одновременно на меня падает тело солдата, и противно, как при землетрясении, вздергивается земля. Тишина. Сколько-то времени мы молчим и не шевелимся. Первым подымает голову солдат, крестится и быстро-быстро на корячках ползет в тыл. Потом высовываю голову я. Тяжелая немецкая мина угодила прямо в окоп, откуда только что вылез

солдат. Вокруг комья развороченной земли, синеватый дымок и терпкий запах горелого тела. «Эй, лейтенант, жив?! Иди сюда!» — это крепкий здоровый баритон москвича. Я уполз, оставив телефониста налаживать порванную связь.

В воронке командира роты, кроме Виктора, хорошо помню, сидели еще Мишка, комбат батальонных сорокопяток и два незнакомых мне лейтенанта. Фляга со спиртом ходила по кругу. Я хлебнул раза два (спирт не разводили). Зазвонил телефон. Я был рядом и взял трубку. Звонил парторг. Он узнал меня: «Почему... твою мать... пехоту не поддерживал! Из-за тебя сорвалась атака! Люди погибли! Будешь отвечать перед партией!..» Я оправдывался и унизительно что-то мямлил. Парторг потребовал Виктора. Тот, презрительно глянув на меня, взял трубку. Все замерли. Слышино было, как парторг материт его: «...Почему не ведешь огонь! Почему не выдвигаешь пулеметы!» Виктор пытался было объяснять ему, сидящему в укрытии в километре от нас, что у пулеметов кончились патроны, а доставить новые коробки нельзя. Немецкие снайпера простреливают все подступы. Мы все, включая подошедших солдат, наблюдали за Виктором. Он замолчал как-то вдруг... лицо чуть побледнело, глаза сузились: «Я трус!? Да!» При необходимости он умел виртуозно выразиться. Виктор бросил трубку, встал в свой полный рост, взял две коробки с лентами...» Товарищ гвардии лейтенант, не надо, убьют!» — слезливо запричитал его ординарец, цепляясь за голенища его хромовых сапог (Виктор пришел к нам из гвардейской части и один носил гвардейский значок и хромовые сапоги). «Брось! Не дури!» — успел крикнуть командир стрелковой роты, но Виктор, слегка нагнувшись вперед, уже выходил из-за сосны на свою верную смерть. До пулеметного гнезда было метров 250. Туда вела заросшая ивняком «канава смерти». В ней уже лежали три трупа. Виктор прошел метров 10—15, может чуть больше... Пулемётная очередь... несколько выстрелов... Виктор неуклюже еще раз шагнул вперед, тяжелые коробки выпали, он, высоко подняв руки, лицом упал на большой ивовый куст...

От выпитого спирта першило в горле, слегка кружилась голова. То ли от этого, то ли от того, что качался ивовый куст, тело Виктора поворачивалось на гибких ветках. Немцы с садистской радостью избрали его мишенью и упражнялись в стрельбе.

К полудню на передовой появились артиллерийские наблюдатели артдивизиона противотанковых 57-миллиметровых пушек. Всю ночь на передовой шла работа. Артиллеристы выкатывали орудия на прямую наводку. Рядом окапывались 76-миллиметровые «гробы на колесах» (самоходки-76), смело вылезли наши батальонные «про-

щей Родина» (45-миллиметровые противотанковые пушки). Нам — «самоварникам» (82-миллиметровым батальонным минометам) подвезли четыре подводы мин (это что-то около 500 штук). До позднего вечера мы пристреливали цели. Немцы молчали.

Сигнальные ракеты поднялись в небо, как только забрезжил рассвет. Немцы получили свое. Пехота почти без потерь ворвалась в горевшее со всех сторон село. Я ушел в роту, и мы со своими каруцами появились на деревенских улицах, уже когда среди дыма горящих домов проглядывало солнце. Пулемётчики, я помню, остались хоронить своего командира, а мы ушли вперед, унося злобу на партторга. Парторг вскоре был подстрелен при странных обстоятельствах. Среди солдат упорно ходили слухи, что это дело рук «иконниковского ординарца»... Не знаю, но партторг с этого дня исчезает из моих записок. Иконников — не такая уж частая фамилия для Москвы. Может быть и живы его родные? Может быть и лежит где-то похоронка из которой можно узнать, когда произошел рассказанный мною случай.

Исчезновением партторга кончаются мои рассказы о боях вокруг Будапешта. Вскоре мы снова вернемся под тот самый «Насебом», где в конце 44-го года задохнулось наступление 3-го украинского фронта на нефтяную Надьканижу.

Мало кто мог помнить те промозглые декабрьские дни. Вокруг меня уже было новое пополнение, пришедшее в часть в 45 году.

Ехали мы дня два: **«из огня да в полымя»**. Там, на самом южном фланге огромного советско-германского фронта немцы подтягивали из Германии новенькие «тигры», «пантеры», «фердинанды», готовясь к очередному бесславному прорыву.

НА САМОМ ЮЖНОМ ФЛАНГЕ

13 февраля 1945 года в Москве гремел победный салют — взят Будапешт! В тартарары рассыпались надежды Гитлера сохранить за собой Венгрию — последнего сателлита, верой-правдой служившего ему всю войну.

На правобережье Дуная, истерзанном непрерывными четырехмесячными боями, таял снег и все дышало Победой. В эти радостные по-весеннему теплые дни 113 стрелковая дивизия возвращалась на юг под Капошвар. Точнее возвращались главным образом ее тыловые службы: штабы, медицинские, автотранспортные, ремонтные подразделения, пекарни, банно-прачечный батальон, агитбригада и пр., и пр., т. е. всё то, что во время боев находилось позади пехоты. Никто не хотел думать (и не думал) о братских могилах и тысячах безымянных холмиков, брошенных

на произвол судьбы вдоль кровавых путей дивизии. Мало кого из нас, оставшихся в живых, интересовали и тысячи раненых, уже отправленных скитаться по бесчисленным госпиталям. Все это осталось в прошлом. «Живой о живом и думает». А думать и заботиться было о чем.

В феврале (а может быть чуть раньше) по Советской Армии был издан приказ, который сегодня в пору безудержной критики всего прошлого лаконично повторен одним из авторов «Огонька»: «Грабь награбленное!» (В. Кардин. Огонёк, 1990, № 19). Согласно приказу с фронта домой разрешалось посыпать посылки (солдату — одну в месяц, офицеру — две). О начавшемся мародерстве я еще расскажу, а пока лишь к слову замечу, что именно во время этого переезда я впервые обратил внимание, как злобно косились наши солдаты на погруженные в штабные грузовики «трофейные» пианино, мебель и прочую громоздкую «рухлядь», собранную в пригородных особняках Будапешта. Вещмешки за плечами пехотинцев были тощи.

Наш 1288 сп погрузили в кургузые, будто игрушечные пассажирские вагоны, и мадьярские машинисты под надзором полковых автоматчиков покатали нас мимо еще кое-где дымившихся пепелищ станционных построек, мимо залитых солнцем просыпающихся полей и виноградников, **навстречу Судьбе**.

Радость Победы — особое ни с чем не сравнимое чувство заполняло души. Ликовали трофейные аккордеоны, баяны, русские гармони, визгливо вырывались из многоголосия песен губные гармошки. На редких остановках венгерские мужчины молчаливо сторонились нашего состава, но девушки, молодые женщины приветливо и безо всякого страха окружали солдат, смеялись, подхватывали наши фронтовые песни, пели свои. Смех, молодость, выскочив из вагонов, сразу же заполняли все вокруг. Может быть мне это казалось или кажется сейчас? Ведь как же могли веселиться матери, жены, подруги венгерских солдат — наших врагов, в большинстве своем находившихся там — в составе гибнущего немецкого вермахта? А впрочем «женская душа — потемки».

В оправдание венгерских женщин можно заметить, что не так уж монолитно выступали мадьяры на стороне Гитлера. 22 декабря 1944 г. на востоке Венгрии в освобожденном 2-м украинским фронтом Дебрецене было образовано временное национальное правительство, которое 28 декабря объявило войну Германии. На свет божий появились коммунисты.

С тех дней запомнился случай: ко мне подбежал прилично одетый старовато-толстоватый венгр и на очень ломаном русском

языке затараторил: «Господин офицер, господин офицер, я коммунист, я коммунист...» Оказалось, что солдаты взломали дверь в его богатом особняке и то ли забрали все, что можно послать в нищую Россию, то ли изнасиловали его жену или дочь...

Разложение коснулось и венгерской армии. Были сформированы воинские подразделения нового правительства. Я помню этих молчаливо-угрюмых солдат, одетых во френчи зеленовато-серого цвета, узкие брючки, заправленные в высокие под самое колено добротные яловые сапоги. Мы с ними не общались. Кстати, эти солдаты так и не появились на фронте, за что Венгрия поплатилась своей Трансильванией, которая после войны была передана Румынии.

Всю ночь справа по ходу поезда устало рокотал и светился фронт. За ним немцы, зализывая раны, готовились к новым боям. Мы же, не думая о будущем, беззаботно спали...

На следующий день без особых приключений мы прибыли туда, куда надо (кажется в Капошмаре — поселок, расположенный в пяти километрах западнее Капошвара).

Смутно помню длинный барак — нашу казарму на западной окраине Капошмере. С одной стороны к нему вплотную подходил то ли парк, то ли дикий лес. С другой — в сторону немцев — тянулось открытое всем ветрам поле. К концу февраля опять упала температура. Небо покрылось темными снеговыми тучами. Потянулись неуютно-холодные безалаберные дни не то учебы, не то ожидания нового пополнения и новых боев. В нашей роте после январских боев из девяти положенных минометов осталось четыре. Мы, командиры взводов, выводили из теплой казармы на замерзшее ветреное поле поднятых с соломенных лежанок солдат (спали не раздеваясь) и... ждали команды на обед. Часы и минуты тянулись удивительно медленно. Коченели пальцы, морозный ветер щипал нос, щеки. Как кротам, вытащенным из нор, нам хотелось нырнуть в привычные землянки, окопы, траншеи, прижаться друг к другу и, проклиная войну, в полудреме коротать время...

Но нам было по 18—20 лет! Вернувшись в теплый барак и проглотив горячую сытную баланду, мы резко меняли образ мыслей.

Все жилые дома Капошмаре были плотно заселены дивизионными и полковыми службами. Неподалеку от нас квартировал дивизионный медсанбат. У медсанбата имелась собственная стационарная баня с прожаркой. Реализация полученного ротой разрешения на «помывку» навела страшную панику на наших родных «породистых черноспинных...». После бани, помню, офицерам выделили отдельное помещение («общагу»), сменили подстилки, выдали офицерские доппайки с американской тушенкой и... оказа-

лось, что в общаге (если прислушаться) со стороны медсанбата слышны женские голоса, смех... Пошли слухи, появились очевидцы, на следующий день уже все знали где живут медсестры, кто и как их охраняет...

Это было 5 марта 1945 года. Мне уже 20 лет.

В обед чубатый здоровенный «петээроец» (командир взвода противотанковых ружей) сказал: «Вечером пойдем к сестричкам. Они приглашали».

И вот долгожданный вечер! Мы в начищенных ни весть чем но до блеска кирзачах с подшитыми белыми подворотничками, с остатками офицерских допплайков и бутылкой самогона-первача появились под ярко освещенными заморской лампой «люкс» окнами сестрического дома. За закрытыми окнами надрываясь хрюпал патефон, а на покрытом простыней столе громоздились бутылки с этикетками и горы еды. Около заветных сестричек толпились штабные и медицинские офицеры. Среди них, как хозяин, выделялся высокий горбоносый капитан-медик.

Этого капитана я увижу и сразу узнаю летом 1987 г. в музее села Бутор на левом берегу Днестра. Он будет также заученно улыбаться с любительской фотографии в окружении сонма молодых веселых сестричек.

...Нас не ждали...

Не помню, как вел себя я, но до сих пор в ушах застрияли обрывки длинного и грязного мата петээровца. Он было рванулся бросить в окно бутылку первача, но его удержали, и мы вернулись в пустую общагу.

Я быстро отвалился и не участвовал в той грустной попойке. Всю ночь пьяные песни, крики неслись наружу сквозь распахнутые настежь окна из душного табачно-самогонного угаря. Моя фронтовые друзья — пехотные ваньки-взводные — бесшабашно торопились жечь свои здоровые и молодые жизни. На это им были отпущены считанные месяцы (а кому и дни).

Тревога! В ружьё!!

С похмелья трещит голова. Муторно. Мои собратья только-только угомонились, их спящие тела разбросаны по полу там, где свалил перепившийся сон.

Подъем!!

БОЙ 6—7 МАРТА

За окнами серый рассвет, женские визгливые крики, снуют посыльные. Слышно, как выбирайся на шоссе, урчат груженные машины и тут же, набирая скорость, уходят в тыл в сторону Капошвара.

Появился политрук: «... вашу мать! Перепились, как скоты! Где солдаты?!»

Немцы прорвались на Яко. Их танки вот-вот будут в Капошмере. 1290 полк нашей дивизии, державший оборону за Яко, бежит. Фронт открыт!

Мат политрука, его пистолет чуть сбрасывают хмель и приводят нас в чувство. Медсанбат и штабы уже эвакуировались. Последние машины с ранеными осторожно перебираются через колдобины. Приказ: «Занять круговую оборону!» Мимо казармы солдаты чубатого петеэрока проносят свои неуклюжие ружья. Четверка батальонных кляч протащили сорокапятку. Пехота деловито окапывается по окраине поселка... Нам идти некуда. Наше место тут, за первыми домами. Я иду искать чердак для НП (повыше и пооткрыше). Натыкаюсь на вчерашний дом с медсестричками. Дверь распахнута настежь. Захожу. На столе разбросаны остатки еды почему-то вперемежку с разбитыми бутылками. После сестричек уже кто-то здесь побывал. Красное вино, будто кровь, разлито по белым простыням. На столе разбитый венский стул... Связисты уже тянут провод к дому. «Давай, наверх!»

Проходит час, два. Над Яко огромные клубы дыма. Там далеко и поэтому тревожно грохочет бой. Пришло донесение: 1290 полк еще держится, но уже большая часть села у немцев. Мы во втором эшелоне. За нами занимает оборону третий (1292) полк нашей дивизии.

К полудню приказ: «Выступать!»

До Яко около десяти километров. Сначала полк идет походным маршем. Потом стрелковые роты расходятся в цепь. Мы, отстав километра на полтора, продолжаем держаться своих подвод, чтобы не тащить на себе минометы и боевой запас мин. Яко стоит на пригорке и его видно издали. Глухой грохот разрывов снарядов, мин, сухая дробь пулеметов, автоматов, ружейная стрельба. Мы подходим к посадке. За ней долина небольшой речки и подъем к селу. Дальше идти нельзя. В посадке пункт сбора раненых. Их много. «Ходячие» после перевязки идут своим ходом навстречу нам. Солдаты с тревогой спрашивают: «Ну что там?» — «Прет!» В Яко немецкие тигры. Наши засели в домах. Их окружили немецкие автоматчики.

Грешнов дал команду окопаться здесь, за посадкой. Но только солдаты взялись за лопаты, как сзади из тыла появились полковые офицеры.

— А ну, вперед! В Яко! Там окопаешься! Село наше!

Минометные выюки тяжелые. Тащить их в Яко, в огонь, где идет бой и неизвестно, где наши, а где немцы?.. Деваться некуда.

Вброд перейдя речку, мы кучно, прячась за кустами, потянулись к горящему селу. Ближе к домам стрельба усиливается. За визгом пуль, за разрывами снарядов, мин ничего не слышно. Солдаты задерживаются в воронках, прячутся за кустами, выбирая удобный момент для перебежки. Пока нам везет. Но вот разрыв! Мы падаем. Истошный крик. За ним громкий мат Грешнова. Во втором взводе убитый и раненые. Грешнов командует мне уходить вперед, а сам остается с остальными. Мы проходим еще метров триста. Навстречу, пугливо озираясь, пробегает солдат. Кто такой?! Наверное, бежит 1290 полк? «Та ні! Це ж з нашего батальону, він мій земляк!» — кричит мне подносчик третьего миномета. Куда ж мы лезем? Из кустов выскакивают еще трое солдат. Я выдергиваю из кобуры «валтер»: «Стой! Стой, стрелять буду!» У солдат бессмысленно открыты рты, глаза. Я стреляю над их головами раз... другой... Они бегут на меня. Стреляю еще: «Стой! С какой части!?!» Солдаты без оружия бегут мимо. Лишь последний волочит за собой карабин. Это паника. Паника — особое состояние человеческого организма. Как я понимаю сегодня, в это время головной мозг не работает. Человек подчиняется каким-то другим, не поддающимся разуму законам природы. В панике он часто совершает безрассудные поступки: спасаясь от пожара, выбрасывается из окна небоскреба, не умея плавать, прыгает с моста в реку и пр.

Может быть, это последние солдаты нашей пехоты и сейчас в кустах появятся немецкие автоматчики? В ответ на немой вопрос над головами бьет пулемет. Мы, не сговариваясь, поворачиваем назад.

«Стой, ...тригоспода душу!.. Куда бежите?! Назад!! То есть вперед!!!» — на тропинку выскакивает замполит соседнего батальона. К вечеру его убьют, но пока что пистолет в руке замполита куда серьезнее, чем в моей. «Трибунала захотел ... мать твою ... Ставь минометы!» Я, естественно, не хочу ни трибунала, ни немецких автоматчиков, ни самого замполита: «Мины кончились!» — «Я тебе покажу распрона так ... мины кончились! А это видел?!» Он тычет мне в лицо вороненым стволом «ГГ». «Каждому миномету: десять мин, беглый огонь и тогда назад!» Да, все было так. Он один сумел тогда остановить нас, находившихся на грани панического бегства, прийти в себя и открыть огонь. Буквально под пистолетом замполита и огнем немцев я на глазок прикинул данные, полулежа установили прицел, угломер... «Огонь! Огонь!» Лихорадочно зачавкали минометы, с каждым выстрелом загоняя опорные плиты в болотистую почву кустарника. Все! Быстро на выюки и бегом назад!

Я уходил последним. У третьего миномета засосало плиту. Мы остаемся вдвоем с подносчиком и пытаемся силой затащить ее из проклятого болота. Автоматная очередь. Оба падаем, уткнувшись головами в землю. Подносчик подымает окровавленную голову. Еще очередь. Голова безжизненно падает на землю. Немец подкрался со стороны подносчика и явно видит нас. Я пытаюсь, не двигаясь, залезть под убитого. От этого его тело шевелится. Длинная очередь. Ни жив, ни мертв, я слышу или чувствую, как пули впиваются в труп. Сейчас, вот сейчас, немец подойдет и убьет меня в упор! Секунда... минута... Тело холodeет, душа давно в пятках и готова при первом выстреле выскоичить наружу...

Немец не пришел. Потом я, вероятно, бежал. Конечно, бежал. Не мог же я спокойно, как ни в чем не бывало, возвращаться к своим. Я бежал. И довольно быстро, хотя бы потому, что очутился среди своих, когда они только что подошли к траншее, выкопанной вдоль опушки посадки. Траншею выкопала и заняла оборону свежая пехота 1292 полка нашей дивизии. Здесь же сидели автоматчики, которые задерживали всех бежавших со стороны Яко солдат двух других — 1290 и 1288 полков. Появился Гречнов и нас пропустили в тыл.

Шли мы, вероятно, быстро, поскольку не заметили, как оказались на тыловой стороне посадки около удобно выкопанных кемто добрых землянок. Здесь бы и остановится! Но дальше в тыл сам Бог прокопал и обсадил кустарником канаву. Горбясь под тяжестью выюков и хоронясь от уже редких пулеметных очередей, мы бегом-шагом устремились в тыл к приметно темнеющим сарам. Но — не тут-то было! Бог что-то не учел и уже метров через триста нас встретил полковой заслон автоматчиков (заградотряд) и прогнал назад. Мы вернулись к землянкам. Впереди автоматчики немецкие, сзади наши. Наши страшнее. Хочешь жить — стреляй!

Бой набирал второе дыхание. До передовой траншеи было не более сотни метров, и немецкие пули посвистывали над позицией. Я с телефонистом потянул провод через посадку в пехоту. Вся посадка дрожала от разрывов. Мины рвались в ветвях, снаряды снизу выбрасывали комья земли. Деревья умирали стоя, обезображеные огнем и железом. Трассирующие пули немецких автоматов резали воздух со всех сторон. Помню ощущение: будто тебя засунули в цирковой ящик, через который фокусник пропускает сабли.

Где ползком, где на корячках, мы, наконец, добрались до опушки и свалились в передовую траншею около зарытого в землю и замаскированного «гроба на колесах». Траншея была пуста. «Гроб» не стрелял. Командир самоходки со стрелком ушли налево

ловить пехотинцев. Я пополз по траншее в другую сторону. Вскоре там встретил командира стрелковой роты. Заглушая стрельбу, он крикливым матом пытался собрать своих солдат. Подошли трое.

— Где немцы?

Поле до самого Яко рвалось и корежилось. Казалось, оно все напичкано немецкими автоматчиками. Справа на откосе железнодорожного полотна высоко к небу задрав ствол пушки черным костром горела наша тридцатьчетверка. Еще две, уже потухшие или просто подбитые, темнели ближе к нам. Говорят, четыре подбиты за насыпью. Три немецких подбитых танка еле видны около первых домов села. Яко полыхает огнем и дымом. По нему бьет наша тяжелая артиллерия из-под Капошмере. Кустарник, откуда мы недавно выбрались, у немцев. Солдаты, перебивая друг друга и путая русские, украинские, молдаванские слова, азартно показывают мне откуда бьют немецкие пулеметы, где сидят автоматчики, куда они притащили пушку...

Связь есть! Мины есть!.. Огонь!

Родные трехкилограммовые (3 кг 300 г) мины на одном основном заряде, не торопясь, почти видимо (скорость 20 м/сек) перелетают посадку и рвутся там, где надо, образуя хоть и дырявую, но какую-то защиту совсем передевшей пехоте. Видя удачные разрывы мин, солдаты, рискуя жизнью, подползают ко мне, просят, требуют огня. Огня! Стреляют самоходки, сорокопятки, из тылов бьет артиллерия, стреляет все, что может стрелять. К вечеру в нашей траншее появилось сборное пополнение тыловиков. Немцы же, вероятно, понеся большие потери, умерили свой наступательный пыл. Бой затухал. Вечерело. Стрельба распалась на отдельные очаги, которые вдруг, внезапно и злобно, взрывались разрывами гранат и длинными пулеметными очередями, будто собачий лай во время псиных свадеб.

Уже в получьме немецкие автоматчики накопились в рощице перед самой траншней и открыли оттуда шквальный огонь трассирующими пулями, надеясь на ночь глядя психологической атакой ворваться в заветную посадку. Мы с командиром стрелковой роты рискнули: он вывел солдат из передовой траншеи. Телефонист ушел. Я остался наедине с рощей и немцами.

— Юрка, сам проверь прицелы и заряды на всех минометах. Будешь стрелять по мне...

— Готово! Батареи, пять мин, беглый огонь! — Я нырнул в узкую щель бокового окопа, прижался к стенке и почему-то закрыл голову полой шинели.

Первые мины правильно и хорошо рвались в рощице, перелетая меня, по мере сбоя прицелов — все ближе... ближе... и последние с

резким звонким треском разрывались позади, осыпая щель комьями земли и пылью. Терпкий запах горелого тола пополз по траншеи. Немцы пропали. Пронесло!

В книге «Путь к Балатону» об этом дне будет лаконично сказано:

«Бои 7.03 носили исключительно ожесточенный характер. 113 сд отразила более 15 атак. На траншее, обороняемые подразделениями капитана Жук (командир нашего 2-го батальона 1288 сп — Б. М.) и ст. лейтенанта Новохатского (командира стрелковой роты — Б. М.) наступало до полка пехоты под прикрытием десяти танков и самоходных орудий. Шесть из них пытались проскочить к железной дороге и выйти во фланг».

Прошу читателя обратить внимание на танки. О них дальше пойдет рассказ. А пока что ночь. Принесли ужин, спирт за живых и усопших... Ешь, пей «от пузя!»

Будто вчера мы удобно разлеглись в глубокой бомбовой воронке чуть в глубине посадки. Весь день в воронке орудовал наш старичок — командир батальонного санвзвода вместе с неизменной Асей и санитарами. Только что здесь сидел комсорг батальона — мой тезка — тихий и безобидный, еще совсем мальчик. Он плакал молча и безропотно, прижимая к лицу полуоторванную челюсть, всю в крови, с торчащими из мяса белыми зубами. Санвзвод ушел в тыл, оставив после себя окровавленные бинты, вату и острый запах свежей медицины.

Усталость валит с ног. Тишина... Все молчат.

Вдруг что-то грузное свалилось сверху — командир батареи наших батальонных сорокопяток!

— Это кто же тебя так разукрасил?

Наискосок через всю физиономию никогда не унывающего кренастого весельчака ст. лейтенанта-комбата-45 шел багрово-синий кровоточащий шрам.

— Гуртовенко! Мать его... Налей!..

Из рассказа комбата-45:

«Я докладываю Гуртовенко: товарищ полковник, мои орлы шесть танков подбили. А он не дал мне договорить, хвать дрын, хрясь по морде. «Я тебе ...распрона... покажу танки! Вон отсюда!» Потом схватил пистолет и заорал: «Чтоб все пушки были здесь! Не приведешь, расстреляю!» И я убег».

Комбату дали еще спирта. Он немного похорохорился и вскоре исчез. Больше я его никогда не видел. Может быть и жив?

Старый друг помирает от рака,
Понимает, что нынче умрет,
И куда подевалась отвага
И откуда испуг — не поймет.

Был на фронте я вроде в порядке... —
Шепчет будто кому-то в укор
Две несчастные «сорокопятки»
Выдвигал на открытый бугор.

За какую ж такую ошибку —
Или что-нибудь сделал не так?
Заманили меня на Каширку
И нашли метастазы в костях?..

От беспамятства и лихорадки
Снова тащат войну на горбу...
И отчаянные «сорокопятки»
Открывают по танкам стрельбу.

...Сорок лет, как бои поутихили,
Ветераны качают внучат...
А в мозгу «фердинанды» да «тигры»
Бьют, ползут, громыхают, рычат.

Умирая в палате отдельной,
Принимает последний он бой
Лейтенант молодой и бездетный,
И опять молодой-молодой...

Принимает его без оглядки...
Врач вошел, повздыхал и не спас...
И отважные «сорокопятки»
Расстреляли свой боезапас.

Влад. Корнилов, 1984

И вот только теперь, когда все спят, я, не торопясь, более внятно расскажу о том бое 6—7 марта, который совершенно неожиданно имел массу различных последствий, не только для Гуртовенки, драчливого командующего артиллерией дивизии, о палке которого ходили легенды, не только для комбата-45, но и для меня.

С утра 6 марта батальонная батарея из четырех сорокопяток вместе с пехотой благополучно добралась до северной окраины Яко. Бой шел еще за селом. Наши медленно отступали.

В середине дня немецкие танки ворвались в Яко, через которое проходила разграничительная линия советских и болгарских войск.

Смертники-сорокопятки бились, сколько могли. Две пушки были разбиты прямыми попаданиями танковых снарядов. Две другие, расстреляв боезапас, сумели подцепиться на крюк и броситься наутек. Две четверки лошадей с отчаянным гиком понеслись через поле мимо вышедших из укрытия немецких танков, мимо автоматчиков, к своим! К удивлению видевших эту сцену, обе пушки добрались до речки. Одна вместе с комбатом с ходу

проскочила брод и благополучно влетела в наши траншеи. Другая же замешкалась, и немецкий танковый снаряд угодил в лошадей. Солдаты попытались было отцепить пушку... а впрочем, остались ли живые солдаты? Короче, новенькая длинноствольная сорокопятка была брошена на радость подоспевшим немецким автоматчикам.

На ликвидацию прорыва Гуртовенко направил приданый ему танковый дивизион. Вскоре командир дивизиона по радио сообщил о первых успехах: подбиты четыре немецких танка, дивизион заходит в тыл немцам. Гуртовенко тут же распорядился наградить танкистов. Затем прибежал запыхавшийся «петеэроец» (командир взвода ПТР — противотанковых ружей): «Товарищ полковник, мы подбили четыре немецких танка!» За ним появился командир самоходок с сообщением о подбитых им танках. За самоходчиками потянулись артиллеристы... Счет подбитых танков перевалил за десяток!

Но, одновременно с победными реляциями, на НП командующего артиллерией просочились и другие сведения.

Из танковой контратаки мало кто вернулся назад. Восемь тридцатьчетверок подбиты немцами. Наша пехота бежит. В речке брошена новенькая сорокопятка. Расчет сбежал...

И надо же было как раз в этот момент перед его глазами появиться комбату-45 — очередному «сыну лейтенанта Шмидта — «уничтожителю немецких танков!»

Что же было дальше?

Свой приказ о награждении танкистов Гуртовенко отменил. Он был зол на всю свою подопечную артиллерию: «Никого не награждать!»

Но четыре подбитых фашистских танка, как бельмо на глазу, чернеют на нейтральной полосе. И еще кто-то видел, как немцы уволокли к себе огромный подбитый «фердинанд»... Не награждать же нас, минометчиков? Хотя... я лично не исключаю, что одна из наших мин (помните,пущенных под дулом замполитова пистолета) угодила в мотор фердинанда: «Чем черт не шутит, когда Бог спит». В таком случае справедливости ради надо было наградить нас и, посмертно, замполита.

ПОЛИТОТДЕЛЬСКАЯ ИДЕЯ

В этой сложной ситуации, дерзкая и смелая идея пришла в одну политотдельскую голову, пожелавшую остаться инкогнито: «А почему бы нашей дивизии не заиметь собственного Александра Матросова?»

Найти претендента на столь почетное место было не трудно, ибо от пехоты полка остались «рожки да ножки». Из «достоверно убитых» были отобраны: коммунист — командир отделения сержант Афанасий Смышляев, и комсомолец — рядовой Федор Щелкунов. Дивизионные борзописцы сочинили легенду, по мотивам которой художники создали душепитательный рисунок, повествующий о том, как коммунист и комсомолец, обвязав себя гранатами, с патриотическими возгласами бросаются под танк. Этот рисунок позже был переведен в красочную картину, которая уже после войны долго висела в нашем дивизионном клубе в Рымник-Сэрлате в Румынии.

Через несколько дней листовка (боевой листок) появилась в наших окопах. Казалось бы, все «шило-крыто», но первые комментарии к листовке прозвучали уже на следующий день из немецких рупоров: и Смышляев, и Щелкунов оказались живы-здоровы! Политработники дивизии не сдавались и объявили все «вражеской пропагандой». Солдаты в присутствии офицеров молчали.

Рассказ солдата 2-го батальона 1288 сп, услышанный мною в апреле 1945-го года, после возвращения из Бачальмаша.

«С утра шестого марта нас послали на Яко. Мы подошли к первым домам — никого. Стреляли на другом конце села. Кто-то сказал, что там «братушки» воюют с фрицами. Нам приказали держать оборону. Мы заняли крайние дома. Подошли пулеметчики и сорокопятки и тоже окопались. Потом из села по нам стали стрелять то ли болгары, то ли фрицы. Мы тоже стали стрелять. Потом стали бить минометы. Подошли немецкие танки. Сорокопятки стали стрелять по ним. А те их шпок! Шпок! И нет пушченок. Мы попрятались в дома. А из-за танков немецкие автоматы кричат: «Русь, сдавайся!» А нам что делать? Стали по очереди выходить. Два расчета сорокопяток за домами успели запрячь пушки в лошадей и тикнули по закоулкам. А нас немцы построили в колонну и повели на край села окопы копать. Щелканов и Смышляев были с нами. Русские сильно были из минометов. Многих поубивало. Может, и Смышляева тогда убило. Потом я его уже не видел. Потом немцы нас повели в тыл километров за пятнадцать тоже окопы копать. Со жратвой было хорошо и курево давали, но работать заставляли ого-го. Чуть что, фриц кричит: «Шнель, шнель!» — и палкой замахивается. На том месте русские нас и захватили. Свои же солдаты пришли. Это было уже недели через две».

Теперь посмотрим, как тот же эпизод войны описан в генеральных мемуарах М. Н. Шарохина, отредактированных фронтовым борзописцем В. С. Петрухиным (Путь к Балатону. М., Изд-во Минобороны СССР, 1966).

Итак, начнем с того момента, когда солдаты нашего батальона 6 марта 1945 г. заняли оборону в крайних домах Яко, и немцы атаковали их, а я с пистолетом в руках встречал первых бегущих с передовой солдат.

«...теперь не больше ста пятидесяти метров отделяли гитлеровцев от пулеметчика. «Вот она гвардейская дистанция,» — сказал командир и нажал гашетку. Пули Николая Анисимова точно попадали в цель. За несколько минут более двадцати фашистов навсегда успокоились на подходах к пулемету. За первой вражеской цепью поднялась вторая и снова ее резанул пулемет. Еще тридцать фашистских молодчиков намертво свалились на землю. Три атаки отбил доблестный пулеметчик, истребил в этом бою семьдесят гитлеровцев.»

Мне кажется, что даже у неискущенного читателя подобная генеральская белиберда может вызвать только усмешку, а у бывших пехотинцев плюс к этому и возмущение кощунственной ложью к их фронтовым друзьям. Но ведь подобное печатается у нас в стране в миллионах экземплярах!

Читаем дальше:

«Бессмертный подвиг в тот день совершил командир отделения 3-й роты 1288 сп 113 сд. Афанасий Смышляев — коммунист и красногвардец Федор Щелкунов — комсомолец. «Будем драться до последнего человека, а последний человек до последнего патрона. Мы победим. Мы должны победить!» Прижав к груди гранату, Смышляев бросился под гусеницы танка... Но танк продолжал двигаться. Тогда навстречу ему ринулся комсомолец Федор Щелкунов. Через минуту его поглотили клубы пыли и дыма. Снова разрыв — танк остановился. Ценою жизни коммунист А. Смышляев и комсомолец Ф. Щелкунов преградили путь фашистским танкам». (М. Н. Шарохин, В. С. Петрухин. Путь к Балатону. М., Изд-во Минобороны СССР, 1966. В. С. Петрухин. На берегах Дуная. М., Изд-во ДОСААФ, 1974).

Журналисту В. С. Петрухину в 70-х годах удалось встретиться в одном из сел Одесской области с благополучно бодрствующими комбайнером Федором Щелкуновым. В своем последнем произведении Петрухин приводит рассказ Федора Щелкунова:

«Щелкунов рассказал, что он бросил гранату, но рядом разорвался снаряд... «Меня контузило и засыпало землей». Щелкунов потерял сознание. Пришел в себя... в плену. Откуда он бежал.»

Ради истины мог бы сегодня, в пору «гласности», пенсионер Щелкунов рассказать правду. Ведь сейчас сдача в плен не считается изменой Родине. За это в Сибирь на каторгу не сошлют.

Ну, да Бог с ними, со Щелкуновым и Петрухиным. Ибо на этом история со злополучными немецкими танками не закончилась. По крайней мере для меня она еще вся впереди и будет иметь конец такой, которого, я уверен, никто из читателей не может предугадать.

Сначала несколько слов об оставшейся сиротой сорокопятке. Гуртовенко приказал поставить ее впереди пехоты на прямую наводку. Сорокопятка выстояла и еще долго была с нами,

пока ею не стал командовать я. И не просто командовать, а стрелять по танку. Я прямой участник и свидетель ее славной гибели 8 мая 1945 года, накануне дня Победы. Но об этом потом.

ТАНКОВАЯ ИСТОРИЯ

В марте же события под Яко развивались следующим образом.

В один злополучный мартовский день 1945 года я щеголял по траншее переднего края в белой барашковой кубанке с синим верхом и красным крестом — моей заветной мечте, исполненной ротным портным.

Наверное, как раз здесь уместно отметить, что мой вещевой мешок после Будапештской операции не был столь пуст, как большинство пехотинских. Ведь он ехал не на мне, а на минометной подводе среди снарядных ящиков. Кроме кое-чего прочего, в нем давно уже без движения лежали белые барашковые шкурки, синий атлас от поповской ризы и красная лента. Кое-что прочее я готовил для посылки домой.

Новый замполит, вероятно чувствуя во мне соперника, в разговоре среди солдат бросил в мою сторону: «А что, лейтенант, сходим, пошурруем в немецких танках?» Многие танки, как немецкие, так и наши, в конце войны представляли собой склады награбленного барахла и были лакомой добычей фронтовых мародеров. Откровенно говоря, мне совсем не хотелось лезть под немецкие окопы, но... солдаты смотрели на меня, на мою лихо заломленную барашковую кубанку, и деваться было некуда.

Как только стемнело, мы вдвоем вылезли на бруствер боевого охранения и, чуть пригибаясь, пошли к речке. Кусты в пойме — ничейная земля. Наши разведчики не раз натыкались там на немецкие патрули. Моросил дождь. От этого ночь была еще чернее. Благополучно миновав речку, мы уже ползком либо на четвереньках стали подыматься по пологому косогору к деревне — к танкам, боясь наскочить на мины. Но и здесь все обошлось. Танк черной громадой вырос внезапно. Екнуло сердце. «Давай лезь. Я буду на стреме!» — шепотом то ли приказал, то ли дал указание замполит. Я приподнялся и сразу же из немецкого окопа взлетела ракета. Мы прижались к земле. Ракета шлепнулась рядом и долго шипела, обдавая нас искрами. Прошло минут пять, а может быть десять. Лезть в танк не хотелось. Я с надеждой смотрел на немецкие окопы, но они молчали.

Верхний люк танка был открыт. Я залез сзади на моторную часть. Снял с предохранителя пистолет и головой вниз свалился в

танк... Дальше все произошло мгновенно и я бы сказал профессио-нально: сильный удар по затылку, кто-то клемцами схватил и завер-нулся за спину мою правую руку, от этого я скулой врезался в острый выступ железа. Сильная боль, как электрический разряд, пронзила все тело...

Я левша. «Круглый» левша. В обойме шесть патронов, и я шесть раз нажал на спусковой крючок. Обмякшее тело немца навалилось на меня и одновременно из немецких окопов полетели ракеты, пули дробно застучали по обшивке танка. Западня! Правая рука онемела и не шевелилась. Голова налилась чугуном. Все кру-гом крутилось. Кровь почему-то злила глаза... Я не буду утомлять читателей своими переживаниями. К тому же я и не помню, как выбирался. Вероятно, мозг целиком переключился на поиски вы-хода. Уже к середине ночи я подполз к нашим окопам. Меня ис-пуганно окликнул солдат: «Какой Михайлов? Михайлов убит...» Я полуживым свалился в траншею.

Может быть и остался живым тот немец. Может быть, иногда в своей Западной Германии вспоминает промах, не понимая каким образом пистолет оказался у меня в левой руке? А может быть именно благодаря мне он попал в немецкий госпиталь, а не в Си-бирский ГУЛАГ, откуда мало кто возвращался?..

Я молча добрался до своей норы-землянки. Чуть погодя явился испуганный ординарец (к этому времени по Советской армии уже был издан приказ о закреплении за каждым строевым офицером солдата-ординарца). Он помог мне смыть с лица кровь. Принес еду. Правый глаз заплыл, и под ним вздулся багрово-синий «фо-нарь». Распухла в суставах и сильно ныла правая рука...

Наутро я обнаружил пропажу вецимешка (все «трофеи», вклю-чая кубанку). Кто-то, услышав о моей смерти, не преминул опере-дить ординарца. Вор был из нашей роты.

Ну, и коль скоро я заговорил о фронтовом воровстве, то, думаю, самое время отвлечься от собственной персоны и поместить сюда обещанный рассказ про пополнение, поступавшее в нашу дивизию, да и во всю фронтовую пехоту в последние месяцы войны. Чем закончилась танковая история расскажу попозже.

О солдатах 1941 года написано много. Я верю в фанатичный героизм некоторых красноармейцев-пограничников. Верю в выцарапанные на бетоне надписи-клятвы, слова-прощания с родными, с друзьями. Вспоминаю всенародный подъем патриотизма и верю, что многие парни, выросшие при советской власти, в определенных ус-ловиях предпочитали славную смерть плenу. Я верю и преклоняюсь

перед их святой преданностью призрачным идеалам братства, равенства и коммунизма, но...

«Я не знаю зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожащей рукой?
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
И никто не додумался просто встать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной весне!»

А. Вергинский, октябрь 1917

В 1945 году у нас было иначе.

К концу войны Советско-германский фронт растянулся на тысячи длинных, залитых кровью километров. Резервы пехоты у обеих сторон были исчерпаны до дна. На нашем дне оставалась бесформенная масса «белобилетников», собираемая «с миру по нитке» тыловыми военкоматами, «зеки» (главным образом уголовники), а также комиссованные раненые, которые жиценьким ручейком постоянно текли в сторону передовой, и по мере возможности (ума и сноровки) застревали в тылах.

Сотни тысяч, а может быть и миллионы украинцев, белорусов, русских, молдаван, мобилизованных в 1943—1944 гг. во время освобождения их родных мест, в значительной мере уже были съедены войной. Аппетиты наших генералов, привыкших побеждать «числом, а не уменьем», нечем было удовлетворить. Пехотные части таяли на глазах.

И именно в это время, в начале 45 года, у нашей армии появился новый источник живой силы: советские люди — заключенные немецких концлагерей, а также добровольно уехавшие, либо угнанные насильно немцами на работы в Германию.

В марте в нашу дивизию поступили первые группы лагерников из южногерманских концлагерей Даахау и Маутхаузен. Именно лагерников, а не узников.

Дахау и отчасти Маутхаузен были почти исключительно мужскими лагерями — своеобразными «биржами труда», поставлявшими даровую рабсилу военной промышленности фашистского рейха. Условия жизни в таких лагерях, если судить по скромной советской литературе, были «противоречивы». Например, так описывает лагерный рацион в Дахау его узник Вали Бикташев:

«Завтрака нет.

Обед — черпак брюквенного супа, когда в нем плавали крупинки картошки.

Вечером — «сытный ужин»: 150 г эрзацхлеба и иногда 30 г сыра или эрзацсыра».

Но это меньшие рациона ленинградского смертника! А ведь узники Дахау должны были, в отличие от ленинградцев, выполнять непосильную физическую работу! Очевидно, что-то не то, ибо на такой норме нельзя продержаться и месяца, а в Дахау жили годами. И не только жили. Читаем дальше:

«Артиллерист был прекрасным математиком. Он создал «вечернюю школу». Подросших в лагере мальчиков обучал алгебре, с кем-то из молодых офицеров решал геометрические задачи на построение», и еще: «...в этом аду, так сказать в интервалах между поркой и смертью от голода или эпидемии, советские узники устраивали концерты... В четвертой штубе яблоку негде было упасть... Концерт вел конферансье по прозвищу Ленский»... и т. д. (Вали Бикташев. Мы старше своей смерти. Записки узника Дахау. Уфа, 1966).

Попробовал бы «прекрасный математик» на таком рационе организовать «вечернюю школу» в блокадном Ленинграде!

Противоречия в описаниях тягот жизни как в фашистских концлагерях, так и в Ленинградской блокаде появляются там, где авторы пытаются создать обобщенный образ среднего блокадника, среднего узника. Таковых не было, а все существовало отдельно: подлость и великая любовь к людям, радость и горе, любовь и ненависть, богатство одних и голодная нищета других. Люди жили на разных ступенях лестниц, часто не пересекающихся и идущих в неведомых направлениях. Где находился автор? Откуда, с какой лестницы он смотрел на окружающую его жизнь?..

В Дахау, несомненно, существовала категория людей, которые «входили в лагерь через браму (ворота — Б. М.), а выходили через трубу крематория». Может быть, и я в это верю (по крайней мере хочу верить) в Дахау действовали национальные комитеты, комитеты советского подполья и пр. Но основная масса лагерников знать не знала и слыхом не слыхивала о их существовании. В лагере правили бал различного рода «зеленые» — уголовники, носившие на груди винкели (треугольные нашивки) зеленого цвета. Из них набирались лагерэльтестер, блозельтестеры, штубовые, арбайтензацы, капо и другая «белая кость». Именно они контролировали

жизнь и деятельность различных групп, группировок, лагерных банд, часто враждовавших между собою, но по возможности обеспечивающих место под солнцем своим членам. Оказаться вне группы (банды) для советского военнопленного, необслуживаемого Красным крестом, было смерти подобно. Одиночки быстро опускались на лагерное дно, теряли облик человеческий, пресмыкались перед всем и вся, рылись на помойках, подбирая там картофельные очистки, объедки с «барского стола» западных (французских, бельгийских и пр.) заключенных и «зеленых». Тиф, желудочные заболевания ежемесячно отправляли в крематорий тысячи узников. Выживали сильнейшие (подлейшие, беспринципные и пр.).

Именно из них в 1944—1945 гг. формировались отряды для строительства немецких оборонительных линий, именно их мы захватывали в плен, именно этот контингент в основном поступал из лагерей в советскую пехоту. Не раз в окопах я слушал рассказы солдат, участвовавших в убийствах, ограблениях наших доходяг, либо французских, бельгийских, голландских заключенных, получавших продовольственные и вещевые посылки из дома или от Красного креста. Не раз мне бросались в глаза их звериные поступки по отношению к своим однополчанам, к местным жителям. Меня и тогда поражало полное отсутствие каких-либо моральных запретов и животная жажда жизни у этих людей, легко рассказывающих о «пришитых» ими за пайку хлеба, за «монашку» баланды доходят. Некоторые наши солдаты жили в Дахау по нескольку лет. Произшедшее за эти годы перерождение, вероятно, было不可逆的.

А теперь представьте себе, что эти люди (а может быть нелюди) попадают в стрелковый взвод под командование 18—20 летнего парнишки, только что выпущенного с трехмесячных фронтовых курсов младших лейтенантов («ванек-взводных»). Он должен поднять их в атаку и повести за собой на верную смерть либо, в лучшем случае, наувечье.

Что из этого получалось, расскажу в повествовании о моем ранении в селе Штраден (Австрия). А пока что вновь вернемся в Венгрию под Яко, чтобы кончить затянувшийся рассказ о подбитых немецких танках и отправиться в тыл.

Там, под Яко, началась забытая с Днестра, а для большинства моих пехотных однополчан незнакомая, жизнь в обороне.

В середине марта 45-го года погода в Южной Венгрии стояла премерзкопакостная. Пасмурная хмаря чередовалась с дождями, ко-

торые превратили окопы в сплошные слякотные канавы, местами по колено заполненные жидкой не просыхающей грязью. Сушиться было негде. Опять у солдат завелись вши и пошли чиряки.

Но нам было по двадцать.

После мартовских боев левофланговым соседом 1288 полка стали **болгары-«братушки»**. Соединявший нас ход сообщения сразу же превратился в азартную барахолку. Через нее к нам в обмен на папиросы (а то и автоматы) поступали болгарские сигареты «Загорка» и... профессионально изготовленные в болгарских походных кузнецах шупы — остро заточенные тонкие металлические палки длиною 1,5—2 метра, предназначенные для поисков «кладов». Клады — это в спешке зарытое эвакуируемым местным населением различное более или менее ценное имущество (пригодные для отправки в нищую Россию — обувь, одежда, часы и пр.). У болгарской армии, в свое время оккупировавшей Югославскую Македонию, был, вероятно, свой аналог нашего приказа: «Грабь награбленное», — и болгары в этом имели опыт. Нам было чему поучиться у своих «младших братьев».

В окопах роился и набирал силу посыпочный ажиотаж, поэтому «клады» мадьярских крестьян были как нельзя кстати.

Поиски кладов — занятие само по себе азартное, хотя и не совсем безопасное. Как раз то, что нужно томящимся от безделья и отсутствия женщин молодым парням.

Как учили «братушки», местное население чаще всего закапывает клады в дальних углах хлева или отдаленного от домов сарая. Глубина ямы обычно составляет 1,5—2 метра; штыком не прощупать. Сверху клад прикрывается старым навозом, соломой, сеном.

Сараи, расположенные в глубине обороны, солдаты быстро иссыркали шупами. Оставалась нейтральная полоса, где немцы устраивали засады. Но любителей поживиться это не останавливало. Были случаи — солдаты не возвращались.

Я не принимал участия в кладоискательстве. Но отнюдь не по моральным или этическим мотивам. Нет. Мне просто хватило танковой истории: еще не зажили ссадины, царапины, ушибы, правая рука плохо поднималась и на ней не спала опухоль с суставов.

Мне посыпало было нечего, и с горя я решил сушить сухари для посылки маме.

О том, что меня обокрали и я сушу сухари, стало известно всему батальону. Советский офицер сушит черные сухари! Для солдат-крестьян, призванных из хлеборобной Южной Украины, в этом было что-то противоестественно отталкивающее. Для меня же

недавняя память о блокадном сухаре, как вожделенной радости, была жива и вполне нормальна...

Сначала ординарец вместе с котелком супа и каши принес и стыдливо положил в ногах лежанки две буханки хлеба. Потом из тыла пришел Мишка и вынул из кармана две пары часов: «На!» Потянулись другие друзья-приятели, не хуже «братушек» научившиеся орудовать щупами. Восьмикилограммовая посылка вскоре была заполнена. Помню, не удержался и поверх каких-то тряпок все-таки положил два больших черных сухаря.

Помню также, как я, радостный, вернулся после сдачи посылки. Около землянки меня дожидался ординарец: «Комбат требует!»

— Ну вот, начинается! Что может быть? Разжалование в рядовые? Штрафбат?

С самыми тягостными предположениями я переступил порог батальонной штабной землянки. Там рядом с комбатом сидел замполит и незнакомый мне доктор.

— На что жалуешься?

— Ни на что (Сейчас заставят поднять правую руку).

— Что, совсем здоровы?

— Хмы... давай напишем ему нервное истощение. Он у нас в батальоне самый старый — с Днестра...

Случилось нечто совершенно невероятное, что не смогли бы выдумать ни Конан Дойль, ни Агата Кристи. Именно в это время кому-то в далеких верхах в голову пришла бредовая идея организовать в тыловом венгерском городке Бачальмаше на базе фронтового госпиталя офицерский дом отдыха. В наш батальон пришла одна путевка, и начальство решило отдать ее мне.

Вот так я закончил длинный рассказ о немецких танках, которые (очевидно, не без участия «сорочки») были косвенной причиной свалившегося на меня счастья.

БАЧАЛЬМАШ

«Небо голубо-о-о-е—
Шаловливая волна
Время золото-о-о-е
Двадцать первая весна...»

Согласно сохранившейся «Вещевой книжки офицера Красной армии» на 10 марта 1945 года у меня «было в наличии 10 (десять) предметов»: шинель офицерская с погонами, гимнастерка с погонами, шаровары суконные, нателье — одна пара, сапоги кирзо-

вые, снаряжение офицерское походное, шапка-ушанка, портняки байковые, жилет меховой, плащ-палатка». Как видит читатель, собирать в дорогу нечего — все на мне. И я, получив продовольственный и вещевой аттестаты, отбыл в распоряжение...

В двадцати-тридцати километрах от передовой исчезает привычный гул фронта и кончается война. На деревенских улицах мирно кудахчут куры, толстые гусыни прогуливают своих великовозрастных отпрысков, деловито тарахтят пароконные мадьярские повозки. Армейские и фронтовые тылы заняты своими будничными делами, кажется очень далекими от того фронта, где идет война, рвутся снаряды, гибнут люди, где вдоль передовой линии окопов лениво гуляет ожиревшая смерть, где живем мы...

Крытый шевроле, не дав нам окончательно замерзнуть в пути, часа через четыре лихо затормозил на окраине Бачальмаша у подъезда большого трехэтажного здания. Внутри играла музыка, зеленели фикусы, порхали девушки-медички. Новая жизнь госпиталя, то биш офицерского дома отдыха, набирала обороты.

Чтобы слушать мои рассказы дальше, читатель должен нарисовать себе картину появления в захолустном провинциальном городке, откуда местные мужчины ушли воевать, целой своры только что спущенных с цепи здоровых молодых кобелей, по многу месяцев не видавших женщин... Нарисовали?.. Теперь слушайте, что там было в натуре.

В шестиместной палате я поселился последним и в ту же ночь обратил внимание: большинство кроватей (не смотря на существовавший в городе комендантский час) всю ночь тщетно дожидалось своих хозяев Лишь к утру мои новые друзья-приятели через форточки и окна пролезали в палаты и, не раздеваясь, проваливались в пьяный беспробудный сон.

Госпиталь набит сестричками-медицинками, а городок — их конкурентками — разновозрастными «модяр кишленд» (венгерками), тщетно ожидающими своих мужей и суженых с далеких фронтов...

Здесь на столе лежат передо мной
Короткие стихи из трех четверостиший.
Они написаны девицею рукой,
И вот что незнакомка пишет:
Чужие жены целовали Вас,
В их брачные постели Вы ложились,
Зато Вы смерть видали сотни раз
И тень ее над Вами вилась.
Вы упивались крепкою махоркой,
Вы задыхалися в дыму, в огне, в пыли,

И соль цвела на Ваших гимнастерках,
Когда у нас акации цвели.
И смерти рядом шли,
Шагали слева, справа,
Ты мне прости, но Вы имели право
На мимолетную солдатскую любовь...
Любовь солдатская, ты очень коротка,
Ты всех любовей ужасней и короче,
Ты слаще меда, тише ветерка,
Темней и глубже августовской ночи...
Пусть жен чужих кровати отскрипят,
И отзовенят шальные поцелуи
Про все забудется и Вам простят,
Когда мы мир и счастье завоюем!

К. Симонов (?)

Я совсем не хочу хоть в чем-нибудь опорочить ни медперсонал дома отдыха, ни женщин Бачальмаша. Ни Боже мой! Но,

Что было, то было,
Быльем поросло...

Просто в те дни я вращался в холостом офицерском кругу, внутрь которого добровольно тянулись женщины. Совсем не за деньги, а по зову души и тела. Мы все были молоды, открыты и беззаботно познавали мир.

Женщин было достаточно, а кое для кого даже слишком, ибо вскоре поползли слухи, будто в наше еду подмешивают порошок для снижения излишней потенции. Правда, большинству молодых кобелей все было хоть бы хны.

По ночам в придорожных канавах сладострастно и нахально надрывались лягушки. Им, как и нам, было не до войны.

Мы торопились жить.

Естественно, мало кто из нас приходил на завтрак. К обеду подавали сухое вино в больших хрустальных бокалах. Мы сидели за столами, сервированными всевозможными тарелками, тарелочками, ложками, вилками, ножичками. Это было неудобно и хотелось скорее в палату, где кто-нибудь всегда достанет из-под подушки бутылку первача, шмат сала и хлеб. Офицерские компании не просыпали.

Бачальмаш — тихий городок в левобережной равнинной Венгрии неподалеку от границы с Югославией, проскочил у меня так быстро, что сейчас не могу сообразить сколько дней продолжалась

та вакханалия: может быть три, а может быть пол месяца. Неужели все забыл? Нет... В закоулках памяти чуть просматривается полу-пустой дом. По палатам зrimо разливается вечерний сумрак. Все разошлись. У меня все еще ноет плечо. Я сижу в конце коридора и одной рукой подбираю на старинной физгармонии «собачий вальс». Неслышино подошла дежурная сестричка — худенькая, голубоглазая и белокурая. Она тоже из Ленинграда. Моя ровестница. Ей скучно. Мы неуклюже и нежно вспоминаем школу, город... Девушка по-детски скромна и непосредственна... За разговорами не-заметно пролетает полночи. Я вернулся в палату, когда там утихала вечерняя попойка. Случайно разговор перескочил на белокурую сестричку. «Эта та самая б...? Да я ее сейчас положу», — смело и нагло бросил оказавшийся рядом краснолампасный казак, из тех, что встречались нам под Будапештом.

Когда-то в кармане убитого немецкого офицера я нашел новенький дамский браунинг — заветную игрушку любого мальчишки-офицера. Мы спорили... На следующий день я расстался с пистолетом...

Сегодня я смотрю на трехлетнего внука Леньку. Ему попало за очередную проделку. Он плачет. Глаза полны слез. Кажется, нет на свете большего горя и страдания, чем у него. Я вынимаю из кармана конфету. Мгновение... и рот расплывается в улыбке, ни одной слезинки, глаза светятся радостью... Мое горе в Бачальмаше продолжалось два часа. К тому злополучному для нас времени то ли политгенералы поняли, что вместо благочинного дома отдыха создали офицерский неуправляемый бордель, то ли застопорилось наступление: Бачальмашский вертеп «приказал долго жить».

К вечеру вдоль подъезда дома отдыха выстроились заляпанные фронтовой грязью крытые шевроле. Накрапывал дождь. Из распахнутых настежь темных окон уже чужих палат выливался спертый дух холодного табачного дыма и самогонного перегара. Я не помню, чтобы нас кто-нибудь провожал. Мы молча увозили с собой девичьи фотографии, адреса, оставляя взамен память мимолетныхочных свиданий и славянскую кровь, которая по сей день, вероятно, течет в жилах некоторых потомков Аттил из Бачальмаша.

При выезде из городка дождь перестал. На западе от края до края сквозь обрывки тяжелых туч кровенел закат. Машины одна за другой выходили на грейдер и набирали скорость. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Ни шуток, ни смеха. **Мы знали, куда едем...**

И вечный бой. Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови.

Закат в крови! Из сердца кровь струится,
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет. Степная кобылица
Несется вскачь!

А. Блок

Разговоров о скором окончании войны я не помню.

Глава 7. ВЕСНА ПОБЕДЫ (Австрия)

О, весна без конца и без края —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя жизни! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

...

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах...

...

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно принимаю тебя!

А. Блок. 24 октября 1907 г.

В роту я вернулся в начале апреля. До ранения оставались считанные дни моей недавно начавшейся двадцать первой весны — дни тяжелейших кровопролитных, но победных боев Красной Армии.

«На каждого убитого немецкого солдата приходится пять наших» (из передачи телевидения в декабре 1990 г.).

Очевидно на такую тему весной сорок пятого года я не рассуждал.

Дивизия в наступлении. Боевые приказы лаконичны: не давать фашистам закрепиться! На плечах отступающего врага врываться в окопы! Уничтожать штыком и прикладом! Только вперед!

Но арьергарды немцев отходят медленно, оставляя коварные засады, минные поля, ловушки, куда сотнями попадают наши плохо обученные солдаты, подгоняемые сзади неумело-торопливыми приказами жадных до чинов генералов.

Немцы, планомерно оставляя хутор за хутором, уходят за «национальный редут» — границу рейха.

Мы последнее время почти не стреляем, а только меняем позиции, копаем окопы и хоронимся от появляющихся то там, то здесь немецких автоматчиков.

Раннее-раннее утро. Ночью прошел совсем летний дождь с грозой. Я иду один то ли по парку, то ли по дубовой роще. На разукрашенной солнечными зайчиками листве еще искрятся прозрачные капли. Беззаботный голосистый щебет не мешает утренней тишине царить в мире. Я смотрю наверх, на яркое небо. Оно все в ажурных переплетениях молодых листьев и веток. Покойно. Радостно. Все как в кино, не хватает только кареты со Штраусом:

«Сидели мы с тобой
В лесу,
Земля и небо
Пьют росу,
И птичий хор
Наперебой
Поет, поет
Для нас с тобой...»

Слева вдоль рощи тянется полуразрушенная каменная стена-забор. Я смотрю на карту: как сказали в штабе батальона, надо пройти вдоль забора до конца рощи. Там окопалась пехота. Нам поддерживать ее атаку... Вдруг спотыкаюсь... Труп. Под огромным дубом, уткнувшись головой в землю, лежит мокрый уже задубевший солдат с зажатой в руке саперной лопаткой. Невольно пячусь от забора... У соседнего дерева еще труп... Вокруг, чуть ли не под каждым деревом лежали мертвецы, а слева неподвижно, и от этого страшно, смотрят на них молчаливая замшелая стена. Там сидели (или сидят!) немцы. Они пропустили мимо разведчиков, а когда в рощу вошли пехотинцы, методично в упор расстреляли их...

Я отполз от стены и окольным путем пришел к намеченному на карте месту. Там никого не было. Роща с птицами и листвой напряженно молчала. Я вернулся в штаб батальона, не встретив по дороге ни одной живой души. Комбат отправил донесение в полк, выставили взвод прикрытия, разведчики ушли на поиски пропавших стрелковых рот. Лишь к полудню удалось полностью выяснить обстановку: в немецкую засаду попались солдаты соседнего полка. Наши стрелковые роты, услышав стрельбу в роще, решили, что там ведут бой соседи, прошли стороной и, зайдя в тыл немцам, сами того не зная, заставили их убраться восвояси.

Мы входим в предгорья Австрийских Альп. Пологие склоны холмов сплошь покрыты ухоженными виноградниками. На южных склонах лопнули почки, а кое-где появились первые листочки. На вкус они сладковатые и нестерпимо пахнут оживющей землей...

Немцы закрепились на косогоре. Оттуда слышна вялая и ленивая стрельба. Наша пехота медленно продвигается вперед. Вдвоем с командиром отделения связи мы подходим к богатому хутору. Во дворе разведчики выкатили бочку с вином и пытаются выбить дно. «Отойди!» Молоденький шустрый лейтенант — мой ровесник вскидывает автомат. Короткая очередь и... из бочки струйками калибра 8,2 мм на землю льется терпкое темно-красное вино. Все смеются, радостно подставляя котелки, кружки. В доме на столе «жратва»: разбитые банки с вареньем, среди них огрызки солдатских сухарей, куски сала, пустые бутылки из под самогона... Я прохожу в спальню. Там в низких комодах лежит белье. Сбрасываю с себя «споднее» и одеваю все чистое. Что-то теплое бумагой рву на портянки. Выхожу на двор. Разведчиков уже нет. Вокруг бочки винная лужа. Лишь нижняя пробоина еще еле сочтется. Можно наклонить бочку, но мне не надо. Это сделают тыловые службы. Привычно осматриваю местность. Выбираю дом, наиболее подходящий для наблюдений. Командира отделения посылаю к минометам «тянуть провод». В доме никого. Хозяева видно убегали в попыхах. На обеденном столе неубранная посуда. В чашках недопитый компот. На кухне аккуратно выстроились банки с консервированными сливами, яблоками. Стеклянные крышки с резиновыми прокладками плотно присосались к банкам. Их приходится отбивать и, чтобы не наглотаться стекол, полбанки варенья выбрасывать на пол. Пробую одну, другую банку. Затем лезу на чердак. Черепица кое-где осыпалась. Выбираю место, обращенное к немцам, аккуратно вынимаю две черепицы на уровне глаз, устраиваю вокруг себя барrikаду из разной рухляди. Одну на другую ставлю тяжелые корзины с настоящим, покрытым слоем

красного перца, венгерским салом и колбасами. Потом снизу приношу хлеб, компоты... Жизнь прекрасна... Тепло... Тишина... Лишь где-то привычно глухими далекими раскатами бьет тяжелая артиллерия, да нет-нет и чекнёт по крыше шальная пуля. Мне двадцать лет. Здоровые пышет изо всех клеточек. Золотое время! Я отстегиваю правый рукав гимнастерки. Задираю его до локтя. Вся рука обвешена часиками: мужские, маленькие, большие, ходящие, стоячие, золоченные, никелированные... Кто был в пехоте тех дней, тот знает, что часы среди нас были главной престижной ценностью, да у офицеров еще пистолеты. У меня «валтер». Из него я на спор с десяти шагов попадаю в дамские ручные часы! Свой «валтер» я не променяю ни на какой «парабеллум». Но главное — часы...

Связистов нет. Я, любуюсь, завожу часики, кручу стрелки. Потом спускаюсь вниз. Там обосновались чьи-то солдаты. «Лейтенант, на!» — солдат протягивает мне кружку самогона. А я не хочу. «Так ти кто?» — «С минометной роты.» — «А, самоварщики! В ямі сидить и яму рое!» Солдаты дружно и беззлобно смеются. Я выхожу во двор и уже оттуда слышу, как бывалый солдат говорит собратьям: «Соложен еще, молоко на губах не обсохло, ...а ну, налей!»

Мне не надо затуманивать голову. Тело, само того не осознавая, радуется жизни, свету, солнцу!

Наконец, появляется сержант. За ним, сгорбившись тянет катушку телефонист. На всякий случай я спрашиваю: «Нет ли на косогоре наших?» — «Еще нет». Мы начинаем пристрелку целей. Это одиночные деревья, амбары, сараи, изредка брошенные хозяевами хутора.

Умирать в такое время мало кто хочет; и продвижение вперед еле заметно. Вечереет. Поле боя устало замирает. И только торжественно-тихие похоронные костры-свечки над подожженными сенными амбарами, да строчки трассирующих пуль напоминают о войне.

С утра атака. Одна... другая..., убитые..., раненые... Наконец, немецкий заслон сброшен. Мы уходим вперед.

Пехота тает на глазах. Множатся могильные холмики на равнинах Западной Венгрии, летит горе на крыльях белых похоронок в далекую Россию... Еще два-три боя, и от пехоты нашей дивизии опять останутся «рожки до ножки».

А теперь, дорогой читатель, давай посмотрим, как ко всему этому в те дни относились «прославленные советские

военначальники». Почитаем, например, мемуары командира 20-го корпуса генерала Бирюкова.

«Чиковани (заместитель по полит. части корпуса — Б. М.) рассказал, что настроение в наших частях отличное, все рвутся в решительный бой... Беспокоятся, что дивизия так и останется на охране флага, пока другие будут штурмовать Вену» (Н. И. Бирюков. Трудная наука побеждать. М., Изд-во Минобороны СССР, 1968, с. 241).

Далее генерал размышляет: «Передышка, конечно, нужна, однако, не знаю, как мои товарищи, но я подумал: «Как бы не прийти нам в Вену к шапочному разбору» (Там же, с. 241).

Обратите внимание, генерал не думает, сколько человеческих жизней будет стоить нам штурм уже обреченной Вены, сколько страданий он — генерал — принесет в деревни и города России, сколько семей пустит по миру, скольких детей оставит сиротами. Нет! Главное, поживиться чем-нибудь в Вене. Зачем знать генералу, что его «шапки» будут густо пропитаны солдатской кровью. Посмотрите на фотографии военных генералов, до пупов увешанных орденами и медалями и прочтите в тех же мемуарах:

«В конце войны в дивизии оказалось много заслуженных воинов, но не отмеченных никакими наградами. Например, у командира роты старшего лейтенанта Н. Н. Зарянова было шесть красных и желтых нашивок на груди. Шесть ранений, а награды — ни одной!» (стр. 7).

Как говориться: «ни стыда, ни совести». Ну, да Бог с ними, с генералами.

У нас долгожданная для оставшихся в живых весть: полк отводят на переформировку.

Нас моют, прожаривают. Мы стираем, сушим пропахшую сырьем кислым потом одежду, ходим в полный рост, спим раздеваясь, видим женщин...

С тех дней, с той переформировкой мне запомнилось одно построение части. И не так построение, как зачитанный перед строем полка приказ по третьему украинскому фронту (он, очевидно, сохранился в фронтовых архивах за первую половину апреля 1945 г.).

Группа солдат аэродромного обслуживания самовольно покинула полевой аэродром. В одном из мадьярских сел солдаты напились, зверски всей командой изнасиловали хозяйку дома, забили в нее кол и еще живую выбросили из окна, а сами продолжали пьянку и стрельбу по собравшимся под окнами мирным жителям.

После того построения, помню, был концерт дивизионной агитбригады. Тощий солдат пел:

«...Только белая ночь трепетала
Над Литейным мостом кружевным.

Там под вечер
Тихо плещет
Невская волна,
Ленинград мой,
Милый брат мой,
Родина моя...»

Я слушал, а из головы не выходил только что зачитанный приказ.
Ну, напились, ну, изнасиловали... а зачем в живую женщину заби-
вать кол?.. Это не укладывалось в моей еще юношеской голове.

АВСТРИЯ

4 апреля 1945 года Советские войска прорвали «южный национальный редут» нацистского рейха и вошли в Австрию. Во что обошелся нам этот прорыв — не знаю. Мы шли вторым эшелоном и австро-венгерскую границу не заметили. О том, что мы уже в Австрии, я узнал совершенно случайно. Наш полк проходил походной колонной небольшой уютный и чистенький городок (поселок). Я шел сбоку по панели и обратил внимание на зачем-то вывешенные из многих окон красно-белые тряпки. Одна из них висела на уровне моих глаз. Я остановился. Пощупал: как раз на две портянки, и захватил с собой. На привале, когда я переобувался, подошел партторг и объяснил, что это австрийский флаг. Местные жители вывешивают флаги, выражая тем самым лояльность к Красной Армии.

Южная Австрия запомнилась мне театрально-игрушечной красотой сел и сытым довольством их жителей. Гряды высоких холмов, поросшие густым лиственным лесом, опрятные чистенькие села с неизменным распятием при въезде, часто изрешеченным автоматными очередями наших солдат, обязательный кирпичный костел в центре села, откомленные бургеры в шортах и богообязанные католички-австрийки в длиннополых юбках.

Как следует из сохранившейся у меня «сотки» листа L-33-41 — Лейбниц, наш полк, пройдя вторым эшелоном по Австрии километров пятьдесят, с ходу вступил в бой только под Штраденом.

ШТРАДЕН — это первый в Австрии не разграбленный населенный пункт, доставшийся нашему полку. До этого мы неделю, а может быть и две находились в тылу и кто как мог свои «трофеи» отправляли посылками по домашним адресам. Поэтому, захватив Штаден, мало кому хотелось уходить отсюда с пустыми вещмешками.

15 апреля 1945 года. Пехота закрепилась вдоль западной окраины Штадена. Грешнов же выбрал позицию нашей минометной роте на восточной — в цветущем яблоневом саду.

Я ушел в пехоту выбирать наблюдательный пункт. Очень хорошо помню большой двухэтажный дом в центре поселка. Весь нижний этаж его занимал универмаг, куда, не глядя на немцев, устремились «паломники» со всех родов войск и тыловых служб — там «трофеи».

Я с телефонистами дотянул туда провод уже к «шапочному разбору». Поэтому, немного потолкавшись около разграбленных витрин и прилавков, поднялся на верхний этаж и принялся оборудовать НП. Со стороны немцев совсем близко к поселку подходил лесистый хребет — видимости никакой и стрелять некуда.

Обращенная к немцам комната, где я обосновался, была богато обставлена. Похоже, что в ней еще никто не побывал. Хозяин убегал в спешке. В одном из шкафов мне приглянулась новенькая шинель черного кастрюлевого сукна с одним (эсэсовским) крученым погоном. Померил. Шинель была будто с моего плеча. Телефонист остался налаживать связь, а я, не снимая шинели, спустился вниз в бункер. Мое появление в форме высокого чина «СС» (может быть и генерала) было воспринято солдатами, как сейчас говорят, неоднозначно. Многие с испугом шарахались в сторону, другие инстинктивно принимали почтительную стойку, а, узнав в чем дело, с осуждением отходили в сторону. Мое детское озорство ни у кого не вызвало естественного веселья или даже улыбки. Почти все солдаты в недавнем прошлом имели дело с истинными владельцами подобных шинелей и у каждого было что вспомнить.

Время подходило к обеду. Ординарец из роты принес кастрюлю настоящих кислых щей. На их ядрено-русский запах подошел Васька, командир стрелковой роты, кажется, единственный оставшийся в роте офицер.

— Подожди, у меня есть. — Васька ушел за шнапсом, а я поднялся наверх, позвал телефониста. Потом вернулся в бункер, наломал хлеб, достал ложку и в предвкушении вкусной еды совсем забыл о немцах... Но не забыли о нас они.

Сутолока у магазина не прошла даром. Первый тяжелый снаряд ударили в основание цокольного этажа. Дом, стоявший здесь не один десяток, а может быть и сотню лет, вздрогнул и, испустив пыльный дух, весь утонул в густом облаке тонкой белой извести. Реакция солдат была мгновенна и разнообразна. Я же навалился на

заветную кастрюлю, стараясь плотно закрыть ее полами генеральской шинели. Второй снаряд угодил в комнату верхнего этажа, где все еще возился телефонист. Как я потом узнал, его буквально разорвало на куски. Но в тот момент было не до него. Немцы били точно прямой наводкой и с близкого расстояния. Вокруг стоял грохот, треск и звон от рвущихся снарядов, ломающихся досок и бьющихся стекол. Выбрав паузу, я выскочил наружу. Дверь из универмага выходила в наш тыл. Okolo нее толпились люди. Васька с поднятым автоматом открыто стоял на противоположной стороне улицы у каменного забора и короткими очередями вверх, а больше отборным матом встречал бегущих с передовой солдат. Те, наткнувшись на Васькин автомат, поворачивали к нам и исчезали в бункере под домом. Вскоре там набралось человек тридцать — почти вся Васькина рота.

Что было дальше, я опять-таки помню в мельчайших подробностях. Вероятно, вся кровь шла в мозг, стимулируя его на поиски оптимального выхода из создавшегося положения.

У входа в универмаг на улице нас осталось человек пять. Все они сейчас стоят передо мной: грузный большой старшина со свертком барахла под мышкой, молоденький щуплый ефрейтор — молдаванин — комсорг роты, коренастый артиллерист-наблюдатель... все мы были либо коммунистами, либо комсомольцами и знали: пехоты впереди нет; после артподготовки немцы придут к бункеру: «*Hände hoch!*» Под дулами немецких автоматов солдаты выйдут наружу, сдадут оружие и строем вернутся к менее опасной, многим из них хорошо знакомой жизни военнопленного. Коммунисты и комсомольцы будут расстреляны «без суда и следствия». Никто из нас не сомневался, что среди сидящих в бункере найдутся — и не один, кто прямо покажет пальцем: этот коммунист, этот комсомолец.

Для спасения у нас оставался один выход: точно определить конец артподготовки и, не дожидаясь немцев, убежать к своим.

«Сними шинель», — сказал старшина, — «а то свои же подстрелят». Мне было жаль расставаться с такой ценностью. Но «сорочка» рассудила иначе. Я снял, свернул и спрятал шинель за бочку (захвачу с собой).

Немцы продолжали вести артобстрел, но как-то вяло и разбросано. Я решил рискнуть и подался к выходу. И, как всегда бывает: «человек предполагает — Бог располагает». Шальная мина, пущенная, вероятно, из-за хребта, перелетела наш дом и разорвалась в основании забора, где все еще стоял Васька. Взрывной волной нас отбросило к стенке и обсыпало градом осколков. Первым в

глубине прохода закричал старшина. «Добыча» выпала из рук и он обеими руками схватился за глаза. С криком о помощи с перебитой рукой упал комсорг. Артиллерист схватился за живот. Меня же, будто заговоренного от смерти, осколки не тронули. Кто-то выскочил из бункера..., кого-то потащили вниз... Напротив в луже крови лежал Васька. Я бросился к нему и тут же почувствовал, что в сапоге неприятно хлюпает вода. Откуда? Сунул руку за голенище — кровь! Тонкой струйкой кровь текла по ноге. Ранен! Со стороны немцев послышались автоматные очереди — надо бежать! Боль в ногах я почувствовал только у минометных окопов. Солдаты обмыли раны, перевязали их. Правая нога распухла и уже не сгибалась в колене. Меня уложили в набитую сеном повозку и также, как в свое время Юрку Нурка, увезли в батальонную санпроту.

В санпроте раненных было немного. Знакомый капитан, отдав распоряжение о подготовке документов для отправки меня в дивизионный медсанбат, сам принялся осматривать раны. Ноги были все измазаны кровью. Бинты успели присохнуть и отдирались с

Справка

дана лейтенанту Михаилу
лову. Борису Михайловичу
в том, что он был ранен
15 апреля 1945 г.

д-з: слепое окошко

разрешение на табак № 3

Бедра.

Справка 1288 сн

Майор Ч. Симонянц -

15 апреля 1945 года. Фотокопия справки о ранении.

трудом. Вместе с бинтами капитан пинцетом вытащил из-под кожи несколько осколков. Занятие, вероятно, доставляло ему удовольствие и, нащупав в мясе крупный осколок, сказал:

— Хочешь, я тебе его вырежу. Это пустяк.

Рядом стояли сестрички...

— Давай.

Помню, я сидел на стуле то ли в палатке, то ли на улице? Наверное в палатке, хотя в памяти сохранилось небо и мягкая весенняя листва. На глазах сестричек мне пришлось спустить галифе ниже колен... Несколько уколов... Капитан привычным движением, сантиметрах в трех от входного отверстия сделал надрез. Сестра не успевала подавать инструменты, собирать ватным тампоном кровь, и она капала на землю. Капитан подключил меня. Я то держал инструмент, то отгонял мух. Наконец, капитан подцепил и вытащил занозистый кусок немецкого железа: «На!»

— Ну, а остальные осколки — мелочь, сами вылезут наружу, а если и останутся в тебе, то мешать не будут, — напутствовал меня капитан. И действительно, когда после ранения я первый раз пошел в баню, то вытащил из-под кожи около десятка мелких железных заноз. Да и потом в течение нескольких лет нет-нет да и вскочит гнойная болячка на левом боку. Надавишь, а в гнойной капсюле царапает палец железячка. Долго гноился лишь осколок выше лодыжки, от которого остался синий несмываемый уже пятьдесят лет след. Может быть, до сих пор сидит во мне железо с заводов Круппа?

Вскоре наши пошли вперед. В санроту потянулись раненные. Медикам и медичкам стало не до меня. И я, улучив момент, еще прихрамывая, залез в кузов полуторки, шедшей на передовую, и был таков. Моего исчезновения, вероятно, никто и не заметил.

В штабе батальона меня встретил молодой высокий и чубатый начальник штаба — Шрамченко. Он еще ходил в капитанских погонах, но был уже майором. Первым делом я спросил о Мишке: «Его в тот же день, что и тебя отправили в госпиталь».

Мишка Дмитриев, о котором я уже не раз упоминал, появился в нашем батальоне на Днестре чуть позже меня и с небольшими отлучками в госпиталь тащил лямку ответственного за отсутствие в нужный момент связи штаба батальона с пехотными ротами или с полком. Мы тянулись друг к другу, хотя и встречались только в перерывах между боями, обычно радостно приветствуя стандартной фразой: «Ты еще жив?!» На что другой отвечал: «Сначала ты, а потом уж я!» **15 апреля мы оба оказались правыми.** Когда я, уже раненный бежал из универмага, Мишка вблизи штаба батальона

проходил мимо дерева, на котором висел автомат, и случайно зацепил его плечом. Автомат упал, ударился тыльной стороной ложа о землю и самопроизвольно выпустил очередь. Пули попали Мишке в левую руку, перебив сухожилья и нервы. Уезжая, он оставил мне адрес: Стерлитамак, Белибееевская, 8. Лишь в марте 1991 года (спасибо газете «Стерлитамакский рабочий») я получил письмо от его сестры:

«К сожалению, вынуждена вам сообщить, что Михаил умер 28 апреля 1978 года. Смерть у него была тяжелой. Он болел парезом левого участка тела. Последние дни жизни был прикован к постели...» — эхо войны.

Шрамченко рассказал и о другом.

Последние несколько дней батальон вел непрерывные бои в заlesенных отрогах Штирийских Альп. Потери большие. Убит комбат. Приданная батальону батарея сорокопяток оказалась без офицера с единственной «Прощай Родиной». В миротрое ранен Гречнов, из запаса после госпиталя пришли два новых офицера: один артиллерист, другой пулеметчик. В стрелковых ротах — еще хуже...

— А ты из сорокопяток стрелял?

— В училище проходили.

— Возвращайся к себе в роту и забирай пушку.

Вот таким образом в батальоне образовалась сборная «пушко-минометная» рота. Я принял командование ею.

Полк на последнем издыхании продолжал наступать. Мы уже давно вклинились в американскую зону оккупации Австрии. Казалось бы, остановись! Подумай о людях. Подожди американцев. Но, нет! Вперед! Вперед! Захватить как можно больше. И пехота лезла на крутые склоны. В лоб! «Пуля — дура, штык — молодец!»

Перед дивизией поставлена задача: зайти с тыла, форсировать Мур, атаковать Санкт-Маргаретхен и ворваться в Вильдон. Дальше наступать на Грац. Взять Грац до прихода американцев!

Это было уже под самый Первомай. Нашему командованию, вероятно, очень хотелось подарить Сталину к празднику Грац — второй по величине после Вены австрийский город.

Откуда мне знать, во что обошлась дивизии, фронту эта начальственная прихоть? От тех дней короткого окровавленного пути к Грацу в памяти сохранились лишь внезапные разрывы снарядов в весенних оживающих лесах, молчаливая смерть молодой беззащитной поросли, визг осколков, внезапная непонятная тишина, а за ней истощный мат и не то глухой стон, не то утробный далекий вой: Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!

Пехота пошла? Нет? — Нет! Со своего наблюдательного пункта я и без бинокля вижу, как поредевшие серые шинели не дойдя до гребня, молча скатываются вниз, назад.

От нас — минометчиков — помохи, как от козла молока: мины будто проваливаются в листву раскидистых ясеней, дубов и не уследишь, где они рвутся. А, впрочем, и немцев, зарывшихся в землю по лесным опушкам, не видать.

Только пехота. Только кровью!

Наконец, измотанные остатки стрелковых рот все-таки закрепляются на гребне. Минометы меняют позиции. Пушку на руках по корявой разбитой колее затаскиваем на очередной гребень. Еще километр... два... Новые ориентиры... цели. Горят дома. Корчатся в огне пробудившиеся к жизни деревья. Медленно сползают вниз по разбитым лесным дорогам тяжело груженные горем санитарные телеги. Еще... Еще... Вон за той горой должна открыться широкая долина Мура...

Но подымать в атаку уже некого и некому. В те первомайские солнечные по летнему теплые дни наш полк выдохся. Окопаться! Занять оборону!

Наконец-то. Слава Богу! Еще раз пронесло. Мы, живые, устало и радостно смотрим друг на друга. Сколько нас осталось? Кого нет? Из штаба пришел слух: нас будут сменять гвардейцы и штрафники. Грац надо взять до прихода американцев. А пока — копать!

Весна. Молодость. День-два, и мы уже совсем другие. Все забыто, и наши молодые глаза совсем иначе смотрят вокруг. Благодатные дни!

И к самому горлу весна подступила,
И я захлебнулся огромной весною.

В. Санчук

Полк прочно оседлал гребень хребта к северу от Штадена. Наш второй батальон занял позиции на западном склоне хребта между селами Баасен и Круддорф.

Минометная рота обосновалась в небольшом баузерском хуторе. Я поселился в комнате окнами на немцев. Солдаты в задней половине дома. Во дворе за сараями установили минометы. Окоп для сорокопятки оборудовали чуть поодаль около бани, замаскировав пушку копной прошлогоднего сена, пристреляли мельницу в Баасене. Семья баузера, как вскоре оказалась, хоть и покинула родной дом, но от добра своего отказываться не собиралась. Уже на следующий день ни свет, ни заря на дворе нашего дома появились две дородные молодухи — австриячки, дочери хозяина. Из окна я обратил внимание на солдат, буквально прилипших к австрийским Mädchen. «Медхены», игриво отбиваясь от солдат, широко улыба-

лись и беспечно болтали с ними, как с давними знакомыми. Помню, позавидовал солдатам, свободно разговаривавшим по-немецки.

При моем появлении настырные молодухи слегка поумолкли, а потом вновь распустили языки: «Разве могут русские воевать? Они ж все ленивые. Отец взял в хозяйство двух арбайтеров, так они только спали да ели. Никакого проку. На себя не зарабатывали!»

В хлеву замычала корова. Одна из австриячек, что помоложе, привычно достала подойник и вскоре появилась из хлева с молоком. Солдаты с батальонной кухни принесли нашу еду, хлеб, и только все сели за стол, как из полка пришли автоматчики и к общему неудовольствию прогнали непрошеных посетительниц. Вечером солдат и меня допрашивали в СМЕРШ. Там решили, что австриячки — шпионки.

Мы остались без женского общества. Но все равно жизнь совсем мирная и молодая била ключом. Всего несколько дней оставалось до 8 мая, а происшествий и воспоминаний — уйма. Казалось бы нужен минимум месяц, чтобы столько натворить, но мы торопились.

В тот же день, когда прогнали наших медхен, я нашел клад, обратив внимание на слабо утоптанную землю у порога дома: щуп звякнул о стекло. С глубины 30—40 см мы извлекли несколько бутылок первача-кальгадоса, деревянную шкатулку с завернутыми в тряпку часами, медными позолоченными кольцами и другой дешевой бижутерией, какие-то тряпки.

Кальгадос выпили. Показалось мало. Ротный писарь, бывший директор Балгинского спиртзавода, что на «Щирой Україні», вызвался организовать производство более вкусного и крепкого зелья.

Частной инициативы и энергии у солдат в обороне хоть отбавляй. И уже на вторую ночь к бане, стоявшей около нашей пушки, двое кастрированных меланхоликов-быков приволокли огромную телегу с бочками сидра (виноград в тех местах не разводят). В бане появился фирменный самогонный аппарат. К утру мне на пробу доставили бутылку еще теплого первача.

Переводить сидр на кальгадос — дело не хитрое, и вскореочные бани задымили по всей линии советско-германского фронта (по крайней мере на нашем участке). По полку последовал строжайший приказ, запрещающий самогоноварение. Во втором батальоне негласное исключение было предоставлено только мне, как единственному непьющему офицеру. Гордый таким доверием начальства, я разделил роту на две части. Одна дежурила у минометов, другая... ночью гнала самогон и пила, а днем пила, горланила песни и спала. Бутылки самогона стояли у меня в комнате в

кованном сундуке (наподобие наших русских деревенских). Я раздавал их по записям и телефонным звонкам сверху, естественно, не забывая друзей.

Надоенное австриячками парное молоко солдатам понравилось. Нашлись специалисты... Наши коровы сами по утру спускались вниз к реке на нейтральную полосу и паслись там, не признавая линии фронта. Ни немцы, ни мы их не стреляли. В полдень наши коровы шли доиться к нам, фашистские — к немцам.

В общем в начале мая 1945 года в Австрии к югу от Гарца шла не война, а черт-те что!

Ко всему прочему, вскоре немецкие части, стоявшие против нас, были заменены полуразложившимися мадьярами, а боеспособные подразделения вермахта ушли на север, где наши правые соседи наконец-то прорвали фронт и в американской зоне оккупации штурмовали Грац. Командование оставался последний шанс получить очередную звезду, очередной просвет на погоны... Нам же лезть на хорошо укрепленные горные склоны, где сидит хоть и деморализованный, но все же враг, было полным безрассудством. Начальство рвало и метало.

А тем временем полковые разведчики связались с мадьярами и протянули телефонный кабель прямо на КП командира мадьярского батальона. Начались переговоры о сдаче в плен. Появилась возможность без потерь открыть фронт. Мадьяры вроде бы и соглашались (особенно солдаты), но боязнь Сибири и многолетняя вполне обоснованная пропаганда делали свое дело.

Стрельба на передовой практически прекратилась. Хорошо помню совсем летний солнечный день шестого мая. Я возвращался из штаба батальона в роскошном подрессоренном фаэтоне. Породистый каурой масти рысак легко бежал по мягкой полевой дороге вдоль опушки леса на виду у фашистов. Все вокруг беззаботно дышало летом и покоем. Вдруг ни с того, ни с сего по фаэтону полоснул длинной злобной очередью крупнокалиберный пулемет. У мадьяров таких пулеметов не было. Подбитый рысак взвился на дыбы и прынул в сторону. Я вылетел из сидения в придорожные кусты. Ездовой, запутавшись в шлейках и постромках, с облучка свалился под задние ноги коня. Фаэтон, конь, ездовой, полетели под откос. Я же, весь перецарапанный, с синяками, застрял в ветках огромного куста. Пулемет еще некоторое время продолжал прицельно бить по фаэтону. Потом все также внезапно стихло. Быстро-течная история с фаэтоном произошла на виду у всего батальона. И каково было удивление солдат, когда я, чуть прихрамывая, как ни в чем не бывало появился на позиции!

Это было началом.

Оказывается немцы, разнюхав предполагаемую измену мадьяр, в ночь на 6 мая сняли их с передовой. Перед нами заняли позиции остатки какой-то недобитой эсэсовской дивизии и власовцы. Им терять нечего!

Дальше тянуть резину было нельзя и вечером в штабе батальона нам зачитали приказ о «решительном наступлении». Предстоял бой. Бой бессмысленный, заранее обреченный на неудачу. Но — надо! Надо кровью пехоты опередить американцев, не спеша подходивших с запада к правому берегу Мура.

ЗАЧЕМ? Мы не спрашивали — нам не говорили...

С тех дней у меня сохранился оригинал «совершенно секретного» произведения майора Шрамченко, к тому времени ставшем начальником штаба 1288 сп.

сов. секретно

Экз. 7

Таблица
сигналов взаимодействия
на период проведения разведки боем 7.5.45 г.

	Телефон	Радио	Световые
1. Начало артиллерийского налета	Буря	999	3 красные ракеты
2. Занял исходное положение	Звезда		
3. Начало атаки Р.О.	Ураган	111	2 красные ракеты
4. Противник начал отход	Заря	222	1 красная 1 белая ракеты
5. Разведотряд вышел на рубеж Круидорф-Ваасен	Море	888	серия красных ракет
6. Противник оказывает сопротивление из района (координаты)	Дождь	333	1 белая ракета в сторону цели
7. Частям перейти к преследованию противника	Ветер	555	серия белых ракет

Начальник штаба 1288 сп. подпись

майор /Шрамченко/
6.5.45 г.

К сожалению, на следующий день все пошло через «пень-колоду». Полковые разведчики с утра напоролись на минное поле и еле унесли ноги. Естественно никто никаких ракет не посыпал, и тщательно разработанная Шрамченко операция провалилась.

КОНЕЦ ВОЙНЫ

Вечером того же 7 мая 1945 года в штаб батальона нагрянуло начальство. Сегодня, через пятьдесят лет пытаюсь вспомнить, какими же они были, эти часы? Помню. Хорошо помню, и не могу поверить: разве могло быть так? Было.

«В 2 часа 30 минут 7 мая генерал Йодль по поручению преемника Гитлера гросс-адмирала Деница «от имени германского главного командования подписал условия капитуляции» (А. М. Самсонов. Крах фашистской агрессии 1939—1945. М., Наука, 1980. 727 с.).

В тот же день

«в 12 часов 45 минут имперский министр граф Шверин фон Крозинг объявил немецкому народу о безоговорочной капитуляции Германии» (А. М. Самсонов, стр. 687).

Но 7 и 8 мая в моем близком окружении никто ничего об этом не знал: СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ! ВПЕРЕД НА ЗАПАД! УБЕЙ НЕМЦА!!!

В штабной землянке обычный мат, табачный дым, угрозы за срыв наступления... Приказ: утром 8 мая после артподготовки — ВПЕРЕД!

Утро 8 мая 1945 года.

Спать в ту короткую майскую ночь не пришлось. Как только чуть стемнело, обозные быки, перевалив хребет, затачили на позиции две подводы мин и снаряды к пушке. Не успели мы разгрузить снарядные ящики и ввинтить в мины взрыватели, как на мельнице уже закричали первые петухи. Услышав их, забрезжил ранний рассвет. Тишина... Я тормошу солдат, в полу值得一 сидящих у минометов. Сейчас начнется!..

Откуда-то сбоку, перелетев хребет, появилось игрушечное эхо далекого выстрела. За ним в еще сонном небе нехотя прошипела мина. Разрыв!..

Началось! По мельнице, по крайним домам Ваасена, по Курсдорфу ударили тяжелые пролковые минометы. За ними — приданный полку артиллерия и, наконец, наши «самовары». Мельница утонула в пыли и дыму. Минут сорок уже взаправдашнее эхо взад-вперед каталось по долине, наводя страх и ужас на откормленных бауэрских коров и прочую живность. Немцы не отвечали. За артподготовкой пехота вышла из окопов молча без стрельбы. Вскоре поступило донесение: батальон форсировал речку и оседал дорогу Ваасен—Курсдорф. Мы перенесли огонь в глубь обороны немцев. Пришел приказ менять позиции в район мельницы. Я послал связного за лошадьми и быками. Все шло по плану, вплоть до разноцветных ракет. Но, как недавно сказала Тэтчер, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Внезапно замолкшая было пойма взорвалась пулеметной стрельбой. Немцы, выйдя двумя группами из Курсдорфа и Ваасена, отрезали нашу пехоту от реки и ударили ей в тыл. Между нами и немцами — голый склон и никого. Перед бауэрскими домами я выставляю боевое охранение, посылаю связного в штаб батальона. Ждем...

Танки!.. Танки!.. Этот панический крик застал нас врасплох. Где танки? Какие танки?! Я бросился к пушке. Никаких танков. Вокруг над всем полем стоит сплошной гул. С обеих сторон бьет далекая тяжелая артиллерия. Куда бьет — сама не знает. Потери от нее минимальные. Одна польза — наводить страх на слабонервных. На голом склоне, в пойме речки, на другой ее стороне внезапно появляются облачки пыли, будто Гулливер-невидимка идет и наступает на «жабьи бани».

Про танки кричали солдаты ни весть как появившиеся с передовой. Прицелом-полубиноклем я, отпустив стопор, шарю по дороге: пусто... пусто... рядом с мельницей что-то дернулось. Танк! Его темно-серая башня чуть возвышается над развалившейся копней сена. Охотничий азарт охватил тело. Только бы не промахнуться:

— Давай подкалиберный!

Обе руки, как на учебных стрельбах, цепко впились в поворотные рукоятки. Под правой ладонью упрямо пузырится деревянная кнопка спуска. Глазницу плотно облегает резиновый наглазник окуляра. Огонь! Одновременно с выстрелом я отбрасываю голову назад и снова прижимаюсь к окуляру прицела. Танковая башня поворачивается и вот ее увеличенная во много раз пушка смотрит прямо на меня. Я ловлю башню в перекрестье. Чуть выше. Огонь!..

Мне казалось (да и сейчас кажется), что я видел яркую вспышку, выскочившую из орудия немецкого танка. А может быть и нет. Оттолкнувшись обеими ногами от станицы, я головой вниз нырнул в боковой окоп одновременно с разрывом немецкого снаряда...

9 мая 1945 года

Я проснулся (а может быть очнулся) от визгливых женских криков. Они назойливо били по темени. Голова гудела, вокруг пахло рвотой. Я лежал раздетый на простыне под пикейным одеялом. Все тело было будто не мое. Открывать глаза не хотелось, но в конце концов пришлось. Огромная медсанбатовская палатка человек на тридцать. Посередине около выхода в окружении медсестер стоял медсанбатовский горбоносый врач-капитан. Он размахивал

руками и широко открывал рот — наверное кричал. Сестры прыгали и смеялись. На меня никто не обращал внимания. От всего этого, помню, захотелось домой, к маме.

Потом меня снова начало рвать. Наконец, пришла сестра, привычно подставила таз, прокричала в ухо: «Кончилась война!» — и ушла радоваться. Хотелось пить, но сестры куда-то пропали. На кроватях молчали тяжелораненые и только на соседней койке в бреду умирал солдат...

Который час? Рука, недавно увешанная часиками, перевязана и пуста. Через бинты кое-где просочилась кровь. Кровь запеклась в правом ухе и на подушке. Под тонким одеялом холодно, но боль в колене не позволяет свернуться калачиком. Плохо.

К вечеру поднялась температура, начался малярийный озноб... Помню женщину-врача, уколы, горький вкус хины...

Судя по всему, в медсанбате я пробыл не долго — дней пять-шесть. Как только поднялся на еще ватные ноги, залез в кузов машины и был таков... На прощание врач, взглянув в правое ухо, причмокнул и сказал: «Ничего, до свадьбы зарастет, слышать будешь, доживешь до старости — вспомнишь». Дожил. Вспомнил. **Уже год, как ухо практически не слышит.**

Наш полк воевал до 11 мая, после чего началась массовая сдача немцев в плен.

Часть V. ЭПИЛОГ

1. Пешком в Россию. 2. Румыния 1945—1946 годов.
 3. «За пьянку и моральное разложение...». 4. Эхо войны.
-
-

Глава 1. ПЕШКОМ В РОССИЮ

После той злополучной встречи с немецким танком недели две, а то и больше я не мог прийти в себя. Тянулись головные боли, сочилась разорванная барабанная перепонка, ныли кости и вообще слабо шевелились мозги. Куда мы шли?.. Что делали?..

Более или менее я пришел в себя только к началу июня на окраине Граца, вблизи моста через Мур, по которому проходила граница между американскими и советскими войсками. Здесь наш полк занял бараки брошенного пересыльного лагеря: два ряда колючей проволоки, солдатам выход в город запрещен, офицеры имеют право на краткие увольнительные.

Сорочка взялась за дело, и я быстро пошел на поправку.

На лагерной помойке громоздились кучи вполне пригодных для перелицовки иностранных шинелей из тонкого сукна. Ротный портной сшил мне офицерский китель. На нем заблестели золотые погоны из рясы католического ксенза с артиллерийскими эмблемами и уже двумя звездочками. Нам выдали оккупационные шиллинги.

Двадцать первая весна набрала обороты и я, забыв о ранении и контузии, щеголял по Грацу, соря шиллингами и заглядываясь на медхен.

С обеих сторон моста стояли будки: там — американская, здесь — наша. Через мост шел прием «перемещенных лиц» (интернированных, угнанных, перебежавших, плленных и пр.) — всех советских людей, Бог весть какими путями оказавшихся в американской зоне оккупации. Они — совсем чужие — группками, а чаще в одиночку шли по асфальту мимо нашей колючей проволоки в неизвестность своей Родины. Эта неизвестность (лагерь для

перемещенных лиц, тоже предусмотрительно обнесенный колючей проволокой и охраняемый автоматчиками) располагался километрах в 2—3 от моста.

Шли женщины с открытыми завитыми волосами, не повязанные по-русски косынкам, в длинных и пестрых на немецкий покрой платьях, с ридикюлями, сумочками. Многие мужчины тащили тяжело нагруженные немецкие рюкзаки, тележки с различным скрапом («в хозяйстве сгодится»). В деталях не помню свое отношение к этой разношерстной толпе, но желания сблизиться, поговорить точно не было. Наоборот их одежда, накрашенные губы, сырый вид, резко контрастирующие с моей голодной ободранной Родиной, вызывали чувство неприязни. Не последнее слово было и за политработниками, внушавшими на политзанятиях, что среди принимаемых много «власовцев», полицаев и других предателей Родины. Наверное поэтому, когда нашей роте отдали приказ занять позиции и подготовить огни по лагерю (на случай, если там взбунтуются «перемещенные лица»), мы это сделали без единой мысли сомнения и не задумываясь выполнили бы этот приказ.

Только сейчас на склоне лет под влиянием очень неравноценной отрывочной литературы, потоком льющейся на наш рынок, медленно происходит переоценка закостенелых черно-белых представлений о военных «врагах и друзьях». Советская пропаганда берегла нас от «тлетворного влияния западных лжецов». Берегли скорее суровостью наказания, нежели убеждениями. Удобнее было жить не задумываясь, как кролики Фазиля Искандера. А думать было о чем. Царский генерал Антон Иванович Деникин (в тогдашнем нашем представлении отъявленный враг народа) 18 февраля 1946 года в послании Эйзенхаузеру писал:

«И Вы знаете, конечно, о тех кошмарных драмах, которые разыгрались в лагерях Дахау, и Платтлинге, когда американские солдаты силою волокли упиравшихся от ужаса обливавшихся кровью русских пленных, которые бросались под колеса грузовиков, перерезывали себе горло и вены, старались воткнуть в себя штык американского солдата — только бы избежать возврата на родину...» (Русские в плен не сдаются. Невский проспект, февраль, 1991 г.)

О том же недавно написал и брат Александра Твардовского — Иван, полной чашей испивший процедуру возвращения на Родину из концлагеря в Норвегии:

И до конца в живых изведав,
Тот крестный путь полуживым —
Из плена в плен — под гром Победы
С клеймом проследовать двойным...

«Ни интернированным ни освобожденным Советской Армией из фашистского плена по негласному закону не было дано право чувствовать себя причастным к исходу Великой Отечественной — Победе... и таких было, страшно сказать, более трех миллионов». (И. Твардовский. У нас нет пленных. Новый мир, 1991, № 10).

Тот же путь из Норвегии в Россию проделал мой хороший знакомый, ныне покойный Олег Александрович Ткаченко, старший геолог Уральского Геолкома. Незадолго до смерти в 1993 году он поведал мне о своем военном прошлом.

«1 мая 1941 года наша дивизия выехала из Монголии (тогда нам говорили: проверять четкость работы железных дорог). 21 июня мы выгрузились на станции Шепетовка, а утром 22 июня бежали в лес к военным складам, чтобы набрать патронов и гранат. Был я в пехоте солдатом-пулеметчиком. С боями, потерями и всеми «прелестями войны» мы шли к Орше...»

Потом плен, ад многих немецких концлагерей... Конец войны застал Олега Александровича в интернациональном концлагере на одном из островов в Северной Норвегии. Узники лагеря: сербы, русские, поляки, — не дожидаясь прихода англичан, разоружили охрану, судили и расстреляли наиболее ненавистных охранников.

Вскоре местное население с цветами и почестями проводило советских военнопленных на Родину. Ехали в комфортных пассажирских вагонах через Норвегию, Швецию. Радостные толпы местных жителей и слава победителей провожала их до финской границы. Через Финляндию проследовали молча. Нашу границу пересекли в Белоострове. Состав сразу отогнали на запасной путь и около каждого вагона встал автоматчик. Сортировка согласно заранее заготовленным спискам производилась сотрудниками СМЕРШ под дулами советских автоматов. Военнопленных группами по 40 человек загоняли в телячьи вагоны, которые увозили бывших солагерников в разные концы необъятной Родины. Олег Александрович, вероятно, попал в наиболее щадящий список. Их вагон направили в лагерь под Кировском Ленинградской области. Оттуда ему вскоре удалось перевестись ближе к дому — на Северный Урал, сначала на железорудное месторождение Покровское, а затем в столицу тех мест — Свердловск, на его бокситовые рудники. В те годы 70 % населения Свердловска составляли бывшие кулаки, ссыльные «по делу Горького» и др. В войну к ним прибавились «шестилетники» — немцы с Украины, из Донбасса, Крыма, офицеры Белой армии, эмигранты — «шанхайцы» и пр., и пр. Сегодня уже трудно представить, а тем более воссоздать поруганную жизнь тех «врагов народа», проходившую под «всевидящим глазом и всеслышащим ухом» люто ненавидивших их стражей НКВД. Умирали они молча и замкнуто, стараясь не повредить детям, родным, близким, сумевшим не получить печати «врага народа»... Но я опять ухожу в сторону.

Вернемся назад, в Австрию мая 1945 года.

Пожалуй, не стала исключением и наша 113 стрелковая дивизия. Здоровые молодые парни сквозь колючку с вожделением поглядывали на Грац, дожидаясь редких воскресных увольнений, когда можно, не боясь патрулей, пройтись по улицам города, зайти в магазины и даже проехать в трамвае. Маленький, почти игрушечный трамвайчик в Граце мне запомнился, казалось бы, совсем не значительным случаем: я уступил место старушке-австрийчке, whom вызвал одобрительный гул вагона. Помню, стоял на виду у всех и не знал, куда деваться от «*gut, gut...*». Но подобных случаев было мало. Даже очень. В основном же от добропорядочных австрийских бургевров в комендатуру поступали жалобы на «ужасы» русских солдат: воровство, грабежи, драки и, конечно, пьянки. Наша боевая дивизия становилась непригодной ни для противостояния американцам, ни для охраны лагеря перемещенных лиц.

Майским дождливым утром по полку объявлена тревога...
Нас построили в походную колону по четыре и отогнали километров за двадцать от Граца. Там, в густом лиственном лесу, мы выкопали привычные для пехоты землянки. Началась никому из нас не ведомая мирная армейская жизнь. По сравнению с ней «Поединок» Куприна — это цветочки. Горечь наших ягод была густо замешана на Победе, к которой мы стремились долгие четыре год, отдавая ей все без оглядки. Адаптация шла тяжело.

Я уводил взвод в лес... «Лежа, три года одно и то же, одним патроном — заряжай!» Наше существование, казалось, как генеральский погон — без единого просвета.

Домой! А что дома?.. Подсознательно я рвался на учебу. Все равно какую, куда. Только бы выбраться из болотной трясины армейского прозябания. Офицеры глушили тоску самогоном, благо в австрийских деревнях шнапс и сидр не переводились.

Будто в подтверждение этих слов всплыл в памяти довольно обычный случай тех дней.

В воскресенье небольшой компанией мы пошли погулять в окрестную дубраву. Может быть у нас были какие-то меркантильные намерения — не помню. А, впрочем, наверняка были, ибо выходить за пределы лагеря без увольнительной запрещалось, и за этим строго следили патрули из штабных офицеров. Солнце пригревало изрядно, и мы держались в тени. Вдруг неподалеку заржал конь. Откуда здесь лошади? Прячась за стволами деревьев, мы пошли навстречу. Вскоре появилась небольшая по-

лянка. Посередине стоял шикарный лакированный фаэтон с парой запряженных в него красавцев-коней. С облучка свешивался труп солдата. На сидении и рядом в неестественных позах лежали еще два трупа офицеров. У одного лицо в крови. Помня разговоры о бандах недобитых фашистов, мы замерли, как охотничьи псы. Оружия у нас нет. Прошло мгновенье. Ни звука. Только кони, повернув к нам головы, прядут ушами... Обойдя поляну вокруг, мы по одному с разных сторон опасливо приблизились к фаэтону. Около колеса лежал пистолет, а вокруг в беспорядке валялись пустые бутылки и разное цивильное шмутье.

— Так они ж перепившиеся! Да. Их было трое — полный патруль: солдат-ездовой и два штабных офицера. Похоже, что на полянке в стороне от дороги мародеры делили награбленное, но в усмерть упившись, заснули.

Мы, строевые офицеры, естественно люто презирали всю штабную «шоблу». Один из наших с пистолетом в руке вышел на дорогу, остановил пустую штабную телегу и пригнал ее к нам. За руки, за ноги общими усилиями мы перетащили три упившихся «трупа» в телегу и отправили с перепуганным ездовым в штаб полка. Сами же собрали все шмутье, чинно расселись на мягких сидениях фаэтона и прикатили в расположение батальона.

«Шмутье» мы поделили и отправили по домам. Доставшийся мне костюм в конце 40-х годов был единственной гражданской одеждой, которую я одевал по праздникам.

Близких друзей у меня в то время, практически, не было. Я не пил (точнее не напивался в усмерть) и, казалось, был «гвоздем не от той стенки». Тетрадь со стихами разбухла от «шедевров»:

В ... сдались мне шнапс да бабы,
Учиться! — вот мечта моя,
Учиться буду? — это знал бы,
Не надо больше ни ... !

Утро в полку начиналось с похмелья — муторно и как смола растягивалось «от забора до обеда». На все рапорты отправить на учебу все равно куда я либо не получал ответа, либо предлагалось выслать документы, среди которых бельмом на глазу занимал место аттестат зрелости. Мое же «среднее образование», как записано в листке по учету кадров, ограничивалось восемью классами 5-й средней школы Петроградского района Ленинграда. Идти с таким багажом на вступительные экзамены в вуз не имело смысла.

Начало июня липко тянулось в слухах и разговорах о расформировании, демобилизации, отпусках... Здесь мы были временными, чужими. Вся средняя Австрия вместе с нами и Грацем входила в американскую зону оккупации. Хотело или не хотело (скорее, не хотело) начальство, но должно было вернуть союзникам благодатные, правда уже изрядно пограбленные предгорья Австрийских Альп.

Не успели еще солдаты вытоптать траву на строевом плацу лесного лагеря, как в дивизии был получен приказ о передислокации. На этот раз собирались долго. Лишь в конце июня, в самую жару, ДИВИЗИЯ ПОХОДНЫМ ТЫСЯЧАКИЛОМЕТРОВЫМ МАРШЕМ ВЫСТУПИЛА НА ВОСТОК — К ДОМУ.

Пехота шла пешим строем, налегке. Скатки, вещмешки, оружие — в обозе. Шли почти месяц: два дня переходы, 30—40 км, третий — отдых.

— Почему нас не везут поездом?

— Железные дороги забиты.

Из Австрии, Венгрии везут трофеи. Идет срочный демонтаж заводов, некогда принадлежавших гитлеровскому рейху. Сгоняя нас на обочину, военные машины, трактора, тягачи отчаянно клаксонят, ташат, волокут все, что можно увезти. Вперемежку с ними тревожно ржут угнанные на восток табуны лошадей, мычат стада не доенных коров, блеют овцы — все движется на восток в черную дыру моей многострадальной голодной Родины.

Радуюсь я —
это
 мой труд
вливается
 в труд
 моей республики.

В. Маяковский.

Мы, пехота, сейчас никому не нужны. Мы — обуза. «Мавр сделал свое дело». Штабные шестерки, лихо восседая на груженых награбленным барахлом машинах, визгливо и презрительно кричат нам вдогонку избитые остроты: «Эй, пехота! Сто прошел, еще охота!» Как саваном, покрытые дорожной пылью тягучие и душные километры не располагают к веселью. Пот с солью разъедает кожу в пау, под мышками, тяжелые кирзовые сапоги трут ноги...

Дивизия возвращается своим боевым путем. Мы проходим Венгрию, Словению, Хорватию... Не помню реакцию местного населения на наши колонны. Напрягаюсь, но не могу увидеть ни

улыбок, ни радости Победы. Может быть, их и не было. Напряженное разочарование открыто бродит по деревенским улицам Западной Югославии. Коммунисты-партизаны, спустившись с гор Боснии, «железной рукой» берут власть...

Наконец, Сербия. Здесь еще правит бал эйфория Победы, нас встречают с радостью и любовью. Последний привал перед большим селом. Полковой оркестр снимает трубы с повозок. Развертывается знамя полка, солдаты стряхивают пыль с «двухметровых голенищ», застегивают пуговицы. «Выходи стройтесь!» Грянула музыка. Медь выравнивает ряды, распрямляет солдатские плечи, освещает лица...

— Запевай!

...Кипучая, могучая,
никем непобедимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая...

Вездесущие мальчишки встречают нас за окопицей, путаясь под ногами. В начале села через всю улицу кумачом кричат транспаранты: «Живела Цревна Армия!», «Сталин—Тито! Сталин—Тито!» Толпы людей, цветы, фрукты, ракия... Они и мы еще не знаем, что в высших коридорах власти уже дает трещину «непрерывная дружба» двух диктаторов и не за горами горькие плоды ее разрыва.

Сербский Банат мы проходим через то самое «сэло Вердин», откуда под ноябрьские праздники сорок четвертого года селяне тепло и душевно провожали нас в мясорубку задунайских плацдармов. От тех времен в минометной роте второго батальона остался я один. Привал и кормежка в середине села. Не дожидаясь кухонь, я пошел к дому, где жила Златинка и где нам когда-то на завтрак готовили дворовых голубей. Хозяина не было. Голубей тоже. На порог вышла старуха. Она меня не узнала. Над недавно богатым сытым домом зrimo висело запустение. Загон для свиней полуразрушен. Ни лошадей, ни телят. В пустом кукурузном сарае закрыты куры (в деревне стояло много русских). Из-за большой бабушкиной юбки настороженно смотрела на мою форму повзрослевшая Златинка: узнала? Не узнала? Подошли люди. Были и ракия, и сало, и хлеб. Но что-то исчезло. Кошка перебежала дорогу...

В центре села труба заиграла сбор.

— До свидания!

— До виждения!

Глава 2. РУМЫНИЯ 1945—1946 годов

Через пограничный между Югославией и Румынией Дунай мы переправлялись 17 июля в районе Железных ворот под Оршова. Остался в памяти дискомфорт суматошной ночи, отблеск ярких огней в маслянистой воде Дуная, русский мат не выспавшихся матросов и позабытые гудки пароходов...

Из Оршова уже поездом 113-ю повезли в летние лагеря под Тыргу-Жиу. Там на южных склонах Карпатских гор дивизию ждал приказ о расформировании.

Как записано в военном билете, уже 9 августа 1945 года, я был переведен в 187 гвардейский стрелковый полк 61 гвардейской славянской дивизии на должность командира огневого взвода батальонной батареи 45 мм противотанковых пушек.

Следом за переводом поступило предложение ехать в Москву на какие-то курсы (может быть даже СМЕРШ?). Учиться! В Москву! Не задумываясь соглашаюсь. Уже через день, получив аттестаты, группа окрыленных радостными надеждами лейтенантиков отбыла в распоряжение...

Судьба-сорочка узнала о моем опрометчивом поступке только на следующий день. Обнаружив отсутствие подопечного, она бросилась вдогонку и к вечеру встретила меня на дороге в образе давней молдаванской знакомой — малярии. Почему-то мы шли пешком. Первый приступ затянулся до утра и я почти не спал. Следующий день еще храбрился и пытался не подавать виду. Но это плохо получалось. К вечеру вновь поднялась температура, и я еле тащил увесистый вещмешок. Заночевали в придорожном селе уже неподалеку от Крайова, где находился штаб Армии. Всю ночь меня колотило, ледяной озноб сменялся жаром: пить! пить!.. К утру я еле поднялся с кровати. Идти уже не мог. Мы договорились, что я остаюсь в деревне, а напарники пойдут в штаб Армии и оттуда пришлют за мной машину.

Видит Бог, я боролся, сопротивлялся. Вся румынская семья ухаживала за мной, хозяйка не отходила от кровати. Но малярийный плазмодий, придушенный год назад, дождался своего звездного часа. Днем снова начался приступ. Хозяева достали градусник и дефицитную в ту пору хину. Температура ушла за сорок. Но стерве-сорочке этого оказалось мало. Машина из Крайова не пришла. К вечеру румын-хозяин погрузил меня на каруцу и, от греха подальше, отвез в ближайший советский госпиталь. Я был в полуусыпательном состоянии, но все же обратил внимание на то, что у входа стоял часовой. Утром проснулся на госпитальной койке. Вокруг,

уставив глаза в стенку, молчаливо сидели больные. Обстановка отнюдь, не госпитальная. Пришел солдат, взял одного больного, увел. Затем — другого. Возвращались они после процедур в поту, многие со слезами, матери и проклиная румынских "домнишор", а с ними и весь женский пол чохом. Третьим был я. Солдат шел сзади, показывая, куда поворачивать. Врач сидел в полоборота ко мне: «Ну, молодчик, показывай!» — «Что показывать?» — «Так на кой хрен ты сюда пришел?» — «Меня привезли.» — «На хину, бери пропуск и мотай отсюда».

Оказывается, сорочка, в наказание за самоуправство вместо Москвы направила меня... во фронтовой офицерский «Трипперград».

Как мне объяснил врач, медицинская логика была проста.

Придунайские города Румынии и до войны не отличались большой чистоплотностью. Уже тогда гонорея называлась «румынским насморком». А после того, как через Румынию взад-вперед прошли немцы и русские, венерические болезни стали бедствием. Антибиотики в войну были редкостью. Некий румынский врач применил эффективный способ лечения гонорреи. Известно, что гонококки не выдерживают высокой температуры и за 40° все «отдают концы». Врач-экспериментатор доводил температуру тела до 41°, после чего, если больной оставался живым, триппер как рукой снимало.

Где Вы, мои однодневные знакомые — трипперградцы? Имеете ли Вы удостоверение инвалидов ВОВ, или в крайнем случае — участников? Но об этом потом. Замечу только, что основной костяк жителей Трипперграда составляли откормленные пожилые (уже за 30 лет) офицеры тыловых частей, до этого как сыр в масле катавшиеся за нашими спинами по городам и селам Восточной Европы. Не скажу, что состав строевых пехотных частей был более целомудрен. Конечно нет. Но существование на грани жизни и смерти требовало иного поведения, что оставляло мало времени для получения «женских наград».

Хм...м... Опять я «покатил бочку» на презренных тыловиков (без которых, к сожалению, армия не может существовать). Ну да Бог с ними.

В штаб армии я попал к шапочному разбору. Там из десяти кандидатов уже отобрали двоих. Оставшимся выдали один аттестат и мы, не солено хлебавши, отправились для дальнейшего прохождения службы в Румыникул-Сэррат — место дислокации будущей родной 61 гвардейской дивизии.

РУМЫНИКУЛ-СЭРАТ

Румыникул-Сэррат — тот самый город, вблизи которого в 1789 году произошло Рымникское сражение, за что Суворов получил титул Графа Рымнского.

Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я, вспоминая, леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь...

...

«Однако же в преданьях славы
Все громче Рымника, Полтавы
Гремит Бородино...»

Лермонтов, 1830—1831 гг.

Наш 187-й полк занял румынские казармы, расположенные на коренном берегу полусухой речки Рымник, метрах в пятистах от городка. Вниз по течению громоздились взорванные фермы моста, а чуть поодаль — теснился цыганский «шанхай», круглый год утопающий в непролазной грязи. К тому же местные цыгане стационарных уборных не признавали, в связи с чем поселок был окружен своеобразной зловонной аурой, как сейчас в Петербурге «собачьи площадки».

Ни кустика, ни деревца. По обе стороны речной долины сколько видит глаз — выжженная летним солнцем полусухая степь.

В городе каких-либо достопримечательностей я не помню. Была, правда, закрытая на замок заброшенная часовня, построенная в честь победы русских войск над турками. Я эту часовню видел только издали. Бдительные «товарищи из СМЕРШ» однажды поймали нашего офицера «подозрительно» осматривавшего часовню, после чего мы старались обходить ее стороной. Делать это было нетрудно, ибо главная улица с магазинами, парк с танцплощадкой и военным оркестром, кинотеатры, а также какие-то зимние залы, где дважды в неделю проходили «frumos, grandios, mare bal», кучно располагались в центре городка (с населением около пятнадцати тысяч жителей).

Небольшое отступление

Пока мы, не спеша, пылили по дорогам Восточной Европы из Австрии в Румынию, началась и кончилась война с Японией. 9 августа одновременно со второй атомной бомбой, сброшенной американцами на Нагасаки, советские войска мощными клиньями врезались в японские Манчжу-Го (Северный Китай) со стороны

Монголии и Приморья. Не прошло и недели, как 15 августа японское радио передало императорский эдикт о капитуляции. Но поскольку наши доблестные генералы только-только вошли в раж, то краснозвездные дивизии продолжали громить японскую Квантунскую армию по всей Манчжурии, рапортуя о захваченных городах, трофеях и сотнях тысяч пленных. Остановились они, только дойдя до Порт-Артура, взяв тем самым реванш за позорное поражение в 1905 году.

По берегам Желтого моря гремели полковые оркестры:

«Вы пали за Русь,
В битве за Отчизну.
Поверьте, мы за вас отомстим,
И справим мы славную тризну...»

Месть была жестока. Кто знает, сколько пленных японских солдат нашли свою смерть в бесчисленных концлагерях, разбросанных по необъятным просторам Сибири? Десятки или сотни тысяч?..

«Тихо вокруг,
Ветер туман унес.
На сопках Манчжурских воины спят
И русских не слышат слез.
Плачет, плачет мать родная,
Плачет молодая жена,
Плачет вся Русь, как один человек,
Злой рок и судьбу кляня...»

Сколько русских матерей плакало в этот раз — осенью 45-го года в угоду трофеям и политым кровью генеральским амбициям — никто не считал.

Нашу дивизию война с Японией лишь слегка коснулась нелепыми слухами о том, что нас отправляют на Дальний Восток и вот-вот подадут составы. Слухи эти подогревались распоряжениями о срочном укомплектовании строевых частей дивизии до «штатного расписания». Противотанковая батарея получила новенькие длинноствольные сорокопятки, полный боевой запас к ним, появились инструкции о ведении боя в горах и пр... Но дело на этом и закончилось. Побывать в Японии мне не удалось. Атомные бомбы американцев, с одной стороны, охладили пыл и полностью деморализовали самураев, а с другой — заставили советский генералитет глубоко задуматься над планами молниеносного захвата Китая («освобождение братьев-китайцев от гоминдановского ига»). Американцы этого не одобряли.

Наступил мир

Здесь бы мне и остановиться. Но, как помнит читатель, мы уже сели в поезд и поехали в Рымник, а поезд не остановишь. Как говорят иностранцы, «взялся за грудь, говори что-нибудь».

В Рымник мы приехали в начале октября. Октябрь... ноябрь... декабрь... Новый 1946 год... Что за наваждение? Ничего не помню. Январь... февраль....

Приходили письма из дома: в Ленинграде карточки, мама болеет, отец не советует уходить из армии — дома голодно. Я пишу куда можно и нельзя, читаю все известия о приеме в училища, военные академии, институты... Пришел ответ из Бухареста. Там открылась средняя школа при Советской миссии — нужна справка об образовании. Ее нет. Пришло письмо из приемной комиссии Ленинградского военно-морского инженерного училища (что на ул. Каляева) — нужен аттестат зрелости, к тому же офицеров в училище не принимают. Все не то, не то...

Зимой же я стал брать уроки немецкого языка у бывшей русской помещицы. Каким-то образом у меня накапливались учебники за 9-й и 10-й классы. Помню то одиночество и неистовое желание учиться. Двойная жизнь.

Друзья? С боевыми друзьями пути расходились. Окружали меня в основном деревенские парни — украинцы, русские, прошедшие суро-



31 марта 1946 года. Рымник-Серат.
Во дворе дома, где я «на постое». Сосед румын.
Мы разговариваем, очевидно, отлично понимая
друг друга.
Воскресенье. Утро, до блеска начищены пуговицы
и сапоги. Мы — офицеры готовы идти в город —
себя показать и на других посмотреть.

Мы ждем... Нас ждут....

вую школу колхозов, побывавшие в оккупации и волею судьбы вместо концлагерей получившие чин офицера. К моим занятиям большинство относилось либо с усмешкой, либо открыто неодобрительно. Интересовался моей перепиской «СМЕРШ», ибо я был «белой вороной».

Утро. Я прихожу в казарму. На пороге меня встречает командир роты старший лейтенант Щадрин — невысокого роста блондин года на два старше меня: «Что у тебя во взводе?» — «Ничего.» — «Вот то-то и есть — ничего. Рубашку украли.» В углу казармы старшина допрашивает молодого солдата с верхних нар. Пойди разберись, то ли правду говорит солдат, то ли врет: «Ночью я проснулся. На верху душно было. Снял рубашку. Потом накинул шинель, пошел во двор. Вернулся, а рубашки нет».

Воровство в казармах повальное. Воруют и несут к цыганам все, что есть внутри колючей проволоки, куда вход цыганам запрещен. Торговля, обмен идут вдоль всего периметра лагеря и за его пределами.

Материально ответственный по батарее — комбат, но в штабе полка он добился, чтобы за украденную солдатскую вещь отвечали командиры взводов. За солдатские шмутки с нас — «ванек-взводных» — высчитывают в 12,5 кратном размере. Моя зарплата 600 рублей в месяц. Всю войну я посыпал аттестат маме. С Нового, 1946-го года посылаю ползарплаты. Вычеты, заем (добровольно-принудительный — один оклад в год)... на руки — около 200 рублей. Цена рубашки: 6 руб. × 12,5 = 75 руб — почти ползарплаты (нам еще платили оккупационные румынские лей — 4000 лей ~ 400 рублей).

Это все я пишу, чтобы рассказать о том, куда шли солдатские рубашки, кальсоны, ботинки, гимнастерки и пр., и пр., а главное, как мы, офицеры, боролись с солдатским воровством.

Так куда же они шли, и как мы с этим боролись?

Солдаты — в основном молодые деревенские парни. Увольнительные им дают только по воскресеньям и только строем в город. Женщин они видят лишь из строя, или из-за колючей проволоки ограждения лагеря. Еды достаточно. Природа требует... а цыганки под боком. Цена — рубашка.

Мы, офицеры, устраиваем облавы. Помню: зимняя дождливая ночь. Нас трое — офицерский патруль. Мы переодеты — солдатская шапка, плащпалатка, пистолет в кармане. В кромешной тьме, чавкая по грязи, тихо подходим к цыганскому поселку... Мелькнула тень. На всякий случай загоняю патрон в патронник...

У дома кучка солдат, нетерпеливо переступают с ноги на ногу. «Кто крайний?» Солдат подозрительно смотрит на меня. Подходят напарники. Солдат вдруг прыскает в сторону — узнал! Пистолет из кармана: «Стой, стрелять буду!» В ту ночь мы привели двоих. Одного сняли с постели.

Цыганская обшарпанная халупа. Дверь не закрывается. У дверей стоит муж цыганки — «контролер». Он принимает и оценивает «плату». В предбаннике на лежанке в куче тряпья — цыганка. На ней солдат лихорадочно «отоваривает рубашку». Тусклая полоска света моего фонарика скользит вниз. Там под лежанкой загораются и гаснут в темноте черные испуганно-любопытные глазенки цыганят. Солдат молча натягивает штаны. Цыган пытается темпераментно спорить, прячет от нас солдатское шмутье: ведь его жена заработала, детей надо чем-то кормить. Мы забираем добычу и уходим.

В конце июля я получил отпуск домой.

ОТПУСК

К середине сорок шестого года эйфория Победы по всей необъятной России уступала место тревожным полуголодным будням. Долгожданный мир прорастал метастазами другой — не менее изнурительной — «холодной войны». По кухням коммунальных квартир и подворотням, с тревогой озираясь на Большой дом, роились слухи о казнях, шпионах, бандеровских бандах, американских кознях. Сквозь глушители из Фультона в СССР пришла речь Черчилля.

Быстро росло население города. Квартиры умерших в войну заселяли армейские и фронтовые тыловики вперемежку с различного рода проходимцами, как местными, так и слетавшимися в Ленинград со всех концов обнищавшей России. Для многих доведенных жителей Ленинграда вернуться домой было не так-то просто. Нередко, возвращавшихся в их постелях встречали «законно» поселившиеся там откормленные на армейских складах «фронтовики», отнюдь не желавшие освобождать облюбованное место. Дикие сцены, обрастаю фантастическими подробностями, накаляли голодные очереди, пришибленные огромным горем войны. Казалось, не было семьи, пережившей блокаду без потерь.

Но НОВАЯ ЖИЗНЬ молодыми побегами упрямо пробивалась через еще смердивший асфальт народного горя. Из нашей семьи дома я появился последним. У сестры, демобилизованной в

1944 году, уже была маленькая Анечка. Больная мама сидела дома с иждивенческой карточкой, из мальчишек нашей большой коммунальной квартиры «в живых я остался один». Праздновать Победу было не с кем, да и не хотелось. Какое-то патологическое выстраданное за войну желание учиться уже на следующий день привело меня в школу. На парадной лестнице я встретил «математичку» — Екатерину Павловну Левенберг. Не скажу, чтобы мы ее любили и жаловали. Она была суха, строга и непрерывно снабжала наши дневники двойками. Но сегодня, на ежегодных, до сих пор продолжающихся встречах нашего довоенного класса, мы вспоминаем о ней с большой теплотой, мысленно прося прощение за все подетски жестокие обиды.

Еще через день по рекомендации Екатерины Павловны я был на Гатчинской у преподавателя математики — доцента Электротехнического института (ЛЭТИ), 25 «рэ» за урок. Учеба, вероятно, пошла неплохо, ибо доцент уже через неделю гарантировал сдачу мною вступительных экзаменов по алгебре и геометрии в «Дзержинку» (Высшее военно-инженерное морское училище, располагавшееся в здании Адмиралтейства). Но кроме математики, были еще русский письменный, французский, химия, физика. Шагреневая кожа отпуска таяла на глазах...

На аэродром меня провожала студентка III курса — Бегина — девчонка из нашего класса (похоже, что во время отпуска я занимался не одной учебой).

В сентябре нагруженный учебниками за 8—9 классы и сумасбродными проектами, как убежать из армии, я «прибыл в часть». Наша дивизия к тому времени передислоцировалась в Бузеу.

БУЗЕУ

Бузеу — тихий, очень провинциальный город, не в пример Рымнику, опрятный, мало «цыганистый», запомнился мне большим осенним парком со скульптурными группами львиной охоты. В казармах на краю города меня ожидали безнадежно тягучие, выравнивающие извилины, дни гарнизонной скуки.

Но отпуск, встречи с одноклассниками, разными путями пробивавшими себе путь к высшему образованию, явились мощным стимулом для вечерних занятий. Учеба пошла легко и приносила радость. Правда, молодое тело более настырно требовало удовольствий.

Как следует из фотографий, после полуголодного отпуска я быстро отъелся на румынском сале, завел себе модный в те годы

«бритый бокс», китель из коверкота, прицепил гвардейский значок... Появились девочки, а за ними и женщины...

Наше румынское прозябанье тянулось на фоне продолжающихся в мире послевоенных бурь. Политорганы не переставая политически «подковывали» нас. Но то ли подковы быстро стирались, то ли мы еще быстрее привыкали к ним, но никакого дискомфорта от политзанятий никто не ощущал: в одно ухо влетало, в другое — вылетало. Все наши познания не выходили за пределы 2-го раздела 4-й главы краткого курса ВКП(б) «Оialectическом и историческом материализме» — великом произведении великого «кормчего».

В ноябре 46-го года Румыния бурлила предвыборными страствами. Король Михай и его бояре не хотели уходить на свалку истории. Более того, румыны, вне зависимости от социального положения, отнюдь не стремились к «русскому коммунизму». Но это не мешало Москве на площади Ногина заранее формулировать итоги выборов: к власти должны придти коммунисты, которые железной рукой приведут Румынию в дружную семью истинно свободного соцлагеря (не путать с концлагерем!).

В выборах принимали участие: национал-церанистская (Маниу), либеральная (Братиану) партии и демократический блок, возглавляемый коммунистами (Петру Гроза).

Положение коммунистов в мелколавочном Бузэу было более, чем шатким. К середине 46-го года они овладели только полицейской управой. Но этого при оккупационном статусе и нашем присутствии оказалось достаточно.

Раннее утро. Я иду в казарму через весь город. Там-сям, косо криво «оппозицией» на столбах и заборах расклеены листовки: «Jos Petru Grosa! Sus Maniu!» («Долой Петру Гроза! Да здравствует Маниу!»). На недавно выбеленной стене мэрии намалеван огромный черный глаз — символ церанистов. Около него уже копошатся полицейские, тщательно соскабливая черную краску. Вечером на месте глаза под охраной полицейских лучезарно светится огромное красное солнце: «Votati soare — simbolul particulari democrat!» («Голосуйте за солнце — символ демократических партий!»).

В ночь на 19 ноября советские офицеры ночевали в расположении частей (международные наблюдатели должны были убедиться в свободе выбора румынского народа). Естественно, победили коммунисты. Правда, моя учительница — дворянка и ее подруга — бывшая певица Мариинского театра («Ах, Петербург! Кареты!!»), лишенные права голоса, как антисоциальный элемент, утверждали, что выборы были «коммунистическим фарсом, сопровождавшимся насилием полиции и подтасовками».

«Реакционные классы теряли свои позиции. На парламентских выборах 19 ноября 1946 г. 84 % избирателей, участвовавших в голосовании (всего в голосовании приняло участие 89 % избирателей), отдали свои голоса блоку демократических партий во главе с КПР. 29.11.46 было сформировано новое правительство П. Гроза из представителей 4-х партий: КПР, Фронта земледельцев, СД партии и группы Татареску.

3.12.47 по требованию трудящихся король Михай (награжденный до этого орденом Победы — Б. М.) вынужден отречься от престола. Принятым тогда же решением парламента была провозглашена Румынская Народная Республика (РНР). (БСЭ, 1955).

Глава 3. «ЗА ПЬЯНКУ И МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ...»

В разгар предвыборной кампании, когда в парке Бузеу опадали последние листья, а по утрам уже сильно подмораживало, в казармах появились тревожные слухи, а за ними приказы и распоряжения о переводе 50 советских оккупационных дивизий в Россию, об очередной демобилизации старших возрастов и увольнении в запас части офицерского состава. Сыгой безмятежной офицерской жизни приходил конец. Мало кому из моих тогдаших друзей однополчан, бывших колхозников, хотелось возвращаться в разоренные войной голодные и убогие села России.

Помню письма отца: «В России голод. В Ленинграде карточки. Жить очень тяжело. Если есть какая-нибудь возможность, постарайся остаться в армии, пережди год-другой». Нет, нет и нет! Только домой, только учиться!

Шансов выбраться из армии у меня практически не было. 1925 год не подлежал демобилизации, и мои ровесники-солдаты должны были еще год «дослуживать». Из армии увольняли в запас только не пригодных к службе офицеров: алкоголиков, тупиц, либо получивших офицерский чин на краткосрочных фронтовых курсах. Я окончил полный курс военного училища, имел «дефицитную» по тем временам специальность (командир огневого взвода 45-мм противотанковых пушек), мои служебные и политические характеристики были «на высоте»...

И тут моя изворотливая сорочка взяла бразды правления в свои руки.

Как она сумела всего за девять месяцев сделать из меня студента первого курса геологического факультета Ленгосуниверситета, я не знаю. Но сделала (надеюсь, не без моей помощи).

Служебная характеристика (грамматика сохраняется — Б. М.) на командира огневого взвода батареи 45 мм пушек 1-го стрелкового батальона 187 гвардейского стрелкового полка 61 гвардейской Стрелковой Славянской краснознаменной дивизии гвардии лейтенанта Михайлова Бориса Михайловича

удостоверение личности №139045 Серия ХН 000001 1925 года рождения, уроженец города Ленинграда, русский член ВКП(б) с ноября 1944 года партийный билет № 6926312

Образование — общее 10 классов сш. 1943 году, военное — Ташкентское ми-
нометное училище 1 год в 1944 году. В Красной Армии с февраля 1943 года. На
фронтах Отечественной войны с 1944 года май. Награжден двумя орденами
«Красная звезда» и Орденом «Отечественная война II ст.» 1 раз ранен. 15.04.45г.
В плену и окружении небыл.

За время прохождения службы в 1 стрелковом батальоне с 8.08.45 г. лейте-
нант Михайлов показал себя дисциплинированным, требовательным к себе и сво-
им подчиненным офицером.

Достаточно подготовлен в военном отношении и с успехом может команда-
вать подразделением в мирное время.

Личная дисциплина стоит на должной высоте. Уставы Красной Армии знает и
предъявляет уставные требования к своим подчиненным.

Активно участвует в политической жизни подразделения, где ведет политико-
воспитательную работу среди подчиненных. Имеет методико-организаторские
навыки в организации проведения занятий с подразделением.

и. о. командира 1 стрелкового батальона

печать

гвардии майор

подпись

/Кулаков/

19.3.1946 г.

Партийно-политическая характеристика

на гвардии лейтенанта Михайлова Бориса Михайловича 1925 года рождения

образования 10 классов, член ВКП(б) с ноября 1944 года

партийный билет № 6926312

Прибыл в 187 гвардейский стрелковый полк в 1-й стрелковый батальон на
должность командира огневого взвода батареи 45мм пушек в августе 1945 года.
Он проявил себя хорошим грамотным офицером. Хорошо проводил политично-
воспитательную работу с личным составом, был агитатором батареи стал хорошо
справляться с поставленной задачей командования. Тов. Михайлов за период в
1 стрелковом батальоне проявил себя, как лучший дисциплинированный офицер
политически грамотен. В период подготовке к выборам в Верховный Совет Союза
СССР проявил большую работу, что батарея активно участвовала в голосовании
и одновременно повысилась воинская дисциплина, боевая и политическая подго-
товка. Тов. Михайлов был назначен парторгом батареи 45мм пушек. Так к работе
относился по партийному делу, работу хорошо знает. Партийная организации под
руководством тов. Михайлова хорошо помогала по выполнению качества учебы и
в укреплении воинской дисциплины. Тов. Михайлов сам относился ко всем пору-
чениям по-партийному. Партийных взысканий не имеет, морально устойчив,
политически грамотен. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине -
предан.

И.о. Заместителя командира по политчасти

1 Стрелкового батальона гвардии лейтенант подпись

/Бычков/

Подпись руки гв. лейтенанта Бычкова удостоверяю:

начальник штаба 187 гв. СП

печать полка

Гвардии капитан

подпись

/Судник/

Началось с того, что «корыш» моего приятеля — ПНШ-6 (помощник начальника штаба по кадрам) заготовил характеристику, согласно которой я подлежал увольнению в запас «за пьянку и моральное разложение» (упаси Боже коснуться 58 статьи!). С такой характеристикой в первых числах декабря 1946 года в составе группы отпетых разгильдяев я вошел в здание Закавказского военного округа, помещавшегося на площади Берия в самом центре Тбилиси.

Принимал майор.

Поодиночке.

— Да-а-а, и с такой характеристикой вы, гвардии лейтенант, собираетесь служить дальше?

— Так точно, товарищ майор.

— Сомневаюсь.

— Сомневайся, сомневайся (это я уже сказал про себя).

Из штаба ЗакВО нас направили в 34-ю тяжело-артиллерийскую бригаду, дислоцировавшуюся в Гори, на его северо-восточной окраине, неподалеку от домика Сталина.

Декабрь в Гори: ночью снег, днем дождь. Шинель мокрая, сапоги не просыхают. Сушиться негде. В полуразвалившемся домике на правом берегу Куры мы сняли комнату на троих. Хозяйка — старая грузинка («жисть не стоит ни копейки») кормила нас раз в день, подавая миску лоби (вареная фасоль с луком). А остальное время мы промышляли, чем могли, дожидаясь приказа об увольнении в запас.

В памяти остались лишьочные походы на железную дорогу, где иногда стояли составы с сахарной свеклой, которой можно было «от пуз» утолить голод.

Наконец, долгожданный приказ пришел, и мы, обладая определенным опытом в общении с румынскими коммерсантами (спекулянтами), на прощание с армией «прoverнули» коммерческую операцию (ибо мало кого дома ждала сытая жизнь). Получив выходное пособие, мы втроем махнули в Сталинири (теперь Цхинвали). Там в пригородных деревнях на все деньги закупили яблок и кукурузной муки. Вернулись. Подделали проездные билеты и тяжело нагруженные, через Баку уехали в Ростов. На Главном базаре города на Буденновской сдали привезенное перекупщикам.

На полученные деньги здесь же закупили разнообразные военные шмутки и в тот же день « отчалили» в Тбилиси. На Тбилисском базаре все продали, вернулись в Гори, вновь заполнили чемоданы кукурузной мукой и яблоками и разъехались по домам. Эта челночная, рядовая для сегодняшней жизни операция, принесла мне 600 рублей (месячная зарплата лейтенанта).

Глава 4. ЭХО ВОЙНЫ

В Ленинград я ехал один с набитыми фибровыми чемоданами и мешками общим весом около пяти пудов. Еды достаточно. Кипятка на станциях — тоже. Лежи и плуй в потолок. В таком состоянии, да еще и в двадцать один год — все по плечу, «нет проблем». Заработанных 600 рублей должно хватить на покупку аттестата зрелости (в Одессе на Бессарабке, как мне говорили, он стоил 500 рублей), как участника войны меня с этим аттестатом примут в вуз без экзаменов, а там... «жизнь прекрасна и удивительна»...

Но человек предполагает, а Бог распологает.

Дома голодно. Мама болеет и сидит с внучкой Анечкой. Работает одна сестра. Мне сразу надо думать о работе, а не об учебе. Запас не велик: два пуда кукурузной муки, сало, яблоки, шмутки для продажи и, наконец, месячный паек офицера, полученный по аттестату уже в Ленинграде на Фонтанке. Этого должно хватить на время обустройства.

Через день я появился на пятом этаже дома 63 по Большому проспекту Петроградской стороны — у девчонки с нашего класса — Герты Клявинек, и в окружении одноклассников, к тому времени уже ставших студентами, излагал свой план. Герта была категорична: «Нет, надо не так. Я поговорю с Марией Михайловной». Мария Михайловна — наша добрая, всепрощающая «химичка», на уроках которой в химклассе мы никогда не получали «неудов» и вытворяли, что хотели. После блокады Мария Михайловна перешла работать завучем в 31 ШРМ (вечернюю школу рабочей молодежи на Введенской улице вблизи пр. Горького).

Еще через два дня вдвоем с Гертой мы появились у нее в кабинете. Мария Михайловна ни в коем случае не должна знать, что за оставшиеся до экзаменов три месяца, мне надо было не только вспомнить, чему нас учили в седьмом и восьмом классах, но овладеть полными курсами девятого и десятого. Это казалось нереальным, но я молчал. Герту же трудно было остановить в желании сделать по-своему (такой она была в школе, такой остается и сегодня). Мария Михайловна сдалась и согласилась принять меня



6 июля 1947 года. Выпускной вечер 31 вечерней школы рабочей молодежи (вблизи перекрестка ул. Розы Люксембург и пр. Горького). Помимо выпускников на наши лица. Это те, кто решил резко порвать со своим воняющим прошлым и, наперекор суровым будням страны, идти «в светлое будущее».

«условно с испытательным сроком» (как будто у нее было время меня «испытывать»!).

Не знаю как и что вспоминать о тех трех месяцах...

Конечно, это был не блокадный голод. Постоянное хотение что-нибудь съесть все время шагало в ногу с другими желаниями, которыми до краев полнились голова и тело. Были соблазнительные предложения съездить «крупно подзаработать», либо «купить-продать», были Бегина, Тамара... Но я отмечал все, что мешало учебе, разрешая себе лишь в перерывах между работой и учебой попытать счастья на рынке, либо порыскать по коммерческим столовым в поисках съестного вроде пирожков из шрота (соевого жмыха), супов из костей, затиух и пр., и пр. Желудок переваривал все без разбора.

Хорошо помню еще шаловливо-бойкую двухлетнюю Анечку, которая сразу же со дня моего появления в доме безапелляционно решила, что я приставлен к ней для исполнения капризов и по детски непременно требовала полного подчинения.

В марте начались головные боли. Может быть это были последствия контузии, врач, определив общее истощение, рекомендовал бросить учебу и «быть на воздухе». Ни то, ни другое не входило в мои планы. Правда, «воздух» я имел по утрам.

В конце февраля я «подхалтуривал» шлифовкой литографских камней в литографии гидрологического института, что находится на 23 линии, напротив Горного института. Подъем в 5 часов. Еще совсем темно. Вдоль Кронверкской около панелей громоздятся сугробы (в те годы снег с улиц не убирали). По верху сугробов проложена лыжня. Я на лыжах иду по ней до парка Горького, затем вдоль Госнардома, Зоосада. На Мытне, рядом с университетским общежитием, спускаюсь на Неву и далее по накатанной военными лыжне до Горного... Есть от этого хотелось еще больше.

Экзамены на аттестат зрелости я сдал на четверки и пятерки. Может быть это было не только моей заслугой, но отчасти и учителей — в большинстве своем пережившим Ленинградский геноцид. Их уже давно нет в живых. Посмотрите на фотографию... посмотрите на наших учителей, а заодно и на нас... Мы — это те, кто решил порвать со своим военным прошлым и, наперекор суровым будням страны, смотреть в «светлое будущее».

6 июля 1947 года. Школа позади. Мы пришли на выпускной вечер. Большинство прямо с работы. Добрая половина мужчин ради праздника сменили уже потрепанную военную форму на цивильную одежду. Я в том самом сером костюме, который в мае 1945 года под Грацем мы отобрали у перепившихся штабных

офицеров-мародеров... Отощал... Нос уже не кричит: «Караул, щеки задавили!»... Посмотрите на наши лица, позы. Каким диссонансом смотрится единственная улыбка сидящей в центре девушки. Нам не до этого. У многих семьи. У каждого впереди полуоголдная учеба в вузе и заботы, заботы...

Но, помню, к концу вечера (после чая с пирожками) молодость все равно взяла свое. Мы с упоением играли в свои забытые детские игры: «третий лишний», «щетку», как угорелые носились по школьному двору в пятнашки... «Вы же ведь еще совсем дети», — сказала на прощание директриса, — «что же натворила война!»

В начале июля ночей еще нет, и мы не заметили, как зазолотился шпиль Петропавловской крепости. Домой возвращались большой компанией по изрытому вдоль и поперек Большому. Летом сорок седьмого года на нем снимали трамвайные рельсы и проводили газ. Пришел домой. Спать не хотелось. Напротив, в бывшем церковном саду вокруг горки-«плешки», созданной на фундаменте Матвеевской церкви, в которой меня крестили, рядами стояли березы. Они помнили, как звонили колокола, как празднично одетые старушки несли в церковь куличи..., а мы с квартирными друзьями Юркой, Витькой, Гольди шмыгали у них под ногами. Друзей нет. В квартире тишина...

Почки вновь набухают на дряблых березах,
Годы мчатся безумно, безудержно вдаль,
Вся седая, но в свежих мечтаньях и грезах,
Заползает мне в душу глухая печаль.

Тяжело, тяжело быть совсем одиноким,
Сердце ноет порой и о чем-то скрбит,
И мечтанием тусклым далеким-далеким
Загораются прежние тусклые дни.

Тянет снова к боям, к полумраку землянки,
Сердце просит чего-то, чего — не пойму,
Храпануть бы в окопе, под звуки тальянки,
Обнимая друзей,

проклиная ВОЙНУ!

УКАЗАТЕЛЬ
улиц, площадей, городов, больниц, заводов и др., упоминаемых в тексте
Названия даны по алфавиту на 1941 г.

1918 год	1941 год	1998 год
Верный казачий пост	Алма-Ата г.	Алматы г.
Большая Морская ул.	Герцена ул.	Большая Морская ул.
Малая Морская ул.	Гоголя ул.	Малая Морская ул.
Кронверкский проспект	Горького пр.	Кронверкский проспект
Народный дом	Госнардома театр	Мюзик-холл
Екатерининский канал	Грибоедова канал	Грибоедова канал
Невский пр.	25 октября пр.	Невский пр.
Кибеля фабрика	24-я литография	АО «Типография им. Ивана Федорова»
Дудергоф пос.	Дудергоф пос.	Можайский пос.
Логензибена завод	«Знамя труда» завод	АО «Знамя труда»
?	Калининград Мос. обл.	Королев г.
Захарьевская ул.	Каляева ул.	Захарьевская ул.
Большой пр. П.С.	Карла Либкнехта пр.	Большой пр. П. С.
Карповская баня	Карповская баня	Сломана в 1990 г.
Вятка г.	Киров г.	Киров г.
Путиловский завод	Кировский завод	АО «Кировский завод»
Каменностровский пр	Кировский пр. (до 1935 г. ул. Красных зорь)	Каменноостровский пр.
Телефонная фабрика Эрикссона	«Красная Заря» завод	АО «Красная Заря»
Галерная ул.	Красная ул.	Галерная ул.
Казенный завод медицинских приготовлений	«Красногвардеец» завод	АО «Красногвардеец»
Гатчина (после 18 года — Троцк)	Красногвардейск г.	Гатчина г.
Мариинская больница	Куйбышевская больница	Мариинская больница
Николаевский мост	Лейтенанта Шмидта мост	Лейтенанта Шмидта мост
Александровский парк	Ленина парк	Александровский парк
Петроград (до 14 года Санкт-Петербург)	Ленинград г.	Санкт-Петербург г.

Театр сгорел в 30-е годы	Ленинского комсомола театр	«Балтийский дом» театр
Архирейская ул.	Льва Толстого ул.	Льва Толстого ул.
Ружейная ул.	Мира ул.	Мира ул.
Пермь г.	Молотов г.	Пермь г.
Новониколаевск пос.	Новосибирск г.	Новосибирск г.
Аничков дворец	Дворец пионеров	Аничков дворец
Гребецкая ул.	Пионерская ул.	Пионерская ул.
Марсово поле	Поле жертв революции	Марсово поле
Макса Гельца завод	Полиграфический завод	АО «Полиграфмаш»
Конногвардейский бульвар	Профсоюзов бульвар	Конногвардейский бульвар
Дворцовый мост	Республиканский мост	Дворцовый мост
Введенская ул.	Розы Люксембург ул.	Введенская ул.
Екатеринбург г.	Свердловск г.	Екатеринбург г.
Ситный рынок	Ситный рынок	Ситный рынок
Большая Монетная ул.	Скороходова ул.	Больная Монетная ул.
Царицын г.	Сталинград г.	Волгоград г.
Биржевой мост	Строителей мост	Биржевой мост
Соборная мечеть	Татарская мечеть	Соборная мечеть
Николаевский дворец	Дворец труда	Николаевский дворец
Благовещенская пл.	Труда пл.	Труда пл.
Каменный остров	Трудящихся остров	Каменный остров
Геслеровский пер.	Чкаловский пр.	Чкаловский пр.
Малый пр. П. С.	Щорса пр.	Малый пр. П. С.
Петропавловская больница	Эрисмана больница	Петропавловская больница

Дорогие читатели — свидетели описанных событий!

До конца дней своих я буду собирать ПРАВДУ о друзьях, однополчанах, случайных попутчиках, встречавшихся на дорогах войны, буду пополнять текст, надеясь на посмертное издание окончательного варианта.

Прошу Вас — пишите!

Заранее благодарю.

Ваш

Б. М. Михайлов

Домашний адрес: 197343, Санкт-Петербург,
ул. Матроса Железняка, дом 7, кв. 28.

Тел. 246-75-89

Служебный адрес: 199106, Санкт-Петербург, Средний пр.,
дом 74, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ)

Тел. (812) 328-92-31

Борис Михайлович Михайлов

НА ДНЕ БЛОКАДЫ И ВОЙНЫ

ЛП № 000014 от 28.08.98 г.

Подписано в печать 14.12.2000. Формат 60×90¹/16. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Печ. л. 28,25. Уч.-изд. л. 31,5. Тираж 300 экз.
Зак. 2761. Цена договорная.

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ)
199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74



Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72
Тел. 328-9190, факс 321-8153

